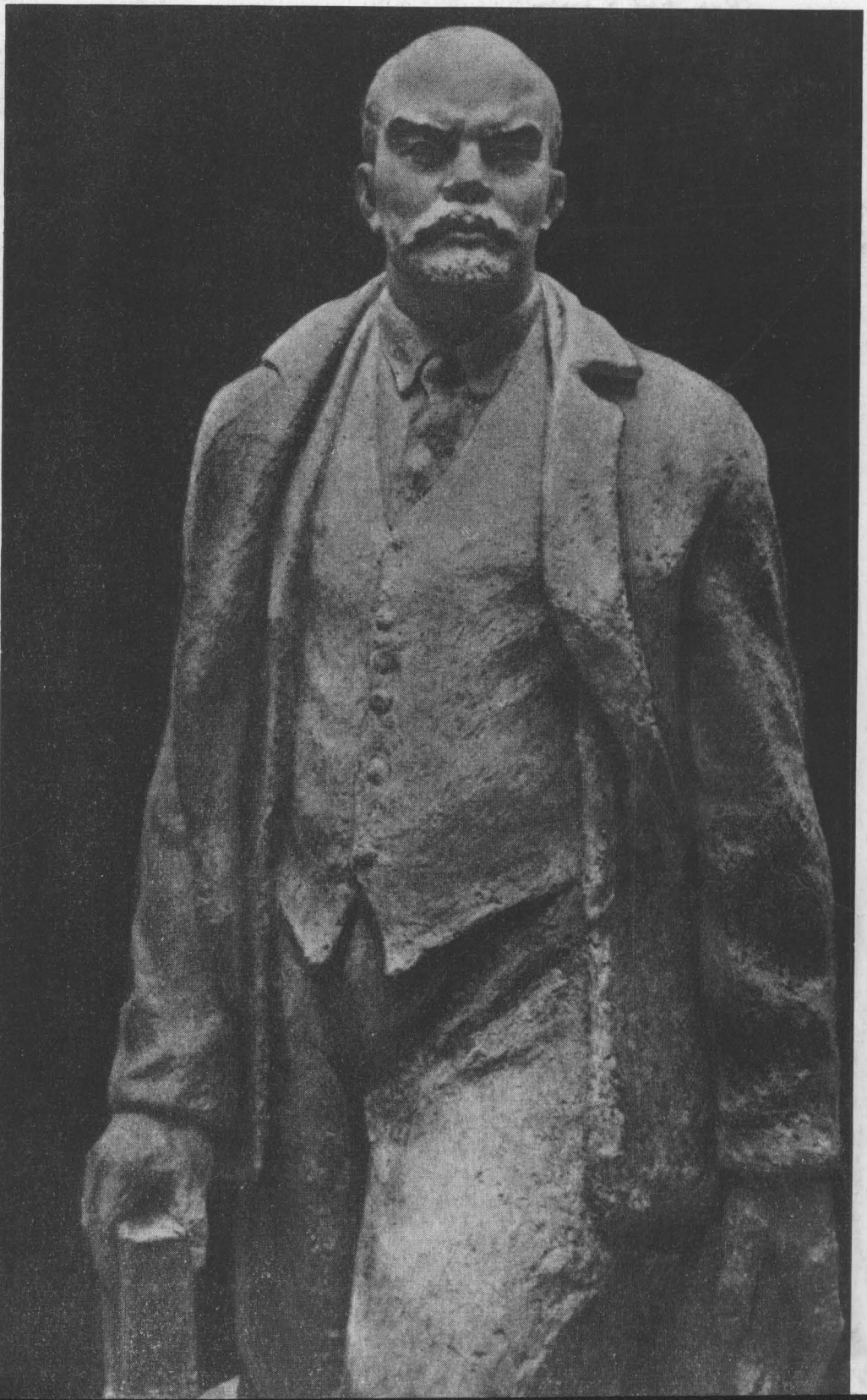
ИНОСТРАННАЯ *литература*

4 1961

ИНОСТРАННАЯ литература
4 1961

«ЛЕНИН»

Мариан Внук
(ПОЛЬША)



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Плакат Лами—А. Риваль (Франция)

Содержание

ЯНОШ ФЕЛЬДЕАК — Я видел Ленина (Стихи) 3

АНДРЕ СТИЛЬ — Обвал (Роман) 6

ИРЖИ МАРЕК — Жить среди людей (Рассказы) 49

ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ — Биллбрук (Рассказ) 72

МИТЧЕЛ УИЛСОН — Встреча на далеком меридиане (Роман. Окончание) 83

ЯЭКО НОГАМИ — Шхуна «Кайдзин-мару» (Повесть) 140

К 91-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

И. АНИСИМОВ — Ленин и новые горизонты всемирной литературы 163

Б. ЯКОВЛЕВ — Великая школа (Заметки о ленинских переводах) 172

Открытые глаза и честное сердце

КЛЭР ШЕРИДАН — Неприкрашенная правда (Послесловие Аллы Любарской) . . . 179

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

МИНУВШЕЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ! (Стихи немецких поэтов времен Тридцатилетней войны 1618—1648 годов) 186

КРИТИКА

А. ЕЛИСТРАТОВА — Неприятная правда об одной «приятной» прогулке 194

Я. ЭЛЬСБЕРГ — Куда идут человек и литература? 198

ДЗЮН ЭТО — Молодые писатели Японии . . 213

4

1961

АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 216

ПОЛЕМИКА

Ф. ВИГДОРОВА — Об «опасных» школьниках и тенденциозных критиках 225

ПУБЛИЦИСТИКА

Заглянем в завтрашний день...

АЛЬБЕР ДЮКРОК — На пороге великих открытий 228
ТОЙН ДЕ ФРИС — По ту сторону Луны... . . 231
ИГНАЦЫ ВИЦ — Приметы будущего мира . 235

НАШИ ГОСТИ

Нгуен Конг Хоан рассказывает... 242

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ВИТАЛИЙ ГОРЯЕВ — Фред Эллис 246

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

В. Иванова — В огне испытаний. ◇ Борис Слуцкий — Первая заповедь. ◇ Эзра Левонтин — Леконт де Лиль в новом переводе. ◇ И. Лисевич — Он отдал сердце своему народу. ◇ Библиография новых изданий 258

Издано за рубежом

Б. Диденко — Самое дорогое имя. ◇ С. Ларин — Размышления у бронзовых врат. ◇ И. Левидова — «Четырехпалубный корабль» в стоячих водах. ◇ Лев Копелев — Русская и советская поэзия на немецком языке 263

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 269

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 271

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

Янош Фёльдеак

Я видел ЛЕНИНА

Перевод с венгерского Игоря Кобзева

В ДЕЛАХ НАШИХ СЛАВНЫХ ЖИВЕТ...

Словно руки семьи после долгой-предолгой разлуки,
Эта длинная очередь братски меня обняла.
Я иду и молчу... И притихли все шумы, все звуки:
Где душа говорит — замирают слова и дела.
Да нужны ли здесь речи, если в сердце скопилось такое,
Что словами и выразить, как ни пытайся, нельзя,
Если даже в молчанье все связаны мыслью одною,
Став роднее, чем братья, и дружней, чем любые друзья.

Я иду и молчу... И выносит нас к площади Красной,
Где раскинул витрины крупнейший в Москве магазин,
Где нарядные люди, где яркие летние краски,
Где зеркальные блики играют на стеклах машин.
Это царствует Жизнь! Это рвется из окон веселье,
Это шумная площадь здоровьем и счастьем бурлит.
А напротив — молчат часовыми застывшие ели,
И стоит мавзолей, весь из алых, пылающих плит.

Здесь сошлись Жизнь и Смерть в высочайшем своем
проявленье.
Жаль мне робких душой, кому гул ураганов не мил,
Бедных разумом, тех, кто ни разу в благоговенье
Не преклонит колен, даже если умрет целый мир!
Что им Ленин — таким, не шагавшим сквозь бури по кручам,
За которых другие выносят весь груз на плечах,
Чтоб всегда новый век был не хуже, а лучше и лучше,
Чтоб не гнула беда, чтоб несчастный не плакал в ночах!

Мир приносит сюда благодарность и благоговейность,
И влечет меня вместе со всеми людская река,
Чтобы мог передать я большую сыновнюю верность
Светлой Ленинской Правде, озарившей века!
Чтобы мог поклониться и я у стеклянного гроба
Человеку, чей гений, точно молнии блеск, навсегда
Расколол все законы обмана, насилья и злобы,
Что пытаются в мире утвердить господа.

Видеть Ленина! Быть у источника света!
О, кому это счастье нужней и понятней, чем нам —
Честным людям труда, пролетариям нашей планеты,
Всем воскресшим из мрака недавним рабам!
Как он все повернул! У купцов и банкиров
До сих пор при одном его имени зубы скрипят.
Им спасения нет. Над руинами старого мира,
Над враждою и злобой Октябрьские зори горят!

Нет, не чудо, что Ленин — всех живущих живее.
Сколько сделать он смог! Как раздвинул он наш небосвод!
Он прилег отдохнуть среди мраморных плит мавзолея,
Но в груди нашей дышит и в делах наших славных живет!
Я иду, как во сне, через шумную Красную площадь.
Рядом — девочка... мать и отец — вся семья...
Взгляд у девочки светится... Ветер ей кудри полощет...
Она только что видела Ленина, так же, как я.

ГОРОД РЕВОЛЮЦИИ

I

Переводчика мне не надо:
Сам подробно все разгляжу.
С жадной радостью по Ленинграду
От зари до зари брожу.
Видеть площади. Видеть зданья!
Видеть город чудесный весь!
Сколько радости от сознанья:
Может, Ленин ходил вот здесь?
Может быть, он лестницей этой
В день восстанья в Смольный шагал,
И в улыбке его победу
Пролетарий тогда читал.

Я завидую зданьям старым,
Тем, что видеть его могли,
Я завидую тротуарам,
Что следы его сберегли.
Я завидую невским водам,
Берегам реки и мостам,
Стенам Кировского завода —
Не забывшим его местам.
Эту зависть таить не надо.
Мне ее все равно не скрыть!
Но за встречу мою с Ленинградом
Как его мне благодарить?

II

Средь листвы играет с домами
Летних сумерек нежный тон,
Под светящимися облаками
Задремал ночной стадион.

Блеск Балтийского моря зовет и волнует.
На песке сушит крылья орел...
И ревниво смотрит на поцелуи
Тот, кто в парк без подружки пришел.

А вдали — темный контур Кронштадта.
Мачты врезаны в небеса.
Юркий катер спешит куда-то,
Вьется следом волн полоса...
И сквозь сумерки различимый
Мощный Кировский завод
Лесом труб и шапкою дыма
Подпирает весь небосвод...

Колыбель Революции! Все, кто
От меня сейчас гимна ждут,
Пусть услышат, как бьется сердце,
Пусть молчанье мое поймут.
Я легенды слагать не мастер,
Но сейчас я душой пою.
Как мне выразить мое счастье
И рабочую гордость мою?

Андре Стиль

ОБВАЛ

РОМАН

Перевод с французского Л. Лежневой

I

АНЖЕЛА ДАВЭН

Одни и те же условия, постоянно говорил их отец, одни и те же условия, как для одного — так и для другого. Понимаешь, Анжела? Мальчуган, который кончил школу, пусть он и не хватает звезд с неба, всегда устроится в жизни. Знаю, Альбер не станет корпеть над книгами, но не в этом суть. Если все у нас будет благополучно, дотянем его, чего бы это нам ни стоило. А вот у Бернара — конечно, он еще слишком мал и наперед ничего не угадаешь,— у того, кажется, есть склонность к учению. И тогда никто не скажет, что мои дети, подобно мне, на всю жизнь обречены работать в шахте. Одного вывести на дорогу, а другого нет — так нельзя, сама понимаешь... Между детьми нужно соблюдать равенство. Особенно когда у тебя двое сыновей. Удалось бы нам сделать дочку — может, еще не поздно, а?..— с дочкой меньше забот. Но два сына, нет, нет!.. Всегда и во всем равенство — верно тебе говорю.

Да. Смерть отца все перевернула. Отдать одному из детей предпочтение — такая опасность мне теперь не грозила. О школе больше и речи не было. Сама жизнь позаботилась о том, чтобы сыновья мои были во всем равны.

Смерть — великое горе. Не та естественная смерть от старости, истощения или от болезни, не та смерть, приближение которой видишь. Но смерть внезапная. Несчастный случай. Война. В один день, в одну минуту все изменяется неожиданно, необъяснимо. Так я осталась одна. Скоро уже десять лет. Правда, в то время еще многое было для меня возможно. Даже иметь дочку, о которой я не переставала мечтать, никому в том не признаваясь. Ну а что потом? Когда в дом входит смерть, вся жизнь ломается.

Одинаковые условия. Теперь они их получили — и прежде всего равную возможность быть убитым. Смерть! Иной раз можно подумать, что человек сам ее ищет, сам лезет куда не следует. Я потеряла сон. Бывают ночи, когда вовсе не так уж холодно, а я дрожу, как лист, в своей одинокой постели. Не могу сдержать озноб. Мне страшно. Страх больше не покидает меня. Все вокруг словно пропитано страхом. И это, конечно, старит меня больше, чем годы. Иной раз я спрашиваю себя, какой смысл одинокой женщине доживать свой век? Ведь жизнь, в сущности, уже кончена. Так незаметно можно и вовсе свихнуться. А там, того и гляди, начнешь разговаривать сама с собой. Сперва что-то бормо-

тать, потом шептать обрывки не то молитв, не то бессвязных жалоб, пока мысли у тебя окончательно не спутаются. Особенно если все порождает страх и все ведет к нему. *Боже мой, боже!.. К черту все!.. Спаси, господи!..* И чего только на ум не приходит. Это проступает изнутри, как испарина, как влага из губки. А кому откроешь душу? Некоторые женщины и в пятьдесят лет еще в соку, еще полны жизни, полны сил. Достаточно взглянуть на них. Я же чувствую, что во мне все заглохло, будто подернулось тиной. Иной раз эти гнетущие мысли одолевают меня целый день, и ничто не в силах их развеять. Не в силах? Силы порой так необходимы! Есть мысли ну словно из бетона. Они проникли в самую плоть. Растворились в крови. Они приходят на ум, когда сердце неспокойно. Иногда такое состояние тянется целые дни и недели, то спадая, то нарастая вновь. С тех пор как Бернар на войне, с тех пор как Альбер ночи напролет работает в шахте, перед глазами у меня одна картина: смерть их отца, особенно та минута, когда его, Фернана, принесли сюда мертвого... Они постучали в дверь, вон в то стекло... Как сейчас вижу...

Сегодня воспоминания особенно назойливы. Порыв ветра... Стучит щеколда, она стерлась и совсем не держится. Ну и пусть! Не сидеть же целый день под замком.

Внезапно дверь распахнулась... За ней на табурете стоял таз, полный воды, табурет, чем-то напоминающий треножник, неустойчив, скользит и шатается на каменном полу. Вода в тазу была не грязная. Я только что слегка убралась. Она могла еще пригодиться. Помыть руки... Смочить в ней тряпку, чтобы протереть столовую клеенку или дно котелка... Вода постоянно нужна. И вот таз, табурет, мыльница — все валяется посреди кухни вверх тормашками. На полу целое наводнение. И в ту самую минуту, когда я кинулась закрывать кухонную дверь, а в доме от сквозняка захлопали все остальные двери и пол как будто задрожал, в эту самую минуту Матильда — она стояла посреди своего двора,— заслышав шум, крикнула:

— Господи, Анжела! Опять ваш таз загремел?

Не впервой. Только дотронься до него — и он опрокинется. Уже все края оббиты. А дно в больших черных выбоинах. Надо быть осторожной, такие зазубрины острые, что о них можно оцарапать и даже порезать руки. Матильду все смешит. И я бы посмеялась, случись это у другого... Даже после смерти Фернана, спустя какое-то время... Нельзя же вечно плакать. Матильде хорошо смеяться, она давно избавилась от мучений с этой проклятой лоханью. Муж соорудил в кухне рядом с насосом цементную раковину.

— Как я погляжу, субботняя уборка у вас началась загодя,— крикнула Матильда.— Правда, Анжела?

Я что-то ответила, как и полагается в таких случаях, и, закрыв дверь, начала наводить порядок. Подняла этот дурацкий табурет, водрузила на него пустой таз, а подбирая с полу мыло и мыльницу, вдруг остановилась, словно что-то опять обожгло меня... Мыльница, маленькая коробочка из-под сардин, еще цела, она была и при Фернане, но так поржавела, что стала ни на что не похожа. Тысячу раз ее брали в руки и я, и дети, кто угодно, ни на секунду не задумываясь над тем, что она у нас уже очень давно. Почему же я вспомнила об этом сегодня, почему?.. Что-то вдруг меня поразило, но что именно? Быть может, то, как я взяла ее, или то, как провела большим пальцем по мокрой ржавчине? Предчувствие? Хуже всего, что отныне воспоминание будет всегда неотделимо от предчувствия. Я заколебалась. Но когда мне кажется, что ко мне вернулись воспоминания, я себе уже не доверяю. Не обманываюсь ли я? Воспоминания тоже причиняют мне боль, но все

уже в прошлом. Ничего не поделаешь. Теперь я больше всего страшусь предчувствия. Бернар?.. Альбер в этот час спит. Он вне опасности...

Я сижу на корточках посреди кухни. Посмотрел бы кто-нибудь на меня, что бы обо мне подумал... В левой руке — мыло, мокрое, скользкое, оно вырывается, как живой зверек, в правой — эта старая коробка. Мне все-таки удалось положить в нее мыло и водворить на место, на маленький кружок, соединяющий ножки табурета. Кружок этот постоянно мокрый, с него тоже все соскальзывает. Круглая коробка была бы устойчивей. Вспоминаю, что до этой коробочки мы пользовались какой-то раковиной, она валялась во дворе у Фернана с незапамятных времен, еще до нашей свадьбы... Годами мы клали в нее мыло в ту пору, когда дети были маленькие и их купали в том же тазу, в котором умывался Фернан после работы. Тогда шахтеры после работы не шли под душ. В один прекрасный день раковину разбил Бернар. Ему было шесть лет. Он хотел поставить сабо отца на камень у самого очага... Отец увидел и, притворившись рассерженным, закричал:

— Ты мне их сейчас расколешь, сто чертей в ступе!

Мальчик испугался. Поспешил бросить их, я же испугалась за него больше, чем за сабо, ребенок мог упасть с камня, свалиться в очаг. Один башмак полетел на пол и разбил раковину, бог знает, почему она там стояла. Собирая осколки, я вспомнила о муравьях, которых терпеть не могла... Они выползали из-под очага, как это, впрочем, часто бывает. Теперь муравьев больше нет. Странно, в одном году они есть, в другом — нет. Никто в ту минуту не пожалел о раковине. Осколки выбросили в навозную кучу в саду. Уверена, что, порывшись хорошенько, их еще можно там найти. Чем только не заменяли эту мыльницу! Была война. Всем приходилось туго. Все шло в дело. И только сожаление обо всем, даже о нужде — ведь мы могли делить ее вдвоем,— придает такую значительность вещам, которых раньше и не замечал.

И вот я стою посреди кухни... Вокруг меня на полу вода, а я сама тону в воспоминаниях о той минуте, когда десять лет назад принесли моего Фернана...

* * *

Когда умер Фернан, пожалуй, самым страшным для меня было то, что я ничего не знала о его работе. И до сих пор не знаю. И конечно никогда не узнаю, как все это с ним произошло. Его гибель покрыта для меня глубоким мраком. Не только мраком могилы, но прежде всего мраком полного неведения, ведь я не представляла себе, что такое шахта. Единственное, что осталось во мне на всю жизнь,— это сознание того, что мой муж был раздавлен... Под *кровлей* — сказали мне потом, уже позднее, через полчаса, через час, предполагая, что первое потрясение прошло и я в состоянии все выслушать. Будто меня могла утешить, могла облегчить мою боль мысль, что Фернан стал жертвой не обычного обвала, а был раздавлен огромной глыбой и что случается это не часто...

— *Настоящий дом!* — повторял на другой день Жюст Морель, когда пришел проститься с Фернаном, перед тем как тело положат в гроб.

Он работал, этот Жюст Морель, всего лишь в каком-нибудь метре от Фернана и уцелел чудом. Его только ударило в плечо стойкой, которую выбила глыба. Но и от этого все плечо и лопатка у него посинели, как синеет апельсин в вине, словно кровь превратилась в чернила. После того как тело положили в гроб, поставленный в нашей комнате, Жюст Морель поднял свою рубаху и показал кровоподтеки. Еще не оправившись от потрясения, он безостановочно твердил:

— Фернан Давэн, вот был друг, уж я-то могу это сказать!..

Жюст сел, уперся локтями в широко расставленные колени и, не поднимая головы, глядя куда-то в пол, продолжал со слезами на глазах:

— Несчастный Фернан! Не сыскать больше таких друзей, какими были мы с тобой!.. До последней минуты, Анжела, до последней!..

Он никак не мог уйти, словно хотел как можно дольше оставаться с Фернаном. Старый Грегуар, теперь уже пенсионер, на чьих глазах они оба, Жюст и Фернан, еще мальчишками впервые начали работать в шахте, сутки не выходил из нашей кухни. Меня он не утешал, предоставляя это женщинам, но без конца повторял:

— Ну, ну, Жюст, подтянись! Тут уж ничего не поделаешь. Его не вернешь. Ступай, ступай домой!..

Грегуар жил рядом с нами, знал Фернана с детства и был как бы членом нашей семьи. И Жюст тоже оставался у нас до самой ночи. Казалось, какая-то сила помимо воли удерживает его на этом стуле. А Грегуар сидел на другом. Меня же усадили в кресло, вон в то камышовое кресло, доставшееся Фернану по наследству от отца. Чтобы я не упала. Со стула я бы свалилась.

Жюст, пожалуй, единственный знал, как все это произошло. Из его рассказа я запомнила лишь, что после обвала поднялась страшная пыль, и долгое время ничего нельзя было различить. Слышно было только, как Фернан кричал:

— На помощь!.. На помощь, Жюст!.. На помощь!..

— Я здесь, Фернан!..— отвечал Жюст.— Здесь! Я уцелел, сюда идут!..— И, не зная, что предпринять, повторял: — Я уцелел!.. Я уцелел!.. Сейчас придут... Тебя вытащат...

Однако ему самому было страшно. Земля продолжала гудеть, словно первый обвал не принес ей облегчения, словно все вокруг готово было рухнуть. На месте оторвавшейся глыбы образовался огромный купол, рассказывал Жюст, и это повлекло за собой другое несчастье. Крепь смело начисто, ее как не бывало. Теперь вся выработка могла обрушиться. С минуты на минуту. Но, несмотря ни на что, Жюст оставался на месте, ощупывая куски породы, пытаясь приблизиться к Фернану, как-нибудь обойти завал. Жюст слышал крики, доносившиеся с нижнего штрека. Он знал, что сейчас придут, и даже не звал на помощь. Фернан тоже умолк. Убедившись, что Жюст рядом, Фернан тихо бормотал одно и то же:

— Жюст! На помощь! Поторопись, старина!..

Фернан был завален по шею. Глыба придавила ему ноги чуть ли не до колен. Верхнюю часть туловища засыпало мелкой породой. Чтобы откопать его, потребовалось два часа. Долгое время люди не теряли надежды, так как Фернан еще был в сознании. Быть может, что-нибудь защитило его. Раз он еще жив. Прежде чем к Фернану подошли, ему удалось собственными усилиями высвободить руки, слышно было, с каким трудом он отталкивается от глыбы, пытаясь вырваться из-под нее, как... даже подумать страшно... как муха, что завязла в меду, у нее оторвано брюшко, а она, бедняжка, все еще продолжает копошиться, пытается взлететь... Фернан шептал:

— Жюст!.. Мне больше никогда не ходить... Я не чувствую ног...

Пришлось делать подкоп, чтобы его вытащить, к счастью, почва оказалась податливой. А разбить или поднять глыбу — об этом нечего было и думать. Через час Фернан попросил воды. Однако никто не рискнул дать ему напиться. Нередко при таких повреждениях это приносит скорее вред, чем пользу. Жюст, тот больше всех надеялся. У него так ныло плечо, что временами, чувствуя сильную слабость, он готов был лечь на

землю. Раз Фернан все еще в сознании, значит, его придавило не так сильно, как опасались... И Жюст говорил:

— Помолчи... Ноги у тебя онемели от удара... Все это пройдет, скоро тебя вытащат.

А сам Жюст — потом не раз об этом рассказывал — в то же время думал: «Только бы остальное не рухнуло!..»

Теперь Фернана спасали уже человек двадцать, и только двое-трое пытались восстановить крепь, скорее для вида, не веря в успех. Они находились на глубине трехсот двадцати метров. Нависшая над ними толща породы и угля — все эти триста двадцать метров,— словно войдя во вкус, напирала со всей силой.

Фернан не жаловался на боль. Но вскоре он заплакал от жажды. В течение часа его мольбы становились все настойчивее и настойчивее. Нельзя, никак нельзя было дать ему воды. Под конец у него так пересохло во рту, что он больше не мог говорить.

— Горит! Жжет!..— чуть слышно стонал он.— Как огнем!.. Ради бога, если вы люди, одну каплю!..

Фернан начал заговариваться, а как только его высвободили, неожиданно потерял сознание. Тогда стало ясно, что его уже не спасти.

Чернота шахты и мрак смерти, густая угольная пыль, неизвестность, глубина, на которой это произошло, словно пропасть, отделяли меня от случившегося. Я как посторонняя слушала, что говорили другие. Видела, как люди приходят и уходят. Разные. Все время другие. Вещи тоже появились будто сами собой. Гроб. Черные дроги, траурные полотнища на дверях, вся эта похоронная торжественность. А я?.. Минутами мне хотелось уверить себя, что произошла ошибка, что все это какой-то дурной сон, что я не имею права соучаствовать в преступлении... Одно-единственное усилие — и я не совершу его, оно не коснется меня. Удар пройдет стороной, не заденет моей жизни, нашей жизни — моей и Фернана. Пожалуй, еще не поздно. Все случилось в том мире, где меня не было. Я не хотела этому верить, необходимо возвратиться назад, к *началу,* к той секунде, когда я могла еще сказать свое слово. Впрочем, это так же бессмысленно, как и все остальное. Соседки принесли траурное платье, вместе прикидывали, впору ли оно мне...

Фернан не раз объяснял и мне, и детям... Рудничный двор, штреки, ствол, опирающаяся на крепления кровля, горное давление, которое только того и ждет, чтобы обрушить на головы людей миллионы тонн породы, и ищет слабых мест, чтобы хлынуть, как вода в расселину... Море породы, сотни метров толщи над узкими извилистыми выработками, плохо защищенными, сопротивляющимися изнутри, кольчатыми и сегментированными,— точь-в-точь сороконожки, которые хрустят, когда наступаешь на них... Не видя, трудно это представить себе, понять. Но когда в игру вступает смерть, понимать уже вообще незачем. Вчера Фернан, сегодня Альбер... Не знаю, конечно, но иногда мне кажется, что сын, как в свое время его отец, тоже презирает смерть, пренебрегает опасностью. Постоянно думаю об этом. Мне ли их уберечь? Могла ли я уберечь Фернана, даже если бы знала?.. Уберегу ли Альбера, если буду знать? Есть чувства, которым не прикажешь. И это те чувства, что порождают печаль и радость, хорошие или дурные сны, вкус к жизни, любовь к своему делу. Человек не властен над собой... Альбер ни за что не хочет объяснить мне, каково там, внизу, на его опасной работе в темноте, в вечной темноте. Он, должно быть, угадывает мое желание разобраться во всем том, что произошло с его отцом, яснее представить себе его гибель. Альбер не хочет будить во мне воспоминания, за эти десять лет они ушли глубоко внутрь, но они не стали от этого менее мучительными.

В тот день Матильда постучала в дверное стекло. Она крикнула:

— Вот они, Селина!

И прибавила:

— Боже мой, Селина!

Потом заплакала. Уже два часа как нас предупредили, мы ждали целых два часа. Селина, сестра Фернана, прибежала сразу, как только об этом разнесся слух. Она хотела быть со мной. К ней первой обратилась Матильда. И правильно сделала. Не только потому, что Селина старше меня на пять лет, но еще и потому, что я как бы перестала существовать. Когда Матильда закричала: «Вот они!» — во мне шевельнулось что-то похожее на любопытство, я встала, чтобы подойти к двери. Но когда Матильда воскликнула: «Боже мой, Селина!» — и заплакала, силы как-то сразу оставили меня, и я упала. Так я ничего и не видела. Ни кареты скорой помощи, ни носилок, ни санитаров... Когда я пришла в себя, Фернан уже лежал на кровати в нашей комнате, с головой закрытый простыней. Улица была безлюдна, скорая помощь уехала. В доме остался товарищ Фернана, которого я не знала. Он стоял у изголовья. С одной стороны меня поддерживала Селина, а с другой — старый Грегуар; широко расставив руки, словно боясь прикоснуться ко мне, он был готов в нужную минуту подхватить меня. Вошла Матильда, но остановилась в сторонке, в самом дальнем углу, закусив зубами платок.

Я захотела взглянуть на Фернана.

Товарищ Фернана откинул простыню с его лица. Силы вновь оставили меня. В глазах потемнело. Все куда-то уплыло. Но я не упала. Я напрягла всю свою волю, чтобы не упасть, чтобы получше разглядеть лицо мертвого Фернана, которое я увидела только мельком. Хотела насмотреться на моего Фернана, прежде чем его вновь закроют. Едва я взглянула на него, как Матильда подошла поближе и тихо сказала за моей спиной:

— Он такой, каким был всегда... Не изменился... Бедный Фернан!..

Неправда! Лицо у него распухло, отекло, оно было краснее обычного, с легкой синевой. От носа к подбородку шли две резкие лиловые полосы. Совсем как на спине у Жюста. Но Матильда, щадя меня, считала нужным не заметить этого...

Мучительнее всего для меня было то, что я не могла плакать. Ни слезинки не выкатилось из моих глаз. Я словно окаменела. С тех пор это стало для меня плохим предзнаменованием. С того дня как мой Малыш на войне, я тоже ни разу не заплакала. Когда от него приходят письма, когда передают новости по радио... Рада бы заплакать, но... Раньше я часто плакала по пустякам, плакала над чужим горем. А сейчас ни одной слезы. Глаза мои сухи. Я словно скована, лишена воздуха, совершенно одинока. Нет ни помощи, ни облегчения, меня будто заперли, а сердце сдавлено так, что порой мне кажется, вот-вот я упаду.

Я взялась за край простыни, бросила взгляд на стоявших вокруг. В эту минуту товарищ Фернана посмотрел на Селину. А Селина, положив свою руку на мою, сказала:

— Не надо, Анжела... Я бы на твоем месте...

И она оторвала мою руку, вцепившуюся в край простыни. Все поняли, что я хотела взглянуть на Фернана, на его грудь, ноги... Никто не проронил ни слова. Я и сама боялась... Боялась Фернана! Я упала на колени. Никогда я так не целовала его, крепко, долго — и лицо, и лоб, и щеки, и глаза. Лишь ощутив, какой он холодный, я позволила увести себя. Вот и все, что я сумела увидеть. Остальное навсегда будет для меня окутано мраком, пылью, неизвестностью.

А потом?.. Потом, когда стихает волнение и возвращается дар речи, ты начинаешь вспоминать:

— Только вчера Фернан сказал мне... Кто бы мог подумать, что сегодня?..

Так говорят всегда. Накануне, как и в другие дни, не произошло ничего особенного. Но таков уж обычай, так издавна повелось: стараются вспомнить о каком-то предчувствии, предвестнике несчастья или, наоборот, ищут доказательств существования слепой неумолимой силы. И всегда находят. Любой, самый будничный день жизни — это всего лишь канун смерти.

— ...Фернан говорил мне: «Решено, в воскресенье, если ничего не случится, я займусь садом!..»

— Насчет сада не беспокойся, мой придет поможет,— тут же отозвалась Селина, будто дело было только в этом.

А потом?.. Похороны. Знамя партии. Бархатные гранатового цвета стяги общественных организаций. Шахтерский духовой оркестр, траурный креп на барабанах, приглушенные, медленно плывущие звуки музыки, тоже бархатные. И изувеченное тело Фернана навеки ушло от меня, озаренное этим ласковым пламенеющим светом.

А дальше? Дальше началась жизнь ради детей.

* * *

Откровенно говоря, я всегда боялась шахты. Даже когда не думала о ней. Даже когда мне удавалось забыть о ее существовании. Этим-то и объясняется страх Бернара, никто меня не разубедит. Когда родился Альбер, Фернан еще работал на поверхности, в душевой. «Поверхность» — уже одно это слово успокаивает. Когда родился Бернар, Фернан почти год как работал на взрывных работах в шахте. Я не могла с этим свыкнуться. Это отразилось на ребенке. Позже сказалась разница между Альбером и Бернаром.

Альбер — весь в отца, он тоже не знает страха. Рассказывая о том, как Фернан старался высвободиться и как он до самого конца владел собой, Жюст все время повторял: «Этот человек был из железа!» Альбер той же породы. И он, не задумываясь, перешел с поверхности под землю. А женившись, мой сын, чтобы побольше заработать — я всегда его за это корила,— сам попросился на ночную работу. Я и поныне не знаю, что он там делает, но по одному лишь слову «взрывные» догадаться нетрудно.

Бернара шахта не привлекала. Он с первых же дней хотел сбежать оттуда. Конечно, на поверхности он зарабатывал бы гроши. Ему шел уже восемнадцатый год, и с его желанием приходилось считаться. Несколько месяцев он все-таки продержался, хотя из шахты после рабочего дня выходил мертвенно-бледный... Трудно ему было... Вначале он не скрывал этого... Потом затаил страх. Должно быть, стыдился... Мне это так не нравилось... Когда что-нибудь скрывают, это обычно к добру не приводит.

Альбер ему очень помогал. Малышу и впрямь повезло со старшим братом... Их всегда так называли: старшего — *Большой*, младшего — *Малыш*. И, как водится, младшего больше баловали. Ему было только восемь лет, когда погиб отец. Бернар и впрямь мамин сын, ведь он рос без отца. Альбер, которому едва исполнилось двенадцать, после смерти отца сразу повзрослел на несколько лет.

Солдат мирного времени, Альбер старался в письмах или когда приезжал домой на побывку втолковать Бернару, что зря он так боится. Но

преодолеть страх мальчик был не в силах. Как он ни старался, как ни пытался совладать с собой, а все-таки однажды совершил глупость. В то время еще нельзя было сказать с уверенностью, что это глупость. Однако сделанного не вернешь. Когда раскаиваться поздно, всегда находишь оправдание... Подрядился, так уж держись...

* * *

Вчера Оскар Ренар...

Слышу, как Матильда на своем дворе, смеясь, кричит:

— Это ты, почтальон!.. Не зайдешь ли поцеловать меня?.. Муж мой где-то там...

Почтальоны ко всему привычны. Известно, чем больше болтовни, тем меньше дела. Матильда, конечно, не изменяет мужу. Наверно, и желания у нее такого нет... Но она очень любит похохотать во все горло, любит во всеуслышание поговорить, никого не стесняясь, о запретном. Ей нужно, чтобы ее смех, ее острое словцо были слышны всюду, чтобы они облетели улицы, сады, дома — все вокруг. Ну и голосок у нее!.. Труба иерихонская! Чувствуется, что это ее развлекает, дает ощущение свободы. Может быть, это невинные шутки, но я на месте ее мужа... такого бы не потерпела.

Оскар, по обыкновению, не остается в долгу. Редко какой мужчина не любит побалагурить.

Но вчера, когда я услышала голос Матильды, у меня внутри все оборвалось. Я полоскала белье. Наскоро вытерла руки о передник и поспешила к калитке. Каждое утро одно и то же.

Оскар увидел меня. Ему уже не до шуток. Он не отвечает Матильде. А та не отстает:

— Ты меня больше не любишь? Или боишься Фреда? Он спит! Пойдем, он подвинется!..

Матильда не заметила меня.

— У меня сегодня дела поважнее! — кричит в ответ Оскар и, не глядя в ее сторону, соскакивает с велосипеда.

Он пересекает мостовую, подталкивая рукой велосипед, а звоночек дребезжит на выбоинах...

— Анжела, для тебя и сегодня ничего нет.

И все-таки он на секунду задерживается. Если случится мне проглядеть его приход, он просунет голову в калитку, даже когда для меня нет письма... Он знает, что я жду, и понимает, что́ я переживаю. Для человека с сердцем профессия почтальона, наверно, очень трудна. Вручив мне письмо, он всегда ждет, пока я прочту его. Если у него есть дело где-нибудь рядом или в другом конце поселка, он ждать не станет, но, вернувшись, спросит:

— Ну что, добрые вести?

Я хоть и понимала, что он тут ни при чем, вчера все-таки не сдержалась и чуть ли не с упреком сказала ему:

— Вот уж целую неделю я ничего не получаю.

— Завтра, Анжела, обязательно... Чувствую, оно в пути. У меня есть нюх.

— Хорошее письмо, а?..

Когда Фернан был жив, Оскар и мне говорил всякий вздор. Но после смерти Фернана — ни разу. Он ведь человек порядочный.

Вчера, подойдя ко мне, он, нахмурившись, сказал:

— Да, Анжела, для матери это мука!..

— Скажу тебе по совести, Оскар, мне белый свет не мил...

— Ты ведь знаешь, те, кто на государственной службе, не имеют права болтать. И я тоже все больше помалкиваю, но тут не могу не спросить: зачем он завербовался?

— Да не завербовался он! Просто пошел в армию досрочно!

Слова эти я почти выкрикнула.

— Это одно и то же,— возразил Оскар.— В наше время!..

— Но ведь он поступил так еще до того, как... Кто мог знать...

— Что ни говори, а он там.

Я вернулась в дом, досадуя на Оскара. Вскоре Альбер проснулся, и хоть мне огорчать его не хотелось, но я все ему рассказала.

— А я не удивляюсь,— только и ответил Альбер.— Меня об этом уже спрашивали.

* * *

Альбер мало говорит, но не меньше меня боится за Бернара. Каждый день, просыпаясь часов в двенадцать, он спрашивает, нет ли письма. И постоянно просит, чтобы его разбудили, если случится что-нибудь важное. Может быть, теперь он поймет мои переживания!.. Ведь мне-то страшно за обоих. За Альбера тоже. Долгие бессонные ночи. Никто не знает, что это значит. Работа Альбера в шахте хорошо оплачивается... Славу богу и за это... Но разве назовешь работой то, что он делает? Все говорят, что нет ничего опаснее. Правда, Альбер все время твердит: «Везде опасно!»

Свидетельство тому — судьба его отца...

* * *

Многие считали, что Бернар добровольно отправился на войну в Алжир. И от этого мне еще тяжелее.

Помню все, словно это произошло вчера... Что меня поразило и чего не могу забыть — никогда я не видела, чтобы мои дети уставились друг на друга, как два драчливых петуха. После смерти отца отношения в семье становятся теплее. Все сближаются. У нас в доме не бывало и намека на ссору. В то утро...

Альбер, насвистывая, чинил висячую лампу. Ничего особенного не предвиделось. Мы втроем только что выпили кофе. В последнее время лампа «пошаливала». Альбер решил разобрать ее. Он влез на стол и, стоя на коленях, отложив в сторону абажур, снимал провод с фарфоровых роликов... Один ролик уже давно был надбит. Постепенно сработался желобок. В этом месте провод заедало. Как всегда, Альбер во время работы насвистывал: резко и громко, когда брался за молоток или пилу, и заливаясь трелями, когда отделывал что-нибудь более тщательно. Казалось, свистят не только его губы, но и руки, и пальцы.

Бернар неожиданно выпалил:

— Не могу больше! На днях меня убьет, вот увидишь!

Он помолчал и добавил:

— Это как на войне, погибает тот, кто боится. Нужно найти другую работу.

И снова умолк.

Альбер промолчал.

Тут Бернар сказал, словно в воду бросаясь:

— А не пойти ли мне досрочно?.. Я бы выиграл время. Отслужу, вернусь и спокойно подыщу себе другую работу.

Альбер перестал свистеть, но продолжал работать. А может быть,

только делал вид, что работает. И наконец, даже не взглянув на Бернара, сказал:

— Не мели вздор! И думать не смей! Мам, это он так, болтает...

Бернар как будто только спросил. Надеялся ли Альбер переубедить его, помешать его намерениям или действительно не принимал всерьез слова младшего брата? А может быть, он только вида не подал? Или, наоборот, почувствовав, что надвигается нечто серьезное, хотел предотвратить опасность?..

— Я решил,— сказал Бернар.

Вероятно, он давно об этом думал, но от нас скрывал. Он был бледен...

Альбер перестал работать, оставил на столе абажур, провод и инструменты. Слезая, он слегка ударился коленом об угол стола. Но сдержал себя, не стал браниться и, потирая ушибленное место, закусил губу. Ему хотелось по-прежнему казаться спокойным, однако боль в колене мешала — и это было заметно.

— Ты сказал неправду? Пошутил?..— спросил он.

— Сущую правду,— ответил Бернар.

— Ты не понимаешь, что делаешь,— возразил Альбер.— Клянусь тебе, я счастлив, что уже отслужил! И еще скажу тебе, что к концу службы, когда дела в Северной Африке приняли дурной оборот, мы не раз со страхом подумывали, не отправят ли нас туда...

Я тоже была против. Но просто так, без особой причины. Я считаю, что дети всегда слишком рано уходят из дому. Никогда не знаешь, что с ними стрясется. Пока они с тобой, под присмотром...

— Призывников не пошлют.

— Как бы не так! Тебе об этом заранее доложили?.. Постесняются, что ли?

Я тоже считала, что Альбер преувеличивает. Для Индокитая они уже набрали добровольцев. Хватит. Но я была рада, что Альбер возражал.

В одном они оба похожи на отца — ни тот, ни другой не могут минуты сидеть без дела. Помню, в то утро Альбер машинально взял со стола отвертку и стал вертеть ее в руках. А Бернар орудовал совсем новеньким гвоздем и говорил:

— Конечно, ты вовремя вернулся! Ты уцелел. Я до твоего возвращения не ушел, не оставил бы мать одну. Ну а сейчас, раз ты здесь, я могу уехать. Ты и сам говорил, что в Алжире заваривается каша, значит... Если я буду ждать своей очереди, то, возможно, рискую бóльшим. Тем разумнее явиться немедленно!..

Бернар был упрям. Не глядя на нас, он просунул острие гвоздя в щель за рейку, которая придерживает на столе скатерть...

— Не порть, по крайней мере, скатерть, Бернар!

До сих пор я молчала. Поэтому он мог считать, что я скорее согласна с Альбером.

— Во всяком случае,— сказал Альбер,— даже в мирное время армия есть армия. Ты не боишься, что на тебя косо посмотрят? Подумают: а нет ли у него задних мыслей? Кто знает, чем это кончится? Еще скажут: «Сын Фернана Давэна...»

Бернар, вытащив гвоздь из рейки, снова воткнул его в стол, нажимая все сильнее.

— Что ты делаешь со скатертью, Бернар?..

Я сказала это тихо, но Альбер вне себя ударил отверткой по гвоздю, к счастью не задев пальцев Бернара. Гвоздь подпрыгнул и молнией полетел в угольный ящик за плитой на другом конце кухни...

Никогда я не видела, чтобы Альбер так вспылил. Бернар удивился не меньше меня. Пожалуй, не меньше самого Альбера, а тот, казалось, раскаивался в том, что сделал, но было поздно.

Бернар обошел вокруг стола, вынул гвоздь из ящика, снова положил его на стол между инструментами и тихо сказал:

— Думай что хочешь, но я уйду, не могу иначе.

Целыми неделями они не переставая спорили, что, однако, не помешало Бернару в конце концов ринуться прямо в пасть волку. Альбер вовремя вырвался из нее, Бернар же бросился в ту же пасть, не слушая никаких увещеваний.

Вначале он спокойно провел пятнадцать месяцев в Германии в подразделении альпийских стрелков — тоже придумали!.. У нас здесь вместо Альп одни лишь терриконы... Из Германии Бернара послали прямо в Алжир, даже отпуска не дали. Там тоже есть горы. Просто не верится. Колония... Считается, что пустыня плоская. Я уже об этом думала. Конечно, туда отправляют различные войска... Однако, не будь там гор, горные стрелки, возможно, туда и не попали бы. Однажды, еще в то время, когда Бернар находился в Германии, я, не говоря никому ни слова, поднялась на чердак, чтобы порыться в старых школьных учебниках. И нашла географическую карту. Меня как громом поразило, когда я увидела на ней темно-коричневые линии. Горы. И даже много гор. Мне пришлось перелистать кучу запыленной бумаги и тетрадей в обертках из обоев, и я вспомнила, что обертки эти сделаны моими руками.

Было плохо видно, потому что я стояла далеко от окна. Я вытерла книгу передником и положила в уголок почище. При этом я молила бога, чтобы мне не пришлось снова прийти за нею. Но, если понадобится, буду все-таки знать, где искать ее...

Бывают минуты, когда я думаю: который из двух? Кто из них вернется ко мне, как Фернан, мертвым? Который из двух?

Когда мне становится невмоготу, я встаю с постели — это всегда находит на меня ночью — и тихо похаживаю или сижу одна, не зажигая огня, стараясь не шуметь. Если бы Клара услыхала, что я не сплю, она сразу прибежала бы узнать, не больна ли я. Говорят: по свекрови и невестка... О моей, право, ничего дурного не скажешь. Я поступила правильно, что отдала им половину дома. Еще говорят: женился — отделился. Но со мной им лучше. Когда появится ребенок, Клара будет довольна, что я тут. А ребенок конечно появится. Не зря же они время теряют?.. Они его заказали сразу, иначе и быть не могло.

Хорошо еще, что такое не случилось с Бернаром. Хорошо, что между ним и той девушкой все кончено, а то что бы он делал с нею и с ребенком?.. Подумать только, после первого же разговора на балу!.. Нет, грош ей цена!.. Клара и Альбер, те по крайней мере дотянули до свадьбы. Впрочем, легко судить других... Фернан получил меня тем же манером... И это не помешало нам быть счастливыми... Но то — Фернан... Впрочем, может, и Бернар для кого-то Бернар... Законы тут не писаны. Выводы приходят потом. Как в баснях — мораль всегда в конце. Тем не менее, хотя с Бернаром у нее все кончено, я очень хотела бы, чтобы у девчонки не было неприятностей. Правда, он сам решил уехать, все это так, но она безусловно не подходила ему... Хорошо бы мы выглядели, если бы у них был ребенок... А может, Бернар тогда не уехал бы. Но разве с судьбой сладишь? Она что кошка. Как бы ты ее ни швырнул, всегда встанет на лапы. Разве угадаешь, что тебе уготовила жизнь и как все обернется?

А пока речь идет обо мне, о моих детях. Я как-никак свое отжила. Но они?.. Который из двух?

II

БЕРНАР

Дорогая мама!

Думаю, мы наконец доехали. Все это время было не до писем. Хотел написать вчера, не хватило времени. Позавчера я послал тебе поздравительную открытку, но это письмо наверняка прибудет раньше, потому что уйдет авиапочтой. А открытка пошла морем, я побоялся, что самолету не поднять ее.

Должен сказать, что мы немало постранствовали. Нас погрузили в вагоны для перевозки скота, но сто пятьдесят километров мы ехали по чудесным местам, и это помогло на время забыть о наших невзгодах.

Здесь мы охраняем ферму. Живем тихо и мирно, если можно так сказать, но все же... Это спокойный участок. Хозяйка ко мне благоволит. Прежде чем сесть писать, пришлось налаживать освещение. В комнатах нет электричества, но мы не жалуемся, особенно когда сравниваем себя с теми, кто остались в лагере и зябнут в палатках. Как мы и предполагали, ночи здесь очень холодные, и, так как нет простынь, мы спим одетые, завернувшись в два больших одеяла. Днем бывает очень жарко. Мы ходим в шортах и футболках. Скоро станем черными от загара.

Видишь, тебе нечего волноваться. Я бы не сказал, что не сожалею о сделанном. Если бы я поступил иначе, то, возможно, избежал бы всего этого. Но все равно, я думаю, что слишком долго это не продлится, во всяком случае для меня; однако мне повезло, я попал в спокойное местечко, где нет никаких происшествий, и надеюсь в скором времени выкарабкаться отсюда целым и невредимым. Плохие времена пройдут, не беспокойся.

Пиши мне часто, не дожидаясь ответа. Каждый день я стою шесть часов в ночном карауле и шесть в дневном. В лагере после двух ночных полагается два дневных дежурства, но здесь нас мало, вот почему так часто приходится стоять в карауле!.. Итак, как видишь, у меня есть время думать о вас... Жду писем от тебя, а также от Альбера и Клары. (Он, вероятно, говорит, что был прав.) Марки не надо, пиши «Армейское», и они пусть так пишут.

Крепко целую тебя, дорогая мама, Альбера и Клару, надеюсь вскоре увидеться.

Любящий тебя сын Бернар.

P. S. Завтра собираюсь выслать разрешение на посылку, используй по возможности, только не в ущерб себе, эти талоны обещали выдать завтра. Еще раз крепко целую.

Сегодня я жалею о том, что сделал, пожалел об этом и тогда, когда мы узнали, что нас отправляют в Алжир. Но в пути я ни секунды так не думал. Здесь я чувствую себя совсем по-иному. Возможно, сказывается перемена климата. А сколько я повидал! Ничего подобного даже представить себе не мог. Ведь дальше Парижа я вообще нигде не бывал... Вокруг все так живописно, как на почтовых открытках, не верится, что это настоящее. Тут все просто ослепляет. Кипарисы! Оливковое дерево, которого я раньше никогда не видел. Ни за что не поверил бы, что оно может быть таким узловатым, таким живым и трепетным, как человек. И морем никогда не ездил. Море я однажды видел, во время прогулки в Остенде после окончания школы. Но то было северное море, да и день выдался туманный!.. Здесь не перестаешь удивляться. Какие виды! Какая растительность! Одним словом — Алжир. Прикоснешься — уколешься. Кактусы, те, что у нас не больше винной ягоды, здесь — вышиной с дом, толщиной — с трехфунтовый хлеб, никто их не сажает, они растут сами по себе, тесня друг друга на обочинах дорог, а колючки у них как маленькие остроконечные стрелы. Все, что женщины с трудом выращивают у нас в горшках, здесь в десять раз крупнее и растет прямо под открытым небом всюду, даже на свалках. Когда ты в походе, всегда

что-нибудь цепляется за штанину. И даже в горах, там далеко, среди обломков скал, в каждой расселине, на каждом бугре пред тобой встают деревца, тоже покрытые мелкими колючками, они царапают плечи, уши, путаются в волосах, и ты думаешь только, как бы выбраться отсюда живым.

Не знаю, чем это объяснить, но я себя совсем не узнаю. Воздух тут другой, что ли? Здесь меня всегда клонит ко сну. Да и, говоря по правде, поспать вволю никогда не удается. Вначале мы думали, что на ферме все будет по-иному. В Германии жизнь вне лагеря была куда легче.

Там без конца маршировали с полной выкладкой. Непрерывно. Перед отправкой в Алжир они просто хотели доконать нас, уморить до предела, чтобы мы стали совсем бесчувственными и думали лишь об одном: поскорее бы только убраться отсюда!.. Полковник, бывало, скажет: «Ну, хватит маршировать. Я вижу, все устали. Сегодня после полудня займемся стрельбой». А стрельбище находилось в десяти километрах.

Вспоминаю первые дни в окрестностях Алжира... По вечерам мы бывали свободны. Начальство приказало ослабить вожжи. Большой город. Пляж. Все с облегчением вздохнули. Говорили друг другу: «И это война? Вот и слушай каждого пустомелю!» Когда нас перевели в лагерь, в горы, там, конечно, пошла другая жизнь. Палатки, караулы, боевые операции. Куда хуже, чем в Германии, и гораздо опаснее.

На ферме, правда, не так тревожно, зато приходится подолгу простаивать на часах. Чувствуешь себя как в тюрьме. Спим чуть ли не стоя. Шагаем словно в полусне. Из-за жары не соображаешь, где ты и что делаешь...

Удивительно, до чего изменилось мое отношение к Колетте. Я почувствовал это в поезде, когда смотрел на горы, на извилистые тропки, которые то поднимались, то спускались среди мастиковых деревьев и зарослей можжевельника. Я быстро запомнил названия ручейков, поблескивавших на дне ущелий, таких глубоких, что смотреть страшно. С некоторых пор во мне пробудилась какая-то необъяснимая нежность, какое-то беспокойство. Внутренний голос подсказывал мне: разберись во всем этом, и будешь счастлив... Мне не пришлось долго ломать себе голову... Я понял, чего мне хочется: прогулок с Колеттой вдали от людей, на лоне природы. Мы могли бы прятаться в полюбившихся нам укромных уголках, а могли бы и вовсе не прятаться. Колетта! Ведь я о ней не вспоминал уже долгие месяцы! Не слишком ли поздно вспомнил? Я поступил с ней бессердечно. В то время я был весь поглощен предстоящим отъездом и не очень-то интересовался ее мнением на этот счет. Позже совесть немного мучила меня, но Колетта уже не верила мне, ее письма были полны упреков. И потому вместо угрызений совести я почувствовал злость. Не желает меня понять, тем хуже для нее! К тому же я считал, что ничего особенного между нами не произошло. Разве я ее хоть сколько-нибудь принуждал?.. Отнюдь нет. Не захотела бы она... Когда женщина не хочет, ничего вы с ней не сделаете, уж поверьте. Легионеры?.. Совсем другое дело! Те либо пугают оружием, либо сразу пускают его в ход. Здесь, в Алжире, стоит нам взять на прицел какую-нибудь деревню, как все женщины сразу прячутся. До нас тут побывали легионеры. Женщины думали, что с нашим приходом все начнется сызнова... В деревне ни одна не ускользнула от рук легионеров, ни старая, ни молодая. Мне было бы еще тяжелее, если бы я считал, что в первый же вечер нашего знакомства воспользовался Колеттой против ее желания... Я слегка подвыпил. Мы слишком много танцевали. Весь вечер, и только

вдвоем. Когда бал кончился, мы не могли расстаться просто так. Нас, как магнитом, тянуло друг к другу... Прежде всего, согласилась бы она с другим пойти поздно ночью так далеко на берег канала? Может быть, в ту минуту она не отдавала себе отчета. Она плакала, когда... когда я ей «все разъяснил»... Ну и подлец же ты!.. Смеешь еще шутить такими вещами. Не столько подлец, сколько эгоист. Но плакала она недолго... А ты был так горд и так потрясен, что стал с нею еще ласковее. Ты гладил ее щечку, нашептывал ей разные нежности. Ты и впрямь считал ее своей женой. И в ту минуту был так искренен, что потом, вспоминая, сам удивлялся. Ты готов был на что угодно, только бы она не плакала. До той минуты ты не был с ней особенно нежен. Все эти *«люблю»* и *«дорогая»* казались тебе сущим вздором. Ты даже предпочитал разыгрывать из себя циника. Во всяком случае, ты не рассказывал ей басен, чтобы овладеть ею. Ты слегка форсил, когда намекал ей, что она не первая, с которой ты так заканчиваешь вечер... Что ты, мол, не придаешь этому особого значения... В сущности же ты и понятия не имел, как это все происходит... А если бы она сказала «нет» и все кончилось не так, как тебе хотелось, ты нашел бы лазейку, стал обращаться с нею свысока, притворяясь, что тебе безразлично, и выпутался из этой истории так, как счел бы для себя удобным. По правде говоря, вначале она меньше всего производила впечатление наивной девочки. Она посещала все балы, любила потанцевать. Ты и представить себе не мог... Тебя удивило даже то, как она разговаривала с тобой, когда вы спускались к каналу... И как прижалась к тебе, вся съежилась под твоим крылышком и стала от этого еще меньше. Она говорила, что ждала тебя, твердо знала, что в одно из воскресений все произойдет именно так, как сегодня... А ты в это время думал о том, можно ли ей верить, не говорит ли она того же и другим. Во всяком случае, тебя это устраивало, помогало разыгрывать из себя этакого властелина. И только тогда, когда она, отбиваясь, хватала тебя за руки, ты поверил в ее искренность, почувствовал, что сила на твоей стороне, что ты — мужчина. Все зависело только от тебя... Вот почему потом, когда она плакала, ты больше не сдерживал себя и всем сердцем откликнулся, тоже искренне и горячо... Ты готов был нести ее на руках до самого ее дома, уложить в постель, потеплее укрыть... Ее родители? Ты и о них подумал... Твоя личная жизнь только что началась. Ты сбивчиво говорил ей все то, чего раньше и не собирался говорить, быть может, потому, что раньше просто не думал об этом. Говорил, целуя ее в ушко. И нисколько не стесняясь. Кто плачет, тот ничего не видит. *«Люблю», «дорогая»* — теперь ты легко произносил все эти слова. Теперь они выпирали у тебя из всех пор. Ты был ослеплен своей находкой. Назавтра ты любил ее еще сильнее. Каждую минуту ты повторял себе: старина, она была невинна! Она была девственна, это меняет дело!.. У тебя теперь есть жена, твоя жена, твоя Колетта. И если ты чуть приневолил ее в первый раз, то потом вы оба этого хотели. Ты дошел до того, что, вспоминая, кем она была для тебя до вашего сближения, начинал верить, что любил ее давно, но не отдавал себе в этом отчета. Такая любовь не может вспыхнуть внезапно...

Ну вот, я говорю о том времени, словно рассказываю о нем другому человеку. Я обращаюсь к себе на ты. Чувствую, что я, как прежде, заполнен ею, моей Колеттой. Быть может, слишком поздно? В таком случае, я сам... сам все испортил...

— Ты рассуждаешь, как мои мать и брат! Ведь чем скорее я освобожусь от военной службы, тем раньше мы поженимся!

Не мог же я ей сказать, что боюсь шахты. Я никогда ей этого не говорил. И никогда не скажу.

— Я тебе не верю, Бернар. Если бы ты любил меня по-настоящему, то не торопился бы уехать, ведь мы можем, если хочешь, пожениться в любое время. Я работаю, а придется тебе уехать — и одна не пропаду. Послушай, Бернар, если я что-нибудь для тебя значу, не уезжай!

— Нет! Я еду! Сказано — сделано!..

Это был наш последний спор. Вероятно, она больше на меня не рассчитывала. С той минуты как мне пришла в голову мысль об отъезде, я был уже наполовину в пути. Я бежал... От шахты, а может быть, и не только от шахты. К тому же все связанное с шахтой мне было не так уж тяжело потерять. Что угодно, только не шахта. Мне казалось, что меня ждет Эльдорадо. Побываю тут, побываю там!.. Говорят: плохо расстанешься — плохо встретишься! Мудрые слова...

В Германии я сразу стал жить жизнью «менера». Оттуда, кстати, это слово и пришло к нам. Еще мальчишкой я немало наслышался о жизни господ. «Вот ты и одет, как барин!.. Он выдает себя за барина!.. Не корчи из себя барина!..» У нас говорят *«месье»*, в Германии — *«майн херр»*. Как это слово попало к нам, кто его занес — оккупация или фламандцы?.. Во всяком случае, в первом же письме я написал матери: «Живу, как «менер». Я задумался, правильно ли пишу это слово? Ох уж эти мне письма! Всегда возникает куча вопросов. Лучше всего плюнуть на это. Мать, та обращает внимание на почерк, на ошибки. В свое время она хорошо училась в школе. Вспоминаю, когда я писал ей первое письмо, то с самого начала заколебался. Как называть ее? Дома я говорил *«мам»*. *«Дорогая мамочка»* — никак не выговаривалось: *«Дорогая мама»* — было не легче, однако я решился и написал *«Дорогая мама»*; еще и поныне всякий раз спотыкаюсь на этом месте. Сказать — одно, а написать — совсем другое. Есть опасность, что, когда я вернусь домой, если вообще вернусь, мне будет неловко называть ее, как раньше, *«мам»*, но и *«дорогая мама»* тоже не станет привычным. Всему виной — моя застенчивость.

Так же обстояло дело и с Колеттой. Из-за холодка, который все больше и больше проникал в наши отношения, я перешел в письмах к ней от *«Дорогая женушка»* к *«Моя дорогая Колетта»*, а затем вместо *«Моя дорогая»* просто писал *«Дорогая Колетта»*. В Германии все получилось быстро. Колетта была далеко! А в женщинах здесь не было недостатка. Наоборот, не хватало мужчин. Впрочем, первая, на которую я напал, не нуждалась в мужчинах. Она была замужем. Не так хороша, как Колетта. И на добрых пять-шесть лет старше меня. Но у нее было все, что нужно, любовного опыта более чем достаточно. Скажу прямо — распутная бабенка. Вначале переспать с ней никак не удавалось. В последнюю минуту она всегда отстраняла тебя. Все, но только «до». А с такой, как она, это — немало, а дальше — стоп!.. Невероятно! Но в один прекрасный день она сама вцепилась в меня, и тут мне показалось, что она проглотит меня с потрохами. Да, было о чем порассказать товарищам, соли и перцу — хоть отбавляй! В полку мне всегда говорили: когда ты краснеешь от смущенья, то становишься похожим на мальчика из церковного хора. А ребята с Севера и Па-де-Кале, лопоча на своем диалекте, не отставали от меня. После каждого моего свидания Фернан Доффени спрашивал: «Ну что, покрыл наконец свою Фриду или нет?» Слышала бы Клара, жена моего брата Альбера!.. Она подобных разговорчиков не любит!

Воспоминание о Колетте при такой жизни таяло, как сахар. Порой я задавал себе вопрос, что останется от моей любви, когда я вернусь домой? Потом у нас с Колеттой началась переписка, письма летели одно за другим, как выкрики в споре. Должно быть, Колетта кое-что прослы-

шала. Ее одолевали сомнения. Я легко мог бы ее успокоить, но предпочел сохранить свою свободу. «Пожалуй, это последняя возможность»,— думал я. Окончательный разрыв между нами произошел в письмах. Порвал я. Прошло уже десять месяцев.

С тех пор меня это, как говорится, перестало интересовать. Почему же сейчас, оказавшись здесь, я снова думаю о Колетте?.. Я стал сам не свой. Растерян, охвачен диким желанием рыдать от одиночества и чувствую такое волнение, что руки у меня дрожат, как в ту ночь, когда плакала она. И все потому... Все потому, что я действительно обошелся с нею жестоко. Хоть я и сержусь на Колетту, но одна мысль не дает мне покоя: ведь до меня Колетта никому не принадлежала. Впрочем, и я в то время никому, кроме нее, не принадлежал. Она была чиста, моя Колетта, самое светлое воспоминание моей юности, мое белоснежное облачко... Я был так ошеломлен, как если бы увидел человека, который в кабаке у стойки заказывает стакан молока...

А самое главное — я постоянно возвращаюсь на родину, мысленно конечно... Не только к Колетте. Обман никогда не идет впрок. Нельзя играть не по правилам. Мне хотелось бы сказать: *«Кончено. Выхожу из игры»*. Но, зная, что это невозможно, я бешусь один в своем углу. Да, один, потому что все вокруг — против меня. И мне ответили бы: кому-кому, а тебе, мол, уж нечего скулить и жаловаться. *«Вонючий доброволец!»* Я это слышу на каждом шагу. Так относятся тут ко всем добровольцам. *«Вонючий доброволец!»* Этого ли я искал? Я шел на известный риск, но не думал, что все так обернется. Сейчас, когда дела плохи, я заявляю, что не хочу быть соучастником. Они у меня попляшут, прежде чем я пальцем пошевелю. Уже в Германии я не хотел отправляться в Алжир, и даже звание сержанта меня не соблазняло. Не надо приписывать мне того, что мне не свойственно. А тем более здесь...

Чтобы успокоить мать, я писал ей: тихий участок, шорты и футболки... Только ничего не сообщил о своих волосах. От одного этого она бы заболела. Мои волосы!.. Женщины из нашего поселка не раз говорили ей, что хотели бы иметь такую шевелюру, как у меня, и что-де несправедливо, когда у мальчика такая копна волос, да еще белокурых. При этом они спрашивали: «Анжела, откуда они у него, а?..» И гордость моей матери не знала предела. Но вот...

Это случилось третьего дня. Я опоздал в столовую. Фельдфебель Кувэн приказал мне подстричь волосы на три сантиметра. Я разозлился, еще и потому, что никто не протестовал. *«Вонючий доброволец...»* Меня хотят унизить. А за глаза, вероятно, даже и высмеивают. Ах так? Я им покажу! Снова иду к цирюльнику. И сам подрезаю волосы еще на сантиметр. Этим я круто изменил положение. Теперь фельдфебель посрамлен. Он зол, взбешен, что не может справиться со мной. К несчастью, я, как всегда, не сдержан: на одно его слово отвечаю десятью. Он этим воспользовался и в третий раз послал меня к цирюльнику. Теперь меня остригли наголо. Не голова, а кегельный шар. На сей раз все кончено, дальше идти некуда. Мой вид мог бы развеселить покойника. Даже я, глядя на себя в зеркало, не могу удержаться от смеха... Увидела бы Колетта... Но забавнее всего, что меня уже не так сторонятся. Фельдфебель нисколько не повредил мне — даже наоборот. Вероятно, сейчас при встрече со мной уже не думают: *«Вонючий доброволец!»* Меня называют: *«Кегельный шар!»* Я становлюсь знаменитым. Пилотка на макушке больше не держится, она скользит, спадает, ерзает из стороны в сторону — вправо, влево, вперед, назад. Я, можно сказать, превратил все это в забаву и при каждом удобном случае выставляю напоказ свою бритую башку. И у всех я на виду, как белый султан Генриха IV, не то

султан, не то конь?.. «Равняйтесь на!..» и тому подобное, да, не очень-то я силен в истории... Но стоит им только увидеть меня, и они сразу начинают кричать: «Кегля! Кегля!»

Вот и сегодня в полдень в столовой все началось с шутки, а кончилось чуть ли не демонстрацией. Сперва раздавались отдельные возгласы, а потом голоса постепенно слились, звуча как бы в унисон, и все затянули на мотив старой застольной песни: «Кегля! Кегля!» И давай стучать ножами по столам, по тарелкам, по кружкам...— настоящий оркестр! Младший лейтенант просунул голову в дверь. Пробежал шорох, словно ветер пронесся по листве. Часть людей притихла. Славный малый этот Сальмон. Вот почему с ним все-таки считаются. Но, несмотря ни на что, веселье вспыхнуло вновь. Затихший было шум возник с удвоенной силой. И все тридцать человек, тридцать луженых глоток разом заорали пуще прежнего: «Кегля! Кегля!» Сальмон понял — лучше не вмешиваться. Сделал вид, будто и ему смешно, и захлопал в такт, как бы желая показать, что он тоже принимает участие в игре.

Вообще у него такая манера, он вроде старается быть с нами заодно. Начинаешь верить, что он это делает от всего сердца. Никому мы так охотно не подчиняемся, как Сальмону. Но в тот день было ясно, что ему не до смеха... А потом мы узнали — здесь все становится известным,— что он ушел к себе в комнату и в отчаянии расплакался, как мальчишка.

Сальмон считал, что смеялись мы над ним. Он думал, что наш выпад направлен против него, и расценил это как черную неблагодарность. У него и так достаточно неприятностей с высоким начальством. Сальмон живет своим умом, у него на все свои взгляды. Он еще совсем молод, только что со школьной скамьи, но уже близок к тому, чтобы разочароваться в военной карьере и вообще во всем. В ранней юности он был скаутом. Отец его — офицер. Большая семья. Каждое воскресенье — шагом марш!.. Все к обедне в полном составе... Отец Сальмона человек честный, но крутого нрава. Он заставил сына поступить в военную школу для детей заслуженных офицеров. Теперь у Сальмона-младшего всегда под рукой, на письменном столе или на шкафу, свои талисманы: белые перчатки, плюмаж Сен-Сира, значок скаута Франции. Каждое утро он по-прежнему старается совершить обязательное для скаута ДД — доброе дело. В армии это не всегда ему удавалось, особенно на войне. О нем стали поговаривать, на него стали косо поглядывать. Во всяком случае, начальству он пришелся не слишком по вкусу. К тому же он не религиозен. В церковь не ходит. И в офицерской столовой он чувствует себя как-то неловко. Вот и тянется к нам, ищет у нас поддержки. Сальмон полон сил. На жизнь он все еще смотрит как мальчишка, школьник, и ему по-настоящему хорошо только с нами. Он вызывает нас на откровенность, не прочь поговорить на щекотливые темы, а когда ты ему поверяешь свои тайны, он на седьмом небе от счастья. Есть в нем что-то от духовника. Такого даже богатство не испортит! Золото, а не человек. Позавчера, когда мы прибыли на ферму, он позаботился о том, чтобы нас накормили, и сам купил нам на обед барашка.

Если и мы предаем его, думал он, на кого же можно тогда положиться?.. Все расстроились, когда узнали об этом. Никто не жалел о том, что произошло за обедом, но все старались доказать Сальмону, что он тут ни при чем. «Кегля» хочет вернуться во Францию, все хотят вернуться во Францию, это само собой разумеется. Вероятно, и Сальмон хочет того же, хотя он за войну. Он утверждает, что на Францию напали, что, потеряв Алжир, она потеряет все. Ладно. Допустим. Но это, бесспорно, не мешает Сальмону желать окончания войны. Можно утверждать: «Ал-

жир — это Франция»,— и все-таки мечтать вернуться во Францию. Можно считать алжирцев виновными в том, что мы здесь,— это нам постоянно вдалбливают,— и все же хотеть поскорее выбраться отсюда, поскорее заключить это пресловутое перемирие. По-моему, лучший способ покончить с войной — уйти из этих мест. Не будь нас, в такой глуши, как эта, вообще никогда бы не прозвучал ни один выстрел. Колонизаторы станут возмущаться? Забрызжут ядовитой слюной? У них есть на то основания. Ничего, не обеднеют. Проживут и без рудников. Свои капиталы они хранят в банках во Франции, подальше от опасных мест. Что ж, придется им урезать свои расходы!.. Суть не в этом, а в том, что Сальмон понапрасну волнуется. Против него лично никто ничего не имеет. Он воображает, что всю эту кашу заварил я из-за моей обритой головы... Еще чего не хватало... Как мне разубедить его?

Спокойный участок! Верно, но только относительно спокойный. Уже по дороге сюда наш поезд чуть не пустили под откос. Рельсы оказались взорваны в трех местах, а вдоль другого полотна подпилили все телеграфные столбы. Неплохое начало! С того дня, как мы здесь, нет электричества. Где-то повреждена линия. Но восстанавливать ее не наше дело. Мы только сообщили о случившемся. Ждем, когда наладят. В бывшем хлеву, где мы разместились, все равно нет электричества, и мы, собственно, ничего не теряем. И все-таки это производит неприятное впечатление. Мы оторваны от всего мира, а те делают что хотят. Они могут нас лишить света, телефона, воды, связи... А мы и шевельнуться не можем. Малейшая вылазка — настоящий поход. До сих пор мы сделали только одну такую попытку...

Вчера вечером, когда все было на запоре, сообщили, что кто-то движется по направлению к нам. Хозяин фермы обзавелся всем, кроме электричества. Еще задолго до нашего прибытия он установил на крыше своего дома караульную вышку. Туда можно попасть только по лестнице из его комнаты. Вышка личного пользования. Но теперь, когда мы оказались здесь, часовые проходят на вышку через его спальню. В общем, целая система дверей и замков. В час, когда караул сменяется, фермер встает, как миленький, и сам отпирает обе двери — верхнюю и нижнюю.

Тот, кто отправляется на вышку и кто возвращается оттуда, сталкиваются в его спальне и норовят бросить взгляд на фермершу, которая лежит в постели, но муж уже погасил свет, и смена часовых происходит почти в полном мраке при свете луны, благо, она здесь огромная. Затем фермер закрывает за нами двери, одну и другую, и снова укладывается...

Никогда в жизни не встречал такого человека. Силища!.. Страх наводит. Ему лет сорок пять, пятьдесят. Настоящий буйвол! Другого сравнения не сыщешь. А до чего бесстыжий!.. Достаточно посмотреть, как он чешется об угол шкафа, когда его что-то покусывает, ну точно буйвол о дерево, да так, что листва дрожит. Словом...

Но вот сообщают, что неизвестный приближается. Все приведено в боевую готовность. Пришельца впускают со всеми предосторожностями, словно в кармане у него запрятан полк солдат. Его джелаба такая дырявая, что половину полка он неминуемо растерял бы дорогой... Это — старый араб. Он пришел просить врачебной помощи для своей умирающей жены.

— Вот оно — перемирие...— сказал Сальмон и вызвал добровольцев в проводники тубибу *.

Никто не колебался, и двадцать человек двинулись в путь. Я тоже вызвался. Спасти жизнь женщине... Если придется идти в бой—тогда дру-

* Тубиб — врач *(арабск.)*.

гой разговор. Во всяком случае, остальные десять, оставшиеся на ферме, трусили не меньше нас. Пока мы отсутствовали, они чувствовали себя сиротами, опасались, что не сумеют дать отпор, если феллахи, пользуясь случаем, нападут на них. Каждый про себя думал — уж не ловушка ли это? Пусть ловушка, но старик-то в наших руках, можно не беспокоиться. Только бы он не ускользнул. Его стерегли. Молодчики из военной полиции глаз с него не спускали, в то время как другие обыскивали в темноте каждый дюйм, просматривали обочины дорог, рыскали среди скал... К счастью, идти пришлось недолго, а жена старика оказалась и в самом деле больна. Тубиб сделал все, что полагается, и мы вернулись. Можно было, конечно, дождаться утра, чтобы вознаградить себя прогулкой при дневном свете, но чувствовалось, что Сальмон не хочет упустить случай дать нам урок первой ночной вылазки, не подвергая нас опасности сложить голову.

Ну, пора мне спать, а то буду клевать носом в карауле. Хуже всего, когда ночью на посту тебя начинает разбирать сон. Я очень доволен, что написал мам Анжеле. Она обрадуется моему письму. В ее посылках ничего особенного нет, но в них вложена душа. Постараюсь все-таки сфотографировать мою голую, как шар, голову, не только для мам, а так, на память; и еще для того, чтобы посмешить Альбера. Эта собака Кувэн перехитрил меня. Отплачу ему при случае той же монетой.

Представляю себе, как Альбер и Клара, получив фотографию, тут же станут показывать ее всем. А Колетта... Нет, нет, я бы не постеснялся предстать пред ней в таком виде. Рассказал бы ей обо всем, что произошло. Мы с Колеттой почти ничего не скрывали друг от друга. По крайней мере, в свое время... Теперь это, конечно, не помогло бы вернуть ее... Надо найти другой путь... Но как рассмешила бы Колетту эта фотография. Мою Колетту...

III

АЛЬБЕР

Это верно, Клара никогда не дает мне договорить. Я понял это только тогда, когда мать однажды сделала ей замечание.

— Дай же ему закончить, Клара!.. Ты все время его перебиваешь. Мы так и не знаем, что он хочет сказать.

По правде говоря, я и сам давно это замечал, но как-то не обращал внимания. И вдруг сразу понял, почему у нас так получается.

Я сказал:

— Наоборот, мам, когда падает...

— ...как раз тогда не опасно,— досказала Клара.

— Но это противоречит здравому смыслу,— возразила мать,— в таком случае надо быть еще осторожнее.

Мать не права, уверяя, что Клара меня всегда перебивает. Наоборот. Часто я сам на секунду умолкаю, словно выжидая. Подобно тому как отодвигаюсь в постели, чтобы дать ей место рядом. Вот так мы с нею и живем — полное согласие и в разговоре, и во всем остальном. Не все, что добавляет Клара, обязательно соответствует тому, что хотел бы сказать я. Между двумя людьми всегда возможно легкое расхождение. Но в большинстве случаев разница так невелика, что у меня нет желания поправлять Клару. А если такое желание появляется, то Клара всегда чувствует это или читает в моем взгляде и останавливается на полуслове. Тогда заканчиваю фразу я. Что же будет с нами, если мы проживем вместе двадцать-тридцать лет!.. Мы знакомы три года, женаты три месяца, и

каждый из нас уже угадывает мысли другого — мы как два бокала, что, соприкасаясь, издают один звук. Когда Клара не совсем уверена в том, что я хочу сказать, она, заканчивая мою фразу, смотрит на меня вопросительно. И я тоже. При этом мы вовсе не стремимся опередить друг друга. Мы только хотим все делать сообща.

Мам Анжела редко говорит с Кларой так недружелюбно. Уж слишком близко мать принимает к сердцу все, что может задеть меня. Обычно она старается не противоречить Кларе. Ничего не поделаешь — женщины... две женщины. К тому же одна старше другой на тридцать лет... Каждая хочет жить на свой лад. Я опасался, что будет хуже. Кларе не терпится завести в доме свои порядки, но она понимает, что мать мою уже не переделаешь, и считается с этим. Заботится о ней, готова все сделать за нее. Пытается иной раз и побаловать старушку.

— Пора уж вам пожить в свое удовольствие, мам!.. Ведь теперь у вас есть возможность,— говорит Клара.

Да, но попытки Клары ни к чему не приводят... потому что мам Анжела не привыкла щадить себя. Она всегда относилась к жизни требовательно, всегда была начеку. Дел у нее по горло. Вечная спешка! Тут и нужда заставляла, и время подгоняло. И то и другое. Послушать мам — все мотовство. Клара иногда по воскресеньям, вместо того чтобы печь самой, покупает пирог в кондитерской. Иной раз мы позволяем себе стаканчик шипучего. В особых случаях любим распить бутылочку аперитива. Пусть домашнего, настоенного на лекарственных травах и спирте, нечто вроде сухого терпкого вина — трипль-сек или шерри. Такой напиток бывает даже лучше настоящего аперитива, особенно если его перед употреблением хорошенько взболтать... Мам считает, что мы живем на широкую ногу. Она не всегда решается говорить об этом, но свое отношение выказывает — ни к чему не прикасается. А если Клара печет сама, мам, наоборот, вмешивается во все: и тесто плохо подходит, и скалка недостаточно чиста, и форма слишком велика — ты не находишь? Наконец пирог готов, и мать воздает ему должное, особенно если он слоеный!..

— Вот это пирог, по крайней мере знаешь, что ешь! Как много значит, когда в доме припасено все необходимое для пирога... Посчитай сама, насколько он дешевле всех этих покупных штучек...

Теперь Клара даже не возражает ей. Вначале она старалась объяснить, что покупает у кондитера для разнообразия. Одно и то же приедается... Мам возражала:

— Вовсе не обязательно, чтобы каждое воскресенье были пироги. В свое время дома, у родителей, и даже потом, когда я вышла замуж за твоего отца, мы пекли только два раза в год, к шахтерским праздникам. Твоему отцу, бывало, подавай побольше мяса, всего, что посытнее. Не то что тебе. Для рабочего человека... ты очень мало ешь. Скажешь, карман не позволяет. Но ведь когда тратишь на одно, экономишь на другом...

Теперь я и Клара предпочитаем дать ей высказаться. Плохо только, что она этим пользуется; если ее не остановить, она будет говорить без умолку.

— К тому же отец твой, он не был лентяем... но раньше шахтеры так не убивались на работе, как вы. Меры не знаете. Изнуряете себя. Смотрю я на тебя — никогда ты не пообедаешь с аппетитом, клюешь какие-то жалкие крохи.

Тут начинает нервничать Клара, она прекрасно понимает, куда клонит свекровь. Ее слова как бы означают: «Кто же, если не твой муж, зарабатывает все это, дитя мое?..»

Когда мам Анжела чувствует, что зашла слишком далеко, она старается смягчить свои слова и под конец называет Клару «дитя мое». Но даже и тут Клара сдерживается. Она хорошо знает, что́ пережила мать. Сочувствует ей. Повезло мне с женой. Очень повезло. И поэтому, если все будет благополучно, мать никогда не почувствует себя с нами несчастной. У нее никогда ни в чем не будет недостатка. Ей не придется ни о чем беспокоиться, впрочем, она это вполне заслужила. Если Бернар уцелеет и вернется, ей обеспечена спокойная старость. Наш заработок, ее пенсия, да и Бернар, много ли, мало ли, тоже внесет в дом, поможет. Не скажу, что мать заживет припеваючи, стариться одной всегда не сладко, отца, конечно, мы вернуть не можем, но от невзгод ее защитим.

Жизнь такова, что только в постели и есть время поразмыслить. А пока ты на ногах, всегда куда-нибудь мчишься сломя голову. Надеюсь, что хоть Бернару живется лучше, а если так же, как нам, значит, не слишком хорошо. Письмам его я не верю. Мы часто их получаем. Целых пять пришло, с тех пор как он там. Пять писем за один месяц. Не так уж мало. Но он не пишет правды. Слишком все у него гладко. Одно то, что он в армии, а я армию знаю, и я уверен, что он сыт ею по горло. А тут еще эта проклятая война. Вот какие дела. Малыш ничего об этом не пишет, чтобы не волновать нас, но он попал туда в тяжелое время. До гибели там один шаг... Надо было его удержать. С точки зрения безопасности, как ни тяжело в этом признаться, у нас на шахте отвратительно. Всегда и во всем плетемся в хвосте. Даже делегата унаследовали от ФУ*, и он со скрипом прошел по общему списку. Бывший коммунист, который в тридцать девятом струсил. Хоть я был тогда еще мальчишкой, но до сих пор в памяти у меня рассказ отца...

«Кто-кто, а я всегда это говорил. Спроси мать. Хорош гусь!.. Еще в тридцать четвертом он чуть не развалил всю организацию. Помню, как сюда несколько раз приезжал Артюр Мюзмо и здорово его отчитывал... А тот и слышать не хотел о солидарности. Сейчас он у социалистов. Те всегда мутят!.. Этакий бездельник!»

В конце концов шахта «Таффен», может быть, и не из лучших в бассейне, но уж, во всяком случае, лучшая в округе, если не во всем районе. А ячейка, что правда, то правда,— никудышная! С тех пор как мы потеряли делегата, она, как говорится, зачахла на корню, словно только им и держалась. В общем, мы ни на что решительно не откликаемся. Скажу напрямик, бывают минуты, когда я думаю: «Нет, такая работа меня больше не устраивает». Поскольку мне с семьей надо стать на ноги, я желаю свою двухнедельную получку приходовать полностью. Конечно, будь мой заработок больше, было бы легче, но пока тяну изо всех сил. Я еще достаточно молод, могу впрячься и пока тащить свой воз!.. И достаточно силен, чтобы взяться за то, от чего другие отлынивают. Когда надо, спасая себя, вовремя отскочить в сторону, ноги мне еще повинуются. Не то что у стариков. Во всяком случае — боюсь в этом признаться,— но пока шахта меня устраивает. Так как с ячейкой дела плохи и никому до меня нет дела, я до сих пор не вступил в партию. Будь я членом партии, на меня посыпались бы упреки. Товарищи не любят тех, кто гонятся за премиальными, за сверхурочными. Еще отец об этом говорил... Я, разумеется, чувствую, что в обстановке, создавшейся на шахте «Таффен», есть что-то постыдное. Вечно так продолжаться не может, однако...

Днем спишь чутко. Сон хрупок, как стекло. Мне нравится все, что из стекла, все прозрачное. И мысли у меня словно стеклянные. Когда я хорошо себя чувствую, то и сам себе кажусь стеклянным. Бернар, тот боль-

---

* «Форс увриер» — оппортунистическое профсоюзное объединение во Франции.

ше всего любит испанские песни. Разные бывают вкусы. А я больше всего люблю стекло. Красивые зеркала, маленьких зверюшек из стекла, но только не цветного, поникшие колосья с тончайшими остьями, длинными-предлинными, и вазы из дутого стекла... У моей тетки была как-то бутылка немецкого ликера, белая бутылка с кристаллами на дне, тоже прозрачными, а в ликере искрились блесточки... Мой дневной сон чем-то напоминает эту бутылку ликера, особенно когда от желания уснуть у меня начинает слегка покалывать в глазах.

Я люблю. Отчего люблю? Оттого что даже во сне не чувствую себя одиноким. Голос Клары доносится до меня из кухни, со двора, из сарая, он то приближается, то удаляется, я слышу, как она за стеной в кухне разговаривает с матерью. Сама Клара, все, что она делает, что тихонько говорит или напевает,— из этого соткана тонкая светлая паутинка моей дремоты. Словно я лежу на дне большого воздушного шара, который скрывает и оберегает меня от всего. Мне непонятно, почему люди, когда им приходится спать днем, всегда брюзжат. Залает собака, загогочут гуси в поселке, загремит трамвай — во всем всегда виновата жена. Она не только должна сама молчать, но обязана еще позаботиться и о том, чтобы вокруг было тихо.

Люди говорят мне:

— Не воображай, что ты умнее всех! Погоди, пройдет несколько годков, увидишь!..

И правда, ведь это только самое начало. Начало работы. Начало жизни с Кларой. Муж и жена — одна сатана. Пусть начало, но я счастлив. Да и вынослив еще, хотя из-за ночной работы живу, как в чаду. И все-таки этот неглубокий дневной сон имеет свою прелесть, все-таки я отдыхаю и уже привык к такому необычному распорядку. У нас дома всегда ложились очень рано. Хотя мам Анжела и не говорила, как некоторые старики: «Хватит зря жечь электричество!..», но и в ней было что-то стариковское. Ежедневно в девять вечера все укладывались спать. Теперь я в это время только ухожу, потому что даже на велосипеде дорога занимает целый час. Я спускаюсь в шахту в десять вечера, подымаюсь оттуда в шесть утра, а прежде в это время я только вставал. В семь утра ложусь и сплю до двенадцати, до часу. Все, что недоспал, наверстываю по воскресеньям, когда в моем распоряжении целая ночь и утро.

Я слышу голос Клары. Мам Анжела совершила свой обход и вернулась в кухню. Сейчас, вероятно, около одиннадцати. Клара в этот час готовит мне свежий кофе на завтрак. Бывает, что, проснувшись, я чувствую: больше не усну. Тогда я зову Клару. Вот почему она готовит кофе заранее, чтобы не быть захваченной врасплох. Никто, кроме меня, свежий кофе не пьет. Разве по чашечке Клара и мам Анжела, остальной ждет меня. А если кто-нибудь приходит, то в кастрюле разогревают вчерашний. Иной раз, услышав, что кофе готов, я, не открывая глаз, подаю голос, выпиваю чашечку и снова засыпаю блаженным сном. Первая чашка доставляет особенное удовольствие. Она манит тебя своей нетронутостью.

— Что бы ни говорили, мам, но свежий кофе ни с чем не сравнишь. Видели вы только что Христиану, мам? Она заходила посмотреть мою новую эмалированную плиту.

Сказать *«новая плита»* Кларе кажется недостаточным. Говорить надо *«новая эмалированная плита»,* хотя она у всех перед глазами и все видят, что она эмалированная. Но этого мало. Даже само слово *«эмаль»* доставляет Кларе удовольствие. От ее голоса мой сон тоже словно покрывается эмалью, как эта плита с красивыми округлыми краями, осле-

пительно белая, расписанная зелеными и красными цветами. А какое от нее тепло! С удовольствием потягиваюсь и снова засыпаю.

— Что это еще за Христиана? — спрашивает мать.

— Вы ее хорошо знаете. Та, у которой брат работает на заводе, они живут вдвоем...

— Охота ей идти так далеко, чтобы поглазеть на твою плиту... Вы что, дружите?

— Мы в хороших отношениях. Познакомились две недели назад по дороге в кино. Мы уже давно приметили друг друга. В будущее воскресенье она придет к нам обедать.

— В наше время не заводили так много новых знакомств. Соседи — другое дело... Всегда общались. Даже, пожалуй, больше, чем сейчас. Ну а знакомств на стороне не искали. С посторонними людьми...

— Посторонними? Знаете, они коммунисты, и, к вашему сведению, мы будем, возможно, соседями. Кстати, участок, купленный нами для застройки, находится рядом с их домом — между каналом и прудом. Такой рыболов, как Альбер!..

Клара, конечно, заблуждается. О покупке участка говорилось однажды, но мимоходом, не всерьез... *«Представляешь себе? Иметь свой дом у самого пруда?..»* Участок не был куплен. На какие деньги его купишь?..

— Да, ты меня не послушалась,— отвечает мам Анжела, как если бы она была в курсе дела....— А ты не боишься, что от близости воды дом осядет? Его может затопить, и ты останешься ни с чем!

Должно быть, я отстал от жизни. Выходит, участок уже куплен, раз они вдвоем обсуждают этот вопрос. Правильно говорится: кто спит, тот обо всем узнает последним.

— ...Значит, вам со мной плохо? — продолжает мам Анжела тем странным протяжным голосом, каким говорят, когда сдерживают слезы; голос ее звучит гулко, как в пустом доме, необжитом или покинутом, он словно отскакивает от стен, тоже голых и гладких, как эмаль...

— Но, мам, ведь вы хорошо знаете, что и для вас там будет комната и кухня! Это предусмотрено планом. Мы не собираемся оставлять вас одну.

Сперва говорилось: нам не нужен большой дом, у нас нет на это денег. А теперь... Теперь, когда положение изменилось... правда, мы никогда не предполагали, что это произойдет так скоро и так легко... Без всяких препятствий... Сейчас не так, как бывало раньше. Не только инженеры и штейгеры имеют право на красивые дома. Впрочем, кое-кого уже посадили в тюрьму. Так им и надо! И квартиры освободились. Но я предпочитаю построить новый дом. Получишь то, что хочешь. Пришло время и одеваться на заказ. Готовое платье хорошо, пока ты молод. Клара права: если есть возможность, надо ею пользоваться. Мы одеваемся слишком дешево. Только говорится, что мы одеты, смотреть стыдно, как все мнется, обвисает, особенно под дождем... В прошлое воскресенье мы шли с Кларой под руку, как вдруг на самой середине площади она закричала:

— Чувствуешь, уже каплет! Твой костюм!.. Бежим! Увидишь, во что он превратится!..

И правда. Упали первые крупные капли, величиною с пятифранковую монету. И полило! Мой костюм, еще новехонький, стал как бы расползаться. Полная катастрофа! Под костюмом у меня, кроме дырявой, почерневшей от угля шахтерской майки и кальсон, ничего не было. Можно себе представить, как все пялили глаза на нас!... Как я проклинал себя за то, что поленился снять майку! Этого со мной никогда не

случалось... Клара была вся пунцовая от стыда. Она вся съежилась, но руки моей не отпускала. Прижалась ко мне, не думая о том, что запачкает свой красивый костюм, и только твердила:

— Идем! Идем скорее!.. Забежим в лавочку, где продают жареную картошку. Там в каком-нибудь темном углу ты сумеешь привести себя в порядок.

Лавка эта многое видела!.. Но такого еще никогда... И надо же, чтобы это случилось со мной!..

— Мам, вы не сказали, понравился вам мой кофе?

— Бельгийский, его сразу отличишь. Он мне нравится больше французского. Некоторые утверждают, что бельгийский имеет какой-то привкус... Не нахожу. К тому же он выгоднее, разумеется, если только он есть в продаже...

Неужели они все еще пьют первую чашку? Или, в виде исключения, вторую? Чего доброго, мне ничего не оставят! Если бы у меня хватило силы, я бы проснулся. Уже пора вставать.

— Ну а тяга у нее хорошая? — спрашивает мать, должно быть возвращаясь к разговору об эмалированной плите.

— Тяга? Да ее хоть кирпичом топи!

— Вот-вот, кирпичи!..— вставляет свое веское слово Телесфор. Он уже тридцать лет работает каменщиком.

— Еще чашечку, Телесфор,— предлагает Клара...— Альбер, кажется, крепко уснул! Сегодня он больше не попросит. Во всяком случае, он уже достаточно выпил свежего. Проснется, допьет остальной.

Слышу, как Телесфор сосет кусок сахару, смачивая первым глотком, чтобы получше распробовать кофе, и осторожно, стараясь не пролить ни одной капли, ставит чашку на плиту. По душам говорить он может, только если руки свободны. Он всегда жестикулирует, этот Телесфор. Вероятно, потому, что туг на ухо. А кричит он так, словно вокруг него одни глухие.

— Кирпич — это прочно. А камень — красиво. В проемах он вида не имеет. Но после облицовки... Беда только, если сыро. Понимаете, ведь камень-то этот получается от спекания... А при большой влажности он разваливается...

— Неужели? Трудно поверить!.. Камень разваливается!

— ...Заметьте, не всегда. Все зависит от способа изготовления, от качества. Но однажды я сам видел, как во время грозы за какой-нибудь час целый дом развалился, рухнули стены! И все потому, что камень размок. Ничего от дома не осталось, только мебель среди развалин, и случилось это у всех на глазах. Посмотрела бы ты... На месте стен куча щебня, люди глазам своим не верили...

— Ну а крыша? — спрашивает мать.

— Крыша?..— переспросил Телесфор, и в голосе у него звучала растерянность.— Крыша?.. Что крыша?

— Что крыша? — обращается Клара к матери. — Что с крышей?

— Вот именно, что с крышей? Уж не хочешь ли ты и ее снести?

— Я думаю, мам, вы не совсем поняли. Крыша тут ни при чем. Ни крышу, ни стен мы не тронем. Сделаем только мансарду на чердаке, понимаете?

— Да, работы хватит,— говорит мать.

Я несколько разочарован. Ведь я уже поверил в покупку нового дома. Но вот они опять заговорили о работах, хотят расширить наш старый дом, если мне дадут премиальные. Я разочарован и вместе с тем доволен, на сей раз это как будто всерьез...

Телесфор молчит. Может быть, он уже ушел, пока я спал. Если на улице сухо, это еще куда ни шло, но если идет дождь, тем хуже для Клары, будет знать, как угощать моим кофе. Телесфор, вероятно, наследил вокруг своего стула. Его тяжелые, подбитые гвоздями башмаки, всегда в известке, в цементе. И руки, и плисовые штаны, о которые он их вытирает. Когда Телесфор берет сахар из сахарницы, невольно с опаской смотришь на его толстые пальцы. Весь сахар потом попахивает известкой. Но старик старается брать сахар одними кончиками пальцев.

— Заметь,— снова говорит мам,— я тебе охотно уступлю свою кухню. Однако стряпать, есть и тому подобное, одним словом, хозяйничать в моей комнате — это уж слишком. Пока я жива...

— Ну, знаете ли, мам, если дело в этом,— пользуясь случаем, подхватывает Клара,— *молодчина Клара!* — если дело только в этом, никто никогда не посмел бы предложить вам такое; нам вовсе не хочется чтобы люди считали, будто мы постепенно вытесняем вас из вашего дома и все больше и больше присваиваем его себе, но поскольку вы всегда желали сами вести свое хозяйство... мы бы... Может быть, вы боитесь стеснить нас? Ошибаетесь, мы предпочитаем, чтобы вы питались вместе с нами. Зачем врозь готовить? Ребенку, конечно, будет лучше, если его поместят между вашей комнатой и нашей.

— А если он по ночам будет плакать, я могу вставать к нему! — говорит мать.

— Еще чего не хватало, мам! — возражает Клара.— Ведь я рядом!

— Знала бы ты! Иной раз я часами не сплю. Это даже развлечет меня,— говорит мам,—а вот в молодости хороший сон особенно необходим.

— Во всяком случае, мам, если бы мы завели общий стол, Альбер был бы очень доволен. Сколько лишней работы мы избежали бы, а кроме того, Альбер не любит, когда вы едите одна...

Только бы Клара не добавила: *«...в вашей норе»,*— как всегда говорю я. Уж задала бы ей мам Анжела! Назвать ее кухню норой! Ее дом! Дом ее мужа, унаследованный им от отца. Если бы такой дом пришлось покупать теперь!.. Нет, Клара не сказала этого. Молодец Клара! Повезло мне с ней. Я доволен, вот уж поистине можно сказать, очень доволен! Настолько, что должен это доказать. Не сбросить ли с себя все одеяла, задрыгать ногами и, сразу вскочив, завопить: «Урра!» Или под конец снова уснуть в ее честь... Действительно, в последний раз...

— Иначе,— продолжает Клара,— ребенка придется укладывать в нашей комнате и каждое утро перевозить коляску в кухню, чтобы Альбер мог поспать. Понимаете, как это хлопотно...

— А не могла бы ты одолжить у кого-нибудь люльку? Знала бы, ни за что не отдала бы нашей. А назад попросить не решаюсь. Девочка Клодины еще совсем мала.

— И мою тоже мать отдала Ренарам, а те увезли ее в Париж, когда переезжали. Уж если покупать, то лучше коляску, она гораздо удобнее. А для того и другого места не хватит. Разве что поставить люльку в нашей комнате, а коляску здесь. По утрам она не будет мешать, но чтоб целый день болталась под ногами!.. И так негде повернуться.

— Ну а если я отдам тебе свою кухню?

— Да неужели? Об этом можно только мечтать,— отвечает Клара.

— Договорились,— тут мать считает нужным уточнить,— но, повторяю, только для ребенка, чтобы поставить люльку. Только для этого, не то все выброшу вон немедленно!

Что за нелепая мысль пришла ей в голову?

— Разумеется,— отвечает Клара,— но там, где ребенок, всегда накапливается столько всякой всячины, и притом все необходимо. Нам уже становится тесновато. Просто ума не приложу, куда класть то, что я для него покупаю.

— Не надо столько покупать, я всегда тебе это твержу,— укоряет Клару мам Анжела.

— Если так будет продолжаться, то мы, можно сказать, действительно швыряем деньги на ветер,— говорит Клара.— Мой холодильник, такой беленький, стоит в сарае рядом с кучей угля, поглядите только, во что он превратился? Пойдем посмотрим!..

Обе встают. Догадываюсь об этом по звуку отодвигаемых стульев. Уходят в сарай. Удивительно, до чего явственно доносятся до меня их голоса. Когда спишь, слух обостряется, особенно днем.

— Смотреть больно! — восклицает мать.— И еще, взгляни-ка, сколько вон там паутины!

— Не мешало бы ее снять, но понимаете, мам, поднимется такая пыль... Разве с нею сладишь. Только и делай, что сметай. Это как со стиральной машиной, моей новой и вашей старой. Не будете же вы отрицать, что с ними постоянная возня!.. Когда вы стираете, мою девать некуда. Когда мы...

Что верно, то верно. Мне пришлось даже прибить две толстенные доски к потолочным балкам в сарае. И я же еще втаскиваю наверх стиральную машину, ту, что стоит без дела. Прямо-таки мука мученская! Кларина машина еще кое-как проходит. Большую нам не довелось купить, чересчур дорого. Но мамина, старого образца, деревянная, окованная железом, с мотором внизу, с огромным колесом с рукояткой!.. Я уже не говорю о том, сколько наглотаешься пыли там наверху. Не меньше, чем в шахте. Конечно, это следовало укрепить понадежнее, а то всегда боишься, как бы все не свалилось кому-нибудь на голову. В один прекрасный день не миновать беды...

— Теперь смотрите,— говорит Клара, вернувшись в кухню,— как забит стенной шкаф. Тут и электрическая кофейная мельница, и на самом верху пылесос, втиснутый бог знает как, и чудо-кастрюля!.. До того дошло, что у меня нет места даже для электрической бритвы, о которой давно мечтает Альбер, а он-то ее наверняка заслужил!..

— Но ведь она берет мало электричества,— говорит мать и, зная, как мне хочется иметь такую бритву, подливает масла в огонь...— Если на то пошло, в следующий раз, когда получу пенсию, помогу вам купить ее.

— Что вы, разве дело в деньгах! — с независимым видом отвечает Клара.— Скажем, телевизор, ну как его купишь? Поставить его можно только в комнате, но тогда, чтобы смотреть вдвоем или втроем, да еще сидя на каком-то расстоянии, придется всякий раз передвигать кровать или усаживаться на нее.

Теперь они перешли в мою комнату. Я нетребователен и покладист, но они могли бы все-таки помнить, что я сплю так чутко!

— Поглядите,— говорит Клара, жестом указывая на стены.

А вот и Телесфор, он бесцеремонно входит в комнату и даже ступает на край коврика у самой моей постели.

— Я,— говорит он,— просто отодвину вам эту стенку на добрый метр. Этого вполне хватит!

Телесфор не из тех, кто волынят. Он тут же зовет:

— Алсид!..

Это его сын. Тот появляется немедленно. Вид у него деловой. В руках он держит складной деревянный метр желтого цвета.

— Смеряй-ка, Алсид!

Начинается обмер, но не стен, а моей кровати. До каких пор они будут испытывать мое терпение?

— Сейчас не время этим заниматься,— говорит Клара.— Мы беспокоим Альбера. А не лучше ли расширить сарай?

Однако...

Все уходят. Слава богу!

Слышу, Клара кричит:

— Осторожно, Лесфор! Падает! Все падает!

Голос Клары звучит как грохот обвала. Так и есть, стиральная машина!..

Нет, ничего не случилось. Теперь, когда я проснулся, шум кажется мне совсем обычным, просто задели стул. Или свалились мамины сабо, которые она прислонила к стене. Или по каменному полу загромыхало ведро с водой. Может быть, уронили лопатку в железный ящик с углем по ту сторону стены. А весь этот грохот во мне самом. Я начинаю привыкать к нему. Сживаться с ним. Я сел на постели. И снова лег. Закрываю глаза, чтобы немного успокоиться, прежде чем позвать Клару.

Приходит ли Клара сама или по моему зову, но она неизменно появляется с чашкой кофе в одной руке, а другой закрывает дверь на задвижку и, юркнув ко мне в постель, лежит рядом, пока я пью кофе.

— Какой ты горячий,— говорит она, когда на улице холодно.

— Какая ты прохладная,— говорю я, когда на улице жарко.

Выпив кофе, я целую ее, мою Клару. Это единственные минуты, не считая воскресного утра, когда мы лежим вместе. И еще по утрам Клара иногда поджидает меня в постели, а когда я прихожу, встает, чтобы дать мне поспать, и обязательно говорит при этом:

— Иди, передаю тебе власть!

Но все это как бы от случая к случаю. А вот в полдень она обычно приходит ко мне в постель. Я сплю голый. Привычка. Терпеть не могу ни пижам, ни рубашек. Сплю в чем мать родила. Иной раз, дотронувшись до платья Клары, я протестую:

— Это нечестно. Ты-то одета!

Иногда мне достаточно просто посмотреть на ее платье. Она сразу же все понимает. Ставни всегда закрыты. В комнате почти темно. Клара не очень стеснительна. Во всяком случае, уже не так, как вначале. Теперь по ночам, когда Клара одна, она тоже спит голая. Вот что значит носить мое имя!

Но сейчас Клара кажется мне хрупкой, как стеклышко. Я не смею коснуться ее даже кончиками пальцев. Кладу голову ей на плечо и рукой, легкой, как перышко, как нейлоновая нитка, провожу по ее животу. Больше я себе ничего не позволяю.

— Скажи, ты уверена?

Клара утвердительно кивает. Чувствую, как напрягается ее шея, как она глотает слюну, взволнованная не меньше меня. И тут же говорит:

— О! Ты знаешь, твоя мать...

— ...отдает нам еще одну комнату. Я все слышал, это...

— ...замечательно, а?.. Значит, ты плохо спал?..

— Великолепно. Как бог! Мне даже снились необыкновенные сны. Все хорошо, лучше и не надо. Твоя затея с новым домом — просто блажь. Вероятно, потому, что ты по утрам слушаешь радиостанцию *«Европа 1»*.

Клара знает, что тихая музыка не мешает мне спать. И по утрам слушает передачу *«Работайте под музыку»*. А мне так даже приятнее

спать под музыку. Вот разговоры — другое дело, они действуют мне на нервы. А на *«Европу 1»* или *«Люксембург»* я не обращаю внимания. Знаю — одни лишь объявления. Но Клара, как все наши женщины, особенно молодые, любит рекламную болтовню: тут и стиральные машины, и холодильники, и разные новинки домашнего обихода — и все задаром... Хорошо помечтать во время работы!

Иной раз, сидя каждая у себя дома, они переговариваются через открытую дверь:

— Ванда, ты слышала?

— Слышала. И чего теперь только не придумывают, а?

Возможно, они не отдают себе отчета или сами себя обманывают, но им и вправду кажется, что во всех этих передачах их интересует только музыка, песенки, которые исполняются непрерывно...

— А ты не забыла спросить Телесфора, может ли он сделать подпорки для нашей фасоли?

— При чем тут Телесфор?

— Ах, правда, я выпил слишком много кофе.

— Ты плохо себя чувствуешь? — спрашивает Клара, кладя руку мне на лоб, и, глядя на меня полусерьезно, полушутливо, объясняет: — Конечно, Телесфор не приходил.

О предполагаемых работах мы еще никому не сказали ни звука. И хорошо сделали... Теперь, когда мы получим кухню!.. Зачем вызывать у людей зависть?

Единственное, что омрачает жизнь,— это минута пробуждения. Я уже знаю, что все в порядке. Совсем как в шахте при разборке крепи. Говорят: *падает, тем лучше.* И правильно. Если не падает — значит, упадет позже, да еще в такой момент, когда ты вовсе не ждешь. И тогда будет хуже. Но странно, даже когда разборка крепи проходит удачно, к этому тоже надо привыкнуть. Потому что все вокруг сотрясается, даже воздух. Иногда уговариваешь себя: оставайся на месте, не теряй самообладания. А поднялся на поверхность — и обо всем забыл. Но стоит мне закрыть в темноте глаза, я начинаю чувствовать, как что-то нависло надо мной. Вот и сегодня придумал себе эту историю со стиральной машиной, будто она сорвалась сверху. Под конец, когда сон становится более легким, более чутким, малейший шум нарушает его. Просыпаюсь, словно от трубного гласа, сердце колотится, вот-вот разорвется — и все из-за пустяков.

IV

БЕРНАР

Дорогая мама!

Вот уже сорок три дня как я здесь. Видишь, я веду счет дням. А то, чего доброго, перестанешь понимать, живешь ли ты вообще. Кстати, если можешь, пришли мне карманный календарь. Я носил бы его в бумажнике и на досуге отмечал бы каждый прожитый день.

Посылаю тебе свою карточку, меня сфотографировал товарищ. Видишь, вот я и стал каменщиком. Так что ты не волнуйся, мы только этим и заняты. Строим дома. Здесь их называют «мешта». Вместо «гурби». Это, конечно, не бог весть что, но ты можешь убедиться, что мы тут не только разрушаем. Кроме того, для нашей безопасности укрепляем ферму и возводим нечто вроде башен, потому что тунисская граница почти рядом.

Кстати, о «мешта», ты пишешь, что Альбер заглядывает через твое плечо и передает мне, чтобы я писал «шуя». Хочу доказать, каким я становлюсь сговорчивым, и потому, прошу тебя, объясни ему: «шуя» значит «немного». «Много» по-ихнему —

«бесеф». Так что ему следовало передать мне, чтобы я писал «бесеф», а не «щия». Это его рассмешит. Как видите, я тут приобретаю знания. Можно сказать, войны воспитывают молодежь, не так ли? Впрочем, надеюсь пробыть здесь недолго и, значит, не успею выучить арабский. Какой пробел в моем образовании!

Начинаем понемногу устраиваться. Питание улучшилось. Я не писал, не хотел огорчать вас, но вначале кормили так плохо, что тошно вспомнить, а я всегда любил поесть. Не считайте, однако, что я жду от вас посылки. Пошлете, когда будет возможность, только не в ущерб себе.

Я много думаю о вас, и если пишу не часто, то главным образом потому, что мы все время работаем. (Смотри фотографию.)

Со мной, правда, случилось небольшое происшествие, не волнуйтесь, дело пустячное. Я находился в карауле и, прыгая через ров, упал и ободрал левую руку. Ничего серьезного, потерял немного крови, и так как иного выхода у меня не было, то кое-как доплелся до фермы сам. Таким образом я заработал отдых и возможность вам написать.

Сегодня после обеда фельдфебель сказал, что мы, наверно, через месяц получим отпуск. Это — неожиданность, потому что вначале нам говорили, что об отпуске нечего и думать.

Итак, возможно, мы скоро увидимся. Целую тебя крепко, дорогая мама, а также Альбера и Клару. Кстати, новость меня обрадовала, тем более что крестным отцом, конечно, буду я!

Любящий тебя сын Бернар.

Колетта, та не написала мне еще ни разу. Начинаю терять надежду, что получу от нее письмо. Думаю все-таки, я поступил правильно: по воскресеньям она с утра часто слушает передачи по заказу радиослушателей, и я заказал для нее испанскую песню. Сам не знаю почему, но мне эта музыка кажется необычной. Она волнует меня до глубины души. Мне даже не нужно слов, которых я все равно не понимаю. Особенно когда музыкальная фраза становится как бы нескончаемой и тебе кажется, что мелодия и голос замирают, чтобы вновь зазвучать с еще большей силой, и все напряжено, как натянутая струна, все струится и трепещет, точно листва тех деревьев, какие я так безотчетно любил, хотя никогда их не видел,— оливковых деревьев, ждавших меня на юге. Фламенко, фламандец — между ними нет ничего общего, сам не знаю, почему я так это люблю... Кажется, в прошлом испанцы завоевали наш Север. Не согрешила ли в свое время моя бабка?.. Бабка или прабабка... Нет, это идет от еще более древних времен. Из очень далекого прошлого. Испанская музыка вызывает у меня слезы, слезы радости или печали — зависит от настроения... Только эта музыка оказывает на меня такое действие... Там, на радио, они выбрали песню по своему вкусу. Пустили пластинку Луи Мариано. Колетта так ее любит. Я слушал эту передачу. Отчетливо объявили: «По просьбе стрелка Бернара Давэна из Алжира, полевая почта 23.489». Может быть, Колетта в то утро не слушала радио. Но все равно кто-нибудь ей расскажет, всегда найдутся люди, у которых включен приемник. А может быть, она и не собирается писать... Не хочет... Мне следовало бы придумать что-то другое.

Как хорошо, что я не разорвал фотографию Колетты. Непрерывно твержу это себе. Даже когда я считал, что больше не люблю ее, все равно хранил карточку, чтобы показать товарищам: ведь несмотря ни на что, я гордился Колеттой. Как говорят — она моя бабенка!.. Были и другие девушки и другие фотографии. «В том числе и Фрида»,— шутил Доффени. Не люблю вспоминать о том, как плохо я поступил с Колеттой. Недавно порвал все карточки, а фотографию Колетты все-таки сохра-

нил. В любую минуту со мною может что-нибудь случиться, но поскольку нам приказано иметь при себе документы, даже когда мы в одних рубашках, я постоянно ношу ее на сердце. Она защищает меня от пули. Это, конечно, глупо, но, если когда-нибудь у нас возобновится переписка, я напишу ей об этом. Обязательно напишу. Она будет очень рада...

Какое счастье, что у меня есть мой Доффени. Мы так хорошо понимаем друг друга. Он ни разу не назвал меня *«вонючий доброволец»*. Мы говорим между собой обо всем. И о Колетте.

У нас уже двое убитых и пять тяжелораненых. Моя рука — не в счет. Я не солгал: рана пустяковая. Это даже к лучшему, потому что я получил возможность на добрую неделю освободиться от караула. Но двое убитых и пятеро раненых для такой роты, как наша,— это ощутимо. Здесь, на ферме, из пяти остался только один, остальных, в том числе трех легкораненых, отправили в госпиталь.

Опыт показал, что нет ничего хуже караульной службы. Стоять на башне еще куда ни шло. Но две ночи подряд *они* стреляли в упор по нашим окнам, а мы со своей вышки даже не заметили их приближения. Вероятно, они это делают только для того, чтобы поиздеваться над нами, показать, что они плюют на нас, ведь их пули не могли никого задеть, и все-таки это не укрепило нашего боевого духа. С тех пор караульную службу перенесли за ограду фермы. А там — просто помираешь со страху.

Всегда буду помнить одну ночь. Это случилось две недели назад. Как обычно, луна светила нестерпимо ярко. Меня было видно за сто метров. Я прижался к стене так плотно, как только мог. А стена ослепительно белая... Я не спускал глаз с дороги, с протянувшейся вдоль нее канавы, поросшей по краям терновником, который образует клин, доходящий до самой фермы. Все это следовало выкорчевать дочиста. Когда в первом часу ночи я пришел сменить полусонного Грийе, он сказал:

— Не знаю, но мне показалось, будто в той стороне что-то шевелится. Я чуть было не выстрелил. Ты все-таки обрати внимание.

Это было в тридцати, тридцати пяти метрах от меня, на конце того самого клина, образованного кустами. Я ничего не видел. Но Грийе, уходя с поста, все время оглядывался, казалось, он не идет, а пятится. Неплохое начало...

Когда стоишь на часах, есть время поразмыслить. А это опасно. Глаза утрачивают зоркость. Впрочем, где уж тут размышлять, стоишь, как истукан, и все!.. О чем другом, кроме глупостей, можно в это время думать? Вспоминаешь и потом сам удивляешься. Но есть одна-единственная мысль, она не дает покоя, то и дело возвращается ко мне снова и снова: *«Как ты поступишь, если что-нибудь случится?»* А каков ответ? Вернее, каковы ответы... Зависит от обстоятельств. От данной минуты. Вначале я твердил, так сказать, впрок: не хочу стать убийцей. Когда вокруг меня все спокойно, когда ничто мне не угрожает и есть возможность подумать, я продолжаю твердить то же самое. Но сейчас я не хочу, чтобы убили меня. Вот и в эту ночь не свожу глаз с зарослей, куда не проникает лунный свет, и взгляд мой так пристален, что минутами я теряю из виду ров и перед глазами начинают мелькать разноцветные круги, желтые, голубые расплывчатые круги; пересвожу взгляд, чтобы убедиться, движутся ли они на меня вместе с «ним» или стоят неподвижно во рву... Я улучаю секунду, чтобы взглянуть назад, а главным образом, на ту самую часть стены, которая не освещена луной. Тут уж не до рассуждений.

Если во рву действительно кто-то есть, значит, либо он меня, либо я его.

Я еще недостаточно их знаю. Кто он, этот человек, который, возможно, засел там? Даже работающие на ферме алжирцы не подходят к нам так близко. И я все время думаю о тех алжирцах, которые дома вместе со мной работали в шахте, но только на поверхности. Их разместили в бараках, оставшихся от прежнего лагеря, где немцы в войну держали русских военнопленных и куда потом мы загнали самих немцев. Лагерь был по-прежнему обнесен колючей проволокой, но полы и крыши от времени прохудились. Алжирцы тоже не любили подземных работ. Наверху они зарабатывали гроши и старались послать хоть что-нибудь сюда, своим семьям. Немногие из них вернулись к себе на родину. Сейчас они находятся на той стороне. Снова вижу их лица. Вспоминаю если не фамилию, то уж, во всяком случае, имя или прозвище. Ахмед, которому оторвало палец, когда он работал на лебедке... Момо, Мохамед, старик с татуировкой, изображавшей вакханок, Омар, еще совсем молодой, влюбленный в сестру нашего Брику. Красивый паренек, но, к сожалению, алжирец. Интересно, вышла она за него замуж?.. Брику жили небогато. Бельгасем, тот спускался в шахту. Они, должно быть, изменились под здешним солнцем. Однажды, когда у Бельгасема нечего было есть, я поделился с ним своими бутербродами, но так, чтобы никто не заметил.

Попадались среди них и землекопы, которые прокладывали водопроводные трубы в поселке. Мне тогда было лет девять-десять. Длинные траншеи, вырытые в песчаной почве. Огромные черные трубы, просмоленные на стыках, нагроможденные по десять-двадцать штук вдоль края дороги. Целое событие для нас, мальчишек. Каких только игр мы там не устраивали!.. Алжирцы в полдень садились под стеной дома, пили одну воду, хотя напротив был кабачок «Карако». Моя мать одалживала им ведро зачерпнуть воды, а иногда сама набирала воду из нашего колодца, чтобы была посвежее. Воду им мать выносила, а во двор к себе не пускала. Она не любила пускать в дом чужих. Даже французов... Когда наш двор мостил каменщик, мать чувствовала себя неуютно... Те не брали у нас ничего, кроме воды. Попроси они пива, им бы тоже не отказали. Не всем, конечно, а только тем, кто работали напротив. Да и дел-то было всего на день-два, не больше.

Но, главное, среди них был Мари. Тот самый Мари, который меня задаривал. Это был *чук-чук,* алжирский разносчик товаров. Нам, ребятам, он казался настоящим волшебником. Чем он только не торговал! Ковры, подтяжки, кожаные сумки, большие и маленькие,— прямо глаза разбегались... Его прозвали Мари потому, что всем женщинам без исключения он говорил:

— Покупай у меня, Мари... Вот это как раз для тебя... А это для твоего мужа.

Старик жил во Франции давно, но по-французски знал несколько слов. И даже их произносил с очень забавным акцентом. Был еще и другой, тот приходил реже — его, не знаю почему, прозвали Жозефом. Может быть, под стать Мари. Он был такой же старый, как Мари, их часто путали. Женщины говорили ему:

— Вы никогда не устаете, Жозеф!

И получали неизменный ответ:

— Жозеф никогда болеть, никогда умирать!

Он тоже ничего, кроме этих нескольких слов, по-французски не знал. Их обоих жители поселка пускали к себе в дом, позволяли им посидеть, отдохнуть немного. Уж я-то никогда не путал Мари с Жозефом. Мари был моим старшим товарищем. До сих пор ощущаю во рту этот вкус... Мне было от силы лет шесть-семь. Еще был жив отец. Стояла жара,

такая же, как здесь. Солнце палило нещадно! Мне ужасно хотелось пить!.. Мари сел, посадил меня к себе на колени, как часто это делал, сунул руку в один из огромных карманов своего диковинного одеяния и вынул пригоршню крупного, темного, почти черного крыжовника, покрытого ворсинками, жесткими, как щетина. Этот только что сорванный крыжовник ему дали в одном из домов где-то повыше. Ягоды еще не успели согреться у него в кармане.

— Возьми! — сказал Мари. Он умел произносить слово «возьми». Это я хорошо запомнил. Мне так и кажется, что я до сих пор ощущаю на языке и нёбе колючее прикосновение ворсинок большой упругой ягоды, и особенно то мгновенье, когда она, лопнув, увлажняет мой пересохший рот...

Удивительное дело, я уже давно заметил, что если иной раз я и думаю хорошо об алжирцах, то большей частью когда стою на часах. Как будто я хочу оправдаться, доказать, что не заслужил их пули. Словно выставляю напоказ свои заслуги кому-то невидимому, тому, кто может убить меня в эту темную ночь на этой чужой земле. Здесь сказывается не только страх перед пулей. Иногда, стоя на часах, чуть не засыпаешь. Бывали случаи, когда они брали в плен караульных. Говорят, они пытают пленных. Однако до сих пор я, право же, никому еще не причинил зла...

Но в ту ночь это и многое другое, что проносилось в моей голове, не мешало мне пристально вглядываться в черноту рва, который казался Грийе подозрительным. А через час, потому ли, что я так напряженно смотрел, потому ли, что луна слегка переместилась, но я действительно начал различать смутное белое пятно. Я уже приготовился спустить курок, медлить было нельзя. На секунду у меня мелькнула мысль пойти посмотреть, в чем же дело. Если там никого не окажется, у меня сразу станет легче на душе. Но сделать это я не решался. Один только шаг, и начнется... Может быть, оставаясь на месте, я подвергаюсь меньшей опасности... Выстрелить? Но это вызовет ответное действие, а если там никого нет, меня сочтут трусом.

Кто же он там, напротив, чье присутствие мне казалось все более и более вероятным? Коммунист? Говорят, их тут немного. Но они все-таки имеются. Выстрелил бы я в своего отца? Ни за что! И отец не стрелял бы в меня. Если я выстрелю, то сделаю это, только спасая свою шкуру. Ну а если бы мой отец был алжирцем?.. Право же, эта война не такая, как другие войны. Я не могу найти ответа, все мне неясно, но ответ дает мой палец, нажимающий курок. Моя шкура сама готова себя защищать.

Темная тень позади, во всю длину стены, беспокоила меня не меньше. Будь со мной хоть электрический фонарик, я бы время от времени направлял на нее луч света... Сознаюсь, мне всегда была неприятна темнота. Ничего не скажешь, прирожденный воин! Да и шахтер тоже! Двух вещей не переношу — темноты и взрывов. Когда я был мальчишкой, товарищам, если они хотели подшутить надо мной, достаточно было взорвать за моей спиной петарду или обычную гильзу — и со мной творилось невесть что. Я затыкал уши, отбегал по крайней мере на сто метров, только пятки сверкали, и мне казалось, что весь мир рушится. Мать даже несколько раз водила меня к врачу. Потом это прошло. И здесь темнота мне кое-что напоминает... Раннее детство, ночь. Я бегу через двор за сарай, в уборную... В руках у меня огарок в старом подсвечнике, закапанном стеарином. Стоит мне все это вспомнить — и я теперь еще вытираю кончики пальцев о штаны. Слабенький огонек дрожит, замирает, вот-вот погаснет. Огромные тени пляшут по черепичной крыше, по

двум большим балкам, по кирпичным стенам, покрытым обрывками паутины, почерневшими от угля... Поэтому еще ребенком я постоянно мечтал об электрическом фонарике...

И вот часа через два я увидел, что «оно» движется. Правда, это еще ничего не означало. Что бы это могло быть? Ночи стояли холодные. Но я надолго запомнил, как в ту ночь у меня взмокла спина от страха. Я готов был вдавиться в стену, слиться с полосой тени, которую она отбрасывала. Через полчаса «оно» раза два издало легкий шум. Сердце билось так сильно, что я уже не мог как следует прислушаться. Что-то вроде того шума, какой производит врубовая машина. Прошло еще несколько минут, и сомнений у меня больше не было: да, это человек, а белое пятно — его лицо! Я быстро прицелился и выстрелил. Ответа не последовало. Я выстрелил вторично. Тотчас на ферме поднялась тревога. Я услышал, как забегали по двору. Доффени, знавший, что я в карауле, прибежал первым, заряжая на ходу автомат...

В общем, когда осмотрелись, выяснилось, что это старый ящик с обрывками газеты внутри, они-то, должно быть, и трепыхались на ветру. Вот какие шорохи доносились до меня. Газета называлась «Эхо Алжира» *. Значит, я стрелял по колонизаторам!.. Вот уж к этому меня не пришлось бы принуждать.

Фермер имел наглость пожаловаться младшему лейтенанту на бесполезную стрельбу. Если бы от меня зависело, я бы предоставил колонизаторам полную возможность защищаться самим!.. А уж что касается нашего, то выстрелил бы в него с большим удовольствием, не колебался бы ни минуты. Достаточно взглянуть на него, на все, что бы он ни делал... Вот он стоит у себя в кухне, прислонившись к шкафу. Разговаривая, он все время трется лопаткой об его угол. Слышно, как в шкафу дребезжат тарелки. Потом толстяка начинает покусывать где-то с другой стороны, и он перемещает свою стокилограммовую тушу; не выпуская из рук хлыста и поводя плечами, он чешет ягодицы о край стола долго и с нескрываемым удовольствием. На столе в стаканах, в бутылке плещется вино. Глядя на него, чувствую, что мне было бы так же приятно пить это вино, как... В одной руке он обычно держит и хлыст и мешочек с конфетами. И целый день тащит оттуда леденцы и сосет их.

За столом, кроме него,— жена, двое детей и его мать. Стоят четыре порции кислого молока. Две он вливает в себя. Вдобавок ко всему он ревнив и подозрителен. Всеми средствами выколачивает монету, а сам не знает, что дважды два — четыре. Надо видеть, как он пыхтит над своими счетами, а все-таки другому этого не доверяет. Он и его семья и пожить-то как следует не умеют. Уселись на своих деньгах — и ни с места. Если не считать зимних месяцев, когда они якобы широко живут на Лазурном берегу, и еще субботних и воскресных дней, когда они отправляются в город на своей вместительной машине, то живут они скудно, во всем себе отказывают, разве что едят много. И все копят и копят. Сорок гектаров земли хозяин обрабатывает сам, а еще восемьсот сдает в аренду местным арабам. А те, вспахивая поля жалкими деревяшками вместо плугов, не могут собрать с этой земли хотя бы столько, сколько нужно для уплаты за аренду. В некоторых случаях фермер под залог земли одалживает арабам зерно. Если кто-нибудь из них вздумает получить свою землю обратно, от него потребуют уплаты недоимок за выданное в кредит зерно. Вот и выходит, что не-

* Орган французских колонизаторов в Алжире.

которые арабы работают батраками на собственной земле. И как работают! Я предпочел бы вернуться назад в шахту. Двести франков получает тракторист за дневную работу и еще сто франков, если он работает ночью, при свете фар. Наиболее обширные участки отводятся здесь под бобы. Эта земля поистине извергает камни. Их приходится без конца собирать и складывать в кучи по краю поля.

Мерзавец этот взял в управляющие своего шурина и даже ему платит не больше двадцати тысяч франков в месяц, но и за родственником следит, как за чужим. Для этого он поднимается на караульную вышку, откуда видны его поля, его рабочие, его шурин-управляющий. И хозяин наслаждается. Когда он дома, семья трепещет. Жена может вздохнуть свободно, лишь когда он в отъезде. Она куда умнее его. У нее среднее образование. Она читает, слушает радио, пластинки. Фермер и за ней следит, особенно с тех пор, как здесь появились мы. Не знаю, как другие, но я вовсе не горю желанием познакомиться с ней поближе. Она для меня слишком важная птица. Иногда провести вечерок сюда приезжают полковник или лейтенант, они увиваются вокруг фермерши, а муж ее, этот буйвол, весьма польщен их визитом, он воображает, что те в самом деле приходят к нему. Только сержант Вильгрен немного сблизился с нею. В мирное время он был учителем. Сочиняет стишки. Не успеет муж уйти, Вильгрен тут как тут. Должно быть, читает ей свои вирши. Но на этом дело кончается, потому что Вильгрен, конечно, не годится в соблазнители. И все же фермер начинает что-то подозревать, он беспокоится и косо посматривает на Вильгрена. Толстяк уже, вероятно, по этому поводу сделал внушение своей жене. Недолюбливает фермера и его шурин, смотрит на него исподлобья. Чувствуется, в семье что-то назревает. И если в ближайшее время случится беда, в этом не будет ничего удивительного. Снаружи — феллахи, внутри дома — вот-вот разыграется драма. Весело!

Мы все слегка повинны в этом. Мы заняли в доме все, что только можно. Наши таблички висят почти всюду. «Максим № 2» — на дверях столовой, «Кондитерские изделия» — на дверях уборной. Таких табличек штук десять. При случае мы пялим глаза на жену фермера, от этого никто не может удержаться. Но даже младший лейтенант Сальмон не якшается с ними. Хотя он и ночует на ферме. Любопытно, что он остается ночевать с нами, а не с начальством в лагере, километрах в пяти отсюда. Быть может, потому, что мы здесь как бы строим, хотя понемногу и мы начинаем воевать. А лагерь — это действительно воплощение войны, и только войны. Когда мы, к примеру, берем кого-нибудь в плен, то не держим его здесь, а сразу отправляем в лагерь. Вот позавчера задержали старика, который однажды приходил к нам за врачом для своей жены. Говорят, он прятал у себя феллахов. Если это верно, то он все-таки неблагодарная тварь... Нельзя быть таким двуличным... Во всяком случае, старика араба здесь недолго продержали. Через час его погнали в лагерь.

V

АЛЬБЕР

У нас тут все совершенно другое, не такое, как в Алжире. Судя по тому, что пишет мой брат, Алжир — это страна солнца и луны, сплошь залитая светом. Здесь же твои глаза, легкие, одежда насквозь пропитаны мраком. Его вбирает в себя каждая складка.

— Значит, «Мари-Терезе» скоро крышка!

Мы тоже ведем счет дням. «Мари-Тереза» — это шахта. Ее эксплуатация приходит к концу. С сегодняшнего дня недели через три, через месяц начнется разработка новой шахты, где я, возможно, буду работать. «Мари-Терезу» мы покидаем без сожаления. К старости она совсем испортилась. То выдаст уголь, то заупрямится. Никогда не знаешь, что от нее получишь. Сегодня вечером, ставя первую крепежную стойку, я подумал о матери, обо всем, что произошло вчера, и рассмеялся. Франси Оффр, работающий рядом со мной, говорит:

— Ты что, совсем ошалел? Почему это ты ни с того ни с сего смеешься?

Я пробормотал в ответ первое, что пришло в голову:

— Можно отрубать лучше, вот посмотри как. У тебя ни то ни се. Ох уж этот Франси, он рад бы кончить, не начиная!

А мать все-таки надо бы успокоить. Она в постоянной тревоге. Бернар там... Вчера мне захотелось поговорить с ней о себе... сказать ей только, ничего не объясняя: *«Разборка крепи — это когда ты вытащил стойки и все обвалилось!»* — значит напугать ее.

«Мари-Тереза» ростом не вышла. Высота забоя — сантиметров пятьдесят, семьдесят пять, да и то в ее лучшие времена. Пробираться по ней приходится ползком. А вот новая шахта, которую начнут разрабатывать, она, говорят, высотой в полтора метра. В забоях можно будет работать, как в настоящей комнате, крепление не вручную, а машиной. Ходить будем выпрямившись, в полный рост. Итак, вчера я взял метлу и, дурачась, попытался успокоить мам Анжелу...

* * *

— Видишь ли, на «Мари-Терезе» крепление с «перьями». На новой шахте так же. Что значит «перья», я тебе объясню. Но прежде...

Я все время держал в руках метлу. Затем передал ее матери. Клара помалкивала и даже не улыбалась.

— ...знаешь, как все это происходит? Клеть тебя доставляет вниз. Выходишь на глубине трехсот метров... А там рудничный двор, он тянется далеко...

— И твой отец тоже...

Началось неплохо!

— Не всегда, впрочем, триста, глубина может быть и метров двести. Ладно, значит, ты спустился. Перед тобой большая выработка.

— Все это я знаю.

— Ну, раз ты знаешь, то и объяснять вроде не стоит. Если будешь меня перебивать, не стану рассказывать.

— Дайте ему договорить, мам,— просит Клара.

— Погоди, мам, Клара-то всего не знает. Где тут у вас?..

Но разве найдешь в доме Анжелы клочок бумаги? Днем с огнем не сыщешь...

— И хоть какой-нибудь завалящий карандашик!..

Мам протянула мне промасленную бумагу с клеймом шахтерского кооператива. Карандаш, подобно «Мари-Терезе», пришел к концу, превратился в жалкий огрызок. К тому же грифель сломан, шатается и при малейшем нажиме выпадает.

— Так вот, значит, рудничный двор. Это широкая бетонная выработка, укрепленная стальными стойками. Проходишь сто, двести метров — и начинается разветвление. А тут рельсы, видишь? Но вот рудничный двор постепенно сужается. Повсюду металлические крепления и толстые деревянные брусья. Обе поняли? Можно продолжать? Ладно. Идешь дальше, скажем, еще на сто метров по рельсам в глубь штрека...

— И это мне известно еще со времен...

Мы с Кларой одновременно посмотрели на мать. Но она, поняв свою оплошность, сразу же умолкла. И жестом попросила меня продолжать.

— ...И вот наконец ты у верхнего входа в лаву. Она спускается наклонно, вот так, до нижнего штрека. Лава имеет, скажем, сто пятьдесят метров наклонной длины. Ясно?

— Ясно как день,— отвечает Клара.

— Вот так оно все внизу и выглядит. Но не думай, что там светло, как здесь. И не воображай, что очень приятно... рисовать на такой бумаге. Попадешь на масляное пятно, и карандаш не пишет, скользит, а когда можно писать, то грифель выпадает и ты царапаешь деревом!..

— Оставь! Не нервничай,— говорит Клара.— Рассказывай дальше...

— Ладно! Дай-ка мне метлу. Вот мы в забое...

— С такими вещами шутить нельзя,— говорит мать.— Это приносит несчастье.

— *Несчастье!..* Дай же метлу наконец! И не прерывай меня поминутно, это и вправду действует на нервы. Вот мы внизу!.. Я вам изображаю все это упрощенно и далеко не полностью. А чтобы вы могли себе действительно представить, каково внизу, надо все усилить по крайней мере во сто крат и перемешать. На всех этажах — пересечения, срезы, заброшенные штреки. А еще подъемные выработки с лесенками, вентиляционные штреки, чего там только нет!.. Это уже не земля, а губка, ствол дерева, источенный червями. И когда он раскалывается, задаешь себе вопрос, как все это еще раньше не рассыпалось,— до такой степени все здесь трухлявое, на любой глубине. Для того чтобы предупредить обвал, необходимы крепления.

Я ставлю метлу палкой вниз, так что прутья ее устремляются в потолок. Палка — это сильно сказано. Просто старая отцовская удочка. Чтобы насадить метлу, толстый конец обмотали тряпкой, лоскутом от старой рубахи, который всегда немного свисает. Жалкое зрелище! Мать уверяет, что метла стала от этого легче. Отец был завзятый рыболов!... И охотник! Ружье его сохранилось до сих пор. Что касается меня, то я — тоже рыболов. Бернар, тот скорее охотник. Так поделили мы отцовские наклонности.

— ...Но все-таки сначала я тебе объясню...

— Поставь на место грязную метлу! Меня от нее мутит.

Мать чуть не выхватила у меня метлу из рук, чтобы ткнуть ее в угол, рядом с насосом, туда, где уже стоит таз на табурете и два ведра воды, покрытые деревянными кружками: на одном из кружков маленькая сковородка, заменяющая черпак, на другом — половая тряпка, дерюга, скрученная, как витой леденец на палочке, которым лакомятся на шахтерском празднике,— сравнение это с детских лет приходит мне на ум. Переворачиваю бумагу и снова начинаю рисовать. Штемпель фирмы просвечивает насквозь.

— Я делаю набросок, чтобы показать, как забой выглядит сверху. Эта линия — его передняя часть — угольный пласт. Здесь добывают уголь. Скажем, длина лавы сто метров, а у «Мари-Терезы» длина лавы была пятьдесят, семьдесят пять метров. Работаешь, стоя на коленях или лежа на боку. К примеру, этот человечек, если только он у меня получится,— забойщик. Он даже похож на Татава, знаешь, того самого Татава из Корон-вер, у него такая же огромная голова! Вот! Уже! Как говорит ребенок, сделав свое дело...

— Не дури! — сердится Клара.

— Ладно! Пусть будет по-твоему, ребенок и не сделал и не сказал. Так вот, приблизительно на расстоянии одного метра от линии забоя — взгляни на эту пунктирную линию — проходит первый ряд крепежных стоек. Каждая черточка — стойка. Между ними расстояние, пожалуй, тоже в метр...

— Не нажимай,— говорит Клара.— И не верти карандаш! Сейчас прорвешь бумагу!

— Проклятый карандаш, никуда не годится. Ну а внизу ставить подпорки не так легко, как кажется. Особенно если они стальные. Их называют крепежными стойками. И весят они от тридцати до пятидесяти килограммов каждая, не меньше. В таких небольших шахтах, как «Мари-Тереза», их не применяют, но, когда мы перейдем в большую, придется засучить рукава!.. Видишь на бумаге, так сказать, теоретически, три пунктирные линии? Это три ряда крепежных стоек в забое. За спиной у забойщика, в пространстве между линией забоя и первым рядом стоек, имеющим ширину в один метр, проходит резиновый транспортер или какой-нибудь другой конвейер, который доставляет уголь на нижний штрек. А там уголь попадает в вагонетки и — в путь! По рельсам, по рудничному двору до подъемного ствола, до клети, которая выносит его на-гора.

— Ну а твоя-то работа в чем?— спрашивает мать.

— Погоди!.. Так вот, днем ребята подрубают уголь, отодвигают передний край забоя приблизительно на ширину одного ряда стоек. И тогда получается уже не три, а четыре ряда стоек. Когда по всей длине забоя удается установить этот новый ряд стоек, что надо делать? Выбить крепежные стойки крайнего от забоя ряда. Тогда все, что позади нас, обрушится.

— После вас хоть потоп! — замечает мать.

— Вы сжигаете за собой мосты,— говорит Клара.

— ...И делать это приходится тебе? — спрашивает мать.

— Да погодите же вы, ради бога! Я разбиваюсь в лепешку, чтоб показать вам, что все не так уж страшно, как кажется!..

— Только не говори «разбиваюсь»! — просит мать.

— Ну вот, начинается!.. Ладно, на этот раз вы поймете!..

И я снова беру метлу.

— ...Представь себе, что эта палка и есть металлическая стойка. В действительности стойка в десять, двадцать раз толще. И тяжелее. И прочнее. К счастью! Прутья метлы — это те стойки, которыми подпирают свод, их ставят в виде буквы «Т»...

— Не пачкай потолок,— говорит мать,— не стоит того...

— ...они-то и называются перьями. Эти металлические стойки заменяют деревянные крепления. Вероятно, потому их так окрестили, что они очень тяжелые! Потолок называют кровлей, землю под ногами — почвой, металлические брусья и перья пригоняют друг к другу, но все это легко разбирается, видишь, вот так!..

Ну и разозлилась мать, когда я распотрошил ее метлу! Чуть не побила меня! А Клара — как она расхохоталась!

— Если бы не ты, метла бы век прослужила,— причитала мам Анжела.

Она потом еще долго кипятилась всякий раз, когда собиралась подмести пол, и еще больше, когда накручивала на метлу мокрую тряпку, чтобы поменьше нагибаться.

— Хватит, отдай метлу, я приведу ее в порядок! Хозяин порадивее вбил бы в нее хоть один гвоздь. Она бы еще послужила. Будь жив твой отец...

Позже мать все-таки немного отошла и даже смеялась, но все же и речи быть не могло о том, чтобы я снова дотронулся до метлы.

— Ладно,— сказала Клара.— Ну а ты, что ты там делаешь?

Вот когда на меня нашло вдохновение. Теперь помирали со смеху обе. Чего я и добивался. Я притворился испуганным, стал на четвереньки и залез под стол. Свисающий край скатерти скрывал меня от их взоров. Наружу высовывалась лишь моя правая рука, она двигалась так, словно наносила удар, и тут же снова исчезала под столом.

А я кричал оттуда:

— Прячьтесь! Между стойками рядом, они еще укреплены! Не обвалится!

Затем я осторожно, с тем же идиотским видом, высовывал голову из-под края скатерти, словно проверял, не идет ли дождь.

— Под землей всегда каплет!

— Ну, хватит ребячиться! Вылезай! — сказала мать.

Думаю, что все это подействовало.

* * *

Впрочем, забои «Мари-Терезы» в самом деле немногим выше стола. Но мы привыкли.

— Подрубки,— говорит Франси,— в них-то во время войны, кажется, и была собака зарыта, тебе не рассказывали?.. Это называлось «подрубать, сидя на велосипеде». Вместо того чтобы по-настоящему бутить выработанное пространство сплошной пятиметровой закладкой, наспех сооружали жиденькие перегородки, которые должны были сдерживать породу, но не доводили их до самой кровли. А главное, оставляли между перегородками пустое пространство. Боши в этом ничего не смыслили. Они никогда не спускались в шахты. Но им казалось, что рельсы ходуном ходят. Надо было это видеть! Иногда все выработанное пространство, напоминавшее настоящую комнату, засыпали не пустой породой, а углем. Пусть хоть этот уголь немцам не достанется! Забрасывали туда инструменты — кирки, отбойные молотки, буравы, сверла!..

Первые стойки по краю насыпи легко вытащить. Насыпь сама хорошо придерживает. Да и кровля здесь не грозит обвалом. По всей длине насыпи получается проход; конечно, и он в один прекрасный день обрушится, вопрос лишь в том, когда. Проход этот более или менее широк. Иной раз, когда отрывается большая глыба, она сама как бы поддерживает все остальное, а заодно и кровлю. Получается естественная крепь, но бывает, что остается пространство, где порода провисает и держится только чудом. В низких забоях еще куда ни шло. Но в высоких, когда перед тобой настоящие залы чуть ли не с площадь Согласия...

Все это слепые шахты... Немного света, клочок неба — и может показаться, что ты находишься где-то высоко в горах, а внизу — вселенная вверх дном, хаотическое нагромождение скал...

...Начинаем разборку крепи. Кровля плохо поддается. Выбиваем одну, другую, третью стойку. Ничего не получается.

— Послушай,— говорит Франси,— раз уж мы с тобой заговорили о войне — мне вспомнилось кое-что...

— Знаю, что именно... Дерьмо в отбойных молотках?

Рассказывали, что у тех, кто с готовностью работали на немцев, ребята развинчивали отбойные молотки. И туда, в камеру со сжатым воздухом, накладывали полным-полно... Стоило только щелкнуть гашеткой, и оттуда стреляло, как из автомата, обдавало этих мерзавцев с головы до ног. А потом... Чем больше они работали, тем больше нагревались молотки, а чем больше нагревались, тем сильнее воняло.

— Отец,— вспоминает Франси,— когда ссорился с моей матерью, всегда говорил: «Ну вот! Мне и без того хватает дряни в забое!»

— А известен тебе другой, не менее прекрасный способ вводить дрянь в забой? Как делали в войну, если была необходимость. А историю с мотором, который приводит в движение транспортер, знаешь?

— Знаю, знаю! — восклицает Франси.— Мне и об этом рассказывали. Чтобы мотор прочно держался на верху лавы, его следует хорошо укрепить, но умышленно укрепляли слабо. Через час стойки начинали плясать. Мотор скатывался на два-три метра вниз, толкая весь конвейер, загоняя его в нижний штрек. Конец подрубке! А чтобы сызнова все наладить, нужно время. Добыча и падала.

На четвертую стойку, даже если ничего и не обвалилось, надежда слабая. Стараемся держаться подальше. Все происходит примерно так, как я недавно показывал, сидя под столом. Франси держит цепь, одним концом прикрепленную к стойке, а другим — к перу. Мы оба, насколько возможно, прячемся за соседнюю стойку. Так укрываются за стенкой, когда стреляют из-за угла. Киркой — держу ее в вытянутой руке — я бью по хвосту глыбы, шпонка соединяет две части стойки, входящие одна в другую, а все вместе похоже на бамбуковую трость или трубку телескопа. С этим хвостом и метлой-удочкой ты как на рыбной ловле. Хвост падает с радостным дзиньканьем, металлически поблескивая при свете наших ламп. Одна часть стойки плотно входит в другую, перо падает. Франси с предельной быстротой тянет цепь, словно он поймал громадную двадцатифунтовую рыбу и очень боится, чтобы она не сорвалась. Одним глазом мы смотрим, если можно так выразиться, на всю упряжку, а другим — на кровлю.

Прислушиваемся.

Оттуда ни звука, ни шороха. Несколько угольных осколков, которые еще кое-как держались, падают и рассыпаются крошкой. И все.

— Еще немного — и посыпется,— говорит Франси.— Сейчас услышим.

— Если я не ошибаюсь, пласт опять куда-то ушел, как в прошлый раз.

— Ну если как в прошлый раз, то лучше нам позвать делегата,— говорит Франси.— Он как раз в эту ночь спустился в шахту.

— Попробуем-ка трахнуть еще разок... Тогда увидим. Может быть, дело в горбылях?

Франси прикрепляет свои цепи. Готово... А я... Но тут очередная заковыка. Обвалившаяся вчера огромная глыба прижалась к стойке и на три четверти загородила хвост рыбы.

— Можно сказать, небывалый случай. Не везет, так уж кругом!

Бью, но кирка отскакивает от породы, слегка задевая хвост. Бью три раза кряду. Не помогает.

Подхожу ближе.

— Альбер, только смотри поосторожней! — предупреждает Франси.

Одной рукой я держусь за стойку рядом, чтобы в случае необходимости быстренько спрятаться за нее. И лишь слегка высовываю голову и одно плечо. Ударяю на более близком расстоянии.

— Берегись, Альбер!— поспешно кричит Франси.

И все-таки мой удар не достигает цели.

— Трудно тебе приходится, старина!

Но я заметил, что Франси... Его ведь никто не заставлял, мог бы оставаться в укрытии. А он все-таки высунулся там, где не следовало. Правда, не так далеко, как я, а все же... Словно не хотел оставить меня один на один с опасностью. Глупо, но человечно. Он, вероятно, сделал это непроизвольно. Считаю своим долгом предупредить его:

— Не подходи! Не стоит!

Сам же подбираюсь еще ближе. Прежде всего, чтобы получше рассмотреть, в чем дело. Разглядываю этот проклятый хвост и сверху и снизу. Ну и глыбина! Такую с места не сдвинешь, даже не надейся.

— А если нацелить молоток сверху?— спрашивает Франси.

— Попытаемся.

Франси отпускает цепи и, тоже ничем не защищенный, протягивает молоток во всю длину руки, стараясь приладить головку молотка к хвосту рыбы...

— Начинай! Бей!

Мой удар ложится прямо на молоток Франси, на сей раз молоток соскальзывает.

— Нет! Так мы ее не одолеем,— говорит Франси.

— Придется обойти с другой стороны. Мне будет сподручней.

Теперь одним плечом я упираюсь в обвалившуюся глыбу. Хочу ударить обеими руками. Во всяком случае, следующий ряд стоек настолько далек, что я не могу держаться за крепление.

— Если с тобой случится беда, они скажут: сам виноват,— обеспокоенно замечает Франси.

— Но надо же с этим кончить!

— Ты готов?

Ударяю изо всех сил. Кирка хорошо сработала. На этот раз поскользнулся я. Упал набок. Почувствовал, как Франси схватил меня за руку и подтащил к себе. К счастью, я упал недалеко. Франси — верный помощник. Одной рукой он подтянул до отказа цепь, перо и металлическую стойку. Другой рукой — меня.

— Наконец одолели!

Несмотря ни на что, кровля не рухнула. Даже если бы Франси и не подтащил меня, ничего бы со мной не случилось.

Мы все-таки довольны достигнутым.

— Да, досталось тебе! — говорит Франси.

Это правда. Снимаю шапочку. Шлем. Обтираю им лицо и шею. Недавно постиранное синее полотно еще пахнет свежестью. Шлем я надел после стирки впервые. Можно сказать, он пахнет Кларой. Снова надеваю и шлем и шапочку. Но до этого бросаю взгляд на прикрепленную к ней лампу. Поворачиваю два-три раза рычажок, будто настраиваю радиоприемник...

— Не пойму, что случилось с лампой? Ослабла, что ли?

— Потряси немного всю эту штуковину. Ей это бывает полезно.

Вся «эта штуковина»— батарея, которую носят обычно на поясе. Франси трясет свою, чтобы показать, как это делается.

— Чертяка! Ну и рука у тебя!

— Да это же все равно что женщина!— говорит Франси.— Попробуй-ка с ними обращаться по-другому.

Я тоже встряхиваю свою батарею, но, разумеется, безуспешно. Лампа вышла из строя.

О женщинах Франси думает вовсе не так плохо, как отзывается о них. Но таковы уж шахтеры. Любят крепкое словцо. Перегибают палку...

Часто слышишь: «Скажи штейгеру — пусть сюда носа не кажет. Я его убью!» Штейгер проходит, вслед ему летит брань — и все. Чем больше болтают, тем меньше делают. «Твоя жена?» или «Твоя сестра? Гм, ты только приведи ее ко мне! Посмотришь!» Обзывают друг друга по-всякому: «Эй, рогатый! Уж не воображаешь ли ты, что твоя женка спит по ночам одна?» Чем словцо крепче, тем больше оно нам по душе. Даже такое слово, как *бездельник!* А между тем *бездельник,* если это сказано всерьез,— хуже слова нет. Когда у нас говорят *бездельник* — этим сказано все. Это не только *лодырь,* которому противопоставляют *работягу.* Настоящая противоположность *бездельнику* — человек *доблестный.* Во всех отношениях. Смелость и в работе и во всем остальном. Смелость, необходимая для того, чтобы быть честным, и смелость политическая — все это между собою связано. Бездельник лишен всего этого. Откуда пришло к нам это слово? Неужели мы такие задиры? Оно потому к нам пришло, что мы всегда имеем дело с чем-то, что сильнее нас... Шахта, почва, недра, мрак... Вот и подбадриваешь себя крепким словцом, стараешься казаться лихим парнем.

— Ну, ты уж слишком совестлив,— говорит Франси,— когда-нибудь нарвешься!

— Бьюсь об заклад, что нам мешает продвигаться горбыльный штабель.

Штабель — это сотни сложенных горбылей, которые переносят с места на место, когда крепят кровлю в помощь крепежным стойкам. Внизу у горбыля подшашки. Когда их вытягиваешь, все обваливается — крепь, а иной раз и кровля. Со стойками можно делать что угодно, а подшашки необходимо освободить.

Начинаем работать с большими предосторожностями. Глыба, которая грозит обвалом, велика. Если она упадет сразу, то снесет всю крепь. Это самое страшное, тогда во всем забое негде будет спрятаться, а может, от забоя и следа не останется.

— Ты готов? Начинаю!

Удар. Штабель рассыпается. Кровля по-прежнему неподвижна.

Переглядываемся. Сперва молча. Разбираем стойки. Бросаем их дальше...

— Не знаю, можно ли продолжать,— замечает Франси,— дело принимает скверный оборот.

— Если прекратить работу, придется минировать и взрывать — этак целый день потеряешь.

— Ну а пока давай крепить...

Подбираем помятые металлические стойки, перетаскиваем их снова. Работаем, стоя на коленях, прислонившись друг к другу. Поставить стойку, найти точку опоры в грунте, пригнать к перу, подтянуть стойку

под кровлю, подложить рыбий хвост, все закрепить — дел хватает! Кровля, та может все смять. Ей только это и нужно. И хотя мы рядом, никто из нас не произносит ни слова. Слишком мы озабочены.

Ночью работаешь в тишине. Вся современная техника бездействует. Не слышно ни шума транспортеров, ни стука отбойных молотков. Разве только где-то далеко, в другом забое, идет ночная добыча, и оттуда изредка доносятся звуки: не то какое-то завывание, не то рыканье хищных зверей. Старые шахтеры говорят, что только ночью чувствуешь шахту. Так было в те времена, когда работали одним лишь обушком в рукопашной схватке с лавой. Вот она, шахта, ее слышно. Она говорит. Даже шепчет.

Укрепляя металлические стойки, мы молчим лишь потому, что прислушиваемся.

Все здесь решается на слух.

И вдруг мы снова переглянулись.

— Готово! Она дает о себе знать!

Гром, похожий на взрыв, ударил в скалу над разобранным горбылем, и то место, где вчера произошел обвал, зияет над развороченной землей.

— Однако не густо!

Действительно, на этот раз все. И снова полная тишина.

— А не перекусить ли нам? Может быть, и она разохотится,— говорит Франси.

Напяливаем синие полотняные куртки на мокрое тело, с которого стекает пот, оставляя угольные подтеки. Повеяло холодом. Чтобы защитить себя от сквозняка, усаживаемся на угольной мелочи в тех ямах, которые забойщики пробили вчера на передней линии пласта и в которых они завтра будут стоять, подрубая пласт с боков. Вытягиваем из мешочков не весь бутерброд, а ровно столько, сколько можно откусить. Вместе с хлебом кусаем край мешочка.

— Уголь не вреден, его даже принимают, когда болит живот...

— Принимают, да не такой!

— Может быть, не такой, но все-таки уголь. Да и вообще, чего только из него не делают, из угля.

— Алмазы!

— Даже духи для женщин.

— И разные ткани!

— Всякие штучки, прозрачные, как стекло.

Где-то далеко, на высоте первой раскрепленной стойки, покатился камень. Вслед за ним второй, величиною с голову, но ближе, на полпути к нам.

— Роды начинаются,— говорит Франси.— Видишь, хорошо, что мы выждали.

Уплетаем вовсю.

— Война,— говорю я, возвращаясь к нашей беседе,— все-таки дело серьезное! Сопротивление!..

Франси утвердительно кивает, но молчит. Наверно, думает: «Кто болтает, тому в рот не попадает».

— Мы с тобой были слишком молоды. Еще ничего не понимали.

Эта мысль и мне часто приходит в голову. В войну можно было себя показать. Еще и сейчас, пятнадцать лет спустя, есть люди, которые вправе гордиться своими славными делами. Иногда я думаю: «А ты прояви себя в другом...»

Правда, в данное время я не на том пути.

— Готово! Вот мы ее и успокоили, теперь она сама по себе не обвалится, — говорит Франси, запихивая остаток бутерброда в мешочек.

Я делаю то же.

— Не попробовать ли нам еще и эту?

— А почему бы и нет? — отвечает Франси.

Едва только кирка коснулась рыбы, все стало ясно. Кровля выстрелила, словно из пушки. Это значило, что всей своей тяжестью она нажимала на стойку. Остальные стойки вокруг задрожали, как натянутые струны. Мы предупреждены. На этот раз мы укрываемся понадежнее.

— О господи! — с усмешкой восклицает Франси.— Что-то будет дальше?

Пришел мой черед ударить.

Могло быть гораздо хуже. Часть кровли, только что раскрепленной, обвалилась, но в три приема. Случись такое сразу, мы бы здорово хлебнули! Ну и пылища поднялась! Пришлось ждать, пока она осядет, чтобы вытянуть стойку и перо. Рычагом или крючьями. Вручную, даже если бы мы впряглись оба, вытащить ничего не удалось бы...

Никогда не знаешь, как после этого поведет себя почва. Теперь с каждой убранной стойкой все рушится без промедления.

К концу смены встречаем делегата. Говорим ему:

— Ты еще не заходил в «Мари-Терезу»? Там дела плохи.

Но это просто так, из озорства!

(Окончание следует)

Иржи Марек

ЖИТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

РАССКАЗЫ

Перевод с чешского П. Пронина

«БЛАГОТВОРИТЕЛИ»

Что такое счастье? Вы говорите — мушка золотая... Возможно, я не поэт, я простой маляр, могу комнаты отделывать и даже вывески писать. Конечно, сейчас время другое, и я вместо вывесок крашу строительные конструкции. Может быть, и не во всем я разбираюсь, но что такое счастье — знаю хорошо. По-моему, это минута, когда человек в обеденный перерыв приходит в будку своей бригады, подождет, пока соберутся ребята со всей стройки, потом развернет газету, достанет завтрак. Янко сбегает за пивом — и так на сердце станет тепло... Работы сделали порядком, солнышко уже высоко, день — будто его только что отлакировали. А если дождь? Когда дождь, сидишь в будке, тепло, сухо — на душе все равно хорошо. Короче говоря, в такие минуты чувствуешь, что жизнь — хорошая штука. За работой об этом некогда думать.

Помню, сидели мы так однажды... В нашей будке не как у других, у нас даже пол крашеный — сами ведь маляры! — на столе кувшин с цветами, их Янко собирает, он самый младший. Честно говоря, какие там цветы могут быть около строек? Розы или, скажем, резеду едва ли найдешь, но ведь и сорняк иной цветет красиво. Поставишь, бывает, репей в кувшин, ей-богу не так уж плохо выглядит! У нас даже зеркало висит на стене, не трюмо, правда, но и наш осколок — украшение для будки.

Янечек, как всегда, разворачивает свои брошюрки — он у нас в смысле политики на высоте; другие ребята больше на завтрак нажимают, а я, как бригадир, записываю показатели.

Да, самое-то главное чуть не забыл: на стенке у нас висит красное знамя, на котором желтым шелком вышито: «Бригада социалистического труда». Кто бы ни заглянул к нам, обязательно посмотрит на знамя и что-нибудь скажет. А повесили мы его на виду — пусть знают, какая наша бригада!

В этот день была получка, а в день получки у человека на душе вдвойне хорошо. Я подсчитал, что мы сэкономили материала почти на две тысячи крон, руки потер — премия в кармане! Словом, настроение отличное, как у человека, который только что плотно позавтракал. И лишь Карел, высокий кудрявый парень, тот, что носит испачканный краской красный берет, сидел в сторонке. Вдруг, слышим, он тяжело вздохнул.

— Что,— спросил я, продолжая подсчитывать,— не пишет твоя милая?

Карел отличный парень, но обязательно должен часто получать письма от своей возлюбленной, иначе с ним просто разговаривать невозможно.

— Если не пишет, ты не огорчайся,— начал подтрунивать Маречек.— Мне моя старуха однажды в молодости целый месяц не писала, а у нас сейчас трое детей.

За словом наши ребята в карман не полезут.

А Карел уставился куда-то в угол и сказал презрительно:

— Обязательство... Выполнение... А что толку в этом?

Я положил перо.

— Что, что ты сказал?

— Что сказал, то сказал. Все это ломаного гроша не стоит.

Янечек подскочил как ужаленный.

— Нет, что ты сказал, чудило? Повтори сейчас же!

Он у нас образованный, постоянно учится, а это что-нибудь да значит. Слова Карела вывели его из себя. Да и все мы смотрели на Карела с удивлением. А он под нашими взглядами заерзал на скамейке и начал невесело оправдываться:

— А что, я уж и сказать не могу о том, что мне не по душе? Если человек в бригаде социалистического труда, так ему и рот раскрыть нельзя?

— Ты раскрывай, если хочешь,— проворчал Янечек,— только с умом.

Тут и я подступил к Карелу:

— Так что же тебе не нравится? Экономия материала? Сокращение сроков? Или повышение производственной квалификации? Это обязательство мы тоже выполнили, ты сам на курсы ходил.

Но Карел помрачнел еще больше.

— Ну, выкладывай,— стукнул кулаком по столу Янечек,— в бригаде не молчат, если с чем не согласны. А если тебе у нас не нравится...

— Ты погоди,— спокойно сказал я,— он сам все скажет.

Карел крутился, вертелся, словно не мог отважиться, но наконец решился:

— Я давно себе голову ломаю. Экономия, учеба... Все это, я считаю, вот что...

И тут он сложил ладонь лодочкой и дунул на нее, будто все наши дела ничего не стоили.

От неожиданности я опешил, взглянул на ребят — хорошего настроения как не бывало! Они словно окаменели. Я ждал, что сейчас кто-нибудь как следует обругает Карела. Но все молчали, видно, задумались над его словами.

— Так, по-твоему, все это ерунда? — спросил я Карела.

— Конечно,— кивнул тот,— всякая приличная бригада такого добьется. А мы, раз у нас знамя...

И он снова замолчал, снова задумался.

— Ну, продолжай.

— Мы должны сделать что-нибудь особенное.

Я только руками развел. Слова, конечно, хорошие. Но пусть, наконец, он объяснит, что надумал. Тут опять вмешался Янечек.

— Слушай, Карел, если у тебя нет за душой ничего, как говорят, конструктивного, так ты бы лучше помолчал.

У нашего Янечека широкий кругозор, он умеет выделить главное.

Но оказалось, что «конструктивное» предложение у Карела есть. Обеими руками он облокотился о стол и заявил:

— Я бы хотел сделать что-нибудь такое, о чем в газетах написали бы, чтобы другие бригады ахнули да за головы схватились...

— Ну, ну,— подзадорил я,— вот это дело! Что, например?

Как бригадир, я больше всех был заинтересован в том, чтобы утереть нос другим бригадам.

— Вот что я придумал,— сказал Карел.— Надо нам найти такого ребенка, которому некуда поехать на летние каникулы. Так вот, найти ребенка, поработать сверхурочно, заработать денег и отдать ему, пусть едет...

— На каникулы!..— разочарованно выкрикнул Янечек.

— Не на обычные каникулы к какой-нибудь там тете... Мы бригада социалистического труда, а не нищие. Мы бы могли послать ребенка в интересное место. В горы, скажем. В хороший дом отдыха, с комфортом, как полагается человеку. Он был бы нашим подшефным ребенком, поняли?

Признаюсь, слова эти, хоть Карел с трудом выдавливал их, подействовали на всех. Неплохо придумано, честное слово, неплохо!

Поднялся шум. Каждый хотел высказаться, все старались перекричать друг друга. Один предлагал Карконоше, другой — Бескиды. Но все согласились с Карелом. Я тоже согласился, только у меня возникло сомнение:

— Ну а где мы найдем такого ребенка?

— Об этом я тоже думал,— сказал Карел.— Здесь неподалеку, в деревне, школа. Надо тебе как бригадиру пойти туда, изложить директору суть дела, и, ручаюсь, такой ребенок найдется.

И вправду нашелся!

Через два дня мы уже знали имя девочки, у которой умерли родители. Жила она у бабушки, ехать на лето ей было некуда. Короче говоря, никого более подходящего для такого благородного дела невозможно было найти.

Вы бы только видели, как оживилась наша бригада! Во время обеда только и разговоров было что о девочке, все хотели на нее посмотреть. Ребята начали вспоминать, что в детстве никому и в голову не приходило послать их куда-нибудь на летние каникулы, а Янечек принялся разглагольствовать о том, что подобный случай — доказательство роста жизненного уровня. Он у нас известный оратор!

После смены я пошел к начальнику строительства просить сверхурочную работу. В конторе такому делу очень обрадовались — вот, мол, что значит бригада социалистического труда! — а начальник обещал в стенгазету написать, публично похвалить.

— Хвалить не за что,— сказал я,— у нас тут другая цель. И деньги эти не для нас, они пойдут на особое дело. А какое — узнаете потом.

Несколько дней подряд после смены мы всей бригадой еще долго лазали по лесам, махали кистями до ломоты в суставах, но делали это с охотой. Работа всегда есть работа, но, если ты знаешь, для чего работаешь, все выглядит иначе, веселее!

Наши жены уже привыкли к тому, что мы не приходим вовремя домой — то у нас одно, то другое,— и не ворчали, хотя мы в эти дни трудились дотемна. Ну, а холостяки, те даже свидания принесли в жертву доброму делу.

Настроение у всех было праздничное. Экономия материалов, конечно, вещь хорошая, курсы — тоже, но когда человек берется вот за такое дело, оно приносит особую радость. Мои ребята работали вовсю, успевай только краску подносить!

Работу сделали, деньги получили, и выяснилось, что мы можем

свою девочку отправить в горы, в лучший отель, где красиво как в сказке.

— Ребята,— предложил Карел,— как получим от нее первое письмо, повесим его здесь, на стенке под знаменем.

Сидим мы так однажды, мечтаем, какая о нас пойдет слава, что в газетах напишут, и вдруг Нивлт, этакий рассудительный человек, покачал головой и говорит:

— Знаете что, парни, не нравится мне это дело...

— Что такое? — испугался я.

— Да с нашей девочкой. Вдруг ни с того ни с сего послать ребенка на каникулы!.. Не знаю, не знаю...

Карелу краска бросилась в лицо.

— Тебе это кажется политически неправильным?

Должен же он был защищать свою идею!

Нивлт снова покачал головой и говорит:

— Думается, поступили мы не совсем разумно.

Все даже рты раскрыли от удивления: кто бы другой говорил, а то Нивлт. Потом начали шуметь — объясни, мол, в чем дело.

— А вот в чем,— сказал Нивлт.— Не дело посылать ребенка в горы одного. Что там эта бедная девочка будет делать? Сразу затоскует!

В будке стало тихо. Ведь правду говорит человек! Святую правду! Да взять хотя бы моих ребят или чьих угодно. Что, если б они стали жертвой таких благотворителей, как мы, и должны были в одиночестве торчать где-то все каникулы. Страшно подумать!

— Твоя правда, человече,— поддержал я его,— но что делать? Не отказываться же теперь! Девочка-то знает, ждет!

Нивлт долго тянул с ответом, катал по столу сигарету своими толстыми коричневыми от табака пальцами и только потом проговорил:

— У меня есть предложение — поработать еще сверхурочно и послать двоих, двоим скучно не будет.

Это прозвучало как выстрел. Все сразу согласились, а Карел сказал, что у Нивлта, видно, большой опыт в воспитании детей. Я, мол, холостой, и мне такое в голову не пришло. Все похвалили Нивлта, а потом я пошел в контору — снова просить сверхурочную работу.

— Вы, я вижу, копите на «спартака» всей бригадой,— сказал начальник строительства.— Против работы я не возражаю, но люди скоро будут думать, что вы тут и ночуете на стройке.

Я не сказал, для чего нам деньги, пусть думает, что мы жадные. В тот же вечер мы могли уже снова остаться поработать во имя хорошего дела.

На следующий день я опять пошел к директору школы выбирать ребенка. На этот раз он отыскался не так скоро — все труднее было найти ребенка, который нуждался бы в благотворительности. Наконец мне показали паренька, у которого не было отца, а мать должна была лечь на операцию; ему поездка в горы была бы кстати.

Все повторилось до мелочей. Мы оставались после смены, работалось легко, а кроме того, меня просто распирало от удовольствия, что мы перещеголяем все остальные бригады и что об этом обязательно напишут газеты. Не то чтобы я лично гнался за какой-нибудь пустой славой, но я ведь бригадир и должен заботиться о чести бригады.

Заработали деньги и на того мальчишку, обоим заказали места в одном из лучших горных отелей, все было хорошо. И вот как-то во время смены пришел ко мне на леса самый старый член нашей бригады Ганоусек, поставил ведерко с краской и отвел меня в сторону, как для очень секретного разговора.

— Слушай, я не хочу устраивать панику, но мне кажется, что мы сделали глупость. Скажи, как те двое детей будут жить в горах без присмотра? И разве можно так? Парнишка полезет на дерево, сломает себе ногу; девчонка пойдет на речку купаться — утонет, не дай бог! И у бригады на совести будут две загубленные жизни!

Люди добрые, у меня волосы встали дыбом! Собрал я немедленно бригаду и выложил все, что говорил Ганоусек. И добавлять ничего не пришлось, ясно было, что мы болваны и вообще не годимся для добрых дел. Все сидели, словно мокрые курицы, так тихо, что, если бы упала капля краски с самой маленькой кисти, нам бы показалось, что бомба взорвалась. Смотрели мы друг на друга, глазами хлопали. И тут наш Янко, самый младший, что за пивом для всех бегает, вдруг высказался:

— Что ж, хлопцы, давайте еще поработаем, пусть кто-либо из нас поедет с ними. Будет у него чудесный отдых.

Не так уж плохо придумал самый младший из нас, но ребята встретили его слова без энтузиазма. Опять сверхурочно! Хорошего понемножку, а когда чересчур, то надоедает. Но что делать? Сказать тем детям, что они никуда не поедут? Но такого никто из нас ни за что на свете не сделал бы, даже если бы умереть пришлось на лесах. Отправился я в третий раз просить сверхурочную работу.

— Если бы у нас были налоги на миллионеров, пришлось бы вашей бригаде платить,— сказал мне изумленный прораб, но на всякий случай спросил начальника строительства, есть ли еще деньги на сверхурочные. Работу он нам дал, у нас ее сколько угодно. И мы опять работали — на этот раз не так весело — на одного человека из бригады, который должен был поехать с нашими детьми. Но не работа нам надоела, а то, что конца этой благотворительности не было видно.

Потом начали препираться, кому из нас ехать. Холостяки говорили, что у них нет никакого опыта в обращении с детьми. А женатые... у одного дома кролики, у другого — путевка в дом отдыха, третий обещал шурину в деревне помочь убирать хлеб; словом, все свалилось на меня. Выбрали единодушно. Напрасно я отказывался, говорил, что ехать с чужими детьми — дело нешуточное...

— Как бригадир, ты должен уметь лучше других преодолевать трудности,— сразил меня Янечек.

Самое страшное ожидало дома. Осторожно рассказал я жене, как мы до всего додумались, как развивались события, как благодаря этому окреп наш коллектив и как нелегко делать доброе дело.

Но у женщин на все свой взгляд. И моя тихоня молча слушала, слушала и вдруг как выпалит:

— Так-так, значит, ты едешь с чужими детьми! А со своими до сих пор не выбрал времени никуда поехать. О себе уж я не говорю.

И вышла, прикрыв дверь чуточку резче, чем всегда; не хлопнула, она не такая, а только чуть сильнее прикрыла. И мне показалось, что там, за дверью, она заплакала. Такое мужчину всегда берет за сердце. Я, понятно, пошел к ней. Единственным способом утешить было взять ее и детей с собой.

— Парни,— сказал я своей бригаде на следующий день, чтобы и на них хоть немного переложить свою заботу,— ввели вы меня в расход. Придется ехать всей семьей.

И что вы думаете? Бригада социалистического труда, люди должны быть сознательные, а эти только заржали, как лошади, ни о какой заботе и речи не было.

Настал день отъезда. Бригада в полном составе стояла на платформе и махала мне. Когда они скрылись из виду, мне сделалось тоск-

ливо. Это ведь не пустяк — расставаться с бригадой. Ехал я в отпуск, но чувствовал себя как бы в командировке. Смотрел я, как те двое детей знакомились с моими озорниками, и все время думал: правильно ли мы поступили?

Как потом выяснилось, ребята в бригаде думали о том же. Пока я отдыхал, ходил с детьми на прогулки и мучился — что там на стройке? — пока жена, иногда нарочно подчеркнуто, напоминала нашим детям, что мы здесь только благодаря бригаде, иначе бы вся семья сидела дома, короче говоря, пока мы там жили, бригада опять работала сверхурочно.

Я ничего не подозревал, только однажды вечером услышал за окном вроде бы знакомые голоса, и тут вбежал мой сынишка с криком:

— Товарищ начальник, докладываю: на горизонте показалась бригада!

И вправду, внизу шумели мои товарищи — все до одного приехали. Я бросился по лестнице вниз, как оглашенный, а старик Ганоусек смеется:

— Йозеф, мы в командировку! Приехали проверить, как ты выполняешь свои обязанности. Теперь и министров контролируют. Говорят к тому же, пиво здесь знаменитое!

Пиво тут действительно было отличное, сидели мы всей бригадой на веранде отеля, праздновали встречу и то, что бригада коллективно приехала контролировать своего бригадира.

— Деньги на эту поездку заработали, не беспокойся, но на стройке идут разговоры, что мы рвачи, одни хотим все деньги заграбастать.

— А наши подшефные гораздо больше рады тому, что могут озорничать с моими разбойниками, чем тому, что живут в роскошном отеле,— сказал я.

— Кажется мне, что-то мы не так сделали,— вдруг невесело проговорил Карел, который первый внес предложение о благотворительности,— пожалуй, в газету лучше не писать об этом.

Мы сидели и попивали пиво, было нам хорошо, почти как в нашей бригадной будке, только думы нас одолевали не совсем веселые. Наконец Ганоусек отер усы и проговорил серьезно:

— В конце концов мы доставили удовольствие себе, а не им. Какое дело детям до того, что мы вдруг решили заниматься благотворительностью?

Старик говорил святую правду, и мы все это поняли. Понял и я, хотя мне как бригадиру было немного обидно, что славы, на которую я рассчитывал, тут мы не заработаем.

Янечек поставил на стол кружку с пивом и говорит:

— Я думаю, в данном случае ни о какой заслуге и речи быть не может. По-моему, то, что мы сделали,— политическая ошибка. Частное предпринимательство в области добродетели.

— Но мы ведь ничего плохого не думали,— возразил Янко.

— Конечно, только вышло плохо. Представьте себе, что наши дети должны были бы ждать, пока какая-нибудь бригада додумается послать их на каникулы. Как бы это выглядело? К счастью, в нашей стране все делается иначе, и нам не стоит в такое дело путаться.

— Ты думаешь, лучше экономить материал? — спросил я, и Янечек кивнул головой.

«В газетах об этом не напишут, любая бригада может экономить материалы»,— подумал я.

Опустилась ночь, а небо было такое чистое, какое бывает только в горах. Наши подшефные крепко спали, мои дети тоже, только нам не

хотелось спать. Жена пила уже вторую чашку кофе, но глаза у нее все равно слипались. И вдруг мне в голову пришла такая хорошая мысль, что я от радости чуть не подскочил.

— Ребята, не мучайтесь. Возможно, сделали глупость, но мы же только люди. Сделали — поправим.

— Опять нашел какого-нибудь ребенка? — заворчал Карел.

— Не одного, а много. Целый класс! Всю школу! Давайте шефствовать над школой! Никакой частной благотворительности, как говорит Янечек. Настоящий договор с дирекцией школы, как и подобает в социалистическом обществе.

Прямо вам скажу, давно бригада не принимала мои предложения с таким воодушевлением. И у меня отлегло от сердца, когда я увидел, что вправил ребятам мозги.

— Вот об этом в газетах определенно напишут,— добавил я.

Когда моя жена увидела, как у нас сразу поднялось настроение, она сказала, что идет спать, а мы остались — не могли и думать о сне. Ночь была удивительная, а мы так обрадовались, что наконец возьмем настоящее, дельное обязательство. Конечно, и благотворительность может быть приятна человеку, но в наше время это как-то не годится.

А когда позднее в газете написали, что наша бригада взяла шефство над соседней школой, мы только улыбались. Хорошо, что никто не знал, как долго мы додумывались до этого.

ПУСТОЙ РУКАВ

Йозеф вошел в огромный цех, и его сразу оглушил грохот станков, звонки мостовых кранов, в ноздри ударил острый запах масляной эмульсии. Все здесь было ему близким, знакомым, родным; он мог с закрытыми глазами безошибочно отыскать любой станок. Но глаза закрылись сами собой: слишком сильное охватило его волнение. Шутка ли — почти год не видеть своего цеха... Да, уже скоро год, как его увезли отсюда; собственно, сначала он сам шел через весь цех, удивляясь тому, что может идти. Боли он сразу не почувствовал, только страх. Шел и ничего не видел, совсем ничего, кроме своей правой руки, от которой остались рваные лохмотья, видел еще кровь, бежавшую струями... С чем сравнить этот страшный поток крови? Сознание он потерял, когда перед ним открылись ворота цеха и в глаза ударил свет.

Почти год прошел с того дня. А сегодня он снова здесь, будто вернулся домой после долгого отсутствия. Но запах цеха он узнал бы и через десять лет, такое запоминается на всю жизнь. За год он досыта нанюхался всевозможнейших лекарств, а ему все время недоставало запаха цеха. Ароматом его назвать, конечно, нельзя, но сказать смрад или вонь — тоже будет неправильно. Просто цех имеет свои особенности, как каждый дом, где живет человек. Здесь чувствуется запах нагревающегося при обработке металла, масла, пота...

«Вот я снова здесь, и мне кажется, что вернулся домой. Ребята меня еще не видят и, возможно, даже не узнают. Человек после такого увечья меняется. Наверно, много новых пришло — вон на том старом «вольмане» работает какой-то худощавый паренек. Где же старик Бенда? Наверно, на пенсию ушел»,— думал Йозеф.

Он неуверенно оглянулся вокруг и вдруг испугался: «Может, не следовало сюда приходить? Что мне здесь могут сказать? Верно, спросят смущенно, как я себя чувствую, ведь здоровым людям с калекой трудно говорить, это я уже испытал».

Тут он заметил мастера Резека, в своем неизменном черном халате тот бежал прямо на него. Увидев нежданного гостя, Резек остановился, в его глазах мелькнуло изумление.

— Черт возьми, Йозеф, откуда ты взялся?

Парень улыбнулся. Резек узнал его, значит, все в порядке, значит, не забыл, даже сразу руку протянул, чтобы поздороваться. Но этого Резек не должен был делать, произошло то, что происходило всегда, когда здоровый человек забывался и протягивал Йозефу правую руку. Люди всегда подают правую руку, а у него осталась только эта чертова левая. У Резека что-то дрогнуло в лице, он своей правой рукой неловко взял Йозефа под обрубок. Сердечности сразу как не бывало. Мастер откашлялся.

— Ну как ты, Йозеф?..

— Да так, ничего.

Резек оглядывал просторный цех, стараясь скрыть свою растерянность, потом махнул рукой.

— Вот видишь, сумасшедшая работа, даже на минутку нельзя остановиться.

— Я сейчас уйду,— как бы извиняясь, сказал Йозеф.

— Да ты не понял,— затряс головой Резек,— я ведь ничего, ты же меня знаешь. Для тебя всегда время найдется. А ты хорошо выглядишь. Честное слово, даже поправился.

— Почему бы и нет, когда человек все время валяется в постели...

— Ребята тебя навещали? — вспомнил вдруг Резек.

— Навещали. Первое время. Да ведь это столько тянулось — почти год. Долго учили меня орудовать той, которая осталась.

Мастер поглядел на Йозефа с тревогой. «Наверно, пришел не просто посмотреть на цех,— и он провел рукой по ежику волос.— Может, лучше провести его в конец цеха, к ребятам?»

— У вас тут много новых людей, правда? — спросил Йозеф.

— Порядочно. Мы ведь на две смены перешли. Ты бы видел, сколько было хлопот. А сколько канцелярщины! И все это сваливается на мастера. Будь доволен, что сидишь дома.

— Доволен? — невесело усмехнулся Йозеф и кивнул на свой пустой рукав.— Никому бы не пожелал сидеть дома вот с этим...

— Да, я понимаю, верю. Только хотел сказать, что и здесь не мед. Ну, а как левой-то, справляешься? — спросил мастер и тут же подумал: «Что за глупости я спрашиваю у человека! И зачем черти меня понесли сюда. Он — несчастный человек, но о чем с ним можно говорить?»

А Йозеф оживился и начал рассказывать, что может делать левой рукой и чему их обучали.

— Знаешь, начинают с мелочей, например, учат зажечь спичку. Ты не поверишь, как это трудно вначале — чиркнуть спичкой одной рукой. А писать! Я-то уж теперь пишу,— не без гордости сказал Йозеф.

— Вот как! А я бы ни за что на свете не научился,— ответил Резек, довольный, что может хоть как-то поддержать разговор, чему-то подивиться.— А в остальном ты ведь здоров, да? Одна рука — это еще не конец жизни.

— Конечно нет. Это не конец, скорее начало. Только дьявольски тяжелое начало, понимаешь? Гляди, мне даже бумагу дали, вот такую...

Левой рукой Йозеф полез в карман, ловко выловил оттуда бумаж-

ник, раскрыл. Мастер хотел помочь, но тот все сделал сам, придержав бумажник подбородком. Хотел, верно, показать, что может обойтись без посторонней помощи.

— Вот справка о моем здоровье. А тут — что со мной было: amputatio brachii dextri,— тебе понятно? — спросил он даже с оттенком гордости за латинские слова.

— Ну вот видишь, значит здоров! Черным по белому написано,— кивнул Резек на бумажку.

Йозеф серьезно взглянул на мастера.

— Конечно здоров. Мне поэтому и сказали, чтобы узнал, может... ты не удивляйся, может быть, найдется для меня работа?

Резека словно кто ужалил: «Вот этого-то я и боялся! Почему я первый должен был попасться ему на глаза? Йозеф был отличным работником, ничего не скажешь, но теперь он однорукий. Если бы осталась правая рука — куда ни шло. А теперь, когда бригада на сдельщине, каждый должен стараться. Никто против Йозефа ничего не имеет, хороший товарищ. Но случилось несчастье, что же теперь делать?»

— Тебе, верно, пенсию положили? — сказал он вслух.

Йозеф молча кивнул.

— Вот видишь! По-королевски, верно, не заживешь, но дома, по крайней мере. И спокоен, главное, верно? Будь доволен, что ты дома, человече, многие бы тебе позавидовали. Вот я, например. Может, пойдешь взглянуть на своих ребят? Кстати, там поставили два новых токарных станка. Последняя модель, прямо с выставки получили. На них женщины работают, будто сами ходят — не женщины, станки, конечно. Ты глянь туда, там, брат, полная автоматизация. Левой рукой можно...

Резек вдруг поперхнулся, проглотил все, что хотел сказать дальше, покраснел.

«Вот болван,— подумал он,— редкостный болван, как это у меня сорвалось!» И, не попрощавшись, убежал, только черные полы халата развевались за ним, как флаги.

«Левой рукой,— тихо повторял Йозеф,— левой рукой...» Посмотрел на свой пустой рукав и сунул в карман бумажку, которую еще держал в левой руке. Задумался, потом резко повернул к воротам, через которые вошел в цех. В этот момент они распахнулись, и в цех въехала аккумуляторная тележка. Женщина, управлявшая ею, увидев Йозефа, резко затормозила и спрыгнула на пол.

— Ой, Йозеф! Вот и вернулся! — тепло сказала Мария Куркова, подошла, положила ему руки на плечи.— Смотри, парень, да ты помолодел!

— Чем меньше от человека остается, тем он больше молодеет. Это как верба, когда ее обрезаешь,— усмехнулся Йозеф.

— А ты все шутишь, как и раньше. Лучше скажи, когда к нам опять придешь?

Йозеф посмотрел на нее и не ответил ни слова. Ее широкое, покрытое мелкими морщинами лицо вдруг стало серьезным.

— Неужели лучше вот так приходить да только смотреть?

— Думаю, что пока придется только смотреть,— с горечью ответил Йозеф.

— Брось, брось, знаю вас, мужчин!

Йозеф понял — она сказала это нарочно, чтобы избежать всякой сентиментальности. И был благодарен ей.

— У меня две руки, а я работаю и хозяйство веду, значит — по одной на то и на другое. И ничего. А ты своей левой еще скалы можешь крушить. Правда, вы, мужчины, очень к боли чувствительны Нам боль-

ше достается, мы терпеливее. Я вон двоих детей потеряла, лучше бы мне руку отсекли. Теперь мы со стариком одни, оба работаем, а для кого? Детей нет. Знаешь, последнего я потеряла раньше, чем он родился. Думала, что умру, будто сердце отрывается...

Йозеф посмотрел на женщину и подумал: «Да, работа — лучшее лекарство от всего. Вслух об этом говорить неохота, что-то вроде прописей получается, а на самом деле — чистая правда». Потому он и пришел сегодня сюда — посмотреть, расспросить... Так, поболтать, послушать. Но теперь-то ему все ясно, разве захотят взять такого? Одной левой недостаточно.

— Так я пойду, Мария. Кланяйся своему.

Женщина хотела спросить, почему он не зайдет к товарищам в бригаду, но сердцем поняла и смолчала. Ей было жаль Йозефа. Быстро вскочила она на тележку, с грохотом погнала ее по цеху, крикнув на ходу:

— Не забывай нас, парень. Заходи!

А тот уже шел по двору. Ветер вырвал из кармана пустой рукав и трепал его. Йозеф засунул рукав обратно и, наклонившись навстречу ветру, пошел к проходной. «Напрасно я приходил. Почему напрасно? Ведь я ничего не хотел, не просил, значит, не напрасно. Приходил посмотреть, просто так. Спросить кое о чем. Теперь знаю все. Им, в больнице, легко говорить: найдите себе легкую работу, есть места, куда человека с одной левой рукой охотно примут. Теперь я видел, как принимают».

Он поднял здоровую руку, приветствуя вахтера, и поспешно вышел.

А в дальнем конце цеха, бросив свои станки, вокруг Марии Курковой собрались товарищи, с которыми когда-то работал Йозеф. Мария вытирала глаза и громко, стараясь перекричать шум машин, рассказывала:

— Говорю вам, жалко мне его было, стоял у самых ворот со своим пустым рукавом, совсем как нищий...

— А что же он к нам не забежал? Наверно, не хотел,— заметил кто-то.

— Так уж и не захотел! — крикнула Куркова.— Не очень-то приятно лезть к людям с одной рукой.

— Да, это уж так,— степенно заметил старый Данеш.

— Зачем же он пришел? — удивился Янда, один из самых молодых в бригаде, и передвинул чудом державшийся на вихрастой голове берет с одного уха на другое.

— Как — зачем? Посмотреть пришел.

— Если бы только посмотреть, так обязательно сюда заскочил бы,— убежденно сказал Янда.

Куркова пожала плечами.

— Не знаю, ребята, только я его и не пыталась задержать, когда увидела, что он хочет уйти. Тяжело человеку, по глазам видно.

— Да, самое лучшее. что есть у человека, это здоровые руки,— задумчиво проговорил Гоура.

В пролете между станками показался мастер Резек. Несколько человек отделились от группы и пошли к своим станкам. Старый Данеш и те, кто стояли рядом с Курковой, остались.

— Митинг? — усмехнулся мастер и кивнул в сторону Курковой. Он не любил эту языкастую женщину.

— Вот говорим о Йозефе,— сказал Данеш.— Был, говорят, в цехе.

— Был. Я с ним разговаривал.

— Чего же он в бригаду не пришел?

Мастер пожал плечами.

— Кто его знает, я его приглашал сюда.

Старик посмотрел на мастера в упор.

— А чего он хотел, не сказал тебе?

— Не знаю, не сказал.

— Я думаю,— продолжал старик,— нам что-то надо для него сделать. Пока он был в больнице, мы туда заходили, а теперь? Подумать только, как быстро люди все забывают... Что он собирается делать?

— Как — что делать? Не знаешь, что ли? Будет пенсию получать. Ее-то он заработал,— проворчал Гонза.

— А я вам скажу, чего он хотел,— зашумела Куркова.— Хотел опять сюда, работать хотел...

— А почему бы и нет? — отозвался Новачек.

Мастер чувствовал, что все смотрят на него. «Черт возьми,— подумал он,— почему, если какая неприятность, так обязательно мастер должен расхлебывать?»

— Почему нет? Я тебе скажу, Новачек. Потому что сегодня люди получают столько, сколько выработает вся бригада. А неполноценный работник будет жить за счет бригады. Ясно?

— Как день! — подтвердил Янда и кивнул в сторону Новачека, который почему-то вдруг нахмурился.

Куркова подбоченилась и крикнула:

— Только для Йозефа этот день темней ночи!

— Я это и имел в виду,— поддержал ее Янда.

Все опять бросили станки и собрались вокруг мастера. В разговор снова вступил Данеш:

— Это серьезное дело, ребята. Конечно, кому охота работать за другого. Но ведь Йозеф-то наш товарищ, правда?

— Товарищ-то он товарищ, но отрывать от своего...— проговорил кто-то из стоявших позади. И все смолкли. Первым заговорил мастер:

— Вот и я так думаю. Поэтому и намекнул ему, что получить работу сейчас не так легко.

— Но как же ты сказал ему, не посоветовавшись с бригадой?— удивился Данеш.

— А что, кто-нибудь возражает? — мастер оглядел всех. Рабочие молчали.— Вот видишь, все со мной согласны.— Гоура смущенно перебирал что-то в ящике с инструментом.

— Да, нелегкое дело,— невесело сказал Янда.

— Но у него же пенсия, не пойдет просить по домам.

Тут Новачек, говоривший обычно меньше всех, в сердцах швырнул кусок железа, который держал в руках. Ударившись обо что-то, металл резко звякнул. Новачек оглядел друзей.

— Может, я ни черта не понимаю, но мы любим говорить, что идем прямо к социализму. Верно, идем! А дошло до дела — и споткнулись. Ну разве пенсия — это все для рабочего человека?

— Сколько он получает — никто не знает? — спросил Данеш.

— Да сколько бы ни получал,— мрачно продолжал Новачек.— Мы и в старые времена не давали товарищу умереть с голоду. Шапку пускали по кругу, ты сам помнишь. Теперь в этом нет надобности. Но легче всего дать пенсию и сказать такому человеку, как Йозеф: до свиданья, мое почтение, иди шлифовать тротуар, сиди в парке на скамеечке... Это по-социалистически? По-моему, нет.

— Факт,— подтвердил Данеш и в упор посмотрел на мастера. Тот поежился.

— Что ты на меня так смотришь? Что я, против Йозефа? Я как мастер должен выяснить, какую продукцию может дать такой человек. Я говорю только то, что есть на самом деле. Если подаст заявление — пожалуйста, можно подумать, обсудить.

— О том и разговор, чтобы он заявления не подавал! — как всегда громко крикнула Куркова.— Пусть кто-либо из наших пойдет к нему и скажет: приходи, ты нам нужен в бригаде. Человек сразу бы пришел в себя.

Все удивленно посмотрели на Куркову. Ведь права баба. Есть вещи, которые женщина понимает лучше. Особенно такая бойкая, как Куркова.

— А что бы он мог делать? — спросил Янда.

— Рассказывал, что может сам спички зажигать, писать научился,— ответил мастер.

— Ну, верно, еще чему-нибудь научили в больнице. А придет сюда, многому научится,— сказал Данеш.

— А что, и взаправду придет? — выкрикнул кто-то из стоявших позади. Все обернулись, но голос уже умолк. Нелегко сказать «да», но разве можно сказать «нет»? Куркова подняла голову:

— Мог бы ездить на тележке вместо меня, управится одной рукой.

— А ты? — обозлился Резек.— Сколько ты бегала, всем надоедала, чтобы перевели от станка на эту тележку, не могу, мол, стоять по восемь часов?

— Не могу, правда, но кто говорит, что не стисну зубы и не буду стоять? Как-нибудь выдержу.

— Мог бы контролировать детали,— предложил кто-то.

— Не умеет.

— Научится.

— А тележкой сможет управлять одной рукой-то?

Теперь уже говорили все сразу. Осторожное молчание сменилось спорами о том, что Йозеф может делать в бригаде. Никто не знал, что может человек с одной рукой.

Куркова незаметно отошла от спорящих, взобралась на тележку и поехала. Лицо ее светилось улыбкой: «Вот мужчины, они всегда так — сами не додумаются, их надо подтолкнуть, а в общем, они неплохие. Все мы не такие уж плохие, только бывают случаи, не знаем, как поступить, чтобы вышло правильно. Грош цена была бы нашей жизни, если бы один человек для другого ничем не жертвовал. Кому бы она была по душе, такая жизнь?»

Станки гудели, как всегда. Как всегда, чуть-чуть дрожали стекла в цехе, все шло как обычно. Но у людей, собравшихся в самом конце пролета, рождались новые мысли.

А Йозеф потихоньку шел домой. Правый рукав снова вылез из кармана, но он ничего не замечал, в голове была пустота.

«Никуда я больше не пойду, буду сидеть дома,— сказал он себе наконец.— Не хочу, чтобы обо мне подумали: вот ходит, чего-то просит...

А все-таки хорошо там, в цехе. Весной, бывало, когда на грязную крышу, которую не могли отмыть никакие дожди, падали яркие солнечные лучи, там было так хорошо, как нигде на свете. Если бы здоровые люди знали, как мало надо человеку, чтобы он снова поднял голову и почувствовал себя счастливым!»

Он шел, опустив голову, и пустой рукав болтался на ветру.

ДВОЕ

Теперь трудно даже сказать, почему я решил пригласить Соучека в свою бригаду. Вот послушайте, может быть, вы разберетесь и скажете, прав я был или нет, и поможете мне понять: почему все так плохо кончилось, в чем я ошибся? Ведь к Соучеку мы относились хорошо, я сам старался всегда говорить с ним как положено, а мне-то не впервой иметь дело с людьми.

Возможно, виноват был только он — не смог чего-то в себе преодолеть. А может быть, он и не виноват. В человеке иногда такое происходит, что он и сам не разберется. Человек бывает посложнее самой сложной машины. Существуют книги, как обращаться с любой машиной, какую кнопку нажать, когда ее осторожно выключить. А где вы прочтете о человеке?

Я видел: что-то тревожит Соучека, чем-то мучается человек. Может, с нами ему будет легче, потому и позвал его в нашу бригаду. К тому же он был отличным работником, умел подойти к станку, работал точно, без брака. Поглядишь — сердце радуется, с таким искусством человек делает свое дело.

Надо сказать, что живем мы на самом краю света. Завод у нас отличный, но подходящих людей подобрали не сразу. Не очень-то идут люди в наши места, куда, как говорится, Макар телят не гонял. Сразу после войны пришли те, кто хотели поживиться. Оборудование растащили, мы начинали с тем, что осталось. Трудно приходилось, но мы с головой окунулись в работу — ни сил, ни времени не жалели, хоть и были молоды, хоть и нелегко было нам, когда впервые вышли из вагонов на маленькой станции, дальше которой пути не было. Но время шло, люди сблизились, а ведь были они разные и не всегда такие, как нам бы хотелось. С радостью встречали каждого, кто имел здоровые руки. Учили — никто не должен был оставаться без специальности. Не скрою, у некоторых прошлое не было безупречным, но мы не придавали этому особого значения. Человек может заново рождаться и с каждым разом становиться все лучше.

Соучек объявился у нас недавно и совсем неожиданно. С первого взгляда было видно, что это человек серьезный и порядочный. Рекомендации с прежней работы у него были такие, что его можно было сразу поставить начальником цеха. Но Соучек ни на что не претендовал, только попросил жилье, безразлично какое. Для жилотдела такие слова прозвучали музыкой, потому что кто бы ни приехал, обязательно просил отдельный домик. А домики все были разобраны, оставались незаселенными только бараки. К тому же они были каменные, так что весной там было сыро, да и рамы кое-где прогнили, полы тоже. Соучек сказал, что ему подойдет и такое жилье, лишь бы на голову не капало.

Квартиру ему дали немедленно, побелили стены, кое-какую мебелишку сколотили в столярке — мы умеем, когда захотим,— а через неделю Соучек перебрался к нам насовсем, вместе с женой.

Что-то у них было неладно, потому что пришли они с вокзала только с двумя чемоданами и багажа не ожидали. Как только мы убедились, что мебели не будет, подбросили ему кое-что еще, и Соучек за все был благодарен. Дали ему две кровати, шкаф, стол нашелся в бараке, полки тоже. Все выглядело не бог весть как, но он остался доволен.

Жена Соучека была такая же тихая и скромная, под стать мужу, наши женщины долго не знали даже ее имени. Ни с кем она не дружила,

в магазин забегала всегда только на минутку, покупала не выбирая и исчезала. И не потому, что была спесива. Миловидная, но печальная, она походила на серенькую мышку, улыбалась как-то пугливо — видно, пережила немало и теперь мечтала только о покое.

Меня, сами понимаете, больше всего интересовало, как Соучек работает. Он был прямо-таки артистом: револьверный ли, горизонтальный ли, обычный ли токарный станок — к чему ни подойдет, работа играет у человека в руках. «Такой бы к нам в бригаду здорово подошел»,— сказал я себе, едва увидел Соучека за станком. Чтобы добиться звания бригады социалистического труда, надо знать, кто из людей на что способен. Ангелов я не искал — да где их у нас найдешь,— но смотрел, как люди руками двигают, и должен признаться, что Соучека я заприметил сразу.

Не нравилось только нам, как он живет. В воскресенье все мы обычно едем в город на футбол; у кого есть машина — сажает товарищей, у кого мотоцикл — заводит его сразу после обеда. Кто любит рыбачить, идет на реку, там у нас раздолье, в горных речках форель — сердце радуется. В воскресенье вечером из окон доносится такой запах жареной рыбы, что слюнки текут. Любители побродить с ружьем тоже не в обиде. Словом, в праздники у нас всем найдется занятие по душе.

А Соучек никуда не ходил, даже на крылечке под вечер не сидел, не гулял в березовой рощице, что начиналась прямо за оградой завода. В хорошую погоду туда все ходили подышать воздухом, сыграть в карты, просто поболтать. Чудесное это было место. Завод в субботу тихий, молчаливый, а ты — в березовом лесочке. Захотел пива — до столовой рукой подать. Короче говоря, рай земной, не знаю, есть ли где еще такое местечко. Но и там мы Соучека не видели, он всегда сидел дома.

Другого человека, который так держится за женину юбку, просто засмеяли бы, но Соучека задевать не решались. Он был еще чужой и словно от чего-то прятался. Ну если у тебя горе какое — держи его под замком, коли хочешь, мы не вмешиваемся. Таков был наш принцип — возможно, не совсем верный, я не спорю, но ведь человек не во всем может разобраться так, как следовало бы.

Ребята относились к Соучеку неплохо. Старый Моравек, например, даже предложил ему своих кроликов на раззавод, у старика были знаменитые чешские пестрые, которыми он гордился. Насколько мне известно, Моравек предлагал их только двоим — это было большой честью. Но Соучек лишь усмехнулся, поблагодарил и сказал, что ничего в кроликах не понимает, они у него быстро подохнут.

— Он даже кроликов не разводит, вот чудак!— говорил потом удивленный Моравек.— Сроду не видал такого человека, который ничем бы не интересовался.

— Он только своей Матильдой интересуется,— сказал кто-то, и все расхохотались.

Жену Соучека звали Матильда — чудное, по нашим понятиям, имя. Ребята смеялись, это правда, но они уважали все, что хоть как-то не походило на нашу будничную жизнь. На заводе в отношении женщин все было в порядке. Может, кто-нибудь и выкинул бы коленце, да поселок маленький, все друг у друга на виду. Разве кто-нибудь выпьет лишнего или женщины друг дружку за волосы потаскают. Даже одинокий мужчина не очень-то разгуляется: девушка за такого пойти не захочет, а женщины постарше — все замужем. В остальном живем тихо, вроде бы и скучновато, но живем, не жалуемся. Вот потому-то ребята хоть и подтрунивали над Соучеком, но в душе уважали за то, что он свою Матильду так бережет — ни на шаг от нее, даже когда идут по улице,

держит ее под руку, вроде потерять боится. Она тоже смотрела на него, как на икону, хоть уже и не молод был. Да ведь никто из нас красотой не блистал, но наши жены ничего, довольны, почему бы и Матильде не любоваться своим Соучеком?

Должен еще сказать, что Соучек оказался человеком смелым. Однажды в субботу пришел в пивную — не посидеть (он редко там сидел), а взять с собой, к ужину, пива. У стойки в это время угощался Телингер — есть у нас такой местный пьяница. Иногда с ним бывают неприятности: как хватит через край, так начинает шуметь, задирать людей. Есть еще такие, но мы-то его хорошо знаем и просто чихаем на его слова. А когда уж слишком раскричится, зовем милиционера — заплатит пятерку и сразу успокоится.

Так вот этот Телингер обиделся: видите ли, Соучек не захотел с ним выпить из одной кружки. В его пьяную башку втемяшились какие-то оскорбления, которых Соучек даже не произносил. Ребята его еще немножко подзадорили, и вышло так, что Телингер полез к Соучеку.

Тот отмахнулся и молча пошел из пивной, а Телингер за ним. Все мы, кто там сидели, встали и хотели пойти следом, боялись, что этот дурак может обидеть Соучека, все были уверены, что тот не способен дать сдачи, если Телингер и в самом деле затеет драку. Но дверь вдруг распахнулась, и Телингер влетел в пивную, как ошпаренный. И что бы вы думали — двух передних зубов у него как не бывало. Он молча добрел до стола и стал быстро пить пиво, чтобы унять кровь, что текла из разбитого рта.

«Ну и ну,— подумали все,— значит, наш Соучек мастер на все руки, не только у станка, но может и кое с чем потяжелее справиться. Вот это парень!» Не скажу, что из-за этого случая, а скорее потому, что Соучек умел работать,— я решил предложить ему перейти в нашу бригаду. У девушки из отдела кадров я узнал, что в личном деле Соучека дважды записано — «лучший токарь», что ему присуждался красный вымпел передовика. «Как раз то, что нам нужно,— сказал я себе,— это повод для делового разговора».

Однажды я подкараулил Соучека на улице. Он тащил домой красное кресло. Видимо, начали обставляться, значит, думают прочно осесть. Я сказал ему, что нашей бригаде сейчас необходим хороший токарь. Речь идет о комплексной бригаде, если он знает, что это такое. Короче говоря, забросил удочку, на это я мастер, с человеком умею поговорить.

...Соучек нес кресло домой. Побеседовав с бригадиром Бузеком, он снова поднял свою ношу над головой и зашагал к дому. Это было уже второе купленное им красное кресло. Если бы он попросил у кого-нибудь тележку, то привез бы их сразу, но Соучек не любил одолжаться. Да и время сегодня у него было.

Услышав его шаги на каменных плитах тротуара, Матильда открыла дверь настежь, чтобы Соучек мог пройти, и с радостной улыбкой смотрела, как он поставил второе кресло. Она подошла к мужу, тихонько погладила по плечу.

— Вот и все,— проговорил Соучек и вытер пот со лба.— Теперь нам будет удобнее сидеть.

— А я уже посидела на том, первом,— робко сказала Матильда,— очень удобно.

— Очень, я в магазине попробовал. Продавец сказал, что давно таких не было. Тебя не смущает красный цвет? Мне больше нравится зеленый, но зеленых не было.

— Нет, это приятный цвет, у нас тоже были...— и, спохватившись, она испуганно замолчала. Потом взяла тряпку и стала стирать невидимую пыль с подлокотников.

Соучек посмотрел на нее и вздохнул. Матильда метнула на него испуганный взгляд, на щеках у нее проступил легкий румянец.

— Я не хотела...— сказала она совсем тихо.

— Брось ты, глупенькая, разве в этом дело? Ну, были у тебя дома красные кресла, что же из того. У каждого из нас было что-то свое, не попрекать же этим друг друга.

Соучек мягко привлек Матильду к себе и, стараясь успокоить, потерся щекой о ее щеку. Потом уселся в кресло и сказал ей, чтобы она села в другое.

— Приятно отдохнуть вот так после работы, кофе выпить. Купим еще телевизор, в следующем месяце обещают привезти, тогда у нас с тобой совсем хорошо будет. Не крути головой, обязательно куплю телевизор. Раз мы никуда не ходим, должна же ты видеть, что на свете делается.

Он придвинулся ближе к Матильде, обнял ее за плечи. И так они сидели молча, каждый думая о чем-то своем. Может быть, о том, что было... Соучек заговорил первым:

— Сегодня мне повстречался Бузек, он руководит той бригадой, о которой писали в газете.

— Что ему нужно было?— спросила Матильда, все еще думая о своем.

— Да так, ничего,— усмехнулся Соучек.— Сказал только, что они были бы рады, если бы я вступил в их бригаду. Знает, что мне дважды присваивали «лучшего токаря», и говорит, что вместе мы смогли бы кое-чего добиться.

— А ты что ответил?

— Пока ничего. Должен я подумать, с тобой посоветоваться?

— Может быть, не стоит тебе ввязываться в такое дело?

Соучек не ответил, он размышлял.

— Мне кажется,— продолжала Матильда,— если напишут в газете... Теперь о социалистических бригадах часто пишут. Мне кажется... может нехорошо получиться...

Он глубоко вздохнул. Оба долго молчали, в конце концов Соучек тихо возразил:

— Все равно известно, где я. Деньги-то посылаю детям.

Матильда тихонько кивнула:

— Но мой-то не знает...

Потом они опять замолчали, тени бывших где-то далеко людей заполнили комнату, заставленную старой мебелью, среди которой выделялись два новых красных кресла — знак того, что и эти двое когда-нибудь будут жить как все.

— Подумаю еще,— сказал серьезно Соучек.— Но, скажу откровенно, было приятно, что люди заинтересовались мной, заметили, что умею работать. Ты знаешь, я ведь ни с кем откровенно не говорил. Работа сама себя показывает!

Соучек облегченно вздохнул, словно сбросив бремя долгого молчания, которое нес, пока ждал, что его заметят и оценят. Заметили! Он радовался, не мог да и не хотел скрывать этого, а она поняла и тихонько погладила его руку:

— Сварить тебе кофе?

Матильда ушла в кухню, и через минуту послышалось жужжание их маленькой недавно купленной кофейной мельницы. Собственно гово-

ря, все у них было новое. Будь они помоложе, без груза прожитых лет, то могли бы радоваться тому, что заново всем обзаводятся.

А Соучек все думал свою думу. «Матильда замечательный человек, другого такого на свете не сыщешь. Только немного боязлива, предрассудки ей мешают. Сколько из-за них слез пролила, сколько боли вытерпела! Но в конце концов привыкнет, поймет, что нельзя прожить всю жизнь зажмурившись, с опущенной головой. Должно же это когда-нибудь кончиться. Оба пережили достаточно, уходили от прежней жизни все дальше и дальше, пока не оказались здесь, на краю света. Отсюда до пограничных гор рукой подать, дальше идти некуда, пусть нас оставят в покое, наедине со своей судьбой. Возможно, надо было сразу уехать сюда, но человек есть человек, не так-то просто порвать все прежние нити. И вот мы здесь, прячемся, как отшельники, только мою работу не спрячешь, все ее видят. А в эту бригаду, пожалуй, я пойду. Человек может прожить и один, но для работы нужны люди. Работаешь всегда вместе с другими, и надо с ними идти в ногу. Но нас с Матильдой это не должно коснуться, ведь вместе с другими я буду только работать. И из-за этого не стану любить ее меньше, заживем мы лучше. А то ведь одиночество нас угнетает».

...Так на чем я остановился? Да, вспомнил, повстречал я Соучека на улице с креслом. Мне понравилось, что человек, у которого вообще нет никакой мебели, прежде всего купил кресло. Значит, он любит хорошо отдохнуть. А раз человек отдыхает, значит, хорошо поработал. Кроме того, кресло это показалось мне очень красивым, современным, а мы, как пишут в газетах, хотим жить по-новому, и я думаю, что кресло вовсе не роскошь. Так я и сказал Соучеку, но на него большее впечатление произвело другое. Я упомянул о том, что Соучек дважды получил звание «лучшего токаря». Это не шуточка — дважды быть вознесенным так высоко, а потом уйти с завода. Ведь останься он там, теперь мог бы и орден получить. Видимо, что-то очень сложное произошло с человеком. Но я нос в чужие дела совать не привык, а только предложил ему перейти в нашу бригаду, и он, как мне показалось, был не прочь.

Разумеется, мы тогда, на улице, не ударили по рукам. Такие вещи надо делать как полагается, впопыхах их не решают. Мы говорили несколько неопределенно, но оба знали, о чем речь.

Я сказал ему:

— Лучший токарь — это неплохо звучит, не правда ли?

А он мне:

— Ну, да что там особенного!

— Но все-таки слава, почет.

— Да что в ней, в славе. Главное — работа.

— Конечно, работа главное. Работать ты, как я вижу, умеешь неплохо.

— Плохо работать я не могу. Людей было бы стыдно. Лучше уж вообще ничего не делать.

Так говорят только люди, которые слов на ветер не бросают. Важно не то, что они говорят, а о чем думают. Мне казалось, Соучек знает, с чем я к нему подошел. Он отлично знал, что такое бригада социалистического труда, и ему было, конечно, приятно, что я его выбрал.

Но вступить в такую бригаду — это не на прогулку пойти. Требуется время. Раньше всего я должен был попросить дирекцию завода, чтобы Соучека перевели в наш цех. Конечно, в инструментальном, где он работал, поднялся шум: Бузек, мол, хочет добиться славы тем, что берет в

свою бригаду лучших работников со всего завода. Меня это вывело из равновесия. А вы, умники, говорю, попробуйте скомплектовать бригаду сами. Для этого надо пошевелить мозгами! Ну, конечно, наговорили мы друг другу неприятных слов порядком, но иначе не бывает.

Соучек, как услышал, что его не хотят отпускать из инструментального, вроде бы удивился:

— Почему же? Работаю как все остальные.

Но видно было, что он немножко хитрит.

— Значит, не как все, а то отпустили бы без разговоров.

— Не хотят, говоришь, отпускать? Это хорошо,— и довольно улыбнулся.

Так я узнал, что у этого человека две большие привязанности в жизни. Одна дома — он бережет и лелеет жену, как цветок, и она живет только для него. А другая — работа. Поэтому в разговоре со мной он сиял, а я нарочно дважды повторил, что в цехе считают его лучшим и мне придется нажимать изо всех сил, чтобы его отпустили к нам.

Правда, трудностей оказалось даже больше, чем я ожидал. Перевод задержался, а в это время нас премировали поездкой в Прагу. Решили мы ехать с женами. Заказали нам билеты в театр, женщины совсем головы потеряли — такое не часто случается. Каждая хотела сделать себе новое платье или хотя бы туфли купить. А мы смеялись — черт возьми, эта экскурсия влетит нам в копеечку! Но у всех было хорошо на душе — можем себе и такое позволить. Пошел я к Соучеку, пригласил поехать вместе с нами.

— В театр, говоришь?— он задумался.— Я с удовольствием... Да и Матильда, верно, поехала бы, она театр очень любит.

Я похлопал его по плечу.

— Так действуй и не спрашивай ее, распишись вот здесь — мы заказываем номера в гостинице, не в какой-нибудь, а в первоклассной, на Вацлавской площади. Если уж наша бригада едет куда-нибудь, значит, все должно быть отличного качества. Посидим в кафе, подышим столичным воздухом, и женщины на Прагу посмотрят.

Потом я сказал ребятам: все идет своим чередом. Я действительно был рад, что удалось вытащить этого человека из его скорлупы. И не скрою, немножко гордился тем, что умею подходить к людям.

Ну, а вышло все не так, как я себе представлял. Случается, что все сразу свалится на человека, будто камень с горы: летит он, катится, и никто его удержать не может. А наверху лежал — не шелохнулся.

— Поедем, Матильда,— сказал в субботу Соучек.— Есть у меня чистая белая сорочка?

Она кивнула головой, пошла в спальню и долго не выходила оттуда. Соучек подождал, а потом отправился вслед за ней. Матильда стояла, уткнувшись лицом в деревянную стенку шкафа, и плакала.

— Что с тобой, девочка? — подойдя к ней, тихонько спросил Соучек. Он чувствовал, как дрожат плечи жены. Матильда плакала не в первый раз, и Соучек мягко спросил:— Тебе грустно, что мы редко ездим в город? Но ведь если хочешь, можно и чаще ездить. Ты же знаешь, мне очень хотелось бы больше бывать на людях...

Матильда подняла голову и ответила, глотая слезы:

— Я знаю... Конечно, можем и чаще.

Потом достала сорочку, и Соучек ушел переодеться, а она осталась в комнате, где стояли два новых красных кресла, и подумала: «Солгала,

в первый раз сказала ему неправду. Но зачем и ему мучиться? Не хочу, чтобы ему было тяжело».

Глубоко под белье сунула она смятый конверт с письмом адвоката. Тот сообщал, что ее муж, Алоис Ланг, отказался дать ей развод. Потом Матильда тяжело вздохнула и тоже начала собираться — она знала, что на эту поездку Соучек возлагал большие надежды.

Они отправились на маленькую площадь и там вместе с другими ждали автобуса, который должен был за ними прийти. Люди, сжимавшие в руках свои чемоданчики, были взволнованы предстоящей поездкой, тем, что за ними придет специальный автобус и через несколько минут им будет принадлежать не только автобус, но и вся дорога, весь мир.

Все были удивлены приходом Соучека, но видно было, что ему рады. Соучек и Матильда невольно стали центром внимания всех собравшихся, потому что они были здесь новичками. Никто не знал, что представляет собой Матильда, как и о чем с ней говорить. В дороге скоро выяснилось, что у нее такие же заботы, как и у всех, только о детях она не говорила. Так же, как других, ее сердило, что не всегда бывают овощи, так же любила она вязанье. Выяснилось даже, что дома у нее есть очень хорошие узоры, а это очень ценно для любительниц. Некоторые женщины сразу попросили, чтобы она позволила прийти перерисовать.

— Ой, не знаю, мы ведь совсем еще не устроились,— робко возразила Матильда, но женщины уверили ее, что это ничего не значит, к тому же все знают, что они недавно купили два чудесных кресла. Да и кто может так вот сразу обставиться, все приходит постепенно, дорогая пани, так оно разумней и приятней.

Автобус бежал по белой дороге, за окнами мелькали деревья, был чудесный, ясный, немного бледный день, какие случаются только в самом начале весны, когда еще не все расцвело и зазеленело.

Чем дальше к югу, тем больше дивились люди — здесь уже зацветали деревья, а у них в горах лишь начинало ощущаться дыхание весны. И женщинам захотелось снова пожить в таких вот краях. Посыпались воспоминания — кто где родился, где жил раньше.

— Вам тоже, верно, тоскливо у нас? — участливо спрашивали женщины молчавшую Матильду.

— Нет, я не тоскую,— ответила она вполне искренне, а потом уже только смотрела в окно. Ее волновало то, что пейзаж постоянно меняется, что у них впереди какая-то светлая цель, что все по отношению к ней так чутки и деликатны и не скрывают радости, когда она с ними заговаривает. Эти мысли бродили в ее голове, как молодое вино. Матильда забыла свое горе, письмо, лежащее под бельем, в глубине шкафа, и начала понимать сидящего рядом Соучека: бывает время, когда так хорошо, просто необходимо ощутить возле себя людей, почувствовать их участие. Человек может жить в одиночестве, пока подживают его раны, а потом вдруг наступает момент, когда ему хочется забыть все, и его начинает тянуть к людям.

Теперь они ехали вдоль Эльбы и уже приближались к Праге. Здесь цвели абрикосы, деревья стояли белые, как невесты; река медленно несла свои воды меж зеленых берегов. Кругом было так красиво, что у Матильды сжалось сердце. Она обернулась к мужу и положила руку в его раскрытую ладонь.

В пражской гостинице старушка гардеробщица не спеша сметала засохшую грязь с полотняной дорожки, положенной на лестнице поверх ковровой. Швейцар, зевая, равнодушно поглядывал на старушку из-под

украшенной галунами фуражки. Чуть подальше виднелась раскрытая дверь, за ней маленький телефонный коммутатор гостиницы; перед ним сидела немолодая женщина с выкрашенными светлыми волосами. Делать ей было нечего, в субботу после обеда — совершенное затишье. Изредка вспыхивал глазок на щитке коммутатора, она поднимала трубку и лениво говорила: «Гостиница «Центральная». Свободных номеров нет...»

Гардеробщица подмела последний марш. Она посетовала, что теперь много грязи, скорей бы кончилась эта сумасшедшая весенняя погода. Швейцар промолчал: разговаривать с гардеробщицей не входило в его обязанности. После того как телефонистка несколько раз ответила, что свободных номеров нет, он лениво поднял брови и процедил:

— Где уж тут быть, раз приезжают господа рабочие!

Телефонистка засмеялась и придвинула к себе маникюрный прибор.

— Времена пошли, а? Приезжают целой экскурсией в первоклассный отель. Раньше ничего подобного быть не могло,— категорически заявил швейцар.

— Пан Ганек, теперь возможно многое такое, чего раньше не было,— ответила нараспев телефонистка, старательно обрезая ноготки.

— Приезжают на автобусе в лучший отель,— повторил швейцар, как будто с кем-то спорил.

— Бригада социалистического труда! А вы заметили, пан Ганек, что директор сразу пошел им навстречу? — многозначительно подняла брови телефонистка.

— Для таких случаев имеются туристские базы. Экскурсии следовало бы помещать там,— продолжал швейцар,— а не в отелях первого класса.

— И платят все наличными,— заметила телефонистка.

— Люди звонят, хотят получить номер, а мы вынуждены отказывать, у нас, видите ли, бригада. Неважная рекомендация для отеля,— возмущался швейцар. Он кое-что повидал в жизни, немало пережил. В отеле, как на пражском мосту, всегда что-либо происходит, а когда работаешь тридцать лет, имеешь уже определенный взгляд на вещи.

Сегодня швейцар был просто оскорблен за клиентов, которым должны были отказывать. Ему казалось недопустимым, чтобы рабочие, приехавшие бог весть откуда, заняли весь отель. Конечно, директор из кожи лез, стараясь угодить новоявленным гостям, но его лично это не касается. Рабочие могут здесь жить, пожалуйста, но они для него не существуют. Швейцар привык к совсем другим гостям, к чаевым, что даются этаким особым жестом, и к тому же человеком, имеющим на это право. А чтобы такими людьми были ударники, швейцар сомневался.

— Я еще помню, барышня, как здесь останавливались министры,— тихо сказал он, подавая кому-то ключ.— Министры!

Тут в вестибюль вошел мужчина. На первый взгляд, это был, даже по понятиям швейцара, порядочный гость. Мужчина обвел взглядом вестибюль, и швейцар услужливо поклонился в его сторону. Гость рассеянно улыбнулся ему, обернулся к двери и сделал кому-то знак, приглашая войти. В вестибюль вошла группа мужчин и женщин, и швейцар, внезапно похолодев, понял, что это они... Правда, выглядели ударники не как туристы, но это взбесило швейцара еще больше.

«Вы только посмотрите, как они теперь одеваются!» — подумал он.

Поджав губы, швейцар начал по списку выдавать ключи. Гости спокойно, с достоинством брали их и уходили, не проявляя ни удивления, ни робости, оказавшись в первоклассном отеле. Кто-то спросил:

— А разве лифт не работает?

Швейцар вытаращил на него глаза и пробормотал только:

— Нет.

— Непорядок,— заметил мужчина, взял жену под руку, и они пошли по широкой лестнице наверх, к себе в номер. Швейцар повернулся к телефонистке. Слышала она? Непорядок, мол, что лифт не работает. Как будто у него в доме есть лифт!

В вестибюле оставались двое — мужчина и женщина. Швейцар снова заглянул в список.

— Пан Соучек и пани... пани... хм... пани Лангова...— он поднял глаза.— Забронирован один двухместный номер, а вы, насколько я понимаю, не супруги?

Наступило неловкое молчание. Женщина взглянула на мужчину, тот растерянно смотрел на швейцара. В отелях часто происходят деликатные случаи, небольшие недоразумения, которые хороший, умный администратор разрешает быстро и тактично. Однако пан Ганек не намеревался проявлять такт. Ему хотелось показать свою власть, доказать нежеланным гостям, что отель класса «А» — это отель класса «А».

— Двухместные номера предоставляются только супругам,— сказал он с достоинством и бросил взгляд в сторону коммутатора. Но в этот момент телефонистка была занята с абонентом и не слышала его слов. Жаль, взглянула бы только на этот новый рабочий класс!

— Вы должны были предупредить, что не являетесь мужем и женой, и заказать два одноместных номера. Ничем не могу помочь.

Соучек залился краской и пробормотал:

— Но мы же... мы вместе...

Швейцар посмотрел на него с ехидной усмешкой: что, мол, получил?

Соучек обернулся к своей спутнице. Она стояла в двух шагах в опустевшем вестибюле и все, конечно, слышала. Щеки ее побледнели, глаза неподвижно смотрели в пространство.

— Сожалею,— повторил швейцар,— но в данное время у нас нет двух одноместных номеров.

— Знаешь, Матильда, оставайся здесь, а я устроюсь где-нибудь...— не очень уверенно произнес Соучек.

Но женщина отрицательно покачала головой, она едва сдерживала слезы. Где-то наверху хлопали двери, а они все еще стояли в вестибюле.

— Не надо было нам ездить,— тихо проговорила женщина.— Я знала, что этим кончится...— Соучек взял ее под руку, и оба молча вышли на улицу. Швейцар, не ожидавший такого оборота дела, даже рот раскрыл от удивления. «Обиделись! — подумал он.— Они еще обиделись!» И, как бы оправдываясь, проговорил в сторону телефонного коммутатора:

— Я поступил в точности по правилам!

Но телефонистка снова была занята и ничего не ответила.

А те двое постояли на тротуаре, потом их подхватил людской поток, который растекался по улицам, как вешние воды. Матильда тихонько плакала.

— Господи боже, опять!.. Никогда мы от этого не избавимся. До самой смерти...

— Перестань, люди кругом... Что-нибудь придумаем,— растерянно уговаривал жену Соучек. Отчаяние и злоба переполняли его. «Надо вернуться в отель, нельзя так оставить это безобразие, ведь мы же давно фактически муж и жена»,— подумал он. Но Матильда не переставала плакать, и Соучек старался поменьше попадаться на глаза людям.

— Ну не плачь, моя девочка. Поедем домой.

Словно чужие, шли они в толпе людей. Было им горько и тяжело оттого, что они остались одни, совсем одни, и как раз тогда, когда им так хорошо было среди людей.

...Вот оно как все вышло! Сейчас я готов самому себе надавать оплеух за то, что произошло... А тогда я надулся, почувствовал себя оскорбленным. Очень уж был уверен, что умею обходиться с людьми.

— Что-то нашему Соучеку втемяшилось в голову,— сказал я, когда все привели себя в порядок и собрались в холле.— Ушел и ничего не сказал!

— Куда ушел?

— А я откуда знаю, ушел и все!

У ворот стоял автобус, который должен был прокатить нас по Праге. Всем не терпелось ехать, а тут такое происшествие. Кто-то сказал:

— Не искать же его теперь!

— Конечно нет,— согласился я.— У нас все по программе.— А потом подумал: «Черт возьми, два билета в театр пропадают». В те минуты я думал только о таком пустяке, а что вышло в действительности, понял только позднее. В театре я сидел как на иголках, никак не мог выбросить из головы Соучека и Матильду. Непонятно было, почему он ушел, ничего не сказав, хоть бы черкнул на бумажке два слова. Но что я мог тогда поделать? Даже сейчас не знаю. Дать по физиономии тому швейцару? А может, нужно было бежать на вокзал? Наверняка они сидели где-то там и, прислушиваясь к гудкам, ждали вечернего поезда. Но почему именно я должен был все это делать? Почему он сам не хотел помочь мне? Он же не ребенок, чтобы так обижаться.

Сердцем-то я понимал, что он не виноват и что люди его обидели. А какие, собственно, люди? Какой-то надутый швейцар. И вообще, мы ведь приехали в Прагу веселиться, а не страдать из-за какой-то неразберихи.

Эти мысли без конца вертелись в моей голове. А когда мы вернулись домой, я сказал себе: пойду к нему и скажу, что и как. Но я не пошел. Признаюсь вам честно — не пошел. Работы было много, хлопот с бригадой, да и не очень хотелось идти. А что бы я ему сказал? Один и тот же человек бывает и очень разумным и безрассудным. Может, лучше было пока не вспоминать всего этого. К тому же я был уверен, что Соучек перейдет в нашу бригаду, тогда будет время обо всем поговорить. А пока оставлю его в покое, пусть одумается.

Ну, а в бригаде, конечно, об этом случае узнали, пошли толки. Некоторые говорили, что надо, мол, подумать, прежде чем брать такого человека. Если члены бригады социалистического труда должны жить по-социалистически, место ли там человеку, у которого в семье не все благополучно? Ведь и о морали следует подумать. А это не очень-то морально.

А у меня в голове мешанина была, что делать — не знал и, честно говоря, не торопился делать. Еще не хватало, чтобы бригадир решал вопросы морали! Покорно благодарю!

Но, как оказалось, поторопиться мне следовало. Через несколько дней мы узнали, что Соучек уволился с завода и уехал от нас. Куда бы, как вы думаете? Ахнете от удивления! Выбрал себе такое место, дальше которого вообще ничего нет. Если уж дальше нас и поезд не идет, так туда ведет только горная дорога. Там есть совхоз — и вправду на краю света. В совхозе давно требовался ремонтный слесарь, и за Соучека

ухватились обеими руками. Уехал он туда со своей Матильдой, которая не могла стать его женой. Уехал в пустоту, в туман.

Не говорите мне, пожалуйста, что это их личное дело. Разве есть сейчас на свете вещи, которые касаются только двоих? Личное дело этой пары — только ее большая любовь, но вопрос, могут ли они жить среди других людей, касается уже всех нас, независимо от нашего желания И больше всего это должно было касаться меня, я ведь так хвастал, так гордился, что умею обходиться с людьми.

Конечно, Соучек нигде не пропадет, руки у него золотые, но он не будет счастлив там, в горах, один, да и чинить косилки — не то что работать на настоящем станке, в цеху, среди рабочих. Ведь он не деревенский кузнец, а рабочий. Такой мастер, как он, значит побольше кузнеца. Ему так хотелось быть среди нас! И не может же он вечно ходить с клеймом позора, стыдиться своего прошлого.

Теперь я стою иногда на улице, смотрю на горы и думаю: «А может, он ждет, что за ним придет кто-нибудь из нас?..»

С гор спускаются белые осенние туманы, а я говорю себе: «Кто знает, может, он ждет именно меня?»

Вольфганг Борхерт

БИЛЛБРУК

РАССКАЗ

Перевод с немецкого В Тимофеева

Канадский фельдфебель-летчик, прибывший поздним вечером в Гамбург, не спеша опустил свой тяжелый сундучок на каменный пол вокзала и шумно вздохнул — может быть, оттого, что весь вспотел, а быть может, это так на него подействовал спертый вокзальный воздух.

Обе его руки сначала погрузились в карманы брюк, а затем появились на белый свет — нет, не на белый, а на желтый, тусклый электрический свет ночного вокзала,— держа пачку сигарет и зажигалку. Зубами он вытащил сигарету из мягкой бумажной обертки, привычно щелкнул зажигалкой... и узкий желтый язычок пламени сразу же опалил небольшие рыжие усы фельдфебеля. Только чуть-чуть коснулся их, но запах гари сразу ударил в нос. Запахло как бы горелой резиной. «Резиной?» — подумал он. Ему и в голову не пришло, что так пахнет паленый волос. Да и о резине он подумал лишь мельком, незаметно для себя. И сигарета осталась незажженной. Она выпала и лежала беленькая, удивительно чистая и нетронутая на грязном полу. Его губы слегка приоткрылись. Он позабыл защелкнуть зажигалку; слабенький язычок пламени метнулся из стороны в сторону и стыдливо исчез. Он забыл вытащить из кармана зеркальце, чтобы посмотреть, насколько пострадали усы. Он совсем позабыл о своих опаленных рыжих усах, и если бы увидел сейчас себя со стороны, то был бы безмерно удивлен. Ведь своим изысканно тонким ржаво-красным усам он уделял очень много внимания. Собственно, он был ими целиком поглощен, но теперь, хоть они наверняка пострадали, он даже и не подумал вытащить зеркальце, чтобы их осмотреть. Остались приоткрытыми и его губы, и зажигалка, а на полу валялась незажженная сигарета. Он забыл о зажигалке, губах, сигарете, забыл о сундучке, Канаде, усах и запахе гари. Раскрыв от удивления рот, забыл обо всем. И не отрываясь смотрел на большую эмалированную дощечку со многими непонятными для него словами. Точнее, уставился на одно из этих слов. Слово это из восьми блестевших черным лаком букв было его собственным именем. Он зажмурился и вновь быстро раскрыл глаза. Слово не исчезло. На большой белой эмалированной дощечке среди множества других непонятных слов, составленных из черных букв, блестели черным лаком и эти восемь букв. Он взглянул на дощечку. «Мое имя»,— подумал он. Совершенно ясно, совершенно отчетливо. Эмалью и лаком! С ума сойдешь! Эмалью и лаком! Чепуха какая-то! Бессмыслица! Безумие! В свои двадцать шесть лет он впервые очутился в Гамбурге. Впервые — в этом зале, под этими тусклыми лам-

пами, на этих истоптанных каменных плитах. И вот здесь, именно здесь, где он оказался впервые, начертано его имя! Блестящими буквами на эмалированной доске. Появилось оно здесь внезапно. То есть внезапно только для него, вообще же оно, видимо, давно здесь стояло. Но для него оно появилось тут совсем внезапно. Черным по белому, блестящими черными буквами на белой доске его такое простое имя: Биллбрук. Вне всякого сомнения, это было его имя, как ни странно, именно оно. В чужой стране, черной блестящей эмалью — Биллбрук. Каждый мог легко его увидеть и без всякого труда прочесть.

Когда он снова взял из пачки сигарету, рука его дрожала. Он заметил это и ухмыльнулся. Да, сейчас он ухмыльнулся. Но еще мгновение назад чувствовал страх.

Войдя в свою комнату в отеле, он все еще был возбужден. Он громко и шумно приветствовал двух соседей по номеру и, как только познакомился с ними, сразу же рассказал о своем приключении. Он так и сказал — «приключение». Он настолько пережил это событие, что оно стало для него приключением. Он произнес свое имя очень медленно и очень отчетливо и заставил их осмыслить, что это имя — его имя, которое он привез из Америки, из Канады, из Хоупдейла,— можно совершенно ясно прочитать на эмалированной дощечке на вокзале. Здесь, в Гамбурге! Затем он поклялся своим соседям, что речь идет не о какой-нибудь мемориальной доске. Нет, нет. Ни в коем случае! Он никогда не срифмовал и двух строчек, не изобретал ни искусственного жира, ни средства от близорукости. И не завоевывал звания чемпиона по боксу. Не было также приказа о его розыске и аресте. И в Гамбурге он очутился сегодня впервые. Ей-богу, впервые!

Когда он очень уж увлекся своими объяснениями, оба его соседа разразились хохотом. Безудержным хохотом. Язвительно, злорадно звенел жестяной смех маленького брюнета, стоявшего возле окна, и добродушно, оглушительно, заразительно ревел рыжеватый атлет, стуча от избытка чувств кулаками по столу. Под гогот и ржание они объяснили ему, что Биллбрук — это часть города, часть Гамбурга. Да, да, один из районов Гамбурга называется Биллбрук. Как-никак они здесь уже больше года, стали почти коренными гамбуржцами, чуть ли не здешними уроженцами и не могут этого не знать.

И Биллу Бруку, фельдфебелю из Канады, пришлось им поверить. Он вынужден был это сделать, несмотря на их рев и гогот, так как ему под нос сунули план города, на котором синим карандашом был жирно подчеркнут и обведен кружком район под названием Биллбрук. Да. И когда он увидел и осознал это, его охватило чувство некоторой гордости. Оснований для этого, конечно, не было. Но он о них и не думал. Просто он позволил себе испытать тайное чувство гордости своим именем. И гордость эта не казалась ему неоправданной. Не каждый день все-таки кто-либо из Хоупдейла переплывает океан и здесь, в Гамбурге, встречает свое имя, изображенное красивыми черными блестящими буквами на белой эмалированной дощечке. Да, он позволил себе немножко гордости по этому поводу, а вместе с гордостью пришло великолепнейшее настроение. Оно пришло совершенно неожиданно, когда он заметил, что охвативший его вначале испуг совсем исчез. Он уже видел себя в Хоупдейле в кухне, видел, как от радости и смеха растрепались волосы его матери. Он уже слышал, как смеются все в доме, там, в Хоупдейле, как смеются в порту, слушая его рассказ, о том, что здесь, в Гамбурге, есть район, который называется Биллбрук. Смех,

и удивление, и даже смятение. Он обязательно наподдаст своим коровам кулаком под ребро, чтобы и они немножечко задрали морду кверху. О, это он обязательно сделает! И оттого что он решил обязательно так поступить, ему еще не скоро удалось в этот вечер уснуть.

Хорошее настроение и чувство гордости не оставляли его и на следующий день. До обеда фельдфебель только удивлялся этому. После обеда он попытался незаметно сунуть в карман план города. Но коренастый брюнет с жестяным голосом поймал его на месте преступления и задребезжал, как консервная банка:

— Ты, кажется, хочешь совершить экскурсию? Билл Брук устраивает пикник в Биллбруке! Иди, мой милый, иди. Чего доброго, тебя изберут еще почетным гражданином. Или ты не хочешь идти? Не хочешь посетить свой район? Да? Гляди, как бы тебя еще не выбрали и бургомистром. Господин Билл Брук из Биллбрука! Неплохо звучит, мой дорогой, серьезно, очень неплохо звучит! — И залился своим ехидным дребезжащим смешком так бесстыдно громко, что заглушил даже громовой смех гиганта-блондина.

Билл Брук тоже захохотал, потом провел пальцем по своим узким ржаво-рыжим усам, вытер слезу, выкатившуюся из-под коротеньких ресниц, и сказал:

— Ну, до вечера. Хочу пройтись к себе, в свою часть города. Итак, до скорого! — И вышел, охваченный чувством гордости и в отличном настроении.

Минуту он любовался морем, которое вклинивалось в самую глубь этого сумасшедшего города, города, часть которого называлась так, как зовут порядочных людей в Хоупдейле, то есть его собственным именем. Билл Брук глубоко вздохнул. О! Пахло водой. Соленой водой. Здорово! Хороший город. Билл Брук повернулся, посмотрел на затянутое облаками солнце, на серое гамбургское солнце и пошел дальше. «Мой курс — ост-зюйд-ост»,— сказал он сам себе и зашагал бодрым твердым шагом.

День был теплый, золотисто-серый. Пыльные гамбургские облака висели на небе. Билл Брук маршировал в хорошем настроении на зюйд-ост, и в спину ему глядело золотисто-серое солнце. Через час он вынул из кармана карту и сравнил пройденный путь с тем, что еще оставалось. Видимо, придется шагать еще часа два. Его это немного смутило. В чужом городе никогда не удается идти так быстро, как хотелось бы. План опять исчез в кармане, и Билл Брук вновь шел на зюйд-ост, вдыхая приятный золотисто-серый воздух гамбургского летнего дня.

Вдруг он заметил, что его гордость стала снижаться, как подбитый самолет. Не резко. Не сразу. Постепенно, по плавной кривой. И его чудесное настроение начало понемногу исчезать, будто крошилось, как черствый пирог. Он обернулся и глянул на солнце. Оно по-прежнему было золотисто-серым. «Я устал,— подумал он. Достал сигарету.— Конечно, я просто устал. В этом все дело. Я вообще не привык ходить пешком. Когда это я в последний раз хотя бы час шел пешком? Наверно, дома. Конечно дома. Два года назад». Носком ботинка он подбросил окурок, как маленький раскаленный футбольный мяч.

Но дело было вовсе не в том, что он устал. Нет, не в том. А вот в чем: еще недавно он шел по улицам, где жили люди. У некоторых домов не хватало угла, иногда было сожжено или разрушено целое крыло здания, взрыта земля, сорван балкон или снесена крыша. Но все же улицы еще выглядели как улицы, немного поврежденные, полуразрушенные, но все же улицы, и на них жили люди. Лаяли собаки. Кричали,

визжали, плакали дети в подъездах, на лестницах, перед домами и во дворах. Женщины выбивали ковры, переговаривались из окон. Ругались возчики, воняли мусорные ящики, хихикали девушки, насвистывали юноши. Все это было на улицах, по которым до сих пор шел Билл Брук, фельдфебель из Канады, человек из Хоупдейла, с побережья Атлантического океана. По обеим сторонам этих улиц жили люди, напевали, протирая окна, девушки, канарейки тянули свои бесконечные рулады, звенели велосипедисты и молочные бидоны, гудели, скрежетали тормозами автомашины. В одном из домов какой-то местный Моцарт упрямо долбил на рояле, и было слышно, как резкий голос старой девы ведет счет и отбивает такт каким-то твердым предметом. До сих пор по обеим сторонам улиц жили люди, и улицы были настоящими улицами. Настоящими. Как в Хоупдейле. Или в Оттаве. Или в Квебеке.

Но вот уже на протяжении получаса вокруг становилось все тише. Все меньше людей в домах, да и самих домов все меньше. Дети, собаки, автомашины встречались все реже и реже. И только доморощенный Моцарт, словно издеваясь над этой внезапно наступившей тишиной, по-прежнему упорно бренчал на рояле. Жизнь становилась все мельче, реже, глуше. Иногда она совсем исчезала, потом вновь появлялась через несколько сот метров, затем пропадала на вдвое большее расстояние и вновь выплескивалась на улицу в виде нескольких домов. Но все реже и реже. И все тише и тише.

Он стоял на перекрестке. Оглянулся назад: ни детей? ни авто? ни собак? Посмотрел налево: ни детей! ни авто! ни собак! Посмотрел и направо, и вперед: никого! Он смотрел вдоль всей улицы: ни одного дома. Ни единого дома! Ни домишка! Ни хижины! Ни одной-единственной, хотя бы жиденькой, неустойчивой стенки. Только печные трубы торчали, как пальцы мертвецов, в вечернем небе. Холодные, тонкие, скрюченные, гниющие пальцы мертвецов. Как кости какого-то гигантского скелета. Как надгробные памятники. И насколько хватал глаз (во все четыре стороны) — а у него было ощущение, что видно не на один километр,— ничего живого. Ничего. Ничего живого. Миллиарды кирпичей, миллиарды обломков, миллиарды кусочков. Бессмысленно перемолотый безжалостной войной город. Миллиарды обломков и несколько сот печных труб, как пальцы мертвецов. Но ни единого дома, ни одной женщины, ни одного деревца. Только смерть. Разрушение, уничтожение, распад, хаос. Только смерть. Смерть на километры, куда ни гляньь. Он стоял среди мертвого города и ощущал во рту приторный тошнотворный вкус. Его гордость исчезла. Его великолепнейшее настроение осталось где-то позади. Где-то далеко позади! Там, у последнего из виденных им ребят, у последней женщины, у последней автомашины.

«Даже воздух здесь мертв»,— подумал он. Казалось, пальцы умерших тянутся к нему. Стояла такая тишина, что не хватало решимости громко вздохнуть.

Он достал план города и сильно сжал его в руке. «Будто я крепко держусь за него»,— мелькнуло в голове. Он посмотрел на солнце, уже почти совсем закатившееся, подернутое маревом большого города. Он смутно различал далекие колокольни церквей. «Это только мерещится мне,— думал он,— их нет в действительности». Пальцы мертвецов были так близко, так плотно окружали его, что только они казались реальностью. Только они... и обломки.

Он решил идти быстрее и зашагал посреди улицы. Вернее, ему пришлось идти посредине, потому что во многих местах разрушенные,

взорванные дома обвалились так, что от улицы осталась лишь узкая и изменчивая, как мысли сумасшедшего, тропинка. Он смотрел в землю, прямо перед собой. Словно искал свою потерянную гордость и не находил ее, не находил своего бодрого настроения.

Вдруг он заметил, что и в этом мертвом городе, городе без домов и без шума, есть кое-что живое — трава. Зеленая трава! Трава, как в Хоупдейле. Обыкновенная трава. Миллионы былинок. Невзрачных. Жалких. Но зеленых. И живых. Трава, как и повсюду в мире. Иной раз слишком бледная, слишком хилая, редкая, пыльная. Но все-таки зеленая и живая. Всюду зеленая травка. Он радостно улыбнулся. Но улыбка мгновенно застыла на устах, потому что в голове мелькнули два слова, два слова — кладбищенская трава. И улыбка вышла бледной и хилой, как и здешняя трава. Трава? Хорошо. Но могильная трава! Трава кладбищ и руин. Ужасная, отвратительная, сероватая травка. Кладбищенская, незабываемая, наполненная прошлым, насыщенная воспоминаниями, извечная трава могильных холмов, незабываемый огромный травяной ковер на мировом погосте.

Трава. И кроме травы — ничего. Или нет. Ему повстречался фонарный столб, телефонная будка и тумба для афиш.

Грустный, скрюченный, покосившийся фонарный столб приблизился к нему и захихикал сквозь слезы: «Я уже больше не могу светить. Мне пришел конец. Меня сломали, уничтожили, окончательно разорили. Я больше не даю света. Я и сам лишен света. И нет больше смысла в моем существовании».

На другом углу его ждала печальная, дырявая, как решето, телефонная будка, и она зашептала, захлебываясь слезами: «Все внутри у меня разбито. Всю меня выпотрошили. Похитили даже красивую новую красную телефонную книгу, где было так много номеров и фамилий. Все пропало. Ни одна свинья не звонит больше по телефону и не посещает меня. Только эта жалкая трава удобно устроилась во всех уголках».

Потом ему кивнула наклонившаяся набок болтливая тумба для афиш и, всхлипывая, зашептала глухим голосом: «Ну разве это не позор? На мне ни одной афиши. А? Ни одного плаката, ни одной рекламы, ни одного приказа. Ничего, ничего! Позор. Не так ли? Я совершенно голая и вдобавок вся покосилась. И представьте, всему виной бомбы. И это, и многое другое — все от бомб. Бомбы действительно делают свое дело блестяще. Свое гнусное, страшное дело».

И фонарь, и будка, и тумба — все были печальны и задыхались от слез. И Билл Брук, канадец, летчик, фермер из Лабрадора, стал — как и они — печальным. И чувствовал себя, как и они, искривленным, пробитым осколками, надломленным. И шаги его стали шире еще на несколько сантиметров...

Солнце за его спиной уже устало клонилось к самому горизонту, освещая только верхней своей половиной силуэт далекого города. А Билл Брук, который отправился в путь, исполненный гордости и в хорошем настроении, теперь торопливо шел вперед огромными шагами. Гигантскими шагами, не вызывавшими никакого отзвука в этом плоском, мертвом городе, который, собственно говоря, был уже и не городом, а всего лишь пустыней, равниной, полем, каменной пашней, кладбищем, лишенным мира. Кладбищем с серо-зеленой травой и сотнями чудом уцелевших и охваченных удивлением печных труб, похожих на высохшие, угрожающе скрюченные пальцы мертвецов.

Плохо чувствовал себя Билл Брук и был рад, когда внезапно очутился на слегка поврежденном, без перил мостике через небольшой зелено-

вато-серебристый, затянутый тиной канал. Он сразу забыл о пустыне, которая окружала его, широко раскинувшись на целые километры во все стороны; а когда в довершение всего он увидел на берегу канала несколько маленьких домишек и веселых садиков, развешанное на веревках белье и струйки дыма, чувство счастья охватило его, и этот двадцатишестилетний мужчина чуть не захлопал в ладоши, как ребенок. «И детишки здесь!»— свистнул он сквозь зубы, широкие и белые. Да, там кричали дети, напевала женщина, несколько мужчин ругались, склонившись над картами, тихо шипела в садике лейка, тявкала такса. И голоса детей, и кальсоны, и чулки, и розовые и голубые бюстгальтеры, болтавшиеся на веревке, казалось, манили и возбужденно призывали: эге, господин фельдфебель, спокойно подходите поближе. Не волнуйтесь, подходите, господин фельдфебель, к нам без всяких стеснений.

И Билл Брук, парень из Лабрадора, с облегчением стукнул кулаком по случайно сохранившемуся куску перил и, счастливый, подумал: «Смотри-ка! Симпатичные дощатые домишки! Маленькие аппетитные дворцы! Из дверей и окон торчат премилые причудливо изогнутые железные трубы, а из их чудесных смоляно-черных носиков вьется совсем голубой, легкий, кудрявый дымок. Дымок дровяной и бумажный, дымок украденных изгородей и досок. Самый что ни на есть настоящий, жизнерадостный, невинный, небесно-голубой, кудрявенький дымок! Постой минуточку, удалой старый дымок, одну минуту, ты, старая кашляющая собачонка, помедлите минуточку, вы, очаровательные бюстгальтеры! Одну минуту: я иду! Сейчас я спущусь туда к вам, если только все это не мираж».

Канадец перебрался через низкую гряду щебня и соскользнул по откосу на усыпанную желтым песком дорожку. Извиваясь, она вела к домишкам, а там уже стояли две женщины и, теребя передники, смотрели с жадным любопытством на чужака, алчно смотрели на него в ожидании каких-нибудь новостей. Вот лейка прекратила свое шипение, и девушка, полная томления, облизнула языком губы. Но и женщина, и девушка, и даже, казалось, лейка были разочарованы. Пришелец — это событие, эта новость — так и не подошел к ним. Они вытянули шеи — но он не подошел. Он остановился, не дойдя до них. Остановился потому, что увидел прямо перед собой, возле желтой песчаной дорожки, на каменной стенке канала двух мужчин и кота. Они сидели и ловили рыбу. Мужчины ловили удочками, лесками, а кот —глазами. Тут и остановился чужеземец. И когда женщины, и девушка, и лейка увидели это, они вернулись к своим трудам.

Мужчины сидели на самом краю стенки, свесив вниз три ноги. Три ноги? Именно так. Один из них был старый, седой, дряхлый, и хитрый, и веселый. Другой совсем молодой, только-только начинающий жить, больной, издерганный, измочаленный и совсем молодой. У него и была одна нога. Возле них сидел кот с таким видом, будто ничто его не интересует и ни на что он не обращает никакого внимания. Но Билл Брук видел, как ему хочется рыбы. Так же ведут себя кошки и в Хоупдейле, совсем так же. Билл Брук усмехнулся и, остановившись, поздоровался с обоими мужчинами (да и с котом тоже). Они взглянули на него. Взглянули так, будто и он, и его приветствие находились где-то за десятки километров от них. Затем тот, кто был старше, кивнул, и сразу почувствовалось, что в прошлом он наверняка был весельчаком. Он кивнул. Молодой, одноногий, этого не сделал. Только посмотрел еще раз и как бы отодвинул его разом от себя на целых сто километров. Этим своим взглядом парень, казалось, хотел отбросить фельдфебеля назад, в его Канаду, в страну, где, конечно, нет ни солнца, ни любви, ни взаимопони-

мания. Своим взглядом он отшвырнул фельдфебеля в эту самую Канаду, в страну, где нет ни лейки, ни собак, ни девичьих глаз. Там он его и оставил, чтобы больше не тратить на него своего взгляда. Парень отвернулся и начал не торопясь насыпать табак на обрывок бумаги, который он старательно разгладил на своем обрубке.

Канадец почувствовал это расстояние в сто километров, почувствовал, что изгнан в страну, где взаимопонимания не существует, и, не желая оставаться там, уселся на стенке рядом со стариком. Теперь уже над водой висело пять ног. Он достал пачку сигарет, протянул старику и дал понять, что тот может взять их себе и поделиться с молодым. Старик вдруг посмотрел на него внимательно и мягко сказал:

— Спасибо.— И это прозвучало: «А ведь ты, оказывается, неплохой парень. Я сразу заметил. Еще до этих сигарет». И протянул остаток пачки молодому. Тот медленно и подчеркнуто осторожно вынул сигареты из обертки и, лениво взяв их двумя пальцами, словно походя стал швырять прямо в воду. Каждую в отдельности. И как можно дальше. Делал он это с наслаждением. Восемь штук по одной бросал он кончиками пальцев как можно дальше в зеленовато-черную воду канала. Кот возбужденно следил за их полетом.

Билл Брук от обиды и гнева наморщил лоб, но тут же вспомнил о ноге, одиноко свисавшей со стенки.

Клочковатые, с сединой брови старика удивленно поползли вверх, и он заворчал:

— Хандришь, что ли? Ни черта ты не смыслишь в людях.

Парень облизнул край бумажки, заклеил самодельную сигарету, сплюнул крошки табака в воду и, почти не разжимая губ, сказал:

— Дай-ка мне лучше огня.

Потом все трое молча смотрели на черно-зеленую поблескивающую тину. Билл Брук по-прежнему коченел в стране без солнца и ласки. Он вынул свой план города и, крепко держа его, спросил старика, можно ли отсюда пройти в Биллбрук.

— В район Биллбрук,— повторил он важно, будто тот факт, что ему известно это название, мог что-либо значить для этих рыболовов на трех ногах.

Старик утвердительно кивнул, шесть раз поднял вверх свои короткие пальцы, все в грязи и земле от долгого поиска дождевых червей, и пояснил:

— Минут...— Затем снова поднял свои короткие пальцы и произнес:— Шестьдесят минут.

Билл Брук поискал на небосклоне золотисто-серое гамбургское солнце и, убедившись, что его уже не видно, подумал: «Не время мне сейчас идти в Биллбрук, в мой Биллбрук, в мою часть города. Не то я не вернусь и к полуночи». Он почти обрадовался, что идти туда не придется. Он вспомнил бедный кривой фонарь, вспомнил телефонную будку в трауре, обездоленный афишный столб и поднялся. Старик оглядел его длинные ноги в синих брюках военного образца. Тщательно вытер большой и указательный пальцы, затем осторожно прикоснулся к синей материи, благоговейно пощупал ее пальцами и, выпятив нижнюю губу, авторитетно произнес свой приговор:

— Отличное качество.

Билл Брук посмотрел на него сверху вниз. Ему вдруг почему-то стало стыдно. И все же он подтвердил:

— Да, отличное.— Потом, показав на все четыре стороны, спросил:— Все капут?

Старик ответил очень тихо, едва слышно:

— Все. Три часа пути влево, три часа пути вправо. И туда, и назад. Все начисто.— И добавил: — Бармбек, Ейльбек и Вандсбек. И Хамм. И Хорн. И Хассельбрук. И Санкт-Георг, и Боргфельде.— Он сказал: — Ротенбургсорт и Бильвердер и Хаммербрук. И Биллбрук.— Потом сказал:— Гамбург! — Затем:— Порт.— И снова повторил:— Гамбург.— И все это было сказано так, что Биллу Бруку показалось, будто он произнес: «И Канада, и Хоупдейл».

Старик снова повторил:

— Порт и Гамбург!— И снова хотел поднять вверх свои короткие, черные от земли пальцы, чтобы чужестранцу стало понятнее, но вдруг взмахнул обеими руками и коротко сказал:— Две ночи! Две ночи — и все пошло прахом!— И его рука описала круг, способный вместить весь мир.

Билл Брук поднял два пальца:

— Две ночи? Нет! Две? Две ночи?— Он засмеялся громко и испуганно. И смех его прозвучал как крик, громко и испуганно. Весь этот огромный город — в две ночи? И он снова засмеялся, не зная, как ему вести себя. Он вспомнил Хоупдейл и подумал: «Две ночи! Хоупдейл и вовсе исчез бы с лица земли. После двух таких ночей он был бы начисто уничтожен, о нем осталось бы одно лишь воспоминание.— Он подумал:— Наверно, десятки тысяч людей лежат теперь под этим плоским, как равнина, городом». И беспомощно усмехнулся. Десятки тысяч мертвецов. Плоский, сглаженный, мертвый. Десятки тысяч за две ночи. Целый город! За две ночи. Плоский, сглаженный, мертвый.

Канадец никак не мог перестать смеяться. Он все смеялся и смеялся. Но не от радости, не от веселья. Он смеялся от неверия, сомнения, удивления. Смеялся потому, что не мог себе всего этого представить, не мог во все это поверить. Смеялся потому, что все это казалось ему чудовищным, вызывало оцепенение и дрожь, вселяло в него чувство страха. Вот почему он смеялся. В своей чистенькой синей форме он стоял среди огромной, отвратительной пустыни, усеянной камнями и трупами. Стоял и смеялся. Лицо его было сытым и гладким, а рядом находились два рыболова, у которых лица были серые, морщинистые и три ноги на двоих. А канадец стоял и смеялся.

В эту минуту одноногий, почти не раскрывая рта, яростно швырнул ему в лицо одно только слово. И слово это прозвучало как пощечина. Он взглянул при этом на летчика в его синей форме так, что смех, будто крик о помощи, застыл у него на устах. Но старик почувствовал: этот чужеземец смеется лишь потому, что не знает, как вести себя. Он понимал, что этот смех вызван чувством страха.

И смех этот казался чудовищным не только им, но и тому, кто смеялся. И старик снова сказал одноногому:

— Плохо ты разбираешься в людях.— Парень задрожал. Старик еще раз повторил:— Ничего ты в людях не смыслишь. Вот и все!

Билл Брук не понял, о чем они говорили. Но он почувствовал ненависть во взгляде одноногого, почувствовал, что старик взглядом просит его уйти. Он осторожно прикоснулся ногой к коту и сказал:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— торопливо ответил старик.

Билл Брук повернулся и отошел, думая про себя: «Хорошо, что я ухожу».

Когда он опять очутился среди развалин, ему бросились в глаза багровые пятна на небе — пламя солнечного заката. «Кровавые пятна,— подумал он и убыстрил свой шаг.— Совсем как пятна крови, очень это неприятно»,— думал он. Неожиданно поднялся ветер. Он дул ему навстречу из города, ласковый и мягкий. Мягкий и тихий, он дул Биллу

Бруку прямо в лицо. Дружелюбный и приятный, как старый знакомый из Канады. Ночной ветер со всего мира. Ветер из Гамбурга, ветер из Канады, ветер из Хоупдейла. Прохладный и тихий. Билл Брук расстегнул рубашку. Ветер. Ночной жалобный ветерок из мертвого города. Ночное дыхание десятков тысяч тех, кто спят под развалинами вечным сном. Канадец шел быстро, громко напевая про себя.

Между тем, стемнело настолько, что он на каждом шагу спотыкался о кирпичи, обугленные балки и камни. Но он ни разу не выругался. Ни одного раза. Только пел про себя. Пел громко и весело. Пел, может быть, потому, что не хотел ругаться, когда спотыкался. Может быть, потому, что не хотел думать о тысячах мертвецов. Или потому, что было так темно. Вероятнее всего, именно поэтому, именно потому, что было темно. Он шел быстро и напевал. Перед ним в тусклом зареве огней лежал город. Тот самый проклятый город, в котором один район назывался Биллбрук. Город с серо-зеленым морем и белыми парусами. И тут же, непостижимо близко, тысячи мертвецов в своем собственном мертвом городе. «Сумасшедший, немыслимый город,— думал он.— Немыслимый: живой и в то же время мертвый!» И он быстро шагал, напевая про себя, и радовался тому, что в бледном зареве огней уже видна, осязаема, слышна ночная жизнь этого странного, грустного и заманчивого города. Он шел быстро и громко напевал про себя. А рядом мчалась его тень. Он заметил ее и подумал: «Бог мой, я почти бегу». Он заставил себя несколько замедлить шаг и перестал петь.

Когда он остановился, чтобы разыскать звезду, знакомую звезду из Хоупдейла, и глянул в чернильно-темное небо, кто-то, казалось, окликнул его. Призрачный, потусторонний голос почти неслышно произнес: «Эй, господин Билл Брук, не хотите ли взглянуть сюда? Не угодно ли прочесть новенький, только что повешенный плакат?» Это был басовитый голос покосившейся тумбы для афиш, которая в своем рекламном рвении как будто еще сильнее склонилась к земле. Голая и опустошенная, она, словно призрак, серо-белым пятном мерцала сквозь грязноватый бархат ранней ночи.

Канадец шел быстро. «Угу! Билл Брук! Что вы думаете о телефоне? Небольшой разговорчик с Канадой? А? Что-нибудь вроде: «Предо мной мертвый город! Запах тысяч трупов! Кругом обломки, обломки, обломки! Остатки людей, остатки городов, остатки мироздания!» Не убегайте же, Билл Брук. Э! Ю-ю-ю!..» Широкий, ржаво-красный, с пустыми глазницами окон скелет телефонной будки истерически взмахивал створкой двери, а оборванные провода шевелились на ветру, как змеи.

Канадец шел быстро и пел. Потом заметил, что его тень почти бежит, и заставил себя идти медленнее. Но все же шел еще достаточно быстро. И вот навстречу, хихикая, заковылял разбитый, скрюченный фонарный столб и начал возбужденно: «Гопля! Хелло, Билли, дружище! Посветить тебе? По-домашнему? Я отлично умею светить, мой милый. Но, Билли, остановись же, Билли!»

Канадец шел быстро. И громко пел. Его рубашка была широко распахнута. Перед собой он видел Гамбург, но ему казалось, что он видит Хоупдейл. Он делал огромные шаги, и следом мчалась его тень. Похоже было, что он бежит. Дул прохладный ночной ветерок, и Билл Брук шел навстречу ему с обнаженной грудью и горячим лбом.

Тьма вокруг была как бездна. И эта бездна вдруг извергла два желтых мерцающих, мигающих глаза. Они приближались ему навстречу, становились все больше, злобно сверкали. «Вероятно, автомашина,—сказал он сам себе.— Ну конечно, что же другое? А вдруг нет? Ну конечно же автомашина». И в ту минуту, когда он снова подумал, что это все же

что-то другое, оба мерцающих желтых глаза неожиданно замерли на месте. Раздался скрежет. «Должно быть, тормоза»,— подумал он. Глаза чудовища погасли. Канадец подошел — это была автомашина.

— Черт возьми,— сказал он и усмехнулся. И нашел, что ему совсем незачем идти так быстро. Он пошел медленнее и сейчас только почувствовал, что он совсем мокрый. «Я так бежал. Слишком быстро. Как безумный. Видимо, на меня неприятно подействовал этот мертвый город с его десятками тысяч расплющенных трупов. Наверно, мне было страшно. Пожалуй, в самом деле это был страх. Конечно же страх». И сам себе сознался, что это был страх. Не очень сильный, но страх. «А почему я не должен бояться? Хорошо, что люди не потеряли способности испытывать страх. Иногда это очень неплохо. Те, кто не испытывают страха, становятся боксерами, их нос и души изуродованы, расплющены, обезображены. Им уже некого бояться. Бедные боксеры. Плохо им, если даже десятки тысяч трупов не вызывают у них страха. И таких боксеров еще слишком много. А я испытывал страх перед тысячами размозженных голов, расплющенных тел. Но теперь вокруг меня появились дома. Со светлыми теплыми окнами и круглоголовыми живыми людьми». Билл Брук остановился и вздохнул глубоко, с наслаждением, будто до этого он долго вообще не дышал. И ночной ветерок, который все время обвевал его, как дыхание мертвецов, стал близким и теплым, напоминая дыхание большого верного животного. Животное это звали — Гамбург. От его дыхания веяло комнатными цветами, свежеполитыми клумбами, ужином, распахнутыми настежь окнами и людьми. Веяло теплом и жизнью, как от дыхания коров или лошадей вечером в стойле.

На одном углу даже сидела собака, помесь таксы с терьером, хвост у нее энергично двигался то вправо, то влево, подметая каменные плиты тротуара. Когда канадец дошел до угла, он увидел и причину собачьего восторга. Девочка лет тринадцати играла в мяч. Она бросала его из-за спины в стену, а когда он отскакивал — принимала его на грудь. В вечернем полумраке мяч, вероятно, казался собаке каким-то таинственным мечущимся зверем. Он легко и звонко прыгал между стеной и грудью девочки. И в такт ему двигался также хвост у собаки: стена—грудь, стена—грудь.

«Хорошо,— подумал человек, пришедший из мертвого города.— Хорошо! Но лет через пять она больше не сможет так играть. Грудь мешать будет. Тогда ей минет уже восемнадцать. Или двадцать».

Он громко рассмеялся над своими мыслями и широким уверенным шагом направился дальше, в город живых.

Час спустя, когда Билл Брук стоял в ванной и обливался холодной водой, пришел маленький брюнет, уперся руками в косяк двери и резким голосом крикнул:

— Ого, старина! Ты что, бродил по болоту и поэтому сразу побежал умываться? Или грязная любовная интрижка, а, старина? А может, тебя в твоем собственном районе забросали грязью, а?— И захлебнулся смехом. Билл Брук швырнул в его сторону кусок мыла и огрызнулся:

— Нет, просто небольшая прогулка в мертвый город. Один раунд бокса с десятком тысяч покойников. И все без ног. Подумай, все одноногие!

Брюнет разразился жестяным смешком, вытаращил глаза и глупо раскрыл рот.

— Ах вот оно что, ты просто хлебнул лишнего,— и, успокоенный, позевывая, исчез в соседней комнате. Вскоре послышался дружный мужской храп обоих приятелей.

Тогда Билл Брук подошел к столу и прикрыл лампу листом бумаги, чтобы не разбудить спящих. Потом сел, пододвинул чистый лист и уставился на лампу. Ему хотелось написать о Биллбруке, о городском районе Биллбрук, о телефонной будке, столбе и тумбе. Ему хотелось написать о рыболовах с тремя ногами, о сигаретах в воде и о серовато-зеленой, запыленной травке. Написать о пальцах мертвецов, о разрушенном городе с его тысячами раздавленных жителей. Он хотел написать о мертвом городе и о девочке с мячом... Обо всем этом хотел написать он туда, домой, им, в Канаду. Хотел... и не написал ни слова. Ни слова о мертвом городе. Он сидел и писал только о Хоупдейле. О ветрах в Хоупдейле, о гавани в Хоупдейле, об океане в Хоупдейле. И затем долго смотрел на лампу.

А потом приписал к своему письму следующую фразу: «Мне кажется, не так это страшно, что обе коровы издохли». Это он приписал. И еще: «Нет, вовсе это не так уж страшно». Он смочил конверт слюной и добавил: «Действительно, не так уж страшно то, что произошло с этими коровами».

Потом встал, выключил свет и подошел к окну. В ночной темноте мерцали звезды. Небо было бездонно черным и равнодушно далеким. Вдруг зазвенели стекла. Снаружи по улице шла колонна больших тяжелых грузовиков. Сквозь ночной туман желтым светом поблескивали их фары, моторы ревели, как стадо разъяренных слонов. Негромко и тревожно дребезжали стекла.

— Хорошо. Хорошо!— прошептал канадец и разгоряченным лбом прижался к холодному стеклу.— Хорошо, что здесь так много жизни. Здесь... и в Хоупдейле.

И тихо отошел от окна. Таинственно и взволнованно звенели оконные стекла.

Митчел Уилсон

Встреча на далеком меридиане

РОМАН

Перевод с английского И. Гуровой, Н. Дехтеревой, Н. Треневой

4

Сидя на кровати, Ник снял галстук и начал расстегивать рубашку, как вдруг зазвонил телефон. Он взял трубку, продолжая расстегивать пуговицы,— он был уверен, что звонит Горчаков насчет завтрашней поездки в Дубну,— и, когда в трубке послышался мучительно знакомый теплый голос, он не сразу узнал его и только через несколько мгновений, вздрогнув от неожиданности, понял, кто это.

— Анни? — не веря себе, спросил он.

— Ну конечно! — засмеялась она, немного смущенная тем, что он ее не узнал.— Я прилетела в Москву сегодня около девяти вечера и с тех пор звоню тебе каждые полчаса. Ник, нам необходимо поговорить до твоего отъезда! Прошу тебя!

Все эти долгие недели, пока ее не было, он, не желая в том признаваться даже самому себе, носил в душе горькую обиду, но потом постепенно смирился; теперь же, когда Анни снова была здесь, хоть и не рядом, вся его злость вспыхнула с прежней силой.

— Прошу тебя, Ник,— повторила она.— Когда ты уезжаешь?

— Уезжаю? Куда? — спросил он, не сразу поняв, о чем она: ведь с тех пор, как она уехала с Хэншелом, столько произошло; когда он сообразил, что она имеет в виду, ему захотелось грубо выругать ее, но он сказал только: — Сейчас я жду, разрешат ли мне лететь на Кавказ и работать там.

Невозможно было не заметить отчужденности в его голосе. Он сам это почувствовал, но другим тоном говорить с Анни не мог, а притворяться не было смысла. Ему нечего сказать ей, не в чем оправдываться. Он решил не вступать в объяснения, но не успел подумать об этом, как тотчас же какие-то затаенные чувства взяли в нем верх и у него стремительно вырвались негодующие слова:

— Почему ты мне не писала? Почему не позвонила? За все время от тебя — ни слова! Ни единого слова!

— Ник, дорогой, пожалуйста, поверь мне, я чуть не сошла с ума, стараясь прийти к какому-то решению,— тихим покаянным голосом от-

---

В этом номере мы печатаем окончание романа Митчела Уилсона «Встреча на далеком меридиане». В № 1 нашего журнала редакция, высказав в коротком примечании свое отношение к новому роману Митчела Уилсона, обещала читателям поместить разбор этого произведения, после того как оно будет напечатано полностью.

В следующем номере мы осуществим свое обещание.

вечала она на его атаку.— Ах, не сердись на меня, Ник! Пожалуйста! Я писала тебе письма и сразу же их рвала. Я заказывала разговор с тобой и отменяла прежде, чем меня успевали соединить. Но что бы я ни собиралась сказать, мне нужно было сказать тебе это лично, до твоего отъезда, поэтому я и вернулась. Если сейчас для тебя не очень поздно, может, ты приедешь ко мне?..

Месяц назад он помчался бы к ней даже за час до рассвета, но теперь злость встала стеной между ним и его готовностью откликнуться на ее зов. Он был в таком смятении, что не мог выговорить ни слова.

— ...или у тебя на утро назначено какое-нибудь дело? — продолжала Анни, чтобы нарушить молчание, которое, впрочем, было неполным, потому что в трубке переговаривались отдаленные голоса, проникшие из соседних линий городской телефонной сети. Их неясное бормотанье покрывал тоненький голос, который, казалось, принадлежал взволнованному человечку ростом в дюйм. Он, как игрушка, пищал по-русски: «Ты мне не говори! Я знаю, что я ей сказал! Я знаю, что я ей сказал!»

— Рано утром я уезжаю в Дубну,— произнес наконец Ник.

— Понимаю,— ответила она и помолчала, а в это время маленький человечек где-то пронзительно пропищал: «Хоть он мне и брат, а все равно сукин сын!»

— Тогда, если хочешь, я сейчас приеду к тебе,— сказала Анни.

— Нет,— резко бросил Ник, но тут же смягчился: — Я приеду к тебе. Еще не поздно. Буду через полчаса.

Но его резкий отказ и холодный тон сделали свое дело, и Анни со спокойным достоинством, без всякого, впрочем, упрека и так же ласково сказала:

— Будет гораздо лучше, если мы отложим это до завтра. Я не посмотрела на часы. До завтра, Ник.

— Я приеду,— настаивал он.— Еще совсем не поздно.

— Нет, поздно, и станет совсем уж поздно, если мы начнем разговаривать. Нет,— продолжала она,— тебе нельзя ехать туда, не выспавшись. Ты должен быть в форме. Приходи завтра вечером, когда вернешься в Москву.

— Но я не знаю, когда я вернусь.

— Это безразлично,— сказала Анни, и Ник почувствовал, что ее теперь не уговоришь.— Я буду ждать. И, пожалуйста, не сердись на меня.

Он положил трубку с тревожным ощущением, что, выиграв одно очко, потерял неизмеримо больше.

Он думал о ней всю дорогу до Дубны, сам не зная, рад он ее возвращению в Москву или нет. За время ее отсутствия жизнь его пошла по иному руслу и переплелась с жизнью других людей.

В Дубне Ника встретили сердечно, но по-деловому, и он почувствовал облегчение оттого, что может говорить о физике без всякой личной подоплеки, чего давно уже не бывало у него с Горчаковым. Здесь жалели лишь о том, что он так скоро уезжает, но тем более торопились повести его в лаборатории, познакомить с научными сотрудниками и показать, чем они занимаются. Нику и самому не терпелось начать — так не терпелось, что он только через некоторое время заметил, что кроме сердечности здесь было и нечто другое, проявлявшееся в быстрых испытующих и любопытных взглядах, которые он ловил на себе, в случайно перехваченных им полуулыбках, которыми обменивались окружающие, в затаенных вопросах, которые как бы носились в воздухе, но так и не были высказаны. У него появилось то же чувство, что и в день его рождения, у Горчакова: как будто перед самым его приездом о нем суда-

чили, только здесь все это было как-то мрачнее, а почему — Ник не мог определить.

Руководители в этом не участвовали — они были безупречно корректны. Их интересовало прежде всего впечатление Ника от всего виденного и также возникавшие у него вопросы, но он безошибочно чувствовал, что эта странная атмосфера окружает его и в циклотронных лабораториях, где ему показали пятнадцать различных экспериментов, проводимых одновременно, и в огромном, похожем на просторную пещеру здании в дальнем конце участка, где шли последние работы по монтажу синхрофазотрона. Ник ощущал это, спускаясь и подымаясь по ажурным железным лесенкам и галерейкам, перекрещивающимся в полумраке высоко над плоским гигантским полым кольцом из стали, латуни, меди и стекла, которое должно было создавать частицы с энергией в десять миллиардов электронных вольт.

К трем часам, когда Ника пригласили к обеду и он сел во главе длинного стола среди местных руководителей и приезжих советских ученых, он уже еле справлялся с острым ощущением неловкости, хотя обстановка была очень комфортабельна — в чистой столовой было много воздуха и света из длинного ряда окон, светлое дерево и синий плюш с бахромой, сверкающие приборы, безупречно белые салфетки в синих граненых бокалах. За столом шел разговор, который на первый взгляд мог показаться непринужденным, он как будто бесцельно перескакивал от ядерных реакций к охоте на крупного зверя в Арктике, от альпинизма к музыке и снова к физике, пока наконец Нику не задали прямой вопрос. И тогда он тотчас же понял, что вся эта беседа была ничем иным, как хорошо замаскированной словесной борьбой между теми, кому хотелось задать этот вопрос сразу же, и теми, кто с неменьшей решимостью удерживал их, считая, что гостя не следует ставить в неловкое положение. Но все эти дипломатические ухищрения оказались напрасными: человек, так ловко задавший этот вопрос, был в Дубне таким же гостем, как и Ник, а о важности его вопроса Ник догадался по тому, как внезапно стих разговор за столом.

— Скажите, верно ли, будто вам удалось доказать, что Дмитрий Петрович ошибся на несколько порядков?

В тоне, каким он произнес имя Горчакова, несмотря на кажущуюся небрежность, мелькнуло насмешливое удовлетворение и даже скрытое злорадство. Ник бросил на него острый взгляд, стараясь вспомнить фамилию этого человека с лицом аскета. Его поразила жадность, с какою этот человек ждал подтверждения своих слов,— жадность настолько неприкрытая, что хотелось невольно отказать ему в этом удовольствии.

— Нет, это не совсем верно,— осторожно сказал Ник, борясь с собственными чувствами, чтобы сохранить хотя бы подобие объективности.— Есть некоторые сомнения в правильности устройства его прибора, но и основательность этих сомнений еще нужно доказать.

— Вы чрезвычайно снисходительны к Горчакову,— возразил его собеседник по-английски. Его изысканная ирония обратилась теперь и на Ника.— Однако я слышал, что дело куда серьезнее.

Ник оглядел сидящих за столом. Сейчас было ясно видно, кто к какой группе принадлежит: одни улыбались, другие сидели с каменными лицами. Ник не знал, по какому поводу произошел раскол или в чем именно заинтересованы те и другие и даже он сам, но с каждой секундой у него оставалось все меньше сомнений относительно того, куда инстинктивно влекут его собственные симпатии. Он повертел в пальцах стоявший перед ним бокал, стараясь побороть свою предубежденность. В душе он не сомневался, что Горчаков неправ, решительно неправ, и

все же, что бы там ни случилось, как бы он его ни раздражал и ни злил, он не может иначе: что-то заставляет его взять сторону Горчакова, а взять его сторону — значит выступить против человека, который старается показать, что он союзник Ника.

Все это касалось чего-то гораздо большего, чем безличные числа, которые в конце концов определяются людьми, большего, чем научная обоснованность, которая в конце концов меняется со временем,— это касалось живых людей, человеческих взаимоотношений, и Ник вдруг столкнулся лицом к лицу с тем фактом, что по-человечески Горчаков ему ближе, ставит он его выше и дружба с ним для него дороже, чем поддержка его соседа по столу.

— Цифры Горчакова, быть может, потребуют пересмотра,— уступил Ник, но больше никаких уступок делать был не намерен.— Вполне вероятно, что питающее напряжение у него немножко велико.

— А если велико, то придется произвести перерасчет?

— Возможно.

— И он приведет к совпадению его результатов с вашими?

— Возможно,— сухо ответил Ник.

— И это означает, что опубликованные им цифры чересчур малы?

— Возможно,— повторил Ник.

— Иначе говоря, они неверны, так ведь?

— Нет, не так,— с той же невозмутимостью сказал Ник, и это вызвало общий смех.

— Вы хотите сказать, что хоть он очевидно ошибается, но тем не менее прав? — бросился в атаку еще один человек.— Любопытная двойственность!

— Эффект Горчакова,— засмеялся кто-то.

Ник выждал, пока веселье уляжется само собой. Он понимал, что логически он неправ, ну и пусть. Он занял такую позицию намеренно, почти из озорства, но теперь он знал, что по какому-то большому счету он прав, и поэтому был уверен в себе.

— Я хотел сказать совсем другое,— начал он.— Незачем доказывать, что любой эксперимент — это нечто гораздо большее, чем численный результат.

— Согласен,— сказал человек, задавший ему тот, первый, вопрос. На его тонком лице было выражение ленивого добродушия, но глаза смотрели настороженно.

— Самое главное — общая идея. Только она может быть верной или ошибочной, а идея Горчакова правильна.

— Тоже согласен, но ведь это только первый шаг.

— Хорошо, второй шаг — это осуществление идеи на практике посредством прибора. Тут тоже можно пойти верным или неверным путем. А Горчаков подошел к этому по существу правильно.

— Ах, *по существу?* — усмехнулся его собеседник.— *«По существу»* очень похоже на «совершенно», но между этими понятиями есть значительная разница, не правда ли?

— Да, правда,— согласился Ник, сохраняя прежнюю невозмутимость.— Возможно, он ошибся в уровне питающего напряжения, но эта ошибка поправима. Таким образом, третий шаг — истолкование данных, полученных с помощью прибора,— тоже вполне поправим. Я хочу сказать, что это тот случай, когда результаты огромной работы, быть может, потребуют проверки, но нет никаких оснований зачеркивать всю эту огромную работу.

— Но позвольте, вы же в конце концов соглашаетесь со мною! — сказал человек.— С большим тактом, конечно, с большой добротой и,

простите, весьма уклончиво. Но что неправильно, то неправильно. Видите ли, по здешнему обычаю мы очень ценим прямоту.— Лицо его стало жестким: Он и в самом деле ненавидел Горчакова, а теперь стал ненавидеть и Ника.— Дипломатические тонкости — это очень мило, но в данном случае бессмысленно. Разрешите мне сказать вам напрямик: Горчаков в течение двух с половиной лет ставил себя и всех, кто с ним связан, в дурацкое положение! Будь я на вашем месте, я бы честно признался, что в восторге от одержанной победы. Со своей стороны, поздравляю вас с такой безупречной работой.

— Спасибо,— сказал Ник,— но если бы вы были на моем месте, вы бы гораздо яснее представляли себе трудности, связанные с такого рода работой, и я первый готов подтвердить, как ценна работа Горчакова, потому что я прочесал частым гребнем все, что он сделал.

Люди, выслушавшие нападки на Горчакова с каменным видом, теперь глядели на Ника дружелюбно и даже, кажется, с благодарностью, но человек, который задал ему первый вопрос, остался непоколебим. Он стремился свести счеты с Горчаковым и ухватился за этот научный вопрос, как за палку, которой можно ударить его, а так как Ник этой палки ему не дал, он весь оледенел от презрения и злости.

— Если вы такой поклонник Дмитрия Петровича, почему бы вам не отречься от ваших результатов и не предоставить ему поле действия целиком?

— Я слишком большой его поклонник, чтобы пойти на это,— возразил Ник.— Я верю, что в конце концов он заинтересован в правильном ответе несравненно больше, чем в своей репутации. Видите ли,— продолжал он,— я не согласен с вами, что «правильное правильно», а «неправильное неправильно», если вы хотите этим сказать, что существует какая-то абсолютная правота или абсолютная неправота. Во всей природе ничего подобного не существует. Человекоубийство является злом, однако законы допускают оправданное убийство. Брак заключается на всю жизнь, однако законы допускают развод. Разве в науке бывает что-либо неизменное? Числа существуют лишь потому, что мы условились считать, что один и один будет равняться двум. Физические константы? Еще когда нас с вами не было на свете, физики измерили заряд электрона. Эти измерения повторялись миллион раз, и ответ получался всегда один и тот же. Но верен ли он? Число верное, это правда, но мы до сих пор не знаем, что оно означает, потому что не знаем природы электрического заряда, как не знаем даже, что такое электроны. Так что если числа и неизменны, то значение того, что они собою выражают, подвержено бесконечным изменениям. И никогда ни один человек не обладал монополией на правоту или неправоту. У Ньютона были блестящие прозрения в динамике, но он ошибался относительно природы света. Максвелл блестяще определил природу света и заблуждался относительно свойств материи. Кто может быть судьей других? Беря от человека то, в чем он прав, мы должны мириться с тем, что в чем-то ином он неправ.

— Диалектика, хотя бы и в искаженном виде, для нас не новость,— последовал усталый ответ.— Тем не менее, если не существует правильного и неправильного, вы скованы по рукам и ногам. Разве можно тогда вообще совершать какие-либо действия?

— Разумеется, можно,— сказал Ник.— Но если вы действуете только по принципу абсолютной правоты или абсолютной неправоты, то вы действуете по догме. Сначала нужно получить возможно более полные сведения по интересующему вас вопросу, потом действовать, но всегда при этом помнить, что сведения ваши могут быть далеко не полными и

даже ошибочными и что ваша деятельность всегда будет оцениваться заново. Это единственная точка зрения, которая позволяет человеческую ошибку рассматривать как нечто естественное, а не как умышленное преступление или злодейство. Самый важный урок, который следует извлечь из истории, заключается в том, что человек неизбежно ошибается; второй урок — то, что нет способа искоренить в человеке склонность к ошибкам, и нельзя даже пытаться ее искоренить, так как это угрожает обеднить род человеческий, потому что сегодняшняя ошибка завтра может стать истиной. Я утверждаю, что творческим человеком, пусть даже глубоко ошибающимся, нужно дорожить больше, чем абстрактными понятиями о правильном и неправильном. И вот, вместо того чтобы уступить поле действия Горчакову, я надеюсь встретиться с ним на этом поле и вместе довести работу до конца.

Ник встал, стараясь скрыть раздражение. Меньше всего на свете он ожидал, что станет защищать работу Горчакова, и, однако, именно это делал, хотя, быть может, и с тайной злостью, потому что для него, как для человека и ученого, нет и не будет никакого выхода, пока не найдется решение этой проклятой проблемы.

— Боюсь, мне пора отправляться в Москву,— сказал он, обводя глазами стол.— Может быть, я могу кого-нибудь подвезти?

Приглашение это не относилось ни к кому в отдельности, и никто на него не откликнулся. До самого своего отъезда он чувствовал в хозяевах некоторую напряженность и виноватое смущение, но это его уже нисколько не трогало. Он знал теперь, как он относится к Горчакову,— он не может оставить его в беде, что бы между ними ни произошло.

Он вошел к Анни, все еще находясь под впечатлением этого спора, но едва он ее увидел, как обуревавшая его злость мгновенно улетучилась. Анни стояла, прислонившись к двери, которую закрыла за ним. Это была все та же прежняя Анни, но на ней лежал какой-то новый, неуловимый отсвет, точно она только что вышла из ярко освещенных комнат. Внутренняя перемена была заметна тоже, он видел ее в округленных глазах, чуть грустно оценивающих его по каким-то новым мерилам, о которых он даже не догадывался.

Анни опустила взгляд и жестом пригласила Ника к столу, где стояла закуска.

Они поболтали о своей работе, о том, что они делали в прошедшие недели, как о вещах, довольно занятных, но не имеющих никакого значения. Анни, казалось, ничего от него не ждала, ни в чем его не винила, он украдкой посматривал на нее, смущенный и озадаченный какой-то неуловимой переменой, чувствовавшейся под ее внешним спокойствием. Наконец прохладная сдержанность, с какою они беседовали, превратилась в сплошное притворство, Нику становилось тягостно выдерживать этот тон, и он взбунтовался. Бурные чувства искали выхода, и наконец он резко спросил:

— Анни, почему все-таки ты уехала?

Анни быстро взглянула на него, она все время чувствовала его настроение и не удивилась этой вспышке.

— Знаешь, почему я уехала? — сказала она, совсем как прежняя Анни.

— Знаю только то, что ты мне говорила,— отпарировал он.— Ты старалась объяснить мне, что тебя тревожит и чего ты боишься, но потом не написала ни слова и ни разу не позвонила. Ты исчезла, как дым.

— Я же тебе говорила,— беспомощно сказала она.— Я не знала, что сказать.

— Написала бы хоть об этом! — бросил он.— О чем угодно. О погоде. Лишь бы я знал, что ты жива.

— Но я не могла так,— твердо возразила она.— О том, что со мной происходит, я не могла писать мимоходом. Я была не в состоянии описывать спальню Наполеона в Шенбрунне, когда меня переполняло совсем другое. Мне казалось, что это будет жестокой ложью.

— А совсем не писать — это не жестоко? Разве ты не получала моих писем? Разве Леонард не говорил тебе, что я звонил?

— Ник, пойми, я была в таком ужасе! Я не могла вынести мысли, что потеряю тебя, я и убежала, чтобы порвать все, пока до этого не дошло.

— Почему же ты *этого* не написала, чтобы я хоть знал, в чем дело?

— Бог свидетель, я пыталась! Я пыталась двадцать раз, но то, что я говорила в одной фразе, я сама же опровергала в другой. И если доводила письмо до конца, то не могла заставить себя послать его. Наконец я поняла, что это еще хуже, еще больнее для нас обоих, чем все, чего я так старалась избежать. И как только я это поняла, то на первом же самолете прилетела сюда. Я не успела даже написать. Разве тебе этого мало?

Несколько недель назад этого было бы вполне достаточно, но сейчас все было иначе, а притворяться он не мог. Слишком много накопилось такого, что случалось помимо его воли, но угнетало его все это время, а в общем если отбросить все слова и рассматривать только поступки, то оказывается, что дело-то довольно просто.

— Да? — спросила она.— Почему же?

— Ты уехала с Хэншелом. Хочешь, чтобы я объяснил это еще проще?

Недоверчиво и возмущенно она вскинула голову.

— О, Ник, что ты! Я поехала в Вену работать. Что бы во мне ни творилось, я работала. Ты мне не веришь?

— Не знаю. Должно быть, верю. Но нельзя же входить в мою жизнь и выходить, когда вздумается, Анни. Я не хочу этого. Я не могу так!

— Ник, я тогда совсем запуталась! Теперь я вижу, как глупо было бежать от тебя из одной только боязни, что все может обернуться хуже. Мне даже трудно понять, что на меня тогда нашло. Я и сейчас боюсь того, что может случиться с нами, но не так, как тогда. Сейчас это мне кажется просто одной из многих вероятностей. В худшем случае я буду очень страдать. Но я смогу пережить это. Теперь я знаю.

Ник молчал, изнемогая от внутренней борьбы.

— Ну скажи что-нибудь! — взмолилась она.

— Должно быть, сейчас со мной то же самое, что с тобой было в Вене,— медленно сказал он.— Я не знаю, что сказать, поэтому не говорю ничего.

— Ты все еще сердишься на меня?

— Не знаю.— Он накрыл ладонью ее руки, которые она, сцепив, положила на стол, и невольно сжал их — такими они оказались знакомыми и милыми.— Думаю, что вообще не могу на тебя по-настоящему сердиться, Анни.

— Но ты такой чужой, такой далекий, Ник! Ты все-таки сердишься.

— Конечно, сержусь. Ветер и то не стихает сразу. Я вспоминаю, как я мчался во Внуково в ту ночь, когда ты улетела. Я опоздал на несколько минут.

— Ведь я тебя видела. И это решило все.

— Ты видела меня? — Он быстро взглянул ей в лицо. То была одна из самых одиноких ночей в его жизни; стоило только вспомнить эту ночь,

как на него снова наваливалась гнетущая тоска.— Ты в самом деле меня видела?

— Я сидела с другой стороны и, когда самолет развернулся и пошел на взлетную дорожку, увидела тебя в темноте на фоне освещенного вокзала. Я увидела очень высокого человека, который разговаривал с диспетчером, и поняла, что это — ты. Именно ты, и никто другой. И тут мне стало ясно, что я делаю ошибку. Если бы я могла остановить самолет, я бы остановила. Но это было невозможно. То была одна из самых ужасных ночей в моей жизни.

Ник покачал головой. Он и сам недоумевал, почему он не в силах простить и не хочет крепко прижать ее к себе. Быть может, щедрый порыв Вали так потряс его, что осторожность и недоверие Анни вызывали в нем невольное раздражение. Он взглянул на Анни через стол, и в нем шевельнулось такое теплое чувство, что он не мог выразить его в словах, но злость сковывала это чувство и не давала вырваться наружу. Анни принесла ему дар, о котором он когда-то так страстно мечтал. Но у него не было сил принять его. Она, несомненно, стала другой, но с беспомощным сожалением и грустью он понял, что это случилось либо слишком поздно, либо слишком рано.

— Что толку говорить об этом? — устало произнес он.— Я уже не знаю, кто был прав, ты или я. Сейчас для меня важно одно — узнать, смогу ли я улететь на Кавказ и закончить работу, ради которой я приехал. И сейчас только это меня и волнует. А все остальное стало слишком сложным — надо просто немного подождать. У меня такое ощущение, что я уже близок к тому, из-за чего я приехал, и теперь я во всяком случае не намерен соглашаться на меньшее. Ни в чем.

Она опустила глаза, разглядывая свои руки, и, несмотря на злость, он вдруг с тоскливой жадностью подумал, что она прелестная женщина, удивительная женщина.

— Что ж, ладно. Я постараюсь задержаться в Москве до твоего возвращения,— медленно сказала она и стала обводить донышком бокала узоры на скатерти.— Но потом, что бы мы ни решили, я уеду.

— Опять в Вену? — резко спросил он, сразу насторожившись.

— Нет,— ответила она спокойно.— Я теперь готова вернуться на родину. Многое в моей жизни уладилось само собой.

Он возвратился в гостиницу в половине второго ночи и, поднимаясь в лифте, переполненном несмотря на поздний час, думал о Горчакове. Если после всего, что он сегодня говорил в Дубне в защиту Горчакова, после всего, что он сказал Анни, он узнает, что ему отказано в поездке, то будет чувствовать себя последним глупцом. Никогда он этого не простит.

Дежурная по этажу подняла глаза, когда он проходил мимо, и протянула ему листок бумаги — телефонограмму, записанную размашистым почерком по-русски: «Разрешение получено. Вылетаем завтра в девять утра. Горчаков».

Глава одиннадцатая

1

Ночью невидимая ледяная коса со свистом прошлась над городом, вздымая за собой ветер, в котором стыло тусклое октябрьское утро. Вдоль дороги к аэропорту плясали и извивались на ветру сухие стебли травы, бурые листья кружились вокруг бегущего такси, как летучие

мыши. Горчаков заехал за Ником в гостиницу, и сейчас они оба сидели в машине молча.

— Что слышно о вашем помощнике? — спросил наконец Ник.

— Пока ничего утешительного,— кратко ответил Горчаков.— Подробности узнаем на месте.

Следующие три часа они сидели рядом в монотонно гудящем самолете, а под ними проплывали города, реки и тысячемильные зеленые равнины. Горчаков был молчалив. Ник добился разрешения на поездку, но не его расположения. Они сидели, как незнакомые люди, случайно очутившиеся рядом, а вокруг них русские пассажиры постепенно превращали самолет в своего рода неофициальный клуб, и вскоре уже невозможно было догадаться, кого с кем связывала давняя дружба, а кто с кем познакомился только в пути.

Молодой летчик-грузин — образец смертоносной для женщин стройной мужественности — терпеливо, хоть и со скукой в пронзительных черных глазах, выслушивал нескончаемые сетования сидевшей рядом жены, тонкогубой, завитой барашком русской блондинки, которая держала на коленях ребенка. Малыш потянулся к отцу, тот взглянул на сынишку с веселой нежностью и вдруг, немного стесняясь своего порыва, горячо прижал его к себе и зарылся ястребиным лицом в детскую шейку, бормоча что-то по-грузински.

Это зрелище вызвало у Ника странную щемящую тоску: любящий отец шепчет нежные слова на ушко ребенку, который воспринимает их только как поток ласковых звуков. Сам не зная почему, Ник резко отвел глаза и нахмурился от приступа внезапной и необъяснимой грусти. Вскоре он заснул.

Проснувшись, он увидел внизу Тбилиси, большой, белый, залитый солнцем город, окруженный невысокими зелеными горами. Самолет проскользнул меж ними, идя на посадку; далеко над синеватым туманом, сплошь застилавшим горную цепь, неясно белели снеговые шапки вершин.

Ник глядел на снеговые вершины, сойдя на посадочную площадку, где было по-летнему жарко. Горчаков, вышедший вслед за ним, тоже взглянул на горы и сердито нахмурился.

— Проклятый снег,— пробормотал он по-русски.— Рано он выпадет в этом году.

На аэродроме их встретили два человека, одетые по-летнему без пиджаков,— коренастый седеющий мужчина с морщинистым умным лицом, мускулистыми руками и с авиационным хронометром на запястье и худощавый грузин, у которого густая черная шевелюра начиналась почти от самых бровей. Это были физики с горной станции. Русский сказал, что они прилетели на маленьком самолете с базы в Канаури.

— Если поторопимся, успеем вернуться туда, пока не испортилась погода.

До Канаури, маленького городка с населением в несколько тысяч жителей, расположенного у самого подножия горы, можно было добраться за час на миниатюрном зеленом самолетике, прикорнувшем в конце летного поля, либо за восемь часов — на машине по петляющей горной дороге.

Ник мельком подумал, что следовало бы послать отсюда Анни телеграмму о благополучном прибытии, но ему пришлось отказаться от этой мысли, так как Горчаков сказал:

— Ну что ж, давайте поторопимся.

Все четверо быстро направились на другой конец поля. Припекало солнце, и в московских пальто было жарко.

— Что они говорят о вашем помощнике? — спросил Ник.

— Он в больнице,— возмущенно сказал Горчаков, и Ник понял, что опять ошибся: очевидно, не из-за него был так угнетен Горчаков, а из-за Когана. На душе у него стало легче.— Коган сделал все, чего не должен был делать. Он вздумал спуститься с горы на лыжах, один, и вдобавок ночью. Конечно, заблудился, упал с обрыва, сломал лыжу, и в результате —перелом ноги, ну и пролежал на снегу четырнадцать часов, пока его не нашли, причем он клял свою злополучную судьбу за то, что у него разбились очки! Такого сочетания везения, невезения, глупости, блестящего ума, осторожности и легкомыслия не найдешь ни у кого на свете! Мы его держим из благоговейного любопытства, понимаете, а что еще стрясется с нашим Шурой? Но боюсь, на этот раз дело серьезно. Перелом не простой. Коган наткнулся на пень, и нога его в плохом состоянии. Кожа и артерия порваны. Я не знаю медицинских терминов по-английски.

— Сложный перелом?

— Именно, и поэтому есть угроза...— Он резко рубанул рукой воздух, и этот жест объяснил, что он хотел сказать.— Это будет ужасно для такого человека, как Шура.

— А где те, кого послали из Москвы?

— Некоторые уже добрались до станции. Остальные внизу, на базе.

Ник надеялся, что Валю задержат на базе. Так будет спокойнее.

В беспощадном солнечном свете ожидавший их маленький одномоторный биплан казался каким-то хлипким и ненадежным. В нем едва хватало места на четверых, но так как остальные залезали в него как ни в чем не бывало, то Ник последовал за ними и, подогнув ноги, кое-как уселся. Ему было стыдно сознаться в своих опасениях. Он пытался закрыть дверцу, но она упрямо отскакивала и распахивалась настежь, пока летчик, перегнувшись через Ника, не захлопнул ее с такой силой, что было удивительно, как она осталась цела, и не прикрепил ее, накинув на ручку веревочную петлю. В кабине пахло бензином. Было жарко и душно.

Пропеллер завертелся, мотор закашлял и умолк, снова закашлял, стал фыркать и наконец заработал. Кабина затряслась. Крылья вздрогнули, и легкая машина медленно покатилась вперед на маленьких колесах, подпрыгивая на каждой кочке и выбоине. Ник мысленно распростился с жизнью. Только взглянув в боковое окошко у своего локтя, он догадался, что они поднялись в воздух,— тень жужжащего самолета бежала по земле отдельно, переламываясь на ямах и ухабах и все больше отставая. Ник откинулся назад и постепенно успокоился. Раз это самый быстрый способ добраться до места, то все остальное уже неважно.

Через некоторое время он понял, почему их предупреждали о погоде: когда самолет, который вертикальные воздушные потоки бросали то вверх, то вниз, летел над холмами, а затем над горами, Ник увидел на юге грозную стену серых туч, вздымавшихся так высоко, что скалы и остроконечные вершины на горизонте по сравнению с ней казались карликовыми, хотя самые горы все так же подавляли своей мрачной массивностью.

Сзади что-то кричали друг другу Горчаков и грузин Геловани, но за мерным тарахтением мотора нельзя было разобрать ни слова, потом Горчаков энергично постучал по плечу Ника и сунул мимо его уха наполовину опорожненную коробку шоколадных конфет. Была ли это попытка пойти на мировую или просто вежливость?

Через двадцать минут самолет, покачиваясь и ныряя, достиг первой гряды гор, вершины их, зеленые, обрывистые, с торчащими острыми ска-

лами, были всего в нескольких сотнях футов внизу, а альтиметр показывал пять тысяч футов. И почти в три раза выше были маячившие впереди главные горные пики, белые и обманчиво мягкие, только длинные, испещренные прожилками гребни говорили о том, что под снегом — голый гранит. Коренастый русский летчик то и дело бросал в рот шоколадные драже.

— Мы полетим над ними? — спросил Ник.

Летчик помотал головой и сделал рукой волнообразное движение.

— Через,— лаконично ответил он.

Потом горы обступили их сплошной массой и закрыли гневные тучи на южном краю неба, хотя альтиметр показывал тринадцать тысяч футов. Далеко внизу виднелись зеленые ущелья, горные потоки и петляющая дорога, которую пересекало стадо коров. В кабине стоял пронизывающий холод, и оба физика, летевшие в одних рубашках, натянули толстые кожаные куртки.

Самолет с тарахтением пролетал по извилистым ущельям.

Ника стало угнетать ощущение стиснутости, и не только потому, что в кабине было тесно, но и потому, что вокруг отвесно вздымались снеговые горы и казалось, будто самолет летит в туннеле. Вдали уже не сияли освещенные солнцем вершины, потому что стена облаков подымалась навстречу самолету все выше и выше. А ведь высота некоторых вершин была больше пятнадцати тысяч футов. Ник становился все более задумчивым. Должно быть, трудно приходится тем, кто работают там, наверху.

Наконец самолет вышел из узкого прохода, и внизу открылось туманно-зеленое плато в несколько миль длиною, отгороженное от мира кольцом белых горных вершин. Самолет круто повернул к востоку. Горчаков ткнул Ника в плечо, указывая вперед.

— Вот она! — крикнул он.

Для Ника снежные вершины ничем не отличались одна от другой.

— Которая? — прокричал он в ответ.

Горчаков поднял два пальца.

— Та, что с раздвоенной вершиной!

Он что-то добавил, но слова его потонули в шуме. Ник приложил к ушам ладони, показывая, что не слышит.

— Седло! — снова заорал Горчаков.— Грузины называют ее Седлом.

Ник оглядел гору, на которую указывал Горчаков. Ее величественная двойная вершина была отчетливо видна, но высота ее, вероятно, была около шестнадцати тысяч футов, то есть вдвое больше той высоты, на которой они сейчас летели. Казалось невероятным, что там решится его судьба. Это так не похоже на ту, уже привычную для него пустыню. Он вздрогнул от какого-то дурного предчувствия, глядя на мрачную вершину, белую и массивную на фоне грозных туч, которые клубились над нею и за нею, а вскоре закрыли ее совсем и стали сползать все ниже и ниже, нависая уже прямо над самолетом.

Ник медленно огляделся вокруг, потом заглянул вниз и увидел маленький городок посреди зеленого пространства. Самолет шел на посадку, стремительно убегая от туч, старавшихся обступить его со всех сторон. На зеленом пространстве обозначились пасмурные сады и пастбища, потом показались прямые улицы и большая площадь в центре. Внезапно городок исчез из виду, и самолет, подпрыгивая на ухабах, покатился по голому, плоскому выгону, который служил аэродромом.

— Хорошо, что мы успели проскочить до наступления непогоды,— сказал Ник, выйдя из самолета, но Горчаков только мотнул головой, словно дело было совсем не в этом, и мрачно кивнул в сторону горы.

2

Однако ему пришлось подавлять свое нетерпение еще три дня, пока наконец на солнечном дворе институтской базы не выстроилась целая колонна «джипов» и грузовиков, готовых к подъему. И за эти три дня он окончательно убедился, что прежние его ощущения верны: не Коган, а именно он является главной причиной озабоченности Горчакова. Во дворе в голубоватых бензиновых облаках урчали и фыркали моторы, транспортная колонна ждала от Горчакова сигнала к отправке. Здесь снова настало лето — воздух был теплый, и в девять часов утра уже чувствовалось, что день предстоит знойный. На небе не было ни облачка, вершины окружающих гор четко и величаво выделялись в синеве, и только чуть пониже кое-где висели клочья тумана. Но здесь, внизу, явно ощущались признаки возможной бури. Горчаков был мрачен.

Темно-зеленые горьковские «джипы» с узорчатыми чехлами на сиденьях были больше и мощнее американских и по крайней мере на фут шире, что делало их гораздо устойчивее, по размерам они походили скорее на американские штабные машины. В колонне из четырех грузовиков головным был «ЗИЛ», за ним два «ГАЗ-69» и наконец тяжелый «КАЗ» грузинского производства. Все машины принадлежали станции. Ника поражало количество денег, которые тратились на содержание одной научно-исследовательской станции. Там, наверху, было также три больших трактора-вездехода марки «АС-80», предполагалось, что они спустятся до границы снегов, где и встретят колонну. О встрече условились сегодня утром по радио.

Горчаков в рубашке с расстегнутым воротом в последний раз осматривал груз, проверяя, надежно ли упакована и увязана каждая секция прибора, не грозит ли ей поломка во время трудного пути. Вид у него был загнанный, как у человека, которого со всех сторон одолевают заботы, он готов был вспылить из-за каждого пустяка, и Ник старался не попадаться ему на глаза.

Еще в день прилета они прямо с аэродрома отправились в больницу навестить Когана и узнать, что решили делать с его ногой. Коган обладал язвительным юмором и говорил о себе с насмешливым раздражением. У него были густые черные брови и длинные черные ресницы, пряди черных волос падали на злые серые глаза, худое изможденное лицо заросло четырехдневной темной щетиной, в которой неожиданно белели толстые седые волоски. Ему было немногим больше тридцати. Нога его была в лубке.

В палате вместе с ним лежали три грузина — все трое пастухи, с одинаково обветренными лицами и свирепо торчащими усами, и все трое смотрели на посторонних, заставших их в таком беспомощном состоянии, с одинаково смущенным выражением и в то же время с неприкрытым, почти детским любопытством ко всему, что нарушало однообразие больничной жизни.

Коган держался так, словно угадывал, что происходит в душе Горчакова,— он обрадовался, он приготовился отражать упреки и был глубоко опечален. Обратившись к Нику с чопорным приветствием на ломаном английском языке, он извинился, что не может говорить с ним по-английски, и сказал, что очень рад приветствовать его здесь, в горах. Потом, перейдя на русский, по-приятельски грубовато заговорил с Горчаковым:

— Ну, Митя, что я получу сначала — кнут или букет цветов?

— Кнута не будет, потому что у нас гость, при котором неудобно сказать тебе, что ты болван, каких мало, болван и сукин сын. Цветов

тоже не будет. Как нога, очень болит, Шура? Я готов убить тебя за то, что ты заставил меня тащиться сюда из Москвы. Господи, ну можно ли быть таким глупым? Ведь едва не погиб!

— Погибнуть я не мог, я был слишком зол на себя. Даже врач подтверждает это. Он по нескольку раз в день осматривает мою ногу — все ищет каких-то признаков. Должен сказать, он оттягивает решение насколько возможно, но если он сочтет, что это необходимо, его уже не разубедишь. Да ну, к черту все это. Давай поговорим о чем-нибудь другом.

— Где Валя?

— Там, на горе.— Горчаков нахмурился.— Она успела подняться как раз перед вторым бураном, но без прибора. Он еще не был готов.

— А сейчас его можно отправлять?

— Если погода прояснится, можно отправить утром. Слушай, Митя, если не понадобится...— он не мог заставить себя произнести это слово «ампутация»,— и если врач положит ногу в гипс, тогда, если приспособить заднее сиденье «джипа», я бы мог подняться вместе с...

— Приспособим мы заднее сиденье или нет, но по крайней мере до конца года от тебя не будет никакого толку,— с грубоватой прямотой возразил Горчаков. Он смотрел на неподвижно лежащего человека с жалостью, радуясь, что он остался в живых, и в то же время злясь на него за безрассудство.— В следующий раз, когда тебе вздумается корчить из себя героя, Шура, клянусь, я тебя просто высеку! Подумаешь, мастер спорта! — язвительно усмехнулся он и встал.— Я еще зайду к тебе перед отъездом.

Ник вышел задумчивый, пораженный близостью между этими двумя людьми. Он впервые понял, до какой степени привык к тому, что он всегда один. С самого детства у него не было ни одного близкого друга.

В здании, перед которым ждали машины, помещалась база, обслуживающая горную станцию. И хотя на доске у входа кроме Всесоюзной Академии наук значилась и Академия Грузинской республики, внутри здание было обставлено чисто по-русски, вплоть до кадок с высокими пальмами, которые красовались в приемной на фоне голубых плюшевых драпировок с помпончиками. И здесь Ник снова поразился объему затрат на научные цели. Для нужд одной станции здесь было семь лабораторий, хорошо оборудованная механическая мастерская с тремя постоянными механиками, стеклодув, библиотека со всеми необходимыми монографиями и важнейшими периодическими изданиями, среди которых, к удивлению Ника, оказались и медицинские. Ему объяснили, что в штате горной станции есть представители Академии медицинских наук, которые изучают действие высокогорной атмосферы на человеческий организм.

— А также на психику,— добавил Горчаков,— так как в горах наблюдаются странные психические явления.— Слова его звучали как предостережение.— Люди, не привыкшие к большой высоте, совершают опрометчивые поступки, поэтому каждый из нас должен заботиться о других. И поэтому я, собственно, и не злюсь на Когана, а только жалею его. То, что он сделал, казалось ему вполне разумным, но он должен был знать, что не может доверять себе. У него большой опыт, и ему следовало бы понимать, что в горах осторожность не может быть чрезмерной и что нельзя поддаваться своим порывам.

Сначала Горчаков заявил, что откладывает подъем для того, чтобы Ник успел привыкнуть к местным условиям, прежде чем поднимется еще выше. Однако позже он стал уверять, что вынужден задержаться из-за погоды, хотя за эти три дня буран в горах несколько раз стихал и Нику казалось, что машины наверняка успели бы проскочить наверх. Без

сомнения, Горчакову не хотелось оставлять Когана, пока не решится вопрос об ампутации, но он мог бы легко найти выход из этого положения — стоило только послать машины с приборами вперед, а самому подняться потом, когда он сочтет возможным. Ник предложил ему это, вызвавшись сопровождать грузовики.

— Давайте я поеду вперед, чтобы поскорее приступить к работе.

— Об этом не может быть и речи,— резко возразил Горчаков.— Погода там не такая ясная, как кажется отсюда.

Разобраться тут было трудно, но, вероятнее всего, истина заключалась в том, что Горчаков твердо решил не отпускать его без себя туда, где находилась Валя. Он нервничал и злился, потому что ему было стыдно: как он мог позволить вмешаться в дело личным соображениям. Ник не мог ничего ни сказать, ни предпринять. Гордость не позволила бы Горчакову даже самому себе признаться, что такой конфликт существует.

Но сегодняшней погодой нельзя было не воспользоваться. Окончательное решение относительно Когана врачи отложили на двенадцать часов. Если не наметится признаков улучшения, операция будет сделана сегодня же. Задерживать колонну до тех пор было невозможно — это значило бы не поспеть на станцию засветло. Горчаков был в отчаянно скверном настроении. Привязанность к Когану тянула его остаться, мысль о Нике и Вале вынуждала ехать. Не будь тут Ника, не было бы и дилеммы, а дилемма эта заставляла его терять самообладание.

В четверть десятого он решительно уселся на переднее сиденье головного «джипа», не сказав ни слова Нику и сидевшему за рулем Геловани, рывком захлопнул за собой дверцу, и машина тронулась. Второй «джип» и грузовики двинулись за ним следом. В таком чинном порядке они проехали через весь пыльный городок, мимо новых домов из розового камня с изящными арками, так не похожих на прямоугольные тяжеловесные московские здания, мимо древних выбеленных хижин, простоявших, быть может, уже тысячу лет. На широких пустых улицах попадались иногда и другие машины, легковые и грузовики, но также и козы, овцы, коровы и запряженные лошадьми арбы. У Горчакова, когда он повернул голову и глянул на больницу, мимо которой проезжала их колонна, был вид загнанного на арене быка, но он не проронил ни слова. Вывески и надписи, мелькавшие вдоль дороги, были на языке, Нику вовсе не известном, и такого письма, какого ему не доводилось видеть. Он вдруг понял, что сейчас он ближе к Багдаду, чем к Москве.

Выехав из города, машины быстро покатили по широкому укатанному шоссе прямо к горам, отстоящим дальше, чем это сперва показалось. Угрюмое молчание Горчакова на всех ложилось давящей тяжестью. Он немного оттаял, лишь когда дорога постепенно пошла в гору. Почва становилась суше и каменистей. Деревья здесь не росли. На тощей траве паслись вместе козы, лошади и коровы. Появились выходы гранита — скалы громоздились одна на другую. Повсюду лежали крупные острые куски того самого розового камня, из которого были выстроены дома в городе.

— Что это такое? — спросил Ник.

— Туф,— ответил Горчаков.— Застывшая лава.

Как видно, он был рад поводу заговорить, вероятно, и сам почувствовав, что зашел слишком далеко. Говорил он резко, бойко, но жара в его лекторском тоне не было. Он объяснил, почему дома из туфа выглядят так, будто их построили только вчера: туф невероятно тверд, глыбы, отесанные сотню лет назад, сохраняют гладкость только что отшлифованного гранита. На Кавказе, сказал он, церкви из туфа простояли, не разрушаясь, чуть ли не две тысячи лет, за это время гранитные

храмы давно превратились в живописные развалины. Уж не хотел ли он этим сказать Нику: «Я тверже, чем ты»?

Подъем становился все круче. На голых, залитых солнцем просторах то здесь, то там стояли маленькие каменные хижины — приюты для пастухов, застигнутых внезапным снегопадом. Минуты три за машинами вприпрыжку бежал пес желтоватой шерсти, потом он вернулся обратно к хозяину-пастуху, который стоял неподалеку на горе совершенно неподвижно, глядя на продвигавшуюся колонну.

Чтобы снова вовлечь Горчакова в разговор, Ник спросил о собаке, какой она породы. Горчаков невольно усмехнулся, а Геловани захохотал.

— Кавказский коктейль,— сказал он.

Улыбка тут же сбежала с лица Горчакова, оно стало еще жестче, суровее, как и раскрывавшийся перед ними ландшафт. Здесь, когда они поднялись выше, стали попадаться черные базальтовые скалы. Опоясывая склон, тянулась разросшаяся в прохладе гор полоска леса: низкорослые березы, приземистые сосны — их скорее ждешь увидеть в более северных краях. А машины все поднимались по твердому грунту извилистой дороги. Стрелка спидометра показывала девяносто километров в час. Геловани и шоферы остальных машин не сбавляли скорости на поворотах, они знали их наизусть. Неожиданно дорогу пересек ряд мачт еще без проводов — это шагало на станцию электричество.

Мрачность Горчакова начала раздражать Ника. Такие переживания казались ему излишне сложными.

Полоса деревьев вдруг разом исчезла. Дорога, извиваясь на немыслимо крутых поворотах, летела вверх по пустынным долинам и склонам. И везде, куда ни глянешь, один камень: громадные скалы весом тонн в пятьдесят, на них пятитонные каменные глыбы, и на этих глыбах — другие, только поменьше и усеянные камнями — черным базальтом, серым гранитом, тускло-красным туфом. Повсюду рос лишайник. Он придавал местности зеленовато-серый оттенок, потому и долина и склоны, насколько хватал глаз, казались обнаженным морским дном, как будто море отхлынуло куда-то за горизонт, унесенное мощным отливом, и вот сейчас наступит конец света.

Резко похолодало, и легкие клочки пара, которые Ник заметил еще внизу, теперь опускались на них, как густая масса вязкого белого тумана, он то таял, то снова сгущался.

Как зловещие вестники того, что ждало их впереди, на склонах, в выемках скал, начали появляться небольшие снежные пятна — они попадались все чаще и чаще. Иногда снег уже лежал поперек дороги узкими полосами, как жгуты ваты. Колонна все не убавляла хода, хотя теперь машины почти все время шли на второй скорости.

Неожиданно за одним из поворотов снова открылось слегка покатое, заросшее травою плато. Деревьев здесь не было, лишь тонкая невысокая трава да покрытые лишайником камни. Кое-где паслись козы, и вдали высоко на утесе стоял усатый пастух в теплой шапке. Он не шелохнулся, пока машины с ревом проносились мимо.

Впереди тащилась арба — повозка архидревняя, какие были еще у скифов: между двумя расшатанными сплошными деревянными колесами был закреплен длинный шест — дерево с обрубленными сучьями, другой конец шеста волочился по земле. Тощая лошаденка напрягала силы, только что не вылезая из высокого русского хомута. От хомута тянулась вперед потрепанная веревка, привязанная к хомуту другой лошади, такой же тощей и измученной, как и та, которой она силилась помочь. Переднюю лошадь вел пастух. Обгоняя арбу, колонна ма-

шин стремительно свернула с дороги прямо на траву, и Ника поразил неожиданный контраст: советские грузовики, советские «джипы», советское оборудование, тончайшие приборы для опытов в стратосфере,— все это пронеслось мимо медленно ползущей допотопной повозки — такие были и пять тысяч лет назад,— и при этом никто, ни лошади, ни пастух, ни шоферы, даже не подняли глаз друг на друга.

Сомнения, терзавшие Горчакова, разрешились внезапно в крохотной деревне, возникшей за очередным поворотом,— всего домов десять, десять квадратных каменных хижин, крытых дерном и плитками кизяка. На крышах свободно, словно по земле, разгуливали козы, пощипывая траву. Дверь одной из хижин была открыта, и над ней висело полотнище выцветшего красного кумача, написанные на нем белой краской слова едва можно было различить. Оказалось, что это сельсовет. На залитой солнцем площадке перед ним слонялись несколько горцев—все в шапках и рубахах без воротников, все с одинаковыми усами и трагическими глазами грузин: блестящая черная радужная оболочка и белки совершенно необычайной белизны. Геловани резко затормозил, и машина остановилась прямо перед сельсоветом. Вся колонна стала, словно по боевой команде. Геловани откинулся назад и весело улыбнулся Нику — хорошо было отдохнуть после трудных часов за рулем.

— Выше этой деревни здесь селений нет,— сказал Горчаков.— Жители ее помогают нам на станции. Это они отправились на поиски Когана. В сущности, именно у них мы и научились понимать горы.

Русского языка жители деревни не знали, говорили только по-грузински. Все они тут же столпились вокруг «джипа», и Ник видел, с каким глубоким уважением и любовью относятся они к Горчакову и к Геловани, служившему им переводчиком. Выше, в горах, уверяли грузины, плохо, очень плохо. Снег выпал слишком рано, зима будет трудная. Как себя чувствует тот, другой товарищ? Ну, что и говорить, сломанная нога — дело скверное. Услышав, что, может быть, потребуется ампутация, все они вздрогнули, а двое даже перекрестились. Как жить человеку, если у него только одна нога?

При упоминании имени Когана лицо Горчакова снова помрачнело, ответы его стали кратки и резки. С Коганом все обойдется, повторял он настойчиво, Коган в надежных руках. И тут же, круто переменив тему, сказал, что привез с собой американского гостя. Сообщение это очень удивило горцев, они сразу оживились.

Американец? Прямо из Америки? Они откровенно уставились на него, потом торжественно пожали ему руку, все по очереди. Один произнес краткую речь. Их деревня — бедная деревня пастухов-горцев, и еще никогда не бывал у них ни один американец. Они почтут себя обиженными, если гость не окажет им чести и не зайдет хотя бы на минуту в сельсовет выпить стакан вина, прежде чем отправиться дальше в путь. Произносивший эту приветственную речь говорил искренне и с большим достоинством, остальные слушали его одобрительно, с гордостью.

— Зайдете? — обратился Горчаков к Нику по-английски.— Только очень ненадолго. Во-первых, мы спешим, а во-вторых, они не богачи. Если мы останемся подольше, они не пожалеют последнего, чтобы вас достойно угостить.

— Ну конечно, конечно,— ответил Ник.— Скажите им: я считаю честью для себя знакомство с ними.

В доме, где помещался сельсовет, одновременно находилась деревенская лавка. Как только Ник вошел туда, ему сразу стало ясно, что жизнь людей здесь так же тяжела и сурова, как те камни, на которых они живут. Все, и жители и шоферы, столпились в одной небольшой,

почти пустой комнате, сюда же втиснулись ребятишки, прибежавшие поглазеть. Было произнесено несколько речей, вернее, тостов: за гостя, за мир во всем мире, за лучшую жизнь, и на все Ник отвечал как умел, но далеко не так изысканно, как говорили грузины, хотя те никогда ничего не видели, кроме своих гор, а он живал во многих городах мира. Последний тост был за Когана, и опять Горчаков раздраженно передернулся, как человек, у которого затронули больной нерв. На этот раз он залпом выпил вино, поставил пустой стакан на стол и сделал Нику знак, что пора уходить.

Когда все вышли на дорогу, Горчаков вдруг решительно уселся на шоферское сиденье во втором «джипе» и велел тем, кто в нем ехали раньше, перебраться в головной «джип».

— Я возвращаюсь в Кананри,— заявил он.— Надо кому-нибудь быть с Коганом. Если операция все же окажется необходимой, я буду около него, когда он очнется.— Он взглянул на часы.— Я спущусь за час. Если операции не потребуется, я приеду к концу дня. Или же завтра. Все равно раньше завтрашнего дня все разгрузить не успеют. А вы поезжайте дальше.

Сердитый взгляд, который он бросил на Ника, казалось, говорил: «А ты, приятель, можешь отправляться ко всем чертям, если тебе угодно. Я и пальцем не двину, чтобы тебя остановить».

Мотор загудел, задрожал, и Горчаков поставил первую передачу. Его все еще терзали сомнения и тревоги, но теперь к нему хотя бы частично вернулось чувство самоуважения.

Чтобы облегчить ему отъезд, Ник сказал:

— Давайте и я поеду с вами. Черт возьми, перестанем же наконец ссориться.

Горчаков решительно помотал головой и даже не обернулся.

— Нет, лучше я буду там один. Вы сможете быть полезным на станции. Пока!

Он приподнял ногу, рывком включил сцепление, и Ник отошел в сторону. «Джип» вырвался из ряда машин, описал крутую дугу, так что из-под колес полетели камни, и понесся по дороге вниз. Геловани смотрел вслед, пока «джип» не скрылся из виду, потом почесал затылок.

— Я так и знал, что этим кончится,— сказал он.— Одного не понимаю — зачем он вообще поехал с нами.

Колонна выстроилась в прежнем порядке, и снова начался подъем. Теперь, без отвлекающего присутствия Горчакова, Ник почувствовал, как на него все сильнее действует окружение гор. Он напомнил себе, что дорога, по которой они едут,— не шоссе для туристов, нет, ее строили специально для научно-исследовательской станции, одиноко стоящей в горах. На средства какого-нибудь частного института этого не сделаешь. Дорога поднималась все выше и выше, и ради каждого ее фута взрывали скалы. Лишайника здесь было мало, и ничто не смягчало лунную суровость голого камня. Сверху неслись ледяные потоки воздуха, заснеженные участки становились все больше и больше, и вот уже «джип» стал пробираться по ровному белому ковру толщиной в несколько дюймов. Теперь они поднялись выше некоторых пиков — над головой раскрывалась такая необъятная голубая небесная ширь, что дух захватывало. Кое-где мелькали небольшие кучевые облака, которых утром не было.

Впереди, на расстоянии полумили, их поджидали три трактора-вездехода, словно три чудовища, пасущиеся на белой поляне. Они стояли, высоко задрав квадратные черные головы, сверкая на солнце квадратными стеклянными глазами, подогнув под себя передние лапы — звенья

гусеничного хода. «Джип» некоторое время еще пробирался вперед, но наконец зарылся носом в сугроб, отчего за ветровым стеклом взлетели снежные облака. Машина застряла прочно. Колеса ее беспомощно вертелись, она выла и рычала, словно предупреждая остальные машины в колонне. Дальше ехать было невозможно. Шоферы посигналили, и в ответ на их гудки три огромных чудовища медленно двинулись навстречу, неуклюже переваливаясь с камня на камень, выплевывая вверх дизельный дым.

Ящики с оборудованием были быстро и ловко переставлены в высокие кабины вездеходов. Каждый, кто работал здесь, отлично знал свои обязанности, им приходилось делать это не впервые. Через какие-нибудь полчаса грузовики и «джип», теперь уже пустые, спускались обратно с гор, а снова оставшиеся одни вездеходы неторопливо поползли вверх к белым отвесным утесам — туда, откуда они спустились к машинам.

Они карабкались все выше и выше, и все шире и шире растягивалась внизу горная цепь Кавказа. С севера на юг и с запада на восток, от одного края горизонта до другого сверкали своими снегами каменистые горы. Петляющему подъему, казалось, не будет конца. Порой вездеходы кренились то на одну, то на другую сторону так сильно, что Ник думал, вот-вот они свалятся, но шоферы только еще энергичнее налегали на руль, они знали дорогу как свои пять пальцев.

Седловина — впадина между двумя пиками — была совсем как блюдце, и вездеходы подползли к ее краю, как мухи, секунду балансировали на нем, потом вдруг скользнули вниз, и над головой не осталось ничего, кроме бескрайнего неба да двух зубчатых вершин в снежных шапках.

С первого же взгляда было ясно, что плоская эта чаша — черное озеро и что лед на нем лежит слишком тонким слоем над глубинами вулканического кратера и потому не кажется белым, но он все же достаточной толщины, чтобы от поверхности не было отражения. В дальнем конце озера сбились в кучу несколько невысоких строений—они выглядели темными пятнами на снегу, но когда вездеходы стали объезжать озеро, из группы зданий выделилось одно, стоявшее у самого края впадины и выступавшее над ним. Оно было из черного камня, с небольшими окнами, трехэтажное, и венчала его черная башня с рядом окон, идущим от основания до самого ее верха. Это массивное черное здание выглядело сурово, даже несколько мрачно и как будто не принадлежало ни к какой эпохе: оно могло быть построено и в прошлом году, и тысячу лет назад. По мере того как вездеходы с трудом продвигались вперед, черное здание с башней казалось все более и более внушительным в своем угрюмом молчании — оно стало похоже на крепость, и все остальные дома вокруг выглядели как пристройки. Это и была научно-исследовательская станция — замок-крепость в поднебесных просторах на высоте трех миль над уровнем моря.

Вездеходы вползли в занесенный снегом двор и остановились. Ник вышел из кабины. Воздух был неподвижен, пронзительно холоден и почти невыносим для легких. Солнце ослепило Ника, и он лишь смутно различал тепло одетых людей, которые принялись разгружать машины. Кто-то схватил Ника за руку, повернул к себе, и он не сразу увидел сквозь слепящие золотые искры, что перед ним Валя. Лицо ее было обрамлено мехом парки. Валя была ошеломлена, растерянна, не знала, куда деваться от смущения, и в то же время вся дрожала от радости. Она смотрела на него не отрываясь, и взгляд ее был открыт и беззащитен.

— Неужели вы не знали, что я приеду? — спросил Ник.

Она отрицательно покачала головой.

— Нельзя преподносить такие сюрпризы! А я уж думала, что никогда в жизни вас больше не увижу.

Голос ее срывался от волнения.

— Все решилось в последнюю минуту.

— Нельзя преподносить такие сюрпризы,— повторила Валя; казалось, она с трудом дышала.— Митя мне о вас и слова не сказал. А где же он сам?

Ник объяснил и затем добавил, что Горчаков приедет к концу дня или самое позднее завтра утром. Валя нахмурилась. Она посмотрела на небо. Облака неслись прямо на них — одни низко, над самой головой, другие еще ниже, где-то под ними. Ближайшие горные вершины сияли мягкой белизной под высоким ярким солнцем, горы, находившиеся в отдалении, видны были целиком, у подножия они были темные, а на самых верхушках снег начинал зловеще крутиться, поднимаясь туда, где в высоких, пронизанных солнечным светом слоях атмосферы бушуют невидимые ледяные бури. Суровые горные пики внизу, протянувшиеся на сотни миль холодной пустыни, уже покрылись тенью.

— Сегодня он не приедет,— сказала Валя.— Снегу насыпало еще больше.— Она снова взглянула на Ника, но не успела сказать и слова, чтобы выразить хотя бы тысячную долю того, что она чувствовала в эту минуту, как к ним подошел Геловани. В отсутствие Горчакова и Когана обязанности начальника и хозяина ложились на него.

— Вам не приходилось работать в высокогорных условиях? — спросил он Ника.

— Я несколько лет работал на высоте в две тысячи метров,— сказал Ник.— Я чувствую себя отлично.

Но грузин только покачал головой.

— Здесь вдвое выше. Надо бы ему зайти в дом,— обратился он к Вале.— Отведите ему комнату, пусть отдохнет с дороги, придет в себя.

— Совершенно незачем,—начал было Ник, но Валя его не слушала.

— Пойдемте,— сказала она, кивнув Геловани, и Ник последовал за ней. Они уже вошли в двери черного здания, а он все уверял Валю, что эти предосторожности совершенно излишни, но, когда ему пришлось подняться по невысокой лестнице, уже на четвертой ступеньке у него сильно заколотилось сердце, он задохнулся. Ему пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание.

Наконец-то он добрался туда, куда так давно стремился, но, судя по всему, что он видел, слышал и чувствовал, край этот был мало приспособлен для жизни людей.

3

Выстроенное в таком невероятном месте здание показалось Нику еще более фантастическим, чем целый транспорт «джипов», грузовиков и вездеходов, необходимых для обслуживания станции. Валя вела его по лестнице к жилой части дома — все комнаты там были просторны, пустынны и по своей безукоризненной чистоте и суровости обстановки похожи на больничные палаты. На пути они никого не встретили, никого не слышали. Мимоходом Ник заглядывал в открытые двери пустых белых спален, в каждой из которых могли бы ночевать человек десять. Затем они прошли мимо залитой солнцем библиотеки — там стоял ледяной холод и не было ни одного читателя — и мимо комнаты отдыха, где находился стол для пинг-понга и биллиард, но шары там лежали непо-

движно, и никто не сидел на стульях. Везде царила полная тишина, а из окон видны были лишь величественные просторы неба и пустынные горы.

В конце коридора находилось несколько небольших комнат для руководящего состава. Стены там были выбелены, железные кровати выкрашены белой краской, и на каждой была постелена туго натянутая, без единой морщинки простыня и лежали две подушки. Но не было никаких признаков того, что в этих комнатах кто-либо ночует. Валя ввела его в одну из таких спален; кроме кровати там стояли стул, столик и комод светлого дерева. Через окна с двойными рамами видно было только небо да скалистый обрыв, уходящий вниз почти на десять тысяч футов. Ник почувствовал головокружение, отошел от окна и сел на кровать. У него вдруг появилось ощущение странной легкости, словно он плыл по воздуху. Валя неуверенно стояла в дверях, наблюдая за ним. За те несколько минут, что истекли с момента его приезда, она успела взять себя в руки.

— Пройдет,— сказала она успокаивающе.

— Я знаю. Это пустяки. Есть у вас время поговорить со мной?

Мгновение она колебалась, потом коротко кивнула и вошла в комнату, оставив дверь открытой. Она села на стул, сложила руки на коленях и так сидела, точно внимательный, послушный ребенок в присутствии взрослого — покорно и настороженно. Она положительно смущала Ника.

— Меньше всего входило в мои намерения нарушать ваше спокойствие,— сказал он.

Она все смотрела на него, не мигая, а потом, вместо того чтобы ответить прямо, отвернула лицо и заговорила о том, как она ехала сюда из Москвы, о Когане, о работе и ни слова о своем отношении к Нику. Говорила она по-английски, и потому нельзя было определить, называет она его на «вы» или на «ты», как во время того страстного ее признания по телефону перед отъездом из Москвы. Теперь она вела себя так, будто его вовсе и не было, этого последнего их телефонного разговора. И вдруг выдержка ей изменила.

— Не знаю, просто не знаю, как мне говорить с вами! — вырвалось у нее по-русски.— Ведь в тот раз почему я с вами так говорила? Я была уверена, что никогда вас больше не увижу. С тех пор как я приехала сюда, я только и делаю, что стараюсь забыть про все, что было. Я хотела, чтобы с этим было покончено — навсегда, навсегда! И я считала, что так оно уже и есть. Но когда я увидела вас снова, я...— каким-то беспомощным жестом она прижала обе руки к горлу и так и не смогла сразу договорить. Немного погодя она сказала: — Но вот что я решила: если у вас нет ко мне никакого чувства, его не должно быть и у меня к вам!

— Вы знаете, как я к вам отношусь.

— Нет, не знаю,— сказала она с горечью.— Не знаю. Ведь вы никогда ничего мне не говорили. Даже вот и теперь молчите. Может быть, так оно и лучше, раз нам предстоит работать вместе.— Она встала.— Сейчас отдохните, потом понемногу включайтесь в нашу работу.

Видя, как ей больно, Ник быстро поднялся, чтобы не дать ей уйти, но у него тут же отхлынула вся кровь от головы, и он покачнулся.

— Нельзя делать резких движений,— сказала Валя.— Ваш организм должен приспособиться к здешним условиям постепенно.

Она взяла его под руку и снова усадила на кровать, но одно ее прикосновение моментально оживило все, что было в Москве. Она прижалась к Нику, как будто хотела почерпнуть от него силы. Он нежно поцеловал ее, и Валя опустила веки, прильнула лбом к его щеке, но тут же, снова овладев собой, тихонько отстранилась.

— Отдохните часок,— сказала она.— Так бывает, только когда попадаешь сюда в первый раз.

Валя ушла. Ник растянулся на постели и закрыл глаза. Через несколько часов приедет Горчаков, и уже больше не представится случая поговорить с Валей наедине. Работа их всех целиком поглотит. Ник забылся тревожным, неглубоким сном.

Проснувшись, он увидел в дверях Геловани и Валю.

— Как себя чувствуете?

— Превосходно,— ответил Ник, сразу вскочив с кровати, хотя по-прежнему перед глазами у него как будто все плыло, и ощущение это было неприятно. Они начали убеждать его лечь, но он и слышать об этом не хотел.— Пройдет,— уверял он.

Ника злила эта его физическая слабость, он решил заставить себя преодолеть ее — ему не терпелось начать приготовления к опыту. Но Геловани настоял на том, чтобы сперва он осмотрел станцию.

— Есть вести от Горчакова? — спросил Ник.

— Еще слишком рано ждать звонка.

Они повели Ника на самый верхний этаж, весь отведенный под лабораторию. Здесь шла одновременная подготовка к нескольким опытам, но работу выполняли всего двое молодых ученых. Одетые в плотную, теплую одежду, они работали молча, на большом расстоянии друг от друга. Валя казалась замкнутой и озабоченной. Если Ник сожалел о том, что ей приходится быть здесь, то Валю его присутствие растревожило еще больше. Ее бремя было более тяжким, и Ник решительно не знал, как ей помочь. Он не знал ее мыслей. Она держалась несколько поодаль от него, когда они все трое спускались на первый этаж. Там Нику показали огромную кухню, где орудовал повар в свитере и его помощник — оба в белых халатах, затем столовую, рассчитанную на полсотню человек, хотя на обеденном столе было расставлено не больше десятка приборов, потом ремонтную мастерскую, где работал всего один рабочий. Они зашли в кладовую, она была завалена ящиками, теплой одеждой и лыжами. От всего веяло холодной тишиной, и Валя словно отстранялась от него — была так же далека, как и весь остальной мир. За ее молчанием и сдержанностью крылась происходившая в ней внутренняя перемена. Все здесь в горах оказалось не таким, как ожидал Ник, и это чувство неожиданности еще усилилось, когда они вошли в башню, казавшуюся такой зловещей, пока он видел ее снаружи. Внутри это была цилиндрической формы резонирующая камера. Мостовые краны, сейчас стоявшие в бездействии, переплелись вверху, образовав путаную сеть. На цепях, прикрепленных к крючьям, в прохладном, словно застывшем, воздухе висели гигантские полюсы магнита. В обычном месте все это не удивило бы Ника, но на высоте трех миль, где-то в поднебесье, это казалось невероятным, и однако с узкого балкончика посреди башни Геловани как ни в чем не бывало указал на ящики, в которых находились две камеры Вильсона, их предстояло поместить одну на другую при изучении странных частиц. В башне работало всего двое — очевидно, устанавливали связь.

Ник представил себе, как выглядела станция в летние месяцы, когда тут были, должно быть, десятки и десятки людей, мужчин и женщин — ученые-физики, сотрудники станции, рабочие,— и все в лихорадочной спешке пытались сделать как можно больше до наступления непогоды. Потом, наверно, был дан сигнал — прогудел колокол или было сказано слово,— и все побросали инструменты и приборы и понеслись вниз, туда, где воздух такой, что им можно дышать, а тут осталась лишь небольшая

группа людей, ежемесячно сменяющихся, которым предстояло выдержать жестокую осаду зимы и неуклонно двигать дело вперед.

Масштаб проводимой на станции научной работы поразил Ника, но, хотя он повидал здесь уже многое, он пока еще не заметил никаких признаков непосредственной подготовки к опыту, ради которого приехал. Он все оценил и одобрил, но его снедало нетерпение.

— Я полагал, что установка для экспериментов с частицами высоких энергий является здесь основной,— сказал Ник Вале по-английски.— Где же все это?

Вместо того чтобы ответить самой, Валя перевела его вопрос Геловани. Сделала ли она это из вежливости к грузину, недоумевал Ник, или тоже пришла к жестокому решению установить дистанцию между собой и Ником? Ответить на заданный ей вопрос было настолько просто, что для этого незачем было консультироваться с Геловани.

Геловани объяснил, что, кроме главного щита управления в углу на самом верхнем этаже, все оборудование находится снаружи. Он и сам, казалось, удивился, что Валя сочла нужным переводить ему такой вопрос, но решив, очевидно, что этим она напомнила ему об его ответственности по отношению к гостю, сказал, что, если Ник хочет, он, конечно, поведет его и все ему покажет.

— Хотя, знаете,— добавил он,— мне думается, можно бы подождать еще немного.

Но Ник уперся. Он обещал Горчакову, что поедет сюда только ради работы — это обещание было самым главным.

— А вы? — спросил он Валю.— Вы тоже пойдете с нами?

Она слегка покачала головой, избегая его прямого взгляда.

— Времени нет,— ответила она.— Да вы недолго будете ходить. Кроме того, я хочу быть в радиоаппаратной — могут передать сведения относительно Когана.

— Да что вы! — удивился Геловани, взглянув на часы.— Еще слишком рано.

— Все равно,— сказала она упрямо.— Я буду там.

Ник уже много лет не ходил на лыжах, но готов был идти немедленно — для него это означало, что наконец начнется работа. В кладовой Геловани подобрал лыжи с палками, которые пришлись Нику почти впору. Из-за того, что он надел вторую пару носков, и свитеры, и еще какую-то бесформенную куртку, он двигался за Геловани по пушистому снегу неуверенно, точно скованный. Впрочем, скованность эта быстро прошла, движение согрело его. И тут он остро почувствовал всю нереальность обстановки — ведь он даже не знал, куда, собственно, идет. Он не видел перед собой ничего, кроме волнистого снежного покрова и черного, затянутого тонкой ледяной коркой озера.

Геловани остановился подле большого, покрытого снегом камня и ногой начал сбивать с него снег. Оказалось, что это вовсе не камень, а деревянная кабина с алюминиевой крышей, высотой в рост человека. Геловани указал Нику еще на пять таких же кабин — это были контейнеры, стоявшие на равном друг от друга расстоянии по краю чаши, и каждый такой контейнер представлял собой самостоятельный блок, а с контрольным управлением на станции был соединен посредством тонкого кабеля, который лежал прямо на земле, под снегом. С помощью этого кабеля станция могла включать все приборы синхронно и суммировать все полученные импульсы. По существу, каждый контейнер был огромным приемником космических лучей.

Ник слушал пояснения Геловани и молча кивал. Сознание у него работало необыкновенно четко, но ему казалось, что оно как бы отдели-

лось от него, и потому он понимал сказанное не сразу, а мгновение спустя.

Геловани рассказал, что имеются еще два таких контейнера, по одному на внешней стороне каждого из двух утесов, а до сознания Ника еще только успело дойти то, что Геловани объяснил за минуту перед тем: в самом центре озера находится наполовину затопленная водонепроницаемая баржа и на ней — контейнер, а под баржей, на глубине десяти метров, помещен еще один контейнер, служащий как бы телескопом, который определит направление потока космических лучей.

Ник понимал, что действительно совершил ошибку, выйдя на воздух так рано, но, хотя мозг его был словно окутан ватой, он все же отчетливо представил себе, что в пустыне подобное устройство потребовало бы для получения необходимых результатов площади во много раз большей. Но так как в пустыне даже и не вставал вопрос о каких бы то ни было ограничениях пространства, можно было занимать его сколько угодно. В горах, даже если радиация здесь значительно интенсивнее, все возможное пространство уже использовано. Это было очко в пользу Ника.

— Как вы думаете, сколько времени нам потребуется, чтобы установить приборы и начать опыт?

— Дней пять-шесть.

— А если без Горчакова?

— Почему без Горчакова?

— Валя говорит, что погода может снова испортиться.

Геловани пожал плечами.

— Может быть, испортится, а может быть, и нет. Но даже и без Горчакова все успеем собрать и установить за то же время.

— А нельзя ли начать уже сегодня?

Геловани улыбнулся.

— Это мы начнем, а не вы.

— Почему?

— Слишком рано. Вы еще не готовы.

— Ничего подобного, я вполне готов!

— Посмотрим,— сказал Геловани философически.

Он очистил от снега двери контейнера, и они, пригнувшись, вошли внутрь. На них пахнуло морозной тишиной и запахом бензина от генератора, снабжавшего контейнер электрической энергией. Единственная лампочка, всего в несколько ватт, лила слабый свет, тускло поблескивающий на ионизационных камерах и счетчиках Гейгера. Места в контейнере было ровно столько, чтобы можно было продвигаться между стеной и рамой, на которой стоял прибор, но Ник следовал за Геловани неотступно, ныряя под высоковольтным кабелем и держась подальше от неизолированных концов провода, откуда мог вылететь блестящий червячок — смертоносная искра.

К удивлению Ника, осмотр отнял у него массу сил, но он промолчал и заставил себя двигаться дальше. Они медленно продвигались на лыжах вдоль края озера и осмотрели все шесть контейнеров. Воздух был прозрачный, легкий и студеный, и вместе с ощущением безграничной свободы и все той же странной легкости он чувствовал, что тело его наливается усталостью и что стоит ему один раз глубоко, по-настоящему вздохнуть — и он тут же закроет глаза и уснет блаженным сном без сновидений. Геловани все чаще делал остановки, поджидая его, и добродушно посмеивался, замечая все признаки того, что Ник еще не освоился на этих высотах.

— Я же говорил, что вам рано выходить,— сказал он.— Впрочем, это пройдет.

— Идите вперед, не дожидайтесь меня,— проговорил Ник, задыхаясь и опершись на палку.— Вам хочется поскорее вернуться, услышать о Когане, я ведь понимаю. Я дойду и один. Ведь не заблужусь я по дороге отсюда до здания.

Геловани улыбнулся.

— Вы себе и не представляете, какие могут быть неожиданности. Нет, время еще есть, я не тороплюсь.

Главное здание стояло лишь чуть повыше этого самого дальнего конца озера, но Нику казалось, что он, словно во сне, бесконечно поднимается на лыжах в гору, и на расстояние, которое можно было пройти за пять минут, ему понадобилось полчаса. Он отлично понимал причину своей внезапной физической слабости. Конечно, нет оснований тревожиться из-за того, что сердце бурно колотится в груди — ведь самое большее через день-два все эти симптомы исчезнут, и все-таки его сердило, что он не может побороть слабость, что тело не подчиняется его воле. Хотя бы что-нибудь еще осталось в его власти теперь, когда его ум и чувства вышли из повиновения!

К тому времени, когда они вернулись на станцию, небо заволокло и внизу и над головой, и за окнами видны были лишь колыхавшиеся волны облаков. Валя находилась возле радиоаппарата. Аппарат потрескивал, шел разговор с базой внизу. Оттуда сказали, что Горчаков все еще в больнице, но что с минуты на минуту от него ждут звонка.

Он позвонит немедленно, как только узнает о заключении врачей, сообщали с базы, и если решит сегодня же ехать в горы, то отправится туда прямо из больницы. Погода внизу теплая, облачная, но видимость хорошая. Какой прогноз относительно снегопада в горах?

Теперь Валя взяла микрофон.

— Температура и давление в горах падают гораздо быстрее, чем внизу. Где-то на средних высотах возможны очень резкие изменения атмосферного давления.

Пока она говорила, за оконными стеклами замелькали снежные хлопья. Снег валил из тучи, окутавшей вершину горы. Он падал тяжело, отвесно, как будто то были не хлопья снега, а тяжелая свинцовая дробь.

Не оставалось сомнений, что через полчаса выслать навстречу Горчакову вездеход уже не представится возможным.

С базы запросили, не позвонить ли в больницу, предупредить Горчакова. Валя секунду колебалась. Ник знал, сейчас она принимает важнейшее для себя решение, и это мучило его, но опять он был бессилен помочь ей.

— Нет, не дергайте его зря,— произнесла наконец Валя.— Он сам решит, как надо.

Ник сидел на твердом стуле очень тихо, стараясь держаться прямо и не заснуть. Все происходившее вокруг казалось бесконечно далеким, и все делалось помимо его воли. У него было такое ощущение, что, попытайся он заговорить, и слова прозвучат не сразу, а лишь спустя некоторое время. Кто-то сунул ему в руки стакан горячего, как огонь, чая, и впервые Ник теперь понял русский обычай обхватывать стакан рукой, чтобы жар от него проникал прямо в тело. Даже металлический подстаканник был горячий. Ник подумал, что никогда в жизни не пил ничего вкуснее этого чая. Он даже не вынул ложечки, оставил ее в стакане, как делают это русские. Он отхлебывал чай, постепенно набирая силы.

В микрофоне загудели низкие мужские голоса, это опять говорили с базы. Только что звонил Горчаков — ампутации не будет. Ему сооб-

щили, что возможны снежные заносы, и он ответил, что сейчас же приедет на базу и, прежде чем выехать в горы, свяжется по радио со станцией.

Кто-то громко выкрикивал из комнаты весть о Когане, и она разносилась дальше по коридору. Снег за окнами становился все гуще, падая отвесно и все более тяжелой массой, будто близился конец света и даже ветры навсегда перестали дуть.

Ник дремал, в мозгу у него отдавался шум собственного дыхания, и вдруг в треске микрофона он различил голос Горчакова — сдержанно раздраженный и все время перебиваемый посторонними звуками. Разговор, по-видимому, длился уже давно. Ник все еще держал в руке стакан, зацепив пальцем ручку подстаканника. Он не мог себе представить, сколько времени проспал — быть может, всего несколько секунд, но, возможно, и минут двадцать. Снег за окнами валил все гуще. Теперь он падал вкось, и только тут Ник услышал, как воет снаружи ветер, ударяя в стекла. С каждой секундой сознание Ника пробуждалось, становилось четче, яснее.

Горчаков все продолжал говорить, а Валя торопливо, стараясь поспеть за ним, записывала. Русская речь для Ника была слишком стремительной, он разбирал только отдельные слова, но было совершенно очевидно, что Горчаков дает указания. У Вали было застывшее, озабоченное выражение лица.

— Ну, как вы, окончательно проснулись? — спросила Валя, взглянув на Ника.— Он хочет говорить с вами.

Ник встал, подошел к микрофону, и от резкого движения у него закружилась голова, но это почти мгновенно прошло. Он поздоровался с Горчаковым.

— Как вы, в порядке? — спросил Горчаков.

— Да пустяки, не беспокойтесь обо мне,— ответил Ник.— Очень рад за Когана.

— Я тоже. Теперь могу дать волю своей злости. Все ему высказал, чего не мог сказать раньше. Сейчас вернусь в больницу и доскажу остальное, потому что из-за снега сегодня выехать в горы не удастся.— Удивительно, что, несмотря на гул в аппарате и атмосферные помехи, Ник ясно чувствовал напряжение в голосе Горчакова.— Некоторое время я еще задержусь здесь. Но, так или иначе, вы там и без меня сможете сделать многое. Дайте Валю, я дочитаю ей список.

Валя вернулась к микрофону, и Горчаков опять принялся диктовать быстро и властным тоном. Она вырвала листок из блокнота, исписала его, вырвала второй листок, исписала и его. Ее окаменевшее, напряженное лицо все больше выражало сдерживаемое недовольство. Один только Геловани не понимал, что происходит, и тихонько удивленно смеялся.

— Что с ним такое,— говорил он,— с ума, что ли, сошел? Если мы полгода будем работать круглые сутки, без перерыва на еду и разговоры, то все равно не успеем всего закончить. А кроме того, мы и сами знаем, что́ нужно делать.

Ник промолчал. Раздражение в голосе Горчакова и немыслимо длинный перечень инструкций означали одно: для Горчакова была невыносима мысль, что Ник и Валя вместе. Он ничего не знал о их чувствах и переживаниях, об обоюдном их невысказанном решении, и, если уж сам он не мог быть там же, где и они, чтобы встать между ними, он хотел отгородить их друг от друга спешной, трудной работой. Яростная подозрительность Горчакова вызвала у Ника досадливое сострадание к нему. Нику хотелось крикнуть: «Перестаньте же, вы делаете только

хуже!» И действительно, Валя воспринимала это как грубое оскорбление. Она продолжала писать, лицо ее делалось все более замкнутым, и Ник знал, что Горчаков совершает одну из величайших ошибок своей жизни.

Ник все время помнил о Вале, а Валя о нем. Их обоих мучило это, как боль незажившей раны, и, однако, необходимо было напрячь всю волю, как бы не замечать этого и продолжать работу. Если они находились в одной комнате, им стоило огромного труда не взглядывать то и дело друг на друга и не забывать, что в разговоре должны участвовать и другие. Если они работали порознь, их отвлекало от дела постоянное ожидание: вот сейчас раздадутся знакомые шаги, так не похожие на все остальные, и звук этих шагов заставлял кровь бежать быстрее.

Ни вместе, ни врозь они не знали покоя. В сущности, наедине им не удалось быть еще ни разу, но ни один из них и пальцем не шевельнул, чтобы такая встреча состоялась: оба и жаждали, и страшились ее.

Переговоры с Горчаковым, по крайней мере дважды в день, только усугубляли напряжение. Работа на станции двигалась с невероятной быстротой, и этот необычный рабочий темп озадачивал Горчакова и как будто еще больше отдалял их от него. Они жили в своем обособленном мире — все за его пределами становились как бы чужими, нереальными.

Снег шел несколько дней, прекращаясь лишь ненадолго, а ветер и вовсе не утихал. Он выл, барабанил в окна, в одних местах наметал громадные причудливой формы сугробы, в других срывал весь снег, обнажая камни. Окна с той стороны здания, откуда дул ветер, были совершенно залеплены снегом, с подветренной стороны оконные стекла были прозрачны, но за ними стояла сплошная белая мгла, и лишь в минуты затишья сквозь эту мглу проглядывало свинцово-серое небо. По всему дому гуляли сквозняки, как будто ветер прорывался даже сквозь камень.

К морозу Ник привык довольно скоро и вообще быстро приспособился к пребыванию на большой высоте. К чему он не мог привыкнуть, это к присутствию Вали, к тому, что постоянно видит ее, чувствует, как она проходит мимо, почти касаясь его, к тому, что она спит в дальнем конце этого дома у той же стены, что и он.

Он пытался чем-нибудь отвлечься, но не было места, куда бы он мог уйти. Дом, действительно замечательный, все же не был так колоссален, как показалось Нику в день приезда. На самом деле комнаты были меньше, потолки ниже, и первое впечатление, что размеры здания необъятны, сменилось другим: Ник увидел, что оно построено по очень строгому, точно продуманному плану, как строят корабли. Кроме него и Вали — те, кто приехали с ней из Москвы, пока еще оставались на базе,— на станции работало всего двенадцать человек: Геловани, врач, двое студентов, остальные — обслуживающий персонал, люди того типа, что выполняют подсобные работы во всех научно-исследовательских институтах: у них ловкие руки, особое чутье к механизмам и подлинное отвращение ко всякой рутине.

С ними Ник сталкивался мало: работа, которую предстояло проделать, не могла быть поручена механикам, слишком много времени ушло бы на инструктирование — втроем, с Валей и Геловани, они могли справиться быстрее. Дело само по себе было привычным, но оно могло бы дать Нику особое удовлетворение: это было окончательной проверкой, медленным крещендо, последним парадом сил перед главным ударом. Все репетиции были уже позади. Приборы действовали именно так, как надлежало им действовать во время эксперимента, а уж экспери-

мент решит все. И Ник мучился тем, что теперь, когда это было особенно важно, он не мог полностью отдаться делу.

Со стороны, однако, казалось, что он с неослабевающим интересом вникает в мельчайшие подробности. Нельзя допускать никакой случайности, настойчиво повторял он. Каждая вновь прибывшая деталь проверялась — необходимо было убедиться, что во время перевозки ничто не пострадало. Но и целиком поглощенный работой, Ник в любой момент знал, где Валя: стоит напротив него у стола или где-нибудь сзади в углу лаборатории. Он определял это, почти не глядя, от него не ускользало ни одно ее движение.

Мысли о Вале он ощущал как осязаемое препятствие в ходе работы и тратил неимоверные усилия, чтобы преодолеть его. Но казалось, в самых кончиках его пальцев была заключена интуиция. Ему прежде никогда не приходилось иметь дело со счетчиками Гейгера данного образца, но, чтобы ускорить их проверку, он придумал простые гибкие зажимы, которые могли бы удерживать на месте легко гнущиеся электроды, когда дело дойдет до пробного включения высокого напряжения. Он делал эскиз за эскизом, пока не добился простейшей конструкции: чтобы изготовить зажимы, требовалось лишь сделать два оборота на фрезерном станке и просверлить дрелью четыре отверстия. Геловани понес эскиз в мастерскую.

В его отсутствие Ник и Валя продолжали работу, так и не обменявшись ни словом, испытывая мрачное удовлетворение от того, что в комнате помимо них находятся еще двое студентов-старшекурсников, с головой ушедших в свои занятия. Напряжение давило, как тяжесть, мускулы у Ника и Вали сжались, сопротивляясь этой тяжести. Они могли тронуть друг друг за руку, поговорить шепотом и уж во всяком случае поглядеть друг на друга. Но ничего этого они не сделали. Через десять минут вернулся Геловани с готовыми зажимами — теперь достаточно было всего двух человек для проведения сложной работы. Геловани постоял, посмотрел, пока Ник и Валя проверяли зажимы, и принял их тягостное молчание за поглощенность делом.

— Ну, я вам пока больше не нужен,— сказал он немного погодя.— Пойду обратно в мастерскую, начну сборку рам. В помощь возьму обоих ребят.

Он позвал студентов, и они все трое вышли из лаборатории. Их удаляющиеся шаги на лестнице отозвались гулким эхом в стучащем, как молот, сердце Ника. Наконец они с Валей остались совсем одни на этом ледяном острове, вскинутом куда-то в небо, где кружила снежная буря.

Ник видел, что с Валей происходит то же самое, что и с ним, потому что краски сбежали с ее лица, хотя ни выражение его, ни темп ее работы нисколько не изменились. Она только не переставая облизывала губы и прижимала руки к горлу, как будто ей нечем было дышать. И оба по-прежнему молчали. Приборы и экраны один за другим давали показатели, и говорить не было необходимости. Но молчание Ника и Вали было лишь выжиданием.

Наконец Валя не выдержала. Руки ее беспомощно повисли, она могла лишь стоять и смотреть на него.

— Не могу я работать, когда вы здесь,— сказала она.— Бесполезно и пробовать. Не могу.

Ник обошел вокруг стола и приблизился к Вале. Как будто не в силах сдвинуться с места, она только следила за каждым его движением. Потом закрыла глаза. Тело ее стало безвольным. Ник притянул ее к себе — оба измучились томительной неопределенностью и теперь

были глухи и немы перед протестами совести, которая не хотела признать, что самое главное — это они сами и их желания. Они пришли из разных миров. Хорошо ли они знали и понимали друг друга? Сейчас все это было им безразлично. Пойдут ли теперь их жизни вместе или врозь — сказать было невозможно, да и не стоило задавать себе таких вопросов. Существовало только одно — данное мгновение, которое все время отодвигалось и отодвигалось и потому стало невыносимым бременем. Они оба приняли его с чувством усталого облегчения. Валя совершенно обессилела, она бурно дрожала в своей толстой теплой жакетке. Прильнув к Нику, она отрывисто шептала слова, которых он все еще не понимал, заверяла его в чем-то с безудержной страстностью, шедшей из самой глубины ее души, но все, что он слышал — что он хотел слышать,— это переливы ее голоса, и он впивал их, охваченный неутолимой жаждой, которой томился всю жизнь. Он выключил свет, закрыл дверь, и они, не стыдясь, не опасаясь более, унеслись за тысячу миль и за тысячу лет от своих прежних жизней и от того, что их ждало впереди. Они были совершенно одни, где-то во мгле белых небесных метелей.

Глава двенадцатая

1

Они преступили черту, еще не успев до конца осознать это, хотя то, что случилось, подготавливалось уже давно и было неминуемо. И оттого, что все произошло так стремительно, они еще не представляли себе всех последствий. Ник знал, что обманул доверие, но у него появилась какая-то твердость, он и не думал оправдываться. Что случилось, то случилось. Все вышло не так, как им всем хотелось, но предаваться раскаянию было бы пустой сентиментальностью. Между ним и Валей долго нагнеталась страсть, ее надо было изжить и впоследствии, быть может, расплатиться за это.

На пятую ночь снегопад прекратился, сквозь мчавшиеся тучи засверкали звезды, но ветер дул с прежней силой и не менял направления. Считать, что буря улеглась, было преждевременно. И действительно, через несколько часов снова посыпал снег, и наступившее утро было окутано белым туманом, а потом снова закрутила метель и не стихала весь день и всю следующую ночь. Снегом замело все, что было за стенами дома, и уже не верилось, что за их пределами что-то реально существует. Прошло еще три таких дня, и стало казаться, что станция полностью отрезана от остального мира.

Время ощущалось как застывшая тишина, сквозь которую неуклонно продвигается вперед работа. Она начиналась в семь утра, а заканчивалась иной раз только к девяти, а то и к десяти часам вечера. Лишь тогда, усталые, с воспаленными глазами, еще не скинув с себя деловой озабоченности, все они тянулись в комнату отдыха, чтобы немного встряхнуться за игрой в шахматы или карты — Ник научился играть в «дурака»,— или послушать музыку у радиоприемника в одном углу комнаты, или же посидеть у телевизора в другом ее углу, посмотреть фильм — телевизионные передачи из Тбилиси были лучше радиопередач из Канаури. В музыку врывалось щелканье и глухие удары биллиардных шаров о борт и частая перестрелка пинг-понга. Допоздна не засиживались, хотелось только как-нибудь скоротать остаток дня; и обычно часам к одиннадцати все отправлялись спать. Но для Ника, у которого

дни также целиком проходили в работе, вечера были наполнены томительным нетерпением.

Каждую ночь, выждав, когда все разойдутся по своим комнатам, он возвращался в лабораторию, чтобы еще раз убедиться, сколько сделано за день, и сосредоточить мысли на завтрашней работе. Но и это не успокаивало — нервы его были взвинчены, желания томили его.

Он мог встречаться с Валей только глубокой ночью. Их встречи проходили почти в полном молчании. Они оба были как одержимые.

Однажды Валя шепнула: «Как я ненавижу, когда надо что-нибудь делать украдкой! У меня такое чувство, что всех, к кому я всегда хорошо относилась, я обратила в своих врагов и сама как будто раздвоилась».

Днем, за работой, у них была возможность поговорить, но они никогда не заговаривали о своих ночных встречах, хотя оба знали, как много значат один для другого. Это сказывалось в случайных взглядах, которыми они обменивались, в том, как они искали повода мимоходом коснуться друг друга.

Однажды утром Валя вошла в лабораторию, держа на ладони маленький голубоватый шарик, подвешенный на золотой цепочке. Это был тот крошечный глобус, который подарила ему Руфь, когда они завтракали вместе в Нью-Йорке накануне его отъезда в Европу. Ник хранил его в футляре для бритвенных принадлежностей, и каждый день на глаза ему попадался среди других привычных предметов голубой шарик — символ бесчисленных, глубоко пережитых воспоминаний. Когда он увидел его в руке у Вали, увидел, как она медленно поворачивает его, рассматривая в резком свете единственной в комнате электрической лампочки, разбирает начертания на нем и, быть может, угадывает тайный его смысл, прошлое и настоящее вдруг сошлись для Ника так неожиданно, что у него сжалось сердце от нежности к Вале. Шарик валялся на полу в ванной, его нашла уборщица и принесла Вале, подумав, что, быть может, это часть ее серьги. Она положила его на Валину кровать вместе с запиской. Валя сразу же поняла, чей это брелок, а теперь угадала и кое-что другое.

— Он, должно быть, очень старинный,— сказала она, когда Ник объяснил ей, что это глобус.— Еще когда не были известны очертания материков. И не обозначены ни Япония, ни Австралия.— Валя с грустью поглядела на шарик и опустила его в руку Ника — крошечный глобус, еще хранивший тепло ее прикосновения.— Это прощальный подарок, верно?

— Как ты догадалась?

— Такую вещицу могла дать тебе только женщина, которая очень хорошо тебя знает. Знай она тебя хуже, она сделала бы тебе более интимный подарок и это было бы ошибкой.

— Ты все еще считаешь меня человеком холодным? — спросил он, чуть улыбнувшись.

— Я знаю, что ты не такой. Но мне и сейчас непонятно, что является твоей истинной страстью.

Он обвел рукой лабораторию со всем, что в ней находилось.

— Я же говорил тебе и опять повторяю: все это. Вот то, без чего я не мыслю свою жизнь. И я пообещал, что, когда я вновь найду себя в этом, я выброшу цепь и сохраню весь мир.— Он посмотрел ей прямо в глаза и сказал ровным, ничего не выражающим голосом: — Мне дала его жена, когда мы виделись с ней в последний раз. Это как бы маленькая шутка, понятная только нам обоим.

— Но ты все еще бережешь подарок.

— Потому что это было не только шуткой,— сказал он коротко.

— И когда же ты выбросишь цепь? — не успокаивалась Валя.

Он пожал плечами и снова занялся работой.

— Кто знает,— сказал он.

— Ты говоришь так, будто не надеешься, что этот день когда-нибудь наступит.

— Сейчас я занят работой и не думаю о тех днях, которые впереди. Если суждено прийти такому дню, значит, он придет.

— Не понимаю я тебя,— вздохнула Валя.— Как можно вести такую...— Она произнесла слово, Нику незнакомое, и с той властностью, какую дала ей их новая близость, настояла на том, чтобы Ник отложил работу и посмотрел слово в словаре, потому что ей хотелось, чтобы он непременно понял. Ник посмеялся, но уступил.— ...такую *творческую* работу, если у тебя нет веры в будущее? Как можешь ты начинать вот этот эксперимент, если в глубине души не уверен, что успеешь его закончить? Или что после тебя будут жить люди, для которых результаты его будут иметь значение?

— Валя, не мучай меня. Всю весну и все лето эти же вопросы я задавал одному человеку, который уговаривал меня сделать то, чего я делать не хотел. Мне неприятно было задавать такие вопросы, еще менее приятно их выслушивать. У меня нет на них готовых ответов. Я просто выполняю то, что нужно выполнить. Ну, принимайся за работу,— сказал он с деланной строгостью.— Нельзя быть такой болтушкой. Помнишь, что сказал о тебе Горчаков в тот вечер, когда мы с тобой познакомились?

Он хотел только пошутить, но шутка не вышла: упоминание имени Горчакова всегда действовало на Валю отрезвляюще. Она умолкла. Ник подумал растерянно, что он невольно как бы дал ей пощечину своим напоминанием о том, что он существует, этот далекий внешний мир. Последнее время Валя как-то осунулась, была более, чем обычно, задумчива и сосредоточенна. После одного из разговоров с Горчаковым по радио она работала несколько часов подряд, не проронив ни слова.

— Он влюблен в тебя,— сказал вдруг Ник, не выдержав.— Как ты можешь говорить, что не знаешь этого?

— Потому что я этого не чувствую.

«Неужели ты не понимаешь, что это значит для него — то, что мы с тобой здесь вместе?» — хотел он было сказать, но вовремя остановился: зачем мучить ее и дразнить себя? И все же спросил:

— А как ты думаешь, почему он так рвется разговаривать по радио?

— Это не я, а ты ничего не понимаешь,— сказала Валя устало.— Он звонит, чтобы убедиться, что ты тут занят, не скучаешь. Дело не во мне. Ведь не я, а ты в чужой стране, далеко от родины. Ты одинок, и предполагается, что тебе нужны временные развлечения.

— И он думает, что это все, что мне требуется?

— Нет, конечно, он так не думает, он знает, что тебе нужно не только это, что ты действительно хочешь здесь работать. Ведь он перевернул все на свете, чтобы добиться для тебя разрешения приехать сюда, и теперь он думает: «Ты хотел работать? Ладно, так работай же!» Я не намерена говорить о нем,— сказала она вдруг отрывисто.— И вообще ни о чем.

Но это была неправда. Валя хотела все разузнать, выпытать, о чем думает и что чувствует Ник, а ему именно об этом говорить было трудно.

— Ну объясни, почему тебе это трудно,— настойчиво повторяла она, в свою очередь не понимая, что причиняет ему боль.

— Есть вещи, которых тебе не понять,— сказал он, не зная, как убедить ее.

— Потому что я молода и неопытна? — спросила она преувеличенно спокойно, и, хотя она сердилась на него, Нику стало искренне жаль ее.

— Валя, не заняться ли нам работой? — сказал он ласково.

— А я вовсе не так уж молода и неопытна. Я ведь сразу сообразила, кто подарил тебе маленький глобус.

— Лучше оставим прошлое в покое. Я не стану задавать тебе никаких вопросов, и ты тоже меня не спрашивай — хорошо?

— Ну, разумеется,— ответила она кротко.— Твоя жена была первой женщиной, которую ты любил?

Ник поднял на нее глаза, но Валя в эту минуту смотрела не на него, она заглядывала в цилиндр счетчика, проверяя сохранность нити накала.

— Да,— сказал Ник очень резко, желая показать, что намерен прекратить разговор, но Валю это не остановило.

— А после нее?

— Что после нее?

— Был у тебя еще кто-нибудь?

— Валя, ведь мы, кажется, решили не затрагивать такие темы.

— Мы никаких тем и не затрагиваем. Я просто хотела узнать, как американцы относятся к женщинам, только и всего.

— В Америке семьдесят миллионов мужчин, и все они чуточку между собой различаются. Вообще же мужчины в Америке точно такие, как в России.

— Так, значит, у тебя был и еще кто-то.

— Конечно, был и еще кто-то,— сказал он мягко.— Валя, я ведь у тебя ничего не выпытываю.

— Я знаю. Вы еще любите друг друга, ты и та другая женщина?

— Я люблю тебя,— проговорил он быстро.— То было давно.

— Давно? Следовательно, после нее были еще и другие?

— Знаешь, Валя, когда Мари Кюри работала в лаборатории, она не задавала Пьеру подобных вопросов. И ее дочь не задавала таких вопросов Жолио, и, вероятно, Лизе Мейтнер никогда...

— И много их было, других женщин? — не унималась Валя.

— Очень много,— сказал Ник раздраженно.— Я не веду им счета. Валя, прекрати! Зачем ты все это говоришь?

— Если я так неопытна по сравнению с тобой, так молода...

— Я об этом ни слова не говорил. Это ты сама сказала.

— ...вполне естественно, что мне любопытно узнать, откуда у тебя такое знание женщин.

— Никакого знания женщин у меня нет. С теми немногими, с кем мне приходилось сталкиваться, я ухитрился сделать все те ошибки, какие только может совершить мужчина. Поверь мне, у меня нет никакого права...— ему пришлось закончить по-английски: — права судить и осуждать.

— Судить и осуждать? — повторила она за ним.

— Да, судить и осуждать,— сказал он нетерпеливо.— Ну, понимаешь, судья судит, осуждает, решает,— пытался он объяснить ей по-русски.

— Что же ты решил? — спросила она.— И что тебе надо было решать?

— Ничего,— сказал он беспомощно.— Валя, у нас нет времени рыться в словаре.

— Слушай, я хочу, чтобы ты знал,— продолжала она.— Я не так неопытна, как ты полагаешь.

И она рассказала ему, что в десятом классе один мальчик был так страстно в нее влюблен, что она боялась, что он и в самом деле застрелится в Сокольниках, как грозился. И потом в университете был один студент-химик, из Архангельска. И потом еще один, из Таганрога, его звали Володя. Она этого Володю любила, но, когда она однажды вообразила, что забеременела, Володя был в такой панике, что ей с тех пор даже смотреть на него стало противно. Валя стремительно выкладывала ему все эти нехитрые увлечения, с трудом, сердито, преодолевая неловкость. Сперва Ник и сам было рассердился на нее, но тут же его охватило чувство нежности к ней и сострадания. Его тянуло обнять ее и утешить, как стал бы он утешать ребенка, который ломает свою гордость, прикидывается не тем, что он есть на самом деле, и все для того, чтобы старшие дети, нетерпеливо его отталкивающие, согласились принять его в игру.

Между ними то и дело возникали размолвки и недоразумения, и каждый раз после этого они смотрели друг на друга растерянно, удивляясь, как это можно не понимать того, что так ясно и очевидно. Валя росла в постоянном общении с людьми, все время чувствовала свою связь с ними — Ник рос один. То, что он считал отрадной возможностью побыть наедине, Валя воспринимала как тягостное одиночество. У нее была потребность в руководстве хотя бы в форме советов — в нем это вызывало инстинктивное недоверие.

Днем, какие бы длинные разговоры они теперь ни вели, они не прекращали работу, и если даже иногда пререкались, то всегда старались вовремя остановиться, чтобы дело не дошло до обид, хотя частенько случалось, что спохватывались они слишком поздно. Ночью разговоров не было — только шепот, отрывочные слова, погружение в жаркую страсть, которая снимала все, кроме самого ощущения близости. А затем — неизбежная разлука, поспешное бегство по темному зданию, в котором завывал ветер. Валя считала это для себя унизительным, хотя никогда прямо об этом не говорила, так же как и он старался не взваливать на нее лишней душевной тяжести, которую втайне чувствовал: ведь он нарушил обещание, данное Горчакову,— обещание, бывшее условием его поездки сюда.

2

Но вот наступило утро, поразившее всех ослепительным солнцем. Солнце врывалось морем света сквозь чистые, незавьюженные окна, оно сверкало золотыми искрами сквозь лохматую завесу снега, налипшего к стеклам с наветренной стороны. С нижнего этажа слышался смех, мужские голоса, топот ног, обутых в валеные сапоги,— это начали разметать сугробы, завалившие проходы между строениями. Какая ирония, подумал Ник, то, что для него было безмятежным уединением, уходом от мира, слишком обильного противоречивыми требованиями, всем остальным показалось лишь пленом. Да, именно так: они радовались освобождению в той же мере, в какой его это печалило. И тем не менее он невольно почувствовал удовлетворение: фактически вся аппаратура смонтирована, теперь можно приниматься за ту наиважнейшую работу, которую предстояло проделать уже вне здания.

Прежняя жизнь с силой врывалась в этот замкнутый мирок. Ник почувствовал это особенно остро, когда, войдя в столовую, увидел, к великому своему изумлению, что во главе стола сидит Горчаков, раскрасневшийся и решительный, и деловое обсуждение уже в полном разгаре. Горчаков прошел на лыжах почти пять часов подряд, он вышел в горы в два часа ночи, как только погода прояснилась. Не рвением к делу, а отчаянием был продиктован этот поступок, и Ник немедленно прочел во взгляде Горчакова немую ярость, хотя Горчаков как будто вполне хладнокровно рассказывал о том, что успел сделать за это время.

Через несколько минут пришла Валя. При виде Горчакова она на мгновение остановилась, лицо ее побледнело, она посмотрела вдруг каким-то отрезвленным взглядом. Горчаков глядел на нее не улыбаясь, пока она подходила к столу. Пальцы его, державшие забытую папиросу, как будто оцепенели: дымок от нее тянулся ровной, непрерывающейся нитью и только потом дрогнул и рассеялся на легком сквозняке.

— Ну, Валечка? — проговорил Горчаков сухо.

— Как вы сюда добрались? — спросила она. Горчаков объяснил, и Валя сказала: — Если бы кто другой посмел так сделать, вы бы подняли бог знает какой шум. Это было неумно с вашей стороны, это было опасно.

— Послушайте,— начал он внушительным тоном, как если бы всякая критика с ее стороны, будь то даже проявление заботы о нем, была для него невыносима.— В те дни, когда сюда только и можно было добраться что на лыжах, никаких несчастных случаев не бывало. Поднимались лишь те, кто знали горы и относились к ним с уважением. А вот когда проложили дороги и появились «джипы» и грузовики, тогда люди стали вести себя по-идиотски, вообразив, что это не горы, а лужайки для пикников. Можете обо мне не беспокоиться, я в горах не новичок. И я знаю, как они действуют на человека — толкают его и на подвиги, и на безумства. Мне это хорошо известно, то, что испытали другие, в свое время в какой-то мере испытал и я. Нет, уж поверьте мне, если есть на свете место, хорошо мне известное, так именно эта гора.— Он встал, досадуя и сердясь на себя за такую вспышку чувств, и сказал резко: — Пойду посплю часок, сейчас я никуда не гожусь. А потом соберемся, посмотрим, как у нас обстоят дела.

— Так как же у нас обстоят дела? — обратился Ник к Вале, когда они вместе поднялись в лабораторию.

Чтобы довершить сборку прибора, требовалось всего несколько часов. Геловани со своими помощниками уже установили на первом этаже раму и теперь располагали на ней счетчики в необходимом порядке. Валя посмотрела, что еще оставалось сделать.

— Пожалуй, даже успеем к тому времени, как он проснется,— сказала она.

— Я не это имел в виду.

— Горчаков знает,— сказала она тихо.— Он тоже, когда спрашивал, имел в виду не работу. И ты прав: он меня любит. И очень страдает.

— И ты в самом деле никогда не замечала этого прежде? — спросил Ник, внутренне негодуя, что дал себя разубедить в том, в чем почти не сомневался.— Но ты была так уверена, что я ошибаюсь!

Валя беспомощно покачала головой.

— Да, верно, но оказалось, что ошибалась-то именно я. До недавнего времени я была совершенно слепа. Ничего не понимала, словно ребенок. Я еще не была по-настоящему женщиной. Ты на меня сердишься?

— Нет, я сам отвечаю за свои поступки,— сказал Ник, вздохнув и медленно покачав головой.— Как мужчина, я понимал его лучше, чем ты, и мне следовало помнить об этом. Я не сержусь, я только очень сожалею.

— О том, что произошло между нами?

Она сказала это спокойно, почти ласково, но ее пристальный взгляд выражал другое.

— Нет, ну конечно же нет! — ответил Ник быстро.— А ты?

Валя покачала головой.

— Нет,— протянула она, но еще слишком многое осталось недосказанным.— Так оно должно было случиться. Должно.

Ник ждал, он угадывал, что Валя недоговаривает что-то очень важное, а про себя она думает: «Нет, я не сожалею, и все же...»— и не находил, что сказать. Он терялся с Валей. Отношения их стали предельно интимны, но настоящей близости, как и прежде, не было. Они кинулись друг к другу, ничего не видя, как слепые, полагая, что интуиция и сама жизнь помогут им сблизиться, но они по-прежнему тщетно тянули один к другому жадные, ищущие руки — касания были мимолетны и случайны. Если одному из них вдруг хотелось ухватиться крепче и удержать что-то, всегда оказывалось, что в руках у него пустота. И снова тоска и растерянность, оттого что ожидания непонятно почему опять не оправдались.

Ник мог бы убедить себя, что это только потому, что все делается украдкой, и встречи всегда торопливы, и обоих угнетает одна и та же мысль: втайне они знали, что впереди на разных жизненных путях их обоих ждут бури людского осуждения.

Он мог бы найти десятки причин, чтобы обойти основную горькую правду: они остались чужими, как и прежде, хотя оба всем сердцем надеялись, что, когда они будут вдвоем, их озарит солнце и растопит все различия между ними. Мало ли людей начинает жизнь вместе с еще меньшими основаниями, чем у них, принимая это немногое за самое лучшее, что может предоставить им судьба. Они чувствовали, что в их отношениях чего-то не хватает, и ждали невозможного — что все недостающее возместит время. Но Ник знал, что не хватает слишком многого и что в настоящей любви это приходит уже с самого начала. Ни привычка совместной жизни, ни упорная воля, ни даже частые уходы в яростное наслаждение страстью, при которых акт любви становится скорее дурманом, нежели завершением, не могут создать те нерасторжимые узы и гармонию, которых не было сначала.

Ник старался не смотреть в глаза этой правде, уверенный, что она открыта только ему одному. Пусть она останется в нем, это самое меньшее, что он обязан сделать для Вали. Но сейчас, угадав скрытый смысл ее недосказанного «и все же...», он видел, что и Валя теперь поняла: обещания, которыми манит нас жизнь, если их принимать слишком доверчиво, могут оказаться отнюдь не тем, за что их принимали.

Но сделанного не воротишь. Не мог же он с безмятежным видом отойти от Вали, спокойно заявив: «Я ведь предупреждал тебя». Надо было щадить ее гордость, надо было подумать о ее будущем, и о том, как теперь смотреть в глаза Горчакову, и о предстоящей работе. И почему-то вышло так, что эти проблемы оказались на первом плане, закрыв собой то, зачем он сюда приехал. Как он сможет обрести свое «я» во всей этой неразберихе, Ник решительно не представлял себе.

Перед отъездом из Москвы он сказал Анни: «Я все ближе и ближе к тому, что ищу. И на меньшее я не соглашусь». Оглядываясь назад, он понимал, что никогда в жизни не произносил ничего глупее этих слов.

Он видел теперь, что готов помириться и на значительно меньшем.

Ник и Валя работали рядом молча, раненные друг другом, растерянные, погрузившись каждый в свои мысли и в то же время сосредоточив пристальное внимание на деталях работы, которую оставалось довершить. Наконец пришел Геловани и сказал, что Горчаков проснулся и что через пять минут в комнате для семинарских занятий состоится собрание.

— Дайте нам еще десять минут,— сказал Ник.— Тогда у нас все будет совершенно готово.

— Ты можешь идти,— сказала Валя, когда они снова остались одни.— Я сама закончу.

— Нет,— сказал Ник спокойно.— То, что сделано, сделано нами вместе. И пойдем мы тоже вместе.

3

Он вошел в комнату следом за Валей. Там их уже ждали Горчаков, Геловани и двое студентов, оба с сияющими от восторга глазами, потому что оказались в обществе старших и руководителей. Горчаков был весь поглощен делом: он распорядился с завтрашнего дня приступить к установке аппаратуры на место. Вопрос заключался в том, каким образом распределить три новых прибора. В конце концов решили, что их следует ставить в непосредственной близости к трем прежним, уже действующим, чтобы можно было сверять показания прежних и новых приборов одновременно. Ник указал на обстоятельство, замеченное им в первый же день: быть может, охвачено недостаточное пространство. Горчаков метнул на него короткий взгляд, но тут же подошел к доске и начал вычисления. Рука Горчакова, когда он писал, как будто не дрожала, но мел все время крошился у него в пальцах, он сжимал его слишком крепко.

— Опыт даст нужные результаты, если у нас будут дополнительные испытательные приборы, отдаленные друг от друга на...— говорил он и продолжал быстро исписывать доску, вычисляя расстояние. И вдруг умолк: необходимое расстояние оказалось больше поперечника чаши.

Все молчали, это было крушение. Но восприняли его каждый по-своему. Валя задумчиво покусывала губу и смотрела не отрываясь на роковые цифры. Геловани тихонько посвистывал сквозь стиснутые зубы, потом поймал арифметическую ошибку в расчетах Горчакова, но это дало изменения на какие-нибудь десять процентов.

— Что, если сделать консольную балку и выставить ее за край обрыва? — предложил Ник.

— Нет, это практически невыполнимо. Но мы упустили из виду возможность использовать контейнер по ту сторону южного пика. Если нам доставить туда второй монитор,— добавил он спокойно,— этого будет достаточно. Тогда все в порядке.

— Но как его туда доставить? Снег очень глубокий! — возразил Геловани.— Никакой трактор туда не доберется. Ведь старый прибор доставляли туда по частям, вручную, и делали это в летнее время.

— Я могу пройти туда на лыжах,— предложила Валя,— а все оборудование перетащу на санках.

— Вы? Одной вам никоим образом не справиться,— сказал Горчаков.— Потребуется по меньшей мере двое, чтобы по частям все туда переправить и на месте собрать. Кроме того, это слишком большая тяжесть.

— Я могу помочь,— вызвался Ник.— Вдвоем мы справимся.

Горчаков круто повернулся, как будто его ударили. Лицо у него потемнело.

— Ни в коем случае! — сказал он резко.— Абсолютно исключено. Вы недостаточно знакомы с горами. Точно так же, как и Валя, кстати сказать.

— Совершенно очевидно, Митя, что пойти надо нам с тобой,— вмешался Геловани.— Оба мы лучше всех знаем горы, знаем, где стоит контейнер, и мы с тобой...

— Нет,— снова упрямо возразил Горчаков, и Ник тотчас угадал, что у него на уме: если они с Геловани уйдут, Валя и Ник снова останутся вдвоем проверять данные, получаемые во время эксперимента. Студентов, разумеется, посылать было нельзя.

— Есть еще один вариант,— сказал Ник Горчакову.— Пойдем мы — вы и я.

Горчаков вскинул на него глаза. Это было бы идеальным выходом, но, подумав, он опять отрицательно замотал головой.

— Почему же нет? — не сдавался Ник.

— Из политических соображений,— ответил Горчаков.— Случись что с вами, не оберешься неприятностей. Ведь вы все-таки гость, постороннее лицо. Я несу за вас ответственность. Вообразите, что с вами стрясется серьезная беда — вы понимаете, какие заголовки появятся в газетах: «Американский физик-атомщик исчез в Советском Союзе!» Поверьте, в настоящее время это было бы весьма некстати.

— Что бы там ни говорила пресса,— возразил Ник хладнокровно,— оба мы с вами отлично знаем, что это наилучшее решение.

— Да, будь обстоятельства иными,— согласился Горчаков.— Но опять-таки разрешите вам напомнить, что мы живем еще не в идеальном обществе. Вы должны понять, как необычен уже тот факт, что вы приехали сюда. В Академии дали согласие на ваш приезд только после весьма долгих раздумий, и, смею вас уверить, в Москве кое у кого дух захватывает при одной мысли, что с вами может произойти что-нибудь неладное. Каждый благополучно прошедший день приносит еще один вздох облегчения.

— Но вы прекрасно знаете, что я не собираюсь исчезать и вообще ничего не случится,— урезонивал его Ник,— или, быть может, вы думаете, что вы сами вдруг исчезнете? — спросил он сухо и насмешливо.

— Я? — Горчаков гневно сверкнул на него глазами.— Нет, мой дорогой, я-то уж решительно не исчезну.

— Вот и отлично,— сказал Ник.— Значит, пока я с вами и делаю одно с вами дело, я тоже не исчезну.

— Давайте я поеду с вами, Митя,— вмешалась Валя. Она больше не могла слушать эти пререкания.— Уж, конечно, мы с вами вдвоем великолепно справимся.

— Мы с вами? — Горчаков взглянул на нее и криво усмехнулся, и эта усмешка выразила все: гнев, обиду, презрение, тоску, оскорбленную гордость и невольную жалость — так сложны были его чувства в эту минуту, что он сам не смог бы их определить.— Нет, Валя,— сказал он мягко, но сухо.— Там, возможно, придется работать несколько дней. Может, даже надо будет остаться там надолго, жить и работать на площади меньше пяти квадратных метров. Топлива там мало или вовсе нет и почти что нет света. Брать вас с собой туда еще более неполитично, чем Реннета.— Он уже спокойнее, более деловито посмотрел на Ника.— Пойдем мы с вами,— неожиданно буркнул он: решение его пришло внезапно.— Вам известно все — риск, ответственность, условия. Но

вы обязуетесь безоговорочно отдать себя в мое распоряжение и не устраивать дискуссий.

— Не написать ли мне на всякий случай письмо, перед тем как мы отправимся? Я изложу в нем все обстоятельства дела, чтобы и с вас, и с Академии была снята всякая ответственность за меня.

— Я вижу, на вас это произвело впечатление — что с вами может что-нибудь случиться,— сказал Горчаков насмешливо.— Ничего не случится. Уж если я беру вас с собой, то можете быть уверены, я позабочусь о том, чтобы вы вернулись обратно живой и невредимый.

4

Погода оставалась все такой же ясной, и, когда на следующее утро засверкало ослепительно яркое солнце, Горчаков принял быстрое решение: им с Ником нужно сделать предварительную разведку, проверить, есть ли возможность после метели добраться до той стороны вершины. Тем временем откопают совершенно занесенные снегом вездеходы. План Горчакова сводился к следующему: они вдвоем с Ником возможно быстрее перетащат туда прибор на санках и соберут его вручную на месте, а остальные, используя тракторы, смогут установить уже смонтированные приборы в контейнеры, расположенные вокруг озера.

Ник надеялся перед уходом повидаться с Валей, но случая не представилось. Она все время была вместе с Геловани и то ли действительно не могла от него отойти, то ли не хотела. На душе у Ника было неспокойно, но он понимал, что лучше ни на чем не настаивать.

Южный пик, являвшийся как бы передней лукой седла, круто поднимался на сотни футов сразу же за озером. Он торчал, как гигантский, высеченный из камня палец, указующий в небо. Ник не представлял себе, что делается по другую его сторону и как туда добраться. Он целиком положился на Горчакова и молча двигался за ним на лыжах, обходя озеро. Было свежо, но солнце припекало, и к тому времени, как они дошли до подножия утеса, Ник весь покрылся испариной. Над ним было открытое небо, внизу — почти отвесная круча. Заглянув в эту бездну, Ник в первый момент почувствовал, что у него подкашиваются ноги и кружится голова. Подавив чувство страха, он заставил себя не думать о том, что там внизу. Каменная громада пика была обнажена, ветер развеял с него весь снег.

Горчаков встал на колено, расстегнул крепления и снял лыжи. Ник проделал то же самое. Затем Горчаков взял веревку, одним ее концом обвязал себя, другим — Ника, использовав только половину веревки,— другую половину ее он намотал свободными кольцами на левую руку. Никаких видимых признаков тропы не было, однако Горчаков уверенно шагал вверх по склону — снег здесь лежал толщиной не больше чем в дюйм. Путь был не так крут, как это сперва показалось, но Нику, который шел, слегка наклонясь вперед, было уже ясно: раз они захватили с собой веревки и ледорубы, значит, подъем и спуск по ту сторону так трудны, что лучше об этом и не думать. Горчаков, поднявшийся выше, остановился, должно быть, передохнуть. Ник нагнал его и вдруг замер, охваченный невольным ужасом: далеко-далеко вниз, начинаясь почти от самых кончиков его башмаков, уходил голый скалистый обрыв длиною в добрую милю. Вершины деревьев где-то внизу казались волосками зубной щетки. А впереди в бесконечной воздушной пропасти возвышались другие горные пики, сверкающие в утреннем солнце. Кругом вздымались бесчисленные вершины, как застывшие в вечной неподвиж-

ности волны,— мощные колоссы, перед которыми сама жизнь казалась мелкой и незначительной.

Подавленный этим необъятным простором, Ник стоял один в вышине, куда и птицы не долетали. Все было недвижимо, и даже не было в небе облачка, которое сняло бы ощущение беспредельности небесной шири. Казалось, границы этого края недосягаемы и нереальны, и нельзя себе представить, что́ лежит за его пределами.

Горчаков уже повернул и шагал дальше вниз, по склону. Оказалось, что его фигура и снежный пласт безупречной белизны скрывали плоский выступ, шириной, вероятно, не более двух футов. С одной стороны склон горы поднимался совершенно отвесно, с другой обрывался где-то в пустоте, в жуткой, захватывающей дух бездне. Когда веревка натянулась, Ник двинулся за Горчаковым. Он шел, уставясь прямо перед собой: сердце у него бешено колотилось. За следующим поворотом выступ расширился футов до трех, но зато пошел слегка под уклон. Если бы дул хоть малейший ветерок, Ник не был уверен, что смог бы удержать равновесие. Он и так заставлял себя идти вперед только железным усилием воли, еле дыша, так что сжимало грудь, стараясь не поддаться ни паническому страху, ни возбуждающему и пьянящему чувству физической опасности. Нельзя было позволить себе ни то, ни другое. Хотя за все время они не проронили ни звука, если не считать отрывистых распоряжений Горчакова — «вперед», «сюда», «выше»,— Ник безошибочно знал, что Горчаков бросает ему вызов, как если бы прямо говорил ему с холодным презрением: «Ну-ка, покажи, что ты за человек!»

Уступ скашивался то в сторону утеса, то в сторону пропасти, то слегка сужался, то слегка расширялся. Горчаков шагал уверенно, будто по городскому тротуару, но Ник переступал с трудом, старательно отводя глаза от пропасти внизу и от необъятных просторов за нею. Так он шел и шел, осторожно дыша, и вот за очередным поворотом уступ расширился, став площадкой шириной в семь футов, и на этой площадке стоял контейнер — кабина без окон, наполовину занесенная снегом.

Те, кто строили ее, приволокли сюда квадратные глыбы черного камня для стен и алюминиевый лист для крыши — алюминий почти свободно пропускает космические лучи. А также и тепло из кабины, сообразил Ник. Нависший над выступом край скалы служил кабине защитой от снежных обвалов — снег в таких случаях должен был лететь мимо. Но, конечно, кабина укрывала лишь от дождя, снега и ветра, сидеть в ней в такое время года было все равно, что расположиться на уступе под открытым студеным небом. Горчаков без труда отворил дверь — ветер успел смести здесь почти весь снег.

— Ничего, особых сложностей не будет,— сказал Горчаков, заговорив чуть ли не впервые за все это время.— Я опасался, что нам придется откапывать вход в кабину. Как вы думаете,— спросил он вдруг прямо,— сможете вы работать здесь, в этих вот условиях? Никакого позора в том не будет, если скажете, что нет. Большинство, пробыв тут несколько дней или недель, привыкает, но среди нас есть и такие, которым всегда не по себе в горах. И никакой тени на вас не ляжет, ни как на физика, ни как на человека, если окажется, что вам здесь трудно. Я потому и хотел, чтобы вы сперва пришли и сами посмотрели, прежде чем дать согласие работать в таких условиях. Вам стоит сказать лишь слово. А я приду потом сюда с Геловани.

Ник ответил не сразу. Он нарочно повернулся и снова глянул в воздушную пропасть. Ему искренне хотелось проверить себя. Черта

с два станет он разыгрывать из себя героя, чтобы навлечь опасность и на самого себя, и на других. Если у него все плывет перед глазами, стоит ему глянуть вокруг, если в нем сидит непреодолимый страх — пусть он в полной мере почувствует его сейчас. Ник решительно посмотрел вверх, вниз, вокруг себя. Он смотрел и ждал, что ужас будет охватывать его все с большей и большей силой, но, хотя под ложечкой у него сосало и душа замирала от страха, еще сильнее росло в нем сознание того, как одинок и пуст этот стерильный мир, как печальна и жестока безжизненная красота этих необъятных просторов, где крик человеческой страсти утонет в бесконечных льдах пустыни.

Он обернулся к Горчакову и медленно кивнул, выражая согласие.

— Я справлюсь,— сказал он.

Несколько минут спустя, когда они уже шли обратно, Ник удивленно подумал, что не помнит, сказал он Горчакову о своем согласии по-русски или по-английски. Ощущение это было очень странным, и, продолжая шагать по уступу где-то в поднебесье, он на мгновение попытался сосредоточить память, ожидая, что сказанные им слова отдадутся запоздалым эхом. Но он тут же оставил эту попытку, поняв — и это поразило его не меньше,— что на каком бы языке он ни говорил, здесь это безразлично. В такой дали от всего мира единственное, что имело значение, это то, что они поняли друг друга как человек человека.

На другой день рано утром — погода опять выдалась ясная — оборудование вынесли из лаборатории наружу: снежные обвалы обычно случались только к концу дня. Трактор совершил несколько рейсов по краю озера, и вот уже все оборудование оказалось сложенным на продуваемой ветром каменной площадке по эту сторону утеса. Затем его переложили на небольшие санки — эти санки Нику и Горчакову предстояло протащить по открытому узкому уступу до самой кабины. Чтобы не повредить полозьями кабель, его очистили от снега еще при первом переходе.

Им пришлось несколько раз пройти к кабине и обратно, и у Ника всякий раз замирало сердце — ведь все время где-то рядом была смерть, но он уже так привык к этому постоянному ощущению опасности, что стал считать его непременным условием своего существования, так же как и морозный разреженный воздух, которым приходилось дышать, как мелкий пушистый снег под ногами. Горчаков зажег керосиновую печку, чтобы кабина нагрелась и стала более обитаемой к тому времени, когда перевозка прибора будет закончена.

В кабине было слишком тесно, сложить там еще не собранную аппаратуру не представлялось возможным. Решили поэтому, что Горчаков будет продолжать возить ее, а Ник останется здесь, установит раму и поскорее разместит счетчики, чтобы они не путались под ногами. Это означало, что и перевозка и сборка оборудования могла теперь идти лишь в половинном темпе.

Время от времени Ник слышал гул, будто грохотал гром, только звук этот был более устрашающим. Впрочем, небо, которое Ник видел в открытую дверь, оставалось безоблачным. Горчаков привез последний груз, когда день уже клонился к вечеру. Он вошел и закрыл дверь.

— Успеем вернуться дотемна? — спросил Ник.

Горчаков отрицательно покачал головой. Он снял варежки и стоял, грея руки над печкой.

В кабине все гудело от шума генератора, все пропахло нежилыми запахами — керосином, нагревшейся изоляцией, озоном. Глухие каменные стены были слишком холодны, чтобы прислониться к ним спиной, и такой же холодной, как лед, была скала, служившая полом, сидеть на

ней было нельзя. Воздух уже несколько потеплел, но, чтобы не задохнуться, дверь пришлось слегка приоткрыть и так оставить, закрепив ее в этом положении.

— Нет, не успеем,— сказал Горчаков хладнокровно.— Понадобится по меньшей мере часа два, а то и три только на то, чтобы прорубить дорогу в снегу.

— Прорубить? — удивился Ник и медленно повернулся к Горчакову. В кабине не хватало места, чтобы стоять во весь рост.— Что нам надо будет прорубать?

— После того, как я прошел сюда в последний раз, вверху произошел обвал,— ответил Горчаков.— Слишком жаркое солнце. Вы разве не слышали грохота? Временно путь назад отрезан. Но это не опасно. В кабеле у нас есть телефонный провод. Я передам на станцию, чтобы нас не ждали — мы не вернемся, пока не закончим сборку. А когда прибор начнет действовать уже автоматически, у нас будет сколько угодно времени, чтобы выбраться отсюда. Еда у нас есть, и спальные мешки тоже, и работы хватит на несколько дней.— Он с силой похлопал одной рукой о другую.— Ну-с, так! Вы не возражаете, если прежде всего мы вскипятим чайку?

Ник сел на низенькую скамейку, сложил руки и недоверчиво посмотрел на Горчакова.

— Вы хотите сказать, что мы застряли здесь надолго?

— Если вас это сильно тревожит, я доставлю вас на станцию завтра пораньше утром. Но ведь все время существовала опасность, что нам придется побыть тут некоторое время. Вы слышали, как я говорил об этом Вале.

Ник только покачал головой и слегка улыбнулся.

— Чудной вы человек, Митя. Иной раз вы меня буквально ошарашиваете.

— Может быть,— сказал Горчаков невозмутимо.— Но если вы воображаете, что сами вы — кристально ясны или меньший чудак, чем я, то очень ошибаетесь. Второго такого человека, как вы, и нарочно не выдумаешь.

Они поужинали хлебом с сыром, напились чаю. Оба сидели на низеньких скамейках, стараясь не задевать друг друга ногами. Свет давала единственная лампочка без колпака, висевшая чуть повыше уровня их глаз. Поев, они еще поработали несколько часов, затем Горчаков категорически заявил, что пора кончать. Работать ночью не имеет смысла. Не столько сделаешь, сколько зря истратишь электричество. Они разложили спальные мешки по обе стороны от установки. Горчаков снял только башмаки и куртку и нырнул в свой мешок. Он подождал, пока Ник последует его примеру, и выключил свет. Ник лежал в темноте, в тесной, пропахшей керосином кабине, ясно сознавая, что в шести футах от него край уступа и зияющая пропасть. Гордость, скрытность здесь были просто смешны. И Горчаков, конечно, думает сейчас то же самое. Ник ждал, что вот сейчас между ними начнется самый прямой, откровенный разговор в его жизни. Он приготовился быть абсолютно честным и правдивым и с Горчаковым и с самим собой.

Но Горчаков уже дышал глубоко и ровно, как дышат во сне.

5

Ник проснулся не сразу, сознание лишь постепенно возвращалось к нему сквозь темную пелену сна. Он еще не понимал, где находится, сколько сейчас времени. И вдруг, к своему удивлению, ясно почувство-

вал, что у него болит лоб. Но он тут же догадался, в чем дело, и несколько успокоился: во сне он хмурился, и оттого мышцы на лбу были напряжены до боли. Темнота означала, что сейчас еще глухая ночь. Ник опять сомкнул веки, но теперь он уже почти совсем проснулся. И тут до его сознания дошло, что странные звуки доносятся не из коридора за дверью его комнаты в московской гостинице, но что это кипит и булькает вода и стучит генератор. Ник мгновенно открыл глаза и понял, что чернота, расстилающаяся перед ним, не ночная тьма, а гладкая черная каменная стена кабины всего в шести дюймах от его лица.

Он повернулся и увидел, что Горчаков уже сидит на скамейке и в одной руке держит банку мясных консервов, а в другой кружку чая. Лицо у него опухло от сна, глаза обведены красными кругами, и на щеках проступила щетина. Чай он пил по-русски: сильно, с шумом втягивал его в себя и после каждого глотка испускал глубокий удовлетворенный вздох.

Он слегка улыбнулся Нику.

— Вставай, вставай! — дружелюбно сказал он ему по-русски.

Ник начал день с того, что немедленно выбрался из пропахшей керосином конуры. Невыносимо яркое солнце чуть не ослепило его, чистый, холодный воздух обжег легкие. Ник опять взглянул на замерзшее внизу море скал, сверкавших повсюду — от одного подернутого лиловатой дымкой горизонта до другого. На обратной стороне пиков, куда не проникало солнце, лежали синие тени, длиною во много миль; на востоке горные озера сияли, как лужи золотого пламени. Смотреть прямо вниз Нику было все еще трудно, у него сразу закружилась голова, и он зажмурился. Потом он вернулся в кабину. Горчаков уже начал приготовления к работе.

Оба отлично знали, что́ именно следует делать, говорить почти не было необходимости. Работа шаг за шагом продвигалась вперед, и постепенно молчаливое удовлетворение, которое они от этого испытывали, настолько поглотило их, что они почти не заметили, как приспособились к тесному помещению. Распластавшись на полу, каждый нашел для себя наиболее удобное положение, позволявшее быстро, без заминки передавать другому нужные инструменты и детали. Один в точности знал, чем занят в этот момент другой, и не сомневался, что тот все выполняет умело и добросовестно. Натянутость между ними стала исчезать, как бы растворяясь в общем стремлении к единой цели.

Оба они вздрогнули, когда часа в три дня неожиданно зазвонил телефон. Это Геловани докладывал, как идут дела на станции. Звук в телефоне был резкий, голос звучал чересчур громко и дребезжаще. Геловани передавал, что приборы уже помещены в контейнеры вокруг озера, связь между ними будет установлена, вероятно, завтра утром. Когда Горчаков начнет передавать данные, полученные от новой установки? И Ник и Горчаков вдруг почувствовали, что эксперимент становится реальностью, что он неизбежен и должен вот-вот начаться.

Горчаков окинул установку быстрым оценивающим взглядом.

— Завтра к концу дня,— сказал он в телефон, взглянув при этом на Ника, будто спрашивая у него подтверждения. Ник кивнул головой.

— Как вообще-то дела? — спросил Геловани.— Требуется вам что-нибудь?

— Все в порядке,— коротко ответил Горчаков.— Мы еще поговорим позже.

Он повесил трубку, и Ник даже не счел нужным спросить, почему в разговоре не был упомянут обвал, отрезавший им путь к станции. Ему

тоже показалось это несущественным по сравнению с необходимостью торопиться с последними приготовлениями к эксперименту.

Через час плавно протекавшая работа вдруг натолкнулась на препятствие. Они заметили — слишком поздно,— что в течение некоторого времени работали зря. Конструкция рамы предполагала помещение ионизационных камер и счетчиков Гейгера через отверстие сверху, к которому всегда будет свободный доступ. Как выяснилось, здесь это сделать было нельзя: крыша оказалась слишком низкой. Если вынести раму наружу и собрать прибор на площадке перед кабиной, то в собранном виде он будет слишком тяжел — внести его в кабину не удастся. Положение казалось безвыходным. Оба сердито уставились на прибор, каждый досадовал на себя за то, что не предвидел этого заранее. Предположение, что все будет закончено в течение суток, не оправдалось. Ник полез посмотреть, насколько прочно прикреплена крыша к стене и нельзя ли ее временно снять, но Горчаков, угадав его намерение, только замотал головой.

— Целесообразнее разобрать верхнюю треть того, что уже собрано, и доступ к камерам сделать по-новому — через центр,— сказал он.

Это означало проделать заново трехчасовую работу.

И, усевшись среди тончайших и сложнейших физических приборов, они снова принялись за дело. Ник все покусывал нижнюю губу, Горчаков прижимал к зубам кончик языка, а сами они в это время с предельной осторожностью располагали по-иному отдельные детали и, словно дети, строящие вместе волшебный город из кубиков, так углубились в новое решение проблемы, что для них только она и была реальностью, все остальное как будто не существовало. И, однако, в этот момент, в самый разгар быстро и дружно споривишейся работы, они заговорили. Разговор был почти бессвязным, о чем придется — воспоминания о лабораториях, теоретические соображения. Так спокойно, без помех, им не приходилось разговаривать с того дня, когда они впервые встретились в Кливленде. Но их тогдашняя встреча была подобна соприкосновению остро отточенных кончиков карандашей — контакт тесный и полный, но он захватывал бесконечно малую, узкую область. Тогда они встретились лишь как ученые, как бесплотные интеллекты. Теперь стало иначе. За это время они вместе прошли целую полосу жизни, где было все — гнев, разочарование, растерянность, подозрения, смех, симпатия, досада, даже ярость. Не отдавая себе в том отчета, они успели хорошо друг друга узнать. Их перестала раздражать глубокая разница между ними, они просто игнорировали ее, и каждый принимал другого таким, каков он есть. Теперь у них было много точек соприкосновения, не раз им приходилось задевать и ранить друг друга.

В этот день они улеглись спать рано, но Нику не спалось, он лежал в темноте и курил папиросу за папиросой. Он был возбужден, в нем бурлила еле сдерживаемая радость, и мысль вновь обретала силу, которой, казалось, хватит на решение любой проблемы. С чувством невыразимого облегчения и счастья он узнал в себе это прежнее ощущение. Уже многие годы не испытывал он ничего подобного. Это было именно то, что он так жаждал испытать вновь: взлет мысли к бесконечным высотам, где для нее был простор, свобода познавать и творить, где прозрение было мгновенным, ясным и острым, где была уверенность, что здесь ему все подвластно. Ник вдруг представил себе совершенно по-иному путь, проходимый космическим лучом через атмосферу,— стихийный, как удар молнии, как легкие толчки тока, которые могут быть уловлены прибором в виде очень слабых радиоимпульсов с частотой тысячи в минуту. Тогда не надо будет ограничиваться теми немногими частицами, кото-

рые непосредственно улавливает их прибор. Если соображение это правильно, оно может дать ценный результат: эксперимент тогда значительно упростится. Обилие регистрируемых при этом частиц сообщит опыту во сто раз бóльшую точность. Вместо сложного процесса, когда наблюдения ведутся мучительно долго, неделя за неделей, эксперимент можно будет закончить за какие-нибудь несколько часов.

Ник окликнул Горчакова — ему хотелось узнать, как тот отнесется к его идее, но ответом ему были ритмические вдохи и выдохи — равномерное дыхание измученного работой крепко спящего человека. Ник оставил его в покое. Зато он вторично продумал свою идею, уже детальнее и конкретнее. Более глубокий анализ показал, что полученные результаты окажутся слишком сложными, слишком тонкими для существующих в распоряжении науки приборов. И все же, как знать, быть может, через полгода или через год создадутся реальные возможности для проведения такого опыта. А может, он и сам до чего-нибудь додумается — завтра или через месяц,— потому что теперь все его мысли пойдут по этому руслу. Возникшая у него сейчас идея — это еще не начало новой теории, но она открывает новые пути исследований, а на этих путях кто-то другой, возможно, найдет и новую теорию. Самое острое наслаждение он получал сейчас от того, что это было рождение совершенно оригинальной идеи, а во сне вернулась и счастливая надежда, что это только начало, что у него возникнет еще множество различных идей и останется только выбирать из них. Усилием воли сдержав ликование, Ник отложил до утра дальнейшую проверку своей идеи и заснул легко и спокойно, как будто впервые за долгие годы снялось напряжение с каждого его мускула, с каждого нерва.

Проснувшись, он увидел сквозь дверную щель полоску дневного света, и сна как не бывало. Мысли его тотчас обратились к идее, которая так взбудоражила его накануне вечером, как если бы часы сна были лишь докучным ожиданием минуты, когда снова можно будет вернуться к занимавшей его проблеме. Ник был так погружен в свои мысли, что ему и в голову не приходило, каким он кажется замкнутым и молчаливым и что Горчаков понятия не имеет о его мыслях. Позавтракав, он целый час работал вместе с Горчаковым, выверяя прибор, и не проронил ни слова; руки и глаза его автоматически выполняли все что следовало. Он даже не понимал, насколько вдруг отдалился от Горчакова, пока тот не сказал:

— Как вы полагаете, еще день вы сможете продержаться?

— Продержаться? — переспросил Ник безучастно.

— У вас сдают нервы.

Ник все так же безучастно смотрел на Горчакова и лишь постепенно сообразил, какая пропасть образуется между ними, стоит им перестать разговаривать.

— Нет, дело совсем не в том,— сказал он.— Просто мне тут кое-что пришло в голову.

Ни на секунду не прерывая работы, которой были заняты его руки, Ник изложил свою идею в той мере, в какой она была у него продумана. Горчаков выслушал, также не отрываясь от дела, и тут же осудил идею как непрактичную: в атмосфере слишком много случайных и нераспознаваемых электрических импульсов. Он начал развивать свои доводы, особо напирая на невозможность выделить данный тип импульсов среди всех остальных. В доказательство своей правоты он совершенно экспромтом дал блестящий анализ того, что́ в таком случае отразится на экране осциллографа, и, к собственному его великому удивлению, оказалось, что данные импульсы будут иметь форму настолько своеоб-

разную, что если их уловить, то ни с чем другим их уже не спутаешь. Так они с разных сторон подошли к одной и той же концепции, которая вдруг стала потрясающе реальной. Они расхохотались от радостного изумления и, не прекращая работы, уже вдвоем углубились в дальнейший анализ.

Увлекшись этой новой открывшейся перед ними перспективой, они почти не замечали, как продвигается работа, ради которой они, собственно, и находились здесь. Только к середине дня, когда уже были установлены все контакты в приборах, они по-настоящему осознали, что стоят у самой цели; близится свершение того, на что так долго была устремлена жизнь обоих. Заканчивали они уже в полном молчании.

— Испробуем,— сказал Горчаков.

Они ползком перебрались в другой конец кабины, подальше от высокого напряжения. Генератор, который до сих пор негромко постукивал, давая энергию, потребную лишь для освещения и других простейших функций, вдруг загудел, переходя на выработку большей мощности. Щелкнули включатели, и на выпрямителях загорелись красные сигнальные лампочки. Тончайшие черные стрелки на белой шкале приборов медленно дрогнули, сгибаясь под немой смертоносной силой, и остановились, дойдя до полутора тысяч вольт. Горчаков выждал секунду, затем подключил напряжение к первой колонке счетчиков. На экране небольшого осциллографа появился поток импульсов, напоминающих микроскопические силуэты гор, как будто нарисованные детьми: они то появлялись в поле зрения, то исчезали. Ник включил счетчик, чтобы подсчитать импульсы, и маленький черный ящик застучал и защелкал, а его стрелка быстро закружилась по циферблату. Одна за другой были включены и остальные колонки счетчиков, и по мере добавления каждой следующей колонки осциллограф показывал, как интенсивно излучение в этих высотах, а счетчик все отщелкивал свое резкое стаккато. Взрывы дребезжащих звуков терзали нервы. Наконец подключили вновь смонтированную электрическую стену, и внезапно наступившая тишина, когда вдруг приостановилось почти всякое излучение, походила на шок. Теперь счетчик должен был отмечать только проходящие через него частицы максимальной энергии, не более двух-трех в час.

Для сопоставления включили прежний прибор. Горчаков и Ник сидели молча всего в нескольких футах от двух сверкающих рядов счетчиков, в каждом из которых было множество оголенных концов провода. Стоило включить осциллограф, и он тотчас показал целый шквал невидимых частиц, но сводящее с ума молчание счетчика настойчиво свидетельствовало, что все эти излучения для данного эксперимента не представляют никакого интереса. В тишине ожидания прошли минуты, четверть часа... И вдруг раздалось резкое «тук». Счетчики и новой и прежней установки одновременно перешли с ноля на единицу. Ливень частиц высокой энергии пронизывал обе установки одинаково, несмотря на разницу в их устройстве. Прошло еще семнадцать томительных минут, и тишину вновь разрезал острый звук. Это оба счетчика отметили второй поток частиц. Ник и Горчаков курили, не произнося ни слова, целиком поглощенные тем, что ожидали услышать, и лишь время от времени слегка меняли позу, чтобы расправить затекшую руку или ногу, насколько позволяло тесное пространство и соседство смертельно опасного напряжения. В третий раз тембр звука был иной, и вспыхнул только счетчик второй установки. Это могло означать, что разница в питающем напряжении действительно имела значение, но это могло быть и простой случайностью. Чтобы определить общую тенденцию, можно было сидеть, выжидая часами. Или же сделать то, что в эту минуту решительно про-

делал Горчаков: он приложил к уху трубку, а сам в это время крутил ручку телефонного аппарата, звоня на станцию. Станция ответила мгновенно — было ясно, что все, кто там находились, стояли подле телефона и ждали.

— Приборы работают,— сказал Горчаков.— Сейчас слушайте, посылаю вам импульсы.— Он кивнул Нику, и тот повернул переключатель.— Ну, кабель включен. Теперь ждите, пока что-нибудь не услышите.

Все ждали — Ник и Горчаков в этой темной, провонявшей керосином кабине, Геловани, а может быть, и Валя возле осциллографа у другого конца кабеля, на станции по ту сторону утеса. Минута сменяла минуту, но время как будто остановилось. И вот зажглись оба счетчика. Они были ясно видны, но, чтобы проверить, что́ именно отразилось на осциллографе на станции, Горчаков спросил в телефон:

— Что вы там видите?

— Импульс в форме зубца пилы — это от нового прибора, и прямоугольный импульс от старого. Значит, оба счетчика отреагировали.

— Правильно,— сказал Горчаков.— А все остальные установки тоже включены?

— Все до одной. Уже два дня как работают. Вы сегодня вернетесь? Если выйдете не мешкая, успеете добраться дотемна.

— Нет,— сказал Горчаков,— сегодня мы не вернемся.— В голосе его вдруг прозвучала большая усталость.— Уступ закрыло снегом, придется прокладывать дорогу. Сейчас слишком тепло, могут быть и еще обвалы, поэтому мы здесь переночуем. Выйдем рано утром.

— Все у вас в порядке? — настойчиво спрашивал Геловани.— Как Реннет, ничего? Ничего с ним не случилось?

— С вами ничего не случилось? — Горчаков, не отрываясь от трубки, глянул на Ника.

Ник удивленно поднял глаза, но мгновение спустя утвердительно кивнул головой. Вчера он впервые за многие годы лег спать, с нетерпением ожидая наступления утра. К нему возвращалось что-то прежнее, счастливое и радостное.

— Многое со мной случилось,— проговорил он медленно.— Да, черт возьми, очень многое!

Глава тринадцатая

1

Еще два часа они сидели, словно узники, остерегаясь сдвинуться с места из-за соседства с высоким напряжением, и слушали щелканье счетчиков, немногословно рассказывающих о том, как ударяют волны космических лучей о внешний край атмосферы.

Количество показаний за это время было, однако, незначительно: ровно столько, чтобы убедиться, что прибор действует. Он мог работать так бесперебойно круглые сутки в течение нескольких недель, быть может даже месяцев, прежде чем будет собрано достаточно данных, чтобы сделать какие бы то ни было выводы. Горчаков решительно выключил оба прибора.

— Продолжать нет смысла,— сказал он.— Торчим здесь, как два медведя в берлоге, застряли и не вылезаем. Завтра, перед уходом, включим все снова и так оставим. Согласитесь, что количество показаний, которое мы получим за ночь, в сущности ничего не изменит.

Горчаков добавил, что надо бы пойти посмотреть: может, на уступе еще привалило снега. Он взял ледоруб. Ник встал, намереваясь последовать за ним.

— Вам идти незачем,— сказал Горчаков.— Сидите здесь, в кабине тепло. На открытом месте вам все-таки не очень-то уютно, я знаю.

— Ничего, я выдержу.

— Предположим даже, что и выдержите, только в том нет необходимости. Видел я, как у вас отливает кровь от лица. Это скрыть трудно.

— И все-таки мне хочется пойти.

Горчаков пожал плечами.

— Вот уж нельзя про вас сказать, что вы недостаточно упрямы. Конечно, это можно почесть и за добродетель, но иногда и нет. Я считаю, что теперь, когда уже так много сделано, рисковать глупо.

— Это что, приказ?

— Нет, не приказ.— Горчаков посмотрел на него с любопытством.— Пока только совет. А что, надо, чтобы это был приказ?

— Если это приказ — я повинуюсь, если совет — я его приму. Но мне, право, очень хотелось бы выйти отсюда. Мне надо размяться, меня тянет на воздух, на свет.

— В таком случае пошли.

Ледяной сверкающий воздух снова ошеломил Ника — он радовал и устрашал сердце своим колючим холодом. Насколько хватал глаз, протянулось бескрайнее царство гор, словно давным-давно вздыбившиеся и навсегда застывшие волны беззвучно посылали в небо свою неиссякаемую силу. Где-то очень далеко, невидимые отсюда, сражались люди, и дальность расстояния превращала их в жалких насекомых, сцепившихся в драке. А им, этим людям, Ник и Горчаков сейчас показались бы мухами, ползающими по леднику и воображающими, что делают важное дело. Но если в человеке заключена вечность под стать вечности вселенной, то она именно в том, что́ они с Горчаковым — какими бы ни были их человеческие слабости — свершили благодаря могуществу своего разума. Там внизу, в той или иной стране, люди мучают друг друга, сажают в тюрьмы, сжигают, а потом, довольные, упиваются своей властью — они тверды, но твердостью быстро крошащегося гранита. Мысль, прозрение — такие зыбкие, смутные при своем рождении — обладают более несокрушимой твердостью. Они как туф — это лава человеческой души, рожденная в пламени, приобретающая все большую твердость, хотя со временем на нее ляжет слой других, еще более зорких провидений, еще более прекрасных творений человеческого разума.

Ник шел за Горчаковым, настороженно прислушиваясь, не донесется ли сверху грозный рев лавины, но, в сущности, он теперь больше не испытывал страха. Он уже любил эти бескрайние просторы — ведь именно здесь он вновь обрел себя, и это только начало его духовного обновления, для него все еще впереди. Ему не терпелось как можно скорее пересмотреть всю свою жизнь — так нетерпеливо ждут возможности рассказать о себе старые друзья, вновь увидевшись после долгих лет разлуки.

Разведка не заняла много времени. Уступ был почти свободен от снега вплоть до второго поворота, где он расширялся до четырех футов. Здесь образовалась настоящая снежная стена высотой по меньшей мере в пятнадцать футов. Она доходила до самого края, и снег был твердым, он спрессовался под собственной тяжестью. Что ждет их по другую сторону этой стены, определить было невозможно, неизвестна была даже ее толщина. Вполне вероятно, что снег лег по всему уступу, до самого конца.

— Ширина снежного слоя должна быть минимум такой же, как и его высота,— заметил Ник.— Иначе он не выдержал бы собственной тяжести.

— Я полагаю, он намного толще,— сказал Горчаков хладнокровно.— Он не скользил, он падал тяжелой массой. А раз получился один такой завал, вполне возможно, что имеются и другие. Придется вырубать в снегу ступени. Вам доводилось проделывать что-нибудь в этом роде?

— Нет, и не могу сказать, что это мне улыбается.

— Да, в восторг вы не придете,— заверил его Горчаков.— Но это переживание чисто психологическое.— Он проверил плотность снега, ткнув его ногой, потом ударил по нему ледорубом.— К утру сильно затвердеет. Мы двинемся на рассвете.

Ник заснул не скоро. Он гнал мысли о предстоящем утре, стараясь сосредоточить их на том радостном волнении, которое испытал днем, когда вышел из кабины следом за Горчаковым, и вдруг с полной ясностью осознал, что нашел то, за чем сюда ехал. Это долгожданное чувство охватило его с прежней силой, и оно дало ему мужество оглянуться на самого себя. Он увидел себя таким, каким был все это время,— человеком, который боялся дышать полной грудью, намеренно ограничивал свой кругозор и был слеп ко всему, что лежало за этими пределами. Он совершал ошибку за ошибкой — их можно было предотвратить, стоило лишь сделать нужное усилие. Его воля была парализована, и он допустил, что Руфь ушла от него,— теперь он понимал, что этого могло бы и не произойти. Он допустил любовную связь с Мэрион — эту связь не следовало и начинать, а уж если она началась, не следовало ей обрываться так бесславно. Он вел себя пассивно, безвольно, пока не встретил Анни. Но даже и тогда, не умея считаться с противоречивыми чувствами других, он в панике кинулся искать спасения от одиночества, которое преследовало его после бегства Анни из Москвы. К тому времени, когда она разрешила свои сомнения, он позволил своим чувствам переплестись с чувствами Вали, повторив все то, что было у него с Мэрион, и когда Анни вернулась к нему, он не смог ей дать ничего, кроме гнева и раздражения.

Безжалостным, осуждающим взглядом смотрел он на след, оставленный им в жизни других людей, и не мог простить себе те беды, которые им причинил: не оправдывал себя, не искал извинений. Раскаяние давило на него невыносимо, и оно не было смягчено жалостью к самому себе. Если его снова ждет будущее и прежнее счастье творчества, он сумеет найти возможность не хныча исправить содеянное им в то время, когда ему казалось, что будущего для него вообще нет. Он поступил неправильно, не дождавшись возвращения Анни. Исправлять это было слишком поздно, теперь у него появилась новая ответственность — ответственность перед Валей. Как он все это уладит, Ник еще не знал, но твердо решил расплатиться со всеми своими долгами. Он вспомнил, как увидел Валю впервые: она стояла, склонившись над столом в доме Горчакова, и, когда он вошел, вскинула на него удивленный взгляд. Да, отношения между ними сложились не так, как следовало бы. И все потому, что сам он был пуст, ничего не смог дать ей. Его постоянное безнадежное отчаяние растравляло ей душу, и уж конечно не он к ней, а она к нему проявляла снисходительность. Этот счет он оплатит сполна.

Ник плохо спал эту ночь. Его преследовал один и тот же сон — будто он падает, и сердце его сжималось от ужаса, которого он не допустил бы наяву.

Его разбудил собственный громкий, непроизвольный вздох, и тут же он услышал сонное бормотанье Горчакова:

— Все будет в порядке, ничего с вами не случится, беспокоиться не о чем...

— Я не беспокоюсь,— ответил Ник, но Горчаков не отозвался: он говорил это во сне.

Наконец рассвело. Ник проснулся неотдохнувший. Горчаков был уже одет и проверял, сколько осталось топлива для генератора. Его должно было хватить на целую неделю, а позже один из работников станции, опытный альпинист, возобновит запас.

— Перекусите чего-нибудь,— распорядился Горчаков.— А уж как следует позавтракаем на станции.

Все было подготовлено заранее, оставалось лишь перед самым уходом привести прибор в действие, повернув для этого переключатель возле двери. Оглядевшись в последний раз и убедившись, что все готово, Горчаков позвонил на станцию. Ответил один из студентов — очевидно, возле телефона там дежурили все по очереди круглые сутки. Горчаков попросил позвать Геловани.

Стоя на пороге кабины, Ник видел, что до восхода солнца еще по меньшей мере целый час. Чистый предрассветный воздух пощипывал морозцем. Медленный ветер с востока принес с собой дыхание ледников.

— Мы уходим,— сказал Горчаков в телефон.— Сейчас включим приборы, можете начинать подсчеты. Ставьте на ноль. Начинаем.

Одной рукой прижав телефон к уху, свободной рукой он передвинул переключатель у двери — теперь, наконец, были пущены оба прибора разом. Единственный звук в кабине был шум генератора, и единственный свет — слабое лиловатое мерцание электронных ламп и красные точки на крохотных неоновых индикаторах. С минуту Ник и Горчаков стояли, глядя на работу, проделанную ими для того, чтобы разрешить свой спор. Ник был слишком взволнован, он уже не мог оставаться здесь дольше. Он круто повернулся, взвалил на плечо кольцо веревок и ледоруб и вышел.

— Пойдемте же,— сказал он.— Больше здесь добавить нечего. Остальное за нас скажут приборы.

Горчаков кивнул.

— Вот и все,— сказал он в телефон, повесил трубку возле двери, вышел из кабины и запер ее. Эксперимент начался.

Снежная стена, загородившая уступ, искрилась в свете раннего утра, словно ледяная. Снег стал суше и тверже, чем накануне днем. Посмотрев, как Горчаков надевает шипы, Ник проделал то же самое. Горчаков затем ударами ноги выбил в снегу ступени, чтобы по ним подняться на несколько футов по крутому снежному склону и перебраться через него. Над ступеньками, каждая в ширину и в глубину всего в несколько дюймов, он на ходу вырубал ледорубом ямки, чтобы можно было держаться за снег рукой. Снег частью осыпался и упал за уступ. Горчаков глубоко, по самую головку, воткнул ледоруб в снег где-то вверху прямо перед собой и обмотал вокруг него конец веревки. Упершись коленями в снег, он начал подтягивать веревку, по мере того как Ник приближался к нему,— в случае, если снег поползет, свободная петля на ледорубе должна была затянуться.

Если для Горчакова карабкание по горам было вполне привычным делом, Нику оно стоило крайнего напряжения всех его сил. Внезапно он разозлился: это просто глупо — какое отношение имеет все это к науке? И, однако, выбора не было, приходилось лезть по вырубкам в снегу,

стараться дышать ровно, в то время как его душил ужас. Ник старался смотреть только на свои ноги и на снег, по которому они ступали. Случайно глянув всего на один дюйм левее и увидев тоненькие верхушки деревьев где-то на глубине многих миль, он едва не покачнулся и понял, что вторичного такого приступа головокружения допускать нельзя. Шаг за шагом он двигался по склону, смотря все только вперед, хватаясь одной рукой за выемки в снегу, пока не добрался до Горчакова. Тут Ник, привязанный к воткнутому в снег ледорубу Горчакова, вынужден был остановиться и ждать, пока Горчаков выбьет ногой новые ступени и вырубит новые ямки для рук. Теперь пришла очередь Ника травить конец веревки, обматывая его вокруг своего ледоруба, и Ник проделал все это точно так, как делал Горчаков. Стоя на самой верхушке снежной стены, Ник чувствовал, как все тело ему сковал страх, но он заставил себя преодолеть его: ведь от того, как он поведет себя теперь, зависела жизнь Горчакова. Ник зажал сознание в кулак, напряг всю волю, чтобы только не глянуть вниз. Снежная гора, по которой они лезли, оказалась пятидесяти футов в ширину, но Ник продержался до конца, пока Горчаков не дошел до безопасного места. Тут он и сам опять двинулся вперед. Когда он наконец очутился по ту сторону снежной стены, где снега уже не было и где поджидал его Горчаков, уступ показался ему широким, как бульвар. Сердце у него распирало от радости — опасность осталась позади, но он очень сомневался, что смог бы заставить себя еще раз пройти через такое испытание. Однако выяснилось, что надо перелезть еще через одну ледяную гору, а дальше они обнаружили и третью, но ни одна из них не была так широка, как первая.

Когда они, наконец, сошли с уступа и вышли к тому месту у подножия пика, где оставили лыжи и откуда уже видна была станция, Ник опустился прямо на голый камень и закурил. Руки у него еще не начали дрожать, но в них совершенно не было силы.

— Знаете, как я там себя чувствовал? — сказал он.— Я умирал от страха.

— Я тоже,— признался Горчаков.— Не из-за снега, не из-за высоты, а из-за вас. Теперь-то я вижу, что вы согласились бы умереть, но не поддались бы страху. Но я видел, какое у вас стало лицо — совершенно белое и будто каменное, вы могли преспокойно потерять сознание от одного старания подавить страх. Спасибо вам, что не упали в обморок. Вы спасли мне жизнь. Но, должен вам заметить, горы — это не для вас. Дело тут не в мужестве. Видит бог, этого у вас не отнять. Но требуется еще особый темперамент, которого у вас нет, вот в чем дело.

— Да, я знаю,— ответил Ник сухо.

— Знаете? Так какого же дьявола вздумали вы лезть со мной?

— Просто мне захотелось, вот и все. К тому же,— добавил он,— выбора у меня и не было, не так ли?

Горчаков кинул на него быстрый взгляд, и они поняли друг друга. Когда Горчаков нагнулся, чтобы закрепить лыжи, выражение лица у него было мрачное.

— Вы правы,— согласился он неохотно.— Я вас вынудил к этому, что еще раз показывает: здесь, в горах, никто не застрахован от того, чтобы выкинуть какую-нибудь дурацкую штуку. Никто. Теперь я уж никогда не посмею никого винить.— Вид у него был почти злой, рот кривился в усмешке, скрывавшей боль.— Мы с вами умеем давать уроки друг другу, неплохие уроки, а, как вы считаете?

2

Встречать их вышел Геловани — он вихрем пронесся по краю озера и, остановившись, обдал их фонтаном снега. Лицо его расплылось в улыбке.

— Ну как поживаете, пещерные жители? — крикнул он.

— Скажи-ка лучше,— остановил его Горчаков,— импульсы поступают?

— Ну конечно, то немногое, что идет из потоков с такой энергией.

— А от установок вокруг озера?

— У нас есть подсчеты за несколько дней подряд. Вот позавтракаете и потом сами посмотрите. Сейчас как раз готовят завтрак — все ваше любимое.— Он внимательно посмотрел на Ника.— Как вы? Вид у вас такой, словно с вами там произошло что-то очень приятное. Не то вам просто идет борода. В общем, какая-то перемена в вас есть.

В столовой их ждали почти все, кроме Вали. Ник тотчас заметил ее отсутствие, но вокруг была такая теплая, дружеская атмосфера — он почувствовал, что теперь он приобрел право говорить «мы» наравне со всеми. И когда кто-то сказал: «Ну ладно, товарищи, садитесь!» — он знал, что это обращаются и к нему тоже. Но он попросил сесть за стол без него, он должен ненадолго отлучиться. Ник был грязен, он устал, но главное — у него начали сильно дрожать руки, ему было бы неприятно, если бы это заметили. Он хотел прежде прийти в себя. Впрочем, поднимаясь по лестнице к себе в комнату, он улыбался, потому что даже лестничные перила под его рукой были ему знакомы, и у него рождалось ощущение, что он вернулся туда, где многое ему дорого и полно значения.

Дверь в белую комнатку Вали была приотворена; проходя мимо, Ник заметил там Валю и открыл дверь пошире. Валя сидела, сжав руки на коленях, выражение лица у нее было серьезное. Увидев Ника, она побледнела. Здесь его встретили не так тепло, как там, в столовой,— здесь он был принят холодно и натянуто.

— Тебе не следовало ходить,— сказала Валя.— Ведь тебе же никогда не приходилось бывать в горах.

— Но, Валя, мне этого хотелось. И я не жалею, что пошел.

— Пусть так,— протянула она.— Но все равно, я за тебя беспокоилась. И ты изменился, я это вижу.

— Да, я очень изменился.

— Я тоже,— сказала она, и Ник почувствовал, что они говорят о разном. Голос у нее был ровный, глаза стали как будто больше, лицо исхудало.— Все это время я не только беспокоилась, я много думала.

— И я, Валя, я тоже передумал о многом. И мне кажется...

Она поднялась со стула, весь вид ее выражал усталость.

— Потом поговорим,— сказала она.— Я боялась, что выдам себя при твоем появлении, потому и не спустилась в столовую. Но теперь надо идти. Покажется странным, что я здесь одна.

— Валя! — воскликнул Ник, пораженный ее холодностью. Она спокойно обернулась — не сразу, как будто нехотя — и посмотрела на него грустно и с выражением глубокого сострадания. Потом все же улыбнулась, протянула руку и слегка коснулась его небритой щеки.

— Позже поговорим,— повторила она, на этот раз ласковее.

Валя вышла из комнаты, а Ник стоял и смотрел ей вслед, и в душе его поднималась смутная тревога.

Он был так взбудоражен, что не мог оставаться один у себя в комнате и вскоре спустился вниз. За столом было оживленно, шумно,

празднично. Валя, сидевшая напротив Ника, казалось, принимала участие в общем веселье. Она смеялась и аплодировала со всеми вместе, когда Нику с шутливыми возгласами подали особое, специально в его честь приготовленное блюдо: кавказский вариант американской яичницы с беконом. Ник никак не мог разобрать, что ухитрились проделать с беконом. Горчаков посмотрел на блюдо скептически.

— Вы, конечно, мужчина смелый, но, если вы одолеете это, вы совершите самый отважный поступок в своей жизни.— Он поднял стакан чая и шутливо обратился к Нику: — За ваше здоровье!

Валя еле заметно улыбнулась Нику, и на мгновение он опять почувствовал в ней ту сдержанность, с которой она встретила его у себя в комнате. Но это всего лишь преходящее дурное настроение, сказал себе Ник, ведь сейчас у всех напряжены нервы. За веселыми разговорами скрывалось явное нетерпение: все знали, что в это самое время наверху в лаборатории за них работают и ждут их осциллографы и счетчики, регистрирующие импульсы, которые идут от установок в контейнерах.

На вершину горы падал непрерывный ливень невидимых частиц, но из них отбиралась только одна миллиардная доля — только те, которые могли запускать бóльшую часть счетчиков в контейнерах, и это редкое лаконичное щелканье будет теперь продолжаться в течение нескольких месяцев. Впрочем, регистрировались и менее мощные потоки: они должны были дать непосредственный ответ относительно того единственного недочета, который Ник смог усмотреть в вычислениях Горчакова. И, быть может, сейчас, пока они сидели за столом, уже собралось достаточно материала и выявилась хотя бы общая тенденция. Горчаков ерзал на стуле и поглядывал на недопитый стакан кофе, стоявший перед Ником. Но Нику и самому не терпелось как можно скорее подняться наверх.

Почти два часа они занимались проверкой результатов, но полученные цифры на первый взгляд еще не давали оснований для определенных выводов.

— Ну что же вы хотите? Еще слишком рано,— сказал Горчаков.

Но Ник покачал головой. Повинуясь смутной интуиции, он сказал Горчакову:

— У вас получится нулевой результат.

— Вы хотите сказать, что существенной разницы между вашим и моим питающим напряжением не будет?

— Похоже на то. Конечно, надо еще подождать, пока накопится достаточно данных,— ответил Ник, как бы допуская возможность и другого исхода. Но он уже был уверен — он чувствовал в себе способность разрешать десятки самых сложных, путаных задач с молниеносной быстротой, отчего выводы его казались не результатом логического процесса, но мгновенным прозрением. Факты теперь лишь подтвердят с запозданием то, что уже интуитивно предугадано, или же — что не менее интересно, но, впрочем, мало вероятно — неожиданно опровергнут его догадки. Так или иначе, это принесет с собой радостное волнение, даже если к тому времени он больше и не будет заниматься данной проблемой, потому что ему уже не терпелось приняться за новую. Он чуть не улыбнулся, узнав в себе это прежнее чувство — быстрее, быстрее идти вперед. Вот оно, вернулось к нему наконец!

Но Горчаков как будто был несколько сбит с толку такой неожиданно легкой победой.

— Вы, следовательно, признаете, что первоначальные мои вычисления были правильны? — спросил он, помолчав.

— В пределах точности вашего прибора.

— Но чего же еще можно требовать?

— Всего,— ответил Ник просто.— Если такое существенное изменение в конструкции вашего прибора не дает заметного изменения получаемых результатов, то это может значить только одно: методы устарели, и каков бы ни был результат, он уже ничего не дает. Мы оба с вами, возможно, зашли так далеко, что нам уже нельзя полагаться на существующие методы исследования.

— Вовсе не обязательно, это может означать и другое,— возразил Горчаков.— Может быть, результаты одинаковы именно потому, что не зависят от изменений в приборе. Истина заключена в самом явлении, а не в приборе, с помощью которого ее обнаруживают.

— Очень может быть,— согласился Ник.— Но только если вы имеете в виду частицы максимальной энергии. Вы исключаете результаты, касающиеся потока частиц низкой энергии. В показаниях двух различных приборов должна быть гораздо большая разница. Приборы имеют разные питающие напряжения, но на результатах это не сказывается.

— Но каков же, по-вашему, выход? Вы что, считаете, что следует послать детектор за пределы атмосферы?

— Какой в том прок? Создайте прибор такого масштаба, какие стоят в ваших контейнерах, и поместите его над атмосферой — ему надо пробыть там десятки лет, прежде чем он обнаружит хотя бы одну частицу той энергии, о которой мы с вами говорим. Нет, земная атмосфера пока еще наш лучший детектор.

— Тогда как быть с вашим методом, который вы сами вчера предлагали?

— Ну, об этом можно подумать,— сказал Ник небрежно.— Пока ведь это только наметки, набросок идеи.

От удивления Горчаков даже рассмеялся.

— И вы говорите таким безразличным тоном о том, что вчера еще заставило вас так разволноваться?

— А разве у меня безразличный тон? — спросил Ник. Он задумался на секунду.— Быть может, это вот почему: мне кажется, что отныне у меня будет множество всяческих идей. Помните, я говорил вам в Москве, с какими надеждами я сюда ехал, и вот они сбылись, и теперь я жду не дождусь, когда, наконец, вернусь домой и примусь за работу. Наконец-то это случилось!

— Да, я тоже так думаю,— медленно проговорил Горчаков.— Геловани это правильно заметил. Теперь вы именно тот человек, которого я с самого начала ожидал встретить. Но знаете, даже если вы не ошибаетесь, все-таки одной интуиции тут мало.— Он слегка улыбнулся.— Я не могу сослаться на вашу интуицию в оправдание всех тех перестроек в планах, дополнительных расходов и изменений сроков, которые оказались необходимы. Я должен вернуться в Москву с конкретными результатами, каковы бы они ни были. Предположим, что вы правы,— тем не менее, я хочу доказать, что, как бы ни был ограничен существующий метод при опытах с потоками частиц высокой энергии, мои подсчеты во всяком случае правильны в пределах возможностей этого метода.

Ник вспомнил про тех, кто оказались бы очень довольны, узнав, что Горчаков ошибался. Очевидно, эти люди пришли сейчас на ум и Горчакову.

— Но тут не может быть никаких сомнений,— уговаривал его Ник.— Если вы докажете, что мы достигли пределов надежности суще-

ствующего метода и что теперь требуются иные, новые методы, то это само по себе уже очень важно. К чему бы ни привел этот ваш эксперимент, все равно выводы непременно представят интерес.

Горчаков кивнул, но как-то рассеянно, потому что ему вдруг пришло в голову нечто в данный момент более важное. Присутствие Ника все это время было для него заботой, обузой, постоянной помехой, но теперь избавление, о котором он мечтал, пришло, и неожиданно, и совсем не так, как он это представлял себе. Его растерянный взгляд выражал одно: «Все получилось что-то уж очень скоро», но вслух он сказал только:

— Ну, а теперь?

И в голосе его слышалось беспомощное недоумение.

— А теперь? — повторил за ним Ник.— Я сделал все, что собирался здесь сделать...— Он не договорил, потому что тоже вдруг почувствовал волнение: сейчас он расстанется с Горчаковым, как раз тогда, когда, собственно, только начинается их дружба. И хотя потом они, конечно, будут обмениваться письмами, было бы ложью уверять себя, что прощаются они ненадолго и что вскоре предстоит новая встреча. Как знать, быть может, так оно и будет, но, конечно, не исключено и то, что встретиться им уже больше не доведется. Приходилось помнить, кто они и каково время, в которое они живут. Это время и решит, как и где пройдет оставшийся каждому из них отрезок жизни. Там, внизу, их ждала действительность, то, чему суждено было свершиться, а здесь, наверху, только самая лучшая, самая приятная возможность этого будущего, то, что могло бы и чему следовало бы произойти...

— Если через год у нас состоится съезд физиков, вы приедете? — спросил Горчаков.

— Если смогу,— ответил Ник.— И у нас в Вашингтоне созывается ежегодная наша зимняя конференция. Как вы, смогли бы попасть к нам?

— Тоже буду пытаться,— сказал Горчаков.— Но знаете, Ник...

— Знаю.

Ник взял руку друга и, поддавшись порыву, сжал ее обеими руками: жест, который он позволил себе впервые в жизни, потому что открытое выражение чувств всегда слишком волновало его — легче было спрятаться под маской отчуждения и сдержанности. Но он был уверен, что Горчаков его понял: Ник молчал не потому, что ему нечего было сказать, но потому, что в их отношениях было то большое и значительное, чего нельзя было умалять словами.

3

Валя была у себя в комнате, укладывала вещи в потрепанный чемодан, раскрытый на постели. У Ника мелькнула мысль, что, быть может, именно этот чемодан ее мать более пятнадцати лет назад во время эвакуации возила с собой в сибирскую деревню.

Валя быстро подняла глаза, увидела Ника, стоявшего на пороге, и продолжала укладываться.

— Через несколько часов пойдет вниз вездеход встречать машины с вещами и продуктами,— объяснила Валя.— Я хочу попросить у Мити разрешения воспользоваться попутной машиной — я хочу уехать, вернуться в Москву, к своей работе. Я знаю, он мне позволит.

— Горчаков и не упоминал, что вездеход пойдет вниз так скоро,— сказал Ник.— Ну, мне немного нужно времени, чтобы собраться.

Валя замерла, держа в руках наполовину сложенное темно-красное шерстяное платье.

— Разве ты... Я не знала, что ты собираешься ехать.

— Ты хочешь сказать, что решила ехать одна, без меня?

Она опустила руки, и платье упало на кровать.

— Мой отъезд никак не связан с тобой, Ник. Моя работа кончена, делать мне здесь больше решительно нечего.

— Горчаков не преминул бы сказать тебе об этом, если бы считал, что это так. Ты хочешь опять убежать от меня, Валя.

— Но на этот раз по-другому,— произнесла она с расстановкой.— На этот раз я действительно хочу уйти. Мы с тобой оба совершили ошибку, вот и все.— Ей было мучительно трудно произнести это. Лицо ее было бледно.— Я не знаю, что думаешь ты, но, по-моему, мы с тобой очень разные люди. В тебе слишком много печали, и слишком часто я ее не понимаю.

Ник знал, что Валя права, но был подавлен тяжестью утраты. Он мог только взмолиться:

— Но этого больше нет! Я изменился.

Она покачала головой.

— Ты изменился, это правда, но не в том смысле, как я говорю. А если даже и так, теперь уж слишком поздно. Все, что ты пытался объяснить мне и что я не хотела слушать,— все это было правильно.

Он хотел было возразить, но Валя остановила его.

— Ах, Ник, прошу тебя! — сказала она умоляюще.— Мне и так не легко. Теперь мне уже безразлично, кто из нас прав и кто виноват. С этим покончено. Но я рада, что это было. Иначе мы разошлись бы с таким чувством, будто что-то осталось незавершенным. Мы мучились бы, тосковали. Но это ужасно, если мы сейчас начнем ссориться. Лучше давай просто скажем друг другу спасибо за то хорошее, что у нас было. Я хочу, чтобы мы сохранили дружбу. Я восхищаюсь, горжусь тобой, но мы не подходим друг другу, нет! В душе у тебя заключено что-то непонятное мне, чего я еще не коснулась, я знаю. И у меня есть своя страсть — нераскрытая еще. Я уверена в этом, но уверена также, что ты не тот человек, у которого есть ключ к моей душе. Так лучше нам расстаться. Помоги мне, Ник. Если ты задумал уезжать — уезжай, а я не поеду. Поверь, это мое искреннее желание.

— Остаться здесь?

— Да.

— С Горчаковым?

Она промолчала.

— С Митей? — снова спросил он, уже мягче.

— Для того, о чем ты думаешь, слишком поздно,— ответила она.— В глубине души он, вероятно, считает меня...

Ник не сразу схватил смысл русского слова, но в следующее мгновение он уже понял его — она как будто хлестнула его по лицу, и он даже не сумел ничего ответить.

— И ты предлагаешь мне уехать и так вот тебя оставить? Разве я могу так поступить?

— Теперь ты не в силах что-либо поправить,— мягко настаивала она.— Уж так случилось. Я должна жить, работать с ними со всеми, потому что здесь я проживу всю мою жизнь. Не беспокойся за меня, со мной все будет хорошо, я справлюсь.

— А я?

— И ты тоже. И что бы Митя ни думал обо мне как о женщине, он никогда не перестанет быть мне другом.

Как он ни уговаривал, Валя была непоколебима. В глубине души Ник понимал, что она права, и Валя знала, что втайне он с ней согласен. Это была уже не прежняя девочка, наивная, порывистая. В ней появилась спокойная, освобожденная от иллюзий уверенность. Она стала мудрее, терпимее. Разговор их окончился так же сумбурно, как и начался, и после него осталось сожаление, усталость и растерянность, оттого что облегчение, которого они ожидали, не наступило. Они не смогли найти слово, которое действительно было бы последним, ни поцелуя, который стал бы прощальным. Даже в самый момент отъезда, когда Ник уже усаживался в кабину вездехода, а Горчаков, Валя и все остальные, провожая, стояли во дворе, то, что еще хотели сказать друг другу Ник и Валя, потонуло в неожиданном реве мотора. Ничто в мире не кончается, подумал Ник, просто переходит во что-то другое.

Машина рванулась вперед, на секунду Ник потерял равновесие и качнулся. Когда он снова выпрямился и оглянулся назад, провожавшие по-прежнему стояли во дворе, махали ему руками, что-то кричали. Ник увидел, как они повернулись и направились к дому. Последними уходили Валя и Горчаков. Оставшись одни, они еще долго глядели вслед машине, потом Горчаков положил руку Вале на плечо. Валя сейчас же повернулась, и оба пошли к двери как раз в тот момент, когда вездеход начал неуклюже взбираться на край впадины и на одно мгновение как будто заколебался на этом пороге внешнего мира. В последний раз Ник оглянулся, но двор уже опустел. Трактор дал сильный крен вперед и пустился в трудный путь туда, где оставалась вся прежняя жизнь Ника.

Всю дорогу до Тбилиси он не переставал думать о Вале, и всю дорогу дальше, до самой Москвы, сердце у него сжималось от не покидавшего его чувства сожаления, хотя он понимал, что Валя поступила правильно, так будет лучше и для него и для нее. Тогда откуда же эта печаль? — недоумевал Ник. Что пробудила Валя в его душе, если это обернулось такой щемящей, невыносимой тоской, которую не выразить словами? Ответ был где-то рядом, но он ускользал, не давался в руки. Если бы только Ник знал, где искать его!

4

Ник уже несколько дней как вернулся в Москву, а его все преследовало чувство тоскливого недоумения. Он никому не позвонил, даже Анни. Он заказал себе место в самолете: через неделю он улетал домой, как раз накануне дня, когда истекал срок его визы. Ник чувствовал себя опустошенным, он действовал как автомат. Внешне все шло как обычно — он был все дни занят, второпях, равнодушно досматривал то, что обычно смотрят туристы и что он не успел посмотреть. Но он смотрел и не видел. После юга Москва показалась по-зимнему тусклой, яркая летняя одежда скрылась под черными и коричневыми пальто. В сером воздухе стойко держался острый запах мокрого снега, такой тяжелый после прозрачной свежести гор. Ночью лязг и грохот военных машин становился все громче и длился все дольше: заканчивалась подготовка к военному параду. По всему городу уже начали развешивать стяги и полотнища в честь годовщины Октябрьской революции. Все вокруг было в движении, в спешке.

Ник бродил по музеям, галереям, выставкам, древним церквам, по домам знаменитых людей, где все осталось таким, каким было при их жизни, и где теперь царила тишина. Но ничто не проникало в глуби-

ну его сознания. Даже вновь обретенная способность к творческому труду как будто была парализована в самый момент ее взлета и умерла. Быть может, вдохновение его было временным, он заразился им от Горчакова. Но этому верить не хотелось.

Как-то в метро Ник поднимался на длинном эскалаторе сквозь строй холодных мраморных колонн, суровых статуй, нарядных люстр, сверкающего красного, черного и зеленого камня. На время этого долгого подъема Ник оказался затерянным среди плотной людской массы. На поднимавшемся параллельно эскалаторе на одном с ним уровне стояла молодая деревенская женщина в платке и тесно облегавшем ее поношенном черном пальто. Она держала плотно закутанного младенца и новую сумку из блестящей черной клеенки. Женщина улыбалась ребенку, личика которого Ник не видел, потом засмеялась и нежно над ним заворковала. Бормотание ее ласкового голоса, непонятные Нику слова, в которых сосредоточилась вся материнская любовь и нежность, с силой ворвались в замкнутый мир его сознания. В памяти вдруг возникла темная ветреная ночь возле планетария, где Валя поцеловала его первый раз... офицер грузин, уткнувший лицо в шейку сынишки... коричнево-зеленая квартира, казавшаяся такой громадной и пустынной мальчику, который так и вырос, думая, что постоянная тоска по любви, всегдашняя хватающая за горло боль — вечные и неизменные спутники жизни.

Эти три образа промелькнули у него перед глазами, как ловко стасованные полупрозрачные карты, сквозь которые он продолжал смотреть, не отводя глаз, на женщину, стоявшую почти рядом с ним и, как и он, скользившую вверх вместе с эскалатором. И внезапно тот самый ответ, который Ник так жадно искал, открылся ему: ребенок на руках у женщины ощущал ту самую любовь, которую Ник страстно хотел почувствовать в те давние годы, когда слова воспринимались как смутные звуки и правда любви могла быть воспринята лишь в голосе, в ласке, в милых, обожающих глазах. Это счастье не выпало ему на долю, и потому он не мог дать имени тому, к чему так рвался,— Валя своим голосом коснулась заледеневшего сгустка его тоски и пробудила ее от долгих десятилетий оцепенения, хотя и с опозданием на целую жизнь. Он изголодался по любви, он томился по ней всю свою жизнь, он готов был впивать ее бесконечно и, однако, не мог, не в состоянии был удержать ее, потому что, как это вдруг стало ему ясно, в глубине души не считал себя достойным любви. Где-то во мраке прошлого он все еще оставался тем человеком, который уничтожил мир и все сущее в нем, обрушив на него ослепительно-белую гибель. Тот человек втайне нес самим на себя наложенную печать Каина. Он проехал полсвета в поисках самого себя, и вот что он, наконец, нашел.

Ник не видел больше ни женщины, ни ребенка, они расплылись перед ним множеством пятен, и он стиснул зубы, чтобы удержать слезы. Как всегда, пряча чувства, он высоко вскинул голову, и тут его уже сухие глаза увидели дощечку с надписью. Он ожидал, что прочтет на ней «Выход на улицу», но она сулила большее, на ней стояло: «Выход в город», и Нику вдруг стало как будто легче — в конце концов, ему дается больше того, на что он чувствовал себя вправе рассчитывать.

Эскалаторы вышли на поверхность, выбрасывая людские потоки Ник двигался словно во сне. Пройдя несколько шагов, он остановился и стоял как потерянный. Потом глубоко вздохнул. Мимо него, задевая и толкая его, двигались люди — целые толпы людей. Глянув поверх их голов, Ник заметил будку телефона-автомата, и его охватило страстное, неудержимое желание кинуться туда, сквозь всю эту толпу, чтобы услы-

шать голос человека — единственного в этом городе, единственного на всем свете, который радостно удивится и облегченно вздохнет, узнав о его возвращении и обо всем, что с ним произошло. И все поймет.

Ник вытащил из кармана пригоршню мелочи. Среди русских копеек, американских центов, английских пенсов и шведских эре он с удивлением заметил знакомый голубой шарик. Ник смотрел на него и лукаво улыбался, пока набирал номер — единственный во всей Москве, который знал наизусть. Он прижал плечом телефонную трубку и ждал. Сердце у него бешено колотилось, пальцы не слушались, а он все старался отпереть замочек у северного полюса крохотного глобуса. Все произошло почти одновременно: цепочка отстегнулась, и из телефона послышался теплый, всегда как будто вопрошающий знакомый голос.

— Это я! — сказал Ник, и слова его прозвучали как победный клич.— Я вернулся!

Яэко Ногами

Шхуна „Кайдзин-мару"

ПОВЕСТЬ

Перевод с японского И. Львовой

«Кайдзин-мару», двухмачтовая шхуна водоизмещением в шестьдесят пять тонн, вышла на рассвете двадцать пятого декабря из гавани К., расположенной на восточном берегу острова Кюсю. Шхуна держала курс на острова, разбросанные в океане вдоль побережья на расстоянии примерно девяноста морских миль. С островов вывозили древесный уголь, лес, а также превосходную сушеную каракатицу, лучшую в здешних местах. Рейс на острова считался среди моряков как нельзя более выгодным. Молодому капитану «Кайдзин-мару» это было отлично известно. Вот почему после очередного плавания по Японскому морю он обычно заглядывал на острова.

На этот раз шхуна отправилась в путь сразу по возвращении из Модзи, откуда она доставила груз соевых бобов. Идти прямо домой, в родную бухту и дожидаться новогодних праздников, полеживая на циновках у очага, означало бы понапрасну упустить благоприятный момент — в оставшиеся до праздника дни вполне можно было успеть с выгодой обернуться на острова и обратно. Капитана устраивал любой груз — и уголь, и древесина. В любом случае к тридцать первому декабря он уже будет дома, а подработать лишние деньжата к Новому году никогда не мешает... Вот только досадно было, что чье-нибудь более проворное судно наверняка успело уже снабдить жителей островов всем необходимым к предстоящему празднику. Не сомневаясь в этом, капитан отправился налегке, не взяв с собой ни сакэ, ни риса, ни сои, ни других товаров, которые обычно доставляла на острова его шхуна.

Утро выдалось холодное, но небо было безоблачное, ветер попутный: погода для выхода в море — лучше не сыщешь. «Кайдзин-мару» с освещенными солнцем, надутыми ветром парусами легко, как птица, скользила по морскому простору. Экипаж шхуны занимался обычными утренними делами. Семнадцатилетний Санкити, племянник капитана, слишком тонкий и хрупкий для моряка, готовил завтрак в маленьком камбузе, примыкавшем к капитанской каюте. В простой черной куртке, подпоясанной узеньким пояском, он варил рис, растирал соевую пасту, двигаясь уверенно и спокойно, как молоденькая служанка, привычно стряпающая в кухне у себя дома. Он, казалось, вовсе не замечал веселого плеска волн, доносившегося через маленький иллюминатор над головой. Второй матрос, Гороскэ, сидел, скрестив ноги, на палубе у грот-мачты

и чинил снасть, что-то напевая себе под нос. Третий, Хатидзо, стоял за рулем. Оба эти парня были несколькими годами старше Санкити и отличались высоким ростом и крепким сложением. Особенно внушительно выглядел Хатидзо. При взгляде на его мускулистые волосатые руки, сжимавшие штурвальное колесо, нетрудно было представить, как эти железные кулаки обрушиваются на любого встречного, когда обладателю их случается напиться в каком-нибудь портовом кабачке. В отличие от добродушного и даже несколько глуповатого с виду Гороскэ, Хатидзо был замкнутым и угрюмым.

Капитан еще не выходил из каюты. Он совершал утреннюю молитву, сидя перед алтарем бога Компира, покровителя моряков. На алтаре среди ярко-зеленых веток священного дерева сакаки и белых и алых полосок бумаги, покрытых священными надписями, теплился огонек, тут же стояла маленькая бутылочка сакэ. Эти дары были принесены богу Компира еще вчера, накануне выхода в море. Время от времени капитан похлопывал в ладоши; руки у него были большие, загрубевшие от соленой воды и ветра. Он просил у бога счастливого плавания. Не забыл помолиться и о благополучии семьи — стариков родителей, а также жены, от которой у него до сих пор не было детей, хотя женился он уже довольно давно. Как и многие моряки, капитан глубоко верил в небесную силу Компира. И в самом деле, в нелегкой жизни на море, когда постоянно приходится иметь дело то с шальным, переменчивым ветром, то с волнами, в любую минуту готовыми обрушиться на судно, на кого еще уповать морякам, как не на бога? Эта глубокая вера заставляла их, словно детей, молитвенно складывать руки перед листками бумаги, исписанными священными иероглифами...

Капитан молился усердно и долго, его благоговейно склоненная фигура странным образом не вязалась с прозаическим обликом моряка и грубой одеждой. Небольшого роста, но крепко сбитый, он производил впечатление человека волевого и сильного, плотно сомкнутые красиво очерченные губы, высокий лоб, свидетельствовавший о том, что интеллект его достаточно развит. Одет он был так же просто, как и остальные члены команды, только пояс, сшитый из темно-синего шелка, был дороже и шире, чем у матросов.

Когда молитва была закончена, капитан вышел на палубу.

— Эй, Гороскэ, куда ты девал канат? — рявкнул он, обращаясь к сидевшему у грот-мачты парню.

— В глаза не видел. Спросите у Хатидзо! — так же громко откликнулся матрос.

— Хати, куда девался канат? — снова заорал капитан, обращаясь к Хатидзо, стоявшему у штурвала.

— Лежит на баке,— ответил тот в том же тоне. Капитан и матросы вовсе не относились друг к другу плохо — за долгие годы, проведенные ими на море, у них выработалась привычка напрягать голос, чтобы перекричать грохот волн.

Капитан отправился на бак. Походка у него была неторопливая, точно он прогуливался по галерее у себя дома. Дойдя до склада, в котором хранились запасные снасти и разные инструменты, он остановился у кливера и начал пристально вглядываться в морскую даль, подернутую сиреневой дымкой.

— Опять ветер крепчает...— пробормотал он.

Тем временем поспел завтрак. Санкити подал чашки и миски на стол в кубрике, единственном просторном помещении на шхуне. Выскочив на палубу, юноша бегал от одного моряка к другому и орал каждому прямо в ухо:

— Дядя, завтрак готов! Иди есть, Гороскэ!

Потом, не дожидаясь товарищей, сам торопливо принялся за еду, с аппетитом уничтожая рис — чудесный, рассыпчатый, пахнущий морской свежестью рис, совсем не похожий на тот, который варят на суше. Санкити торопился поскорее покончить с завтраком: он должен был сменить Хатидзо у штурвала. Когда капитан и Гороскэ вошли в кубрик, Санкити уже вставал из-за стола, а в следующую секунду уже несся по палубе, крича на бегу:

— Хати, я подменю тебя! Иди есть!

На море, озаренном утренними лучами, виднелось множество больших и малых судов. Рыбачьи лодки спешили в бухту, чтобы успеть доставить на городской рынок ночной улов. Навстречу им двигались рыболовные шхуны, направлявшиеся к более отдаленным участкам лова,— они надеялись найти там богатые косяки рыбы. То и дело мимо проплывали большие лодки, битком набитые пассажирами. Тут были и старики, и дети, и женщины, но больше всего было девушек, стайками примостившихся на грудах мешков с мукой или на связках всевозможных морских водорослей. Все они направлялись из окрестных рыбацких поселков в город за покупками к Новому году. Девушки наперебой болтали о покупках, о предстоящих новогодних забавах. Над водой то и дело звучали раскаты звонкого беззаботного смеха.

Санкити был уже в том возрасте, когда трудно оставаться равнодушным при звуке девичьих голосов. Всякий раз когда до него долетали взрывы смеха, юноша, не выпуская из рук штурвала, невольно косил глаза в сторону проплывавшей мимо лодки. С первого взгляда он узнавал, из какой она бухты, из какого поселка.

Встретилась лодка, в которой сидели знакомые.

— Эй, на «Кайдзин-мару», куда путь держите?

— На острова.

— Поскорей возвращайтесь, Новый год на носу!

Они перебрасывались словами с той же непринужденностью, с какой обмениваются приветствиями люди на улице. Санкити, чувствуя на себе взгляды девушек, сидевших в лодке, орал еще громче и неестественнее, чем обычно. И особенно крепко сжимал рукоятки штурвала.

Повстречались и приятели Санкити из его родного поселка.

— Как улов?

— Ничего, жаловаться нельзя!

— Подбросьте-ка нам рыбку-другую!

— Лови!

Рулевой направил лодку поближе к шхуне, а его товарищ достал из плетеного бамбукового садка две рыбы и, размахнувшись, швырнул на шхуну. Не успел Санкити отбежать от штурвала, как на палубе «Кайдзин-мару» уже подпрыгивали, брюхом кверху, две большие макрели, сверкая голубовато-серебряной чешуей. Из кубрика выглянул Гороскэ, только что покончивший с завтраком.

— Обед сегодня будет на славу! — он подхватил одну рыбу и, крепко зажав ее в руке, довольно захохотал, широко разевая рот, огромный, как лошадиная пасть.

Но когда через несколько часов шхуна вышла, наконец, в открытое море, эти сцены, полные трепета человеческой жизни, бесследно исчезли. Кругом, куда ни глянь, виднелось теперь только солнце, море да бескрайнее небо. Волны, которые до сих пор плескались и сыпали брызгами, как расшалившиеся дети, то заигрывая с бушпритом, то пытаясь приподнять корму, то задорно прищелкивая языками у бортов, внезапно изменили повадку и, словно остервенев, набросились на «Кайдзин-мару»

с вероломством предателей. Теперь волны походили на танки высотой не менее десяти-двенадцати метров. Сгрудившись сотнями, эти танки непрерывной вереницей катились на «Кайдзин-мару». По мере приближения они росли, вспухали, гребни покрывались пеной, мгновенье — и они вдруг с грозным ревом лавиной обрушивались на шхуну. Цвет моря неузнаваемо изменился: оно помутнело, стало ржаво-черным и грозным.

Ветер тоже переменился. Вместо дувшего до сих пор норд-веста над головой засвистел западный ветер. Он несся со страшной скоростью и, точно соревнуясь с волнами, швырял шхуну.

— Тьфу, дьявол, вот это уж вовсе незваный гость! — бранились матросы на «Кайдзин-мару». Волн они не боялись. Как бы ни бесновалось море, как бы ни бушевали волны, заливая палубу, это не грозило настоящей бедой. Иное дело — ветер. С ветром шутки плохи. Матросы знали, что поладить с этим грозным владыкой моря можно только с помощью той тактики, которой придерживается всякий мудрый вассал по отношению к деспоту-господину, то есть путем беспрекословного подчинения и послушания. Пусть бушует и беснуется вволю, главное — не перечить и не сопротивляться. Тогда, быть может, еще удастся хоть в какой-то мере отвратить от себя его гнев.

Ветер не ослабевал в течение всего дня. Когда же с наступлением ночи он как будто немного утих, оказалось, что шхуну снесло с курса далеко на восток.

— Попали в переплет! Если б не ветер, давно уже были бы на острове.

— Еще бы!

— Неизвестно, доберемся ли туда завтра!

— Вот чертов ветер!

Поужинав, матросы «Кайдзин-мару» расположились в кубрике, слабо освещенном керосиновой лампой. Их не очень тревожило, что они потеряли день из-за вынужденного отклонения от курса — они знали, что рейс на острова, до которых при попутном ветре было всего около десяти часов ходу, при неудачной погоде нередко отнимал трое, а то и четверо суток.

Матросы мирно беседовали. Особенно охотно и весело болтал Гороскэ. Хатидзо держался по-прежнему угрюмо, делая вид, что рассуждения Гороскэ нисколько его не интересуют, и только когда шутки приятеля становились чересчур уж непристойными, словно нехотя усмехался. Гороскэ рассказывал сначала о пирожках, которыми славилось веселое заведение на острове, а потом стал разглагольствовать о тамошних женщинах. Для Санкити это был еще совсем неизведанный мир. Тем больше любопытства возбуждали в нем рассказы Гороскэ. Однако застенчивость заставляла его притворяться, будто он вовсе не слушает разговора. Гороскэ заметил это и принялся его поддразнивать. Тогда Санкити вдруг вскочил и, весь побагровев, набросился на Гороскэ с яростью молодого щенка.

Тем временем капитан стоял у штурвала. Он крепко сжимал рукоятки, как опытный наездник держит поводья, и неотрывно следил за небом и морем с хладнокровием и вниманием ученого. Луны не было, но ночь горела звездами, и небо, озаренное их мерцанием, словно посыпанное блестками, светилось бледным сиянием. Море, еще не успокоившееся после дневного шторма, казалось устрашающе черным в этом призрачном свете. Время от времени с тоскливым воем налетал холодный шквальный ветер, трепал паруса, заставлял жалобно стонать мачты, и с каждым его порывом звезды вдруг вспыхивали все разом, отражаясь

в черной пучине моря, и мигали, словно таинственно намекали на какие-то страшные, только им ведомые события в грядущем... Капитан пристально вглядывался вдаль, туда, где должна была находиться линия горизонта. Заметив далеко на западе смутное сияние, похожее на хвост кометы, он понял, что назавтра опять предстоит шторм.

Он не ошибся. С рассветом завыл западный ветер, еще более свирепый, чем накануне. Шхуну вновь снесло с курса, и она неудержимо понеслась на восток, все дальше и дальше. Борьба была бесполезна. Все шесть парусов «Кайдзин-мару» метались, стонали, шумели и волновались, словно стайка перепуганных ребятишек. Моряки перебегали от мачты к мачте, укрепляя и подтягивая шкоты. Но в конце концов свирепая лапа настигла жертву. Первым сорвало кливер. Он унесся в черную бездну моря, как легкая древесная стружка. Через два часа сорвало самый большой парус, державшийся на грот-мачте. Вечером не стало стакселя. Наступила ночь, но буря не унималась.

К этому времени капитан решил отказаться от своего первоначального плана — было разумнее идти к берегам провинции Тоса, нежели во что бы то ни стало пробиваться на острова. В гаванях Тоса тоже не будет недостатка в грузе — он сможет взять на борт сушеную рыбу «бонито», или лес, или мало ли что еще... Если ветер стихнет, то за день-два шхуна легко доберется до полуострова на востоке залива Тоса. Капитан жалел только, что команде не удастся встретить Новый год как положено. Поэтому он держался приветливей, чем обычно, и то и дело шутил с матросами.

— Эй, Гороскэ, представляю, какая куча писем от девчонок с Дотомбори ожидает тебя на берегу! Помяни мое слово, я не ошибся. Сам увидишь, когда вернешься! — говорил он Гороскэ.

— Наш Хати стал в последнее время необыкновенно речист,— подшучивал он над молчаливым, угрюмым парнем.— Впору баллотироваться в члены поселкового собрания... Давай, Хати, действуй, а мы с Гороскэ организуем предвыборную кампанию!

— Санкити, если ты собираешься привезти домой в подарок кораллы, так не зевай — с завтрашнего дня здесь сплошь пойдут коралловые рифы...

Обычно молчаливый и сдержанный, он в трудную минуту умел найти для каждого ласковое и веселое слово.

Санкити, немного приунывший, снова заулыбался, ободренный шутками капитана. Гороскэ тоже смеялся. Только Хатидзо был мрачен. Он с ненавистью всматривался в бескрайнее ревущее море, в небо, по которому неслись черные рваные тучи.

На четвертое утро западный ветер сменился северным. Этот ветер разметал в прах намерение капитана добраться до берегов Тоса. Резко похолодало, с неба, сплошь покрытого свинцовыми тучами, то и дело сыпалась ледяная крупа.

— Вот пакостная погода! Чтоб черти побрали этот проклятый град! — бранился Хатидзо, словно вымещая на погоде всю накопившуюся за эти дни злость и досаду.

Вечером поужинали горячим супом с клецками.

— В такой холод дома тоже, пожалуй, выпал снег...— Дуя на горячий суп, разлитый по чашкам, они перебрасывались короткими словами о доме. «Через три дня — Новый год»,— было у каждого на уме, но никто не стал распространяться на эту тему. Когда моряк находится в море, нет у него другого дома, кроме судна. Все члены экипажа «Кайдзин-мару» чувствовали, что в затруднительном положении, в котором они очутились, следует особенно тщательно избегать всякого раз-

говора, нарушающего эту неписаную заповедь моряков. Даже хмурый Хатидзо не осмелился пренебречь этим обычаем.

Утром стало чуть потеплее, зато небо заволокли еще более зловещие тучи, а волны с бешенством кидались на шхуну. Море больше уже не походило на море. Оно превратилось в беспорядочное нагромождение горных хребтов, бездонных ущелий и острых пиков. Кругом простиралась нескончаемая путаница вершин и впадин, громады скал и утесов. Взбираясь на эти скалы, шхуна наклонялась под углом почти в девяносто градусов, а опускаясь, летела вниз с ужасающей скоростью. Со всех сторон падали, ломаясь, толстые зеленые стены воды, стремясь подмять под себя шхуну. «Кайдзин-мару» судорожно металась, стараясь вырваться из их плена. Мгновенье — и струи воды, словно дымящиеся клубы вулкана, брызжут из-под бортов и кормы, кажется, будто шхуне чудом удалось вырваться на простор, но это означает лишь, что она опять очутилась на гребне новой водяной громады. И снова она взлетает высоко вверх, и снова почти отвесно скользит вниз. Эти падения и взлеты повторяются с головокружительной быстротой, и всякий раз за кипящей пеленой белой пены появляются и исчезают две далекие линии горизонта, одна — высоко над головой, другая — далеко внизу, под ногами.

Гороскэ и Хатидзо вцепились в штурвальное колесо. Чтобы их не смыло волной, они обвязались веревкой, конец которой прикрепили к якорной лапе. Оба были в плащах и все же промокли до нитки. Волны то и дело перелетали через палубу прямо над головой, но парни не падали духом. Напротив, борьба со стихией, казалось, воодушевила их. От недавней угрюмости Хатидзо не осталось и следа. Небритое лицо его дышало энергией, глаза светились мужеством и упорством. Даже туповатая физиономия Гороскэ преобразилась.

Капитан и Санкити работали на палубе, укрепляя все, что могли унести волны, задраивая все входы и люки, чтобы вода не проникла внутрь шхуны. Работать на палубе, по которой перекатывались волны, было несравненно опаснее, чем неподвижно стоять на месте, вцепившись в рукоятки штурвала. Но капитан и Санкити не уступали в храбрости Хатидзо и Гороскэ.

— Ага, вот она! Давай, пошла! — кричал капитан всякий раз, как новая волна обдавала его пеной и брызгами.

Если бы воевать пришлось только с волнами, было б еще полбеды. Но когда в довершение всего с рассветом налетел свирепый зюйд-вест и сорвал последние оставшиеся паруса, капитан понял, что дела плохи. И все же он не считал положение безнадежным. Главное — как-нибудь продержаться. Тем временем погода может перемениться, и даже на самый худой конец, если шторм не утихнет и шхуну разобьет в щепы, команду может подобрать какой-нибудь пароход, курсирующий между островами Огасавара, или другое судно, так же, как и они, сбившееся с курса. Да нет, этого не случится, ведь его шхуна построена всего лишь полтора года назад из самого высококачественного дерева и металла. Он истратил на постройку столько денег, что это могло считаться почти роскошью для судов подобного класса... Капитан был уверен в своей «Кайдзин-мару». Нужно только стараться, чтобы шхуну ни в коем случае не снесло за пределы японских вод. Если ветер не стихнет в ближайшие сутки и подгоняемая им шхуна будет нестись, повинуясь его дыханию, трудно сказать, в какие океанские дали их занесет... Кроме того, им ежеминутно грозит опасность перевернуться. И капитан принял решение.

— Санкити, давай пилу! Гороскэ, ты тоже ступай сюда!

Все трое обвязались одной веревкой, и капитан, взяв пилу, начал подпиливать грот-мачту у самого основания. Он не спешил, не суетился,

работал размеренно и спокойно, точно плотник у себя в мастерской; со стороны можно было подумать, будто он нисколько не опечален горестным делом, которым вынужден заниматься.

Гороскэ и Санкити подхватили упавшую мачту. Топ-мачту, прикрепленную к верхушке, сняли вместе с маленьким треугольным топовым парусом и бережно спрятали. По совести говоря, капитану хотелось бы спилить и фок-мачту на носу шхуны, но он передумал. Если шторм прекратится и вдали покажется дымок парохода, эта мачта понадобится, чтобы поднять сигнал бедствия. С рассветом ветер немного утих и переменил направление, теперь он дул с юга. Капитан укрепил снятый вчера топовый парус на единственной оставшейся мачте, пытаясь хоть как-нибудь выправить курс на север. Но несчастья продолжали преследовать шхуну. С полудня подул ураганный норд-вест, и в довершение беды с неистовой силой хлынул дождь. Казалось, на шхуну одновременно набросились три врага — дождь, ветер, волны. Что не успел уничтожить ветер, довершили волны. То, что пощадили волны, смыл дождь. Многого не досчитались моряки в этот злосчастный день. Волны унесли бочонок маринованной редьки. Но самым тяжелым ударом была потеря последнего, топового паруса, поставленного на фок-мачте: его сорвало ветром. «Кайдзин-мару» превратилась в беспомощную посудину, гонимую по воле ветра и волн.

В этот вечер Санкити сообщил дяде, что риса осталось очень немного.

— Значит, с завтрашнего дня перейдем на болтушку,— распорядился капитан.

Приказ капитана вызвал ожесточенное сопротивление Хатидзо.

— На кой черт есть болтушку, когда все равно помирать! Я не согласен! — закричал он.

Стоит еще попасть в шторм, и надежды на спасение нет. А судя по погоде, шторма можно ждать в любую минуту. Зачем же, спрашивается, беречь рис? Раз все равно им крышка, не лучше ли хоть поесть досыта перед смертью? Это единственное, что они еще могут себе позволить. Других радостей у них не осталось. И каждую минуту их подстерегает гибель. Поесть вволю риса — вот единственное его желание, и товарищи с ним согласны...

— Что, Гороскэ, разве неправильно я говорю? — обратился он к приятелю.

— Правильно! Терпеть не могу морковь и болтушку! — недалекий парень всегда готов был встать на сторону того, кто предлагал есть повкуснее.

— Постыдись, Гороскэ! Что ты болтаешь? — прикрикнул на него капитан.

Гороскэ покраснел и виновато усмехнулся, словно прося прощения. Но Хатидзо стоял на своем.

— Говорите что угодно, а я не хочу умирать, набив брюхо дрянью! — решительно заявил он.

— Всего восемь дней пробыл в море, а уже помирать собрался? Эх ты, слюнтяй! А еще считаешь себя моряком! — капитан нарочно говорил резко, стараясь задеть самолюбие Хатидзо. Но тот не сдавался.

— А чего там корчить из себя храбрецов и притворяться? Угодить в такой шторм да остаться без парусов и без мачт, когда тебя неведомо куда гонит,— тут никакому моряку в живых не бывать. Я давно уже знаю, что всем нам крышка.

— Это значит, что тобой уже завладел демон трусости,— спокойно возразил капитан.— Рассуди хорошенько, Хати. Я вот, например, твердо

уверен, что останусь в живых, несмотря ни на что. Я верю, что властитель наш Компира не оставит нас. Пусть мне придется питаться болтушкой или даже вовсе пить одну только воду, пусть от шхуны останется одна-единственная доска, за которую я уцеплюсь, все равно нужно стиснуть зубы и верить, что не погибнешь. Потеряем выдержку, станем действовать без оглядки — сами себя погубим, прежде чем Компира сумеет помочь нам. И выйдет, что могли бы люди спастись, да не сумели... На такое безрассудство я никогда не пойду!

В словах капитана звучала страстная воля к жизни. Особенно сильно подействовали его слова на самого младшего из матросов — Санкити. Сердце юноши, замиравшее от страха, забилось с облегчением, он как будто даже развеселился, ощутив новый прилив веры в своего дядю. Санкити восхищался мужеством капитана. Сознание, что ему, племяннику этого человека, не подобает хныкать или отчаиваться, заставило его внутренне подтянуться. Даже Гороскэ слушал слова капитана с таким видом, словно полностью соглашался с ним. Только Хатидзо продолжал упорствовать:

— Красивых слов можно наговорить сколько угодно. Я сказал, что не стану есть болтушку, и баста!

Они только что закончили ужин и сидели за столом в кубрике. Раньше здесь каждый вечер слышался смех, звучали морские песни, нередко Гороскэ декламировал, подражая артистам и заставляя товарищей покатываться со смеху. Так было и в начале этого рейса. Но чем дольше длилась непогода, тем печальнее и мрачнее становились вечера в кубрике. Капитан, расстроенный спором с Хатидзо, вскоре ушел к себе. Оставшимся было не до песен. Разговаривать тоже не хотелось. Освещенные тусклым светом свисавшей с потолка лампы, они молчали, погруженные каждый в свои невеселые думы.

Санкити и Гороскэ вскоре уснули, но Хатидзо не спалось. Досада, раздражение и неодолимый гнев мешали ему уснуть.

«Дьявольщина! Нечего сказать, повезло мне. Ловко он обвел меня вокруг пальца!» — мысленно твердил он, сопя и ворочаясь, словно бык в стойле.

Хатидзо не был постоянным матросом «Кайдзин-мару», а нанялся временно, на один рейс, когда шхуна отправилась в Модзи за грузом бобов. После этого он собирался распрощаться со шхуной и уже заранее мечтал о новогоднем угощенье и выпивке. Но капитан уговорил его сделать еще один рейс на острова. Почему он тогда поддался на уговоры, почему не остался на берегу? Эта мысль нестерпимой досадой терзала Хатидзо.

«Вот тебе и денежки к Новому году... Пригодятся разве лишь в преисподней в уплату за переправу...» *

Злоба и гнев владели им сильнее, чем страх. Оттого-то он и стал в последнее время таким бесшабашным и дерзким, что не постеснялся вступить в спор с капитаном. Рисовая болтушка была только поводом для взрыва давно накипевшей злобы.

Капитан хорошо понимал, что творится в душе у Хатидзо. Окажись на месте Хатидзо кто-нибудь из его постоянных матросов, он не постеснялся бы влепить ему затрещину-другую, но на этот раз он сдержался. В тяжелом положении, в котором все они очутились, не хотелось затевать ссору. Но сегодняшнее поведение Хатидзо чуть не вывело его из терпения. Поэтому, выходя из кубрика, он резким тоном приказал Санкити:

* Согласно религиозным представлениям японцев, мертвые, совершая свой путь на том свете, должны уплатить за переправу через реку, протекающую в преисподней.

— Если Хатидзо не хочет есть болтушку, это его дело. С завтрашнего дня готовить только жидкий отвар. Понял?

Он уже отворил дверь в свою каюту, когда неожиданная мысль заставила его замедлить шаги. Он подумал, не следует ли вернуться, позвать Санкити и приказать ему следить за ящиком с рисом? Но в следующую минуту он устыдился своих подозрений и не стал возвращаться.

Однако с наступлением утра капитану пришлось раскаяться в своей излишней доверчивости. Хатидзо встал раньше других и сам приготовил завтрак на всех. Когда Санкити и Гороскэ проснулись, уже была сварена крутая рисовая каша, вылезавшая из котла. Жесткие, плохо проваренные рисинки кололись, словно иголки.

Впрочем, что ни готовь — кашу или болтушку,— все равно через несколько дней запасы риса будут исчерпаны. Ведь рейс предполагался недальний, всего лишь на острова, так что продуктов много не взяли. Когда кончился рис, стали есть батат с подливкой из сои.

Но теперь начал ощущаться недостаток в воде. Со времени последнего шторма ни разу не выпадал дождь. Как ни берегли воду, все же настал день, когда была выпита последняя капля. Попытка выпаривать морскую воду в котле не увенчалась успехом. Между тем ненастье прекратилось, каждый день ярко светило солнце, ветер стих, море успокоилось, стало даже тепло. Трудно было рассчитывать на дождь в такую погоду.

В эти дни капитан мысленно приготовился к худшему. Если такова судьба, уготованная ему, моряку, что ж, он готов без жалоб принять ее. Все его родные тоже погибли в море. Старший брат ушел на рыбную ловлю, да так и пропал без вести в Корейском проливе. Дядя утонул вместе с транспортом, на котором служил во время русско-японской войны. Но когда бы ни наступил конец, капитану не хотелось умереть, не выпив перед смертью глоток воды, как предписывает стародавний обычай. Сам-то он уж как-нибудь обойдется, но вот парням хотелось бы дать этот последний глоток, прежде чем они закроют глаза навеки. Он просил об этом у бога Компира в своих ежедневных молитвах.

Снова наступило утро, еще более безоблачное, чем все последние дни. На горизонте, куда ни глянь, не было заметно ни облачка. Никакой надежды на дождь! Отчаяние охватило капитана, он настолько пал духом, что готов был заплакать. Запершись в своей каюте, чтобы остальные члены команды не могли увидеть его в минуты душевной слабости, он ничком лежал на койке. И все же не мог примириться с мыслью о смерти. Время от времени он вставал, выходил на палубу и всматривался в небо.

Было около трех часов пополудни (с тех пор как все часы на шхуне— и стенные, и его собственные, карманные,— заржавели и остановились, капитан определял время по солнцу с помощью компаса), когда на северном небосклоне появилась темная точка, такая маленькая, будто кто-то пролил на горизонте капельку туши. Острый глаз капитана задержался на этой точке. Он тотчас же вынес из каюты бинокль и принялся внимательно изучать темное пятнышко. И вдруг, не в силах сдержать охватившую его радость, закричал:

— Вот, вот она! Идите сюда!

Матросы, без дела слонявшиеся по палубе, удивленные этим криком, подбежали к капитану.

— Что там, остров? Корабль?— взволнованно спрашивали они.

— Туча! Дождевая туча! Будет дождь. Слышите, будет дождь! — возбужденно твердил капитан. К этому времени матросам уже не нужно

было просить у него бинокль. Крохотная точка быстро росла, увеличиваясь до размеров орлиного крыла, крыло вскоре превратилось в исполинский ковер, расстелившийся по всему горизонту. Туча все продолжала шириться и расти, кроя небо свинцово-черной пеленой. Солнце исчезло, небом завладел ветер. Вскоре хлынул проливной дождь. Радость, охватившая капитана и матросов, заставила их забыть все недавние страдания и муки. Приплясывая под струями дождя, хлеставшего по палубе, они собирали воду. И пили, пили жадно, захлебываясь, сколько душа просила. Когда вся посуда, способная вместить воду, была наполнена до краев, капитан сказал матросам:

— Ведь это настоящее чудо! Значит, не годится нам падать духом. Выходит, Компира не забыл нас! Благодарите же его и не теряйте веры!— он говорил торжественно и строго, точно прося и поучая одновременно. Все были взволнованы. Даже Хатидзо смиренно опустил голову.

Но сохранить этот душевный подъем надолго не удалось. Когда воды стало вдоволь и жажда была утолена, благодарность к Компира малопомалу исчезла, и матросами вновь овладело отчаяние. Беда заключалась в том, что они были обречены на полную праздность — нечем было занять ни руки, ни мысли. Уж лучше бы налетел шторм. Необходимость противостоять непогоде помогла бы приобрести душевную стойкость. Но погода стояла ясная, безоблачная. Рассвет сменялся закатом, а кругом по-прежнему простирались лишь две безбрежные пустыни — небо и море, между ними, как большой гвоздь, вколоченный в небосвод, неподвижно висело солнце. Куда исчез мир, полный богатства и разнообразия жизни? Мир, населенный людьми и животными, расцвеченный горами, реками и полями, покрытый травами и деревьями, звенящий щебетаньем птиц? Казалось, прошла уже тысяча лет, с тех пор как их отлучили от этого мира. Бесплодные мысли, тоска, томительный, терзающий душу гнев и мучительная неизвестность — когда же окончится это бедствие?.. Этот общий для всех потерпевших кораблекрушение страшный приступ отчаяния, наполовину сводящий людей с ума, начал постепенно угрожать «Кайдзин-мару». По мере того как оскудевали запасы батата и соевой пасты, положение становилось все более трагическим.

После того злополучного завтрака, когда капитан дорого поплатился за свою излишнюю доверчивость и беспечность, он взял все продукты под свой контроль и сам выдавал Санкити ежедневную порцию, сократив ее до предела. Это выводило Хатидзо из себя. Он начал воровать. Стараясь найти спрятанные продукты, он шарил по всем углам, по-собачьи поводя носом. Острый запах соевой пасты тотчас же наводил его на след. Куда бы Санкити ни спрятал продукты, Хатидзо находил их так же легко, как если бы они лежали у него за пазухой. В конце концов капитан забрал продукты к себе в каюту. Когда он отлучался, то оставлял дежурить Санкити.

— Вот сволочь, кормит нас бурдой, такой жидкой, что ею впору только стенки мазать, а сам, ручаюсь, жрет вместе с Санкити сколько влезет. Слыхано ли такое нахальство, а, Гороксэ?— кипел от ярости Хатидзо.

— Что ж поделаешь, ведь он, как ни говори, капитан...

Ответ Гороксэ еще больше взбесил Хатидзо.

— Болван! Если мы будем молчать, они вдвоем нас угробят. Подумаешь, капитан! Плевать я хотел на этого капитана! Ты как хочешь, а я терпеть подобное обращение не собираюсь. Сейчас же пойду к нему и выскажу все начистоту. Ты тоже ступай со мной!

— С тобой? Зачем? А что я, по-твоему, должен сказать?

— Олух! Сказано тебе, пошли вместе — и все!

Вдвоем с Гороскэ они направились на корму, к капитану. Санкити был в каюте один. Он уныло сидел на циновках, вытянув ноги. При виде Гороскэ и Хатидзо юноша переменился в лице. Под койкой, в ящике для постельных принадлежностей, были спрятаны остатки батата и соевой пасты. Какое-то тревожное предчувствие заставило Санкити затрепетать от страха.

— Дядя! Дядя! — пронзительно закричал он, словно заяц выскакивая на палубу. Услышав его крик, капитан бегом вернулся в каюту.

— В чем дело? Зачем вы здесь?— не останавливаясь, он прошел мимо обоих парней, все еще переминавшихся у порога, и уселся, скрестив ноги, под алтарем бога Компира.

— Если у вас разговор ко мне, так войдите и сядьте. Или дело такое срочное, что и присесть некогда?— капитан рассмеялся. Этот смех весьма озадачил Гороскэ. В самом деле, он все еще толком не мог сообразить, с какой, собственно, целью Хатидзо заставил его прийти сюда. Услышав слова капитана, он опустился на циновку, как всегда глуповато улыбаясь, и, казалось, готов был начать обычную, ничего не значащую беседу. Хатидзо со злостью взглянул на своего незадачливого товарища. Воинственным тоном, говорившим, что уж его-то не удастся обвести вокруг пальца, он вызывающе бросил:

— Мы пришли поделить продукты!

— Вот как?..— Капитан не удивился. Устремив на небритую физиономию Хатидзо твердый испытующий взгляд, он продолжал:— Иными словами, ты хочешь сказать, что вы желаете получить половину батата и соевой пасты?

— Вот именно. И так уж мы попали в этот переплет по вашей милости, да вдобавок вы еще и продуктами распоряжаетесь по своему усмотрению. Какого черта! С сегодняшнего же дня ваша доля пусть будет вашей, а то, что причитается нам с Гороскэ, отдайте, пока не вышло худого!

Взгляд капитана чуть омрачился.

«Хати, неужели ты думаешь, что мы съедаем хоть на один батат больше вас?»— казалось, говорил его взгляд. Но вслух он ничего не сказал.

— Хорошо, сейчас же разделим поровну все продукты. Принесите какую-нибудь корзинку, чтобы положить вашу долю.

Гороскэ побежал за бамбуковым решетом. По приказу капитана Санкити вынул из ящика все сокровища. Соевой пасты оставалось уже совсем немного, но батата, благодаря строгой экономии, было еще порядочно. Капитан аккуратно разделил его на две кучки, тщательно пересчитав каждый клубень. Неожиданно нашлась добавка — косточки маринованной сливы, о которых вдруг вспомнил Санкити и сбегал за ними в камбуз. У моряков с давних пор существует поверье, будто боги не любят, чтобы косточки выплевывали за борт, в море. На «Кайдзин-мару» тоже, разумеется, соблюдался этот обычай, косточки складывали в пустую консервную банку. О них-то и вспомнил Санкити. Сохранившие привкус соли, косточки эти в данных обстоятельствах могли считаться подлинной драгоценностью. Только воду, поскольку воды у них было вдоволь, решено было не делить и по-прежнему пользоваться ею совместно На этом дележ закончился. При виде маленькой корзинки, полной батата, соевой пасты и косточек, Гороскэ сиял, словно ему отвалили тысячу мешков риса.

— Эй, Хати, погоди минутку!

Оба матроса уже вышли из каюты на палубу, когда окрик капитана заставил их остановиться. Хатидзо оглянулся. Гороскэ, державший корзинку, тоже уставился на капитана.

— Еще раз напоминаю, это все, что у нас есть. Когда эти продукты кончатся, больше вы ничего не сможете получить. Тогда уже действительно нечего будет есть, разве что грызть канат и веревки. Понял, Хатидзо? Помни об этом!

Хатидзо, не ответив, отвернулся. Капитан следил взглядом за их удаляющимися фигурами. Он видел, как они, не сворачивая к кубрику, направились на нос шхуны, где находился вход в трюм. Капитан понял, где они собираются теперь поселиться. И еще он понял, что продуктов, которые они получили, хватит им не больше чем на три дня... Но в данных условиях он не мог отвергнуть их требование. В конце концов это было их право. Что пользы, если б он возражал, опираясь на свою власть капитана, хотя бы даже ради того, чтоб отсрочить угрожавшую им же опасность? Один был слишком туп, другой чересчур необуздан. Капитан знал: когда гнев туманит Хатидзо голову, он способен на любой безрассудный поступок.

Капитан вернулся в каюту, сел напротив Санкити и погрузился в молчание. В эти последние дни он всячески старался скрыть от мальчика свою тоску и тревогу, но сейчас не в силах был притворяться. Борода, не бритая почти три недели, и беспорядочно отросшие волосы преобразили внешность всех, но капитан изменился, пожалуй, сильнее других. Он похудел, побледнел, его лицо избороздили глубокие морщины — следы страданий. Только глаза оставались прежними. Они светились несгибаемой волей. Но теперь эти глаза ввалились, длинные ресницы окружали их темной тенью. Санкити было мучительно больно видеть изможденное лицо дяди. Закусив нижнюю губу, юноша сидел неподвижно, борясь с набегающими на глаза слезами.

Шхуна вся пылала, охваченная ярко-красным сиянием заката, точно объятый пламенем дом. Единственная уцелевшая мачта казалась огненным столбом. Сноп пламенных лучей проник сквозь раскрытую дверь в каюту. Но этот щедрый свет служил лишь жутким багровым фоном для двух неподвижных темных фигур, продолжавших сидеть в молчании.

Закат сменился вечерней мглой, а они все сидели, не шевелясь, в темной каюте. Они уже привыкли не зажигать огня — и свечи, и керосин давно вышли. Не хотелось даже пошевелиться, чтобы встать и закрыть дверь. Впрочем, вечер был теплый, не холоднее, чем бывает в Японии в июне.

С этого дня экипаж шхуны разделился на два лагеря. Цитаделью Хатидзо и Гороскэ стал трюм на носу шхуны, где они проводили целые дни, а капитан и Санкити заняли каюту и кубрик на корме. Как враждующие соседи, они перестали даже ходить друг к другу. Когда обитателям трюма случалось выйти на палубу, они никогда не приближались к корме. Однако жителям кормы приходилось по меньшей мере два или три раза в день бывать на носу — там находилась бочка с водой. Обязанность ходить за водой лежала на Санкити. Проходя мимо трюма, юноша нередко ловил на себе угрюмый взгляд Хатидзо, лежавшего внизу на полу, у самого люка. По мере того как шло время, взгляд этот становился все более жутким.

Безотчетный страх охватывал Санкити, словно ему угрожала опасность; проходя мимо люка, он невольно ускорял шаг.

— Санкити! — как-то раз окликнул его Хатидзо.

— Что тебе? — Санкити остановился и заглянул в люк. Из серой глубины блеснули все те же пугающие глаза. Чуть поодаль лежал Гороскэ. Его волосатые ноги виднелись рядом с головой Хатидзо.

— У вас, наверно, еще остались продукты? — голос Хатидзо звучал чуть сипловато.

— Что осталось?

— Что, что! Не строй из себя дурачка! Держу пари, что вы с капитаном припрятали кое-что сверх того, что пошло в дележ. Мы здорово просчитались, что не заставили вас тогда же выложить все!

— Что ты болтаешь, Хати? Мы разделили все поровну — и батат, и сою, все, что у нас было. Я не вру!

— Правда?

— Конечно правда!

На секунду воцарилось молчание. Потом Хатидзо снова спросил:

— Если это правда, тогда, выходит, у вас тоже больше нечего есть?

— Да ведь дядя говорил же тогда! Ничего у нас нет. Вот уже два дня как мы пьем одну воду...— отчаяние с новой силой охватило Санкити. Он опустил ведерко с водой на палубу и заплакал, закрывая лицо руками.

Точно в таком же положении находились Хатидзо и Гороскэ, только голод подобрался к ним еще раньше. Капитан не ошибся, заранее угадав, что продуктов хватит им ненадолго. Начался самый настоящий жестокий голод. Желудок, казалось, перестал быть обычной частью тела, одним из органов человека, а превратился в какое-то свирепое существо с острыми, как у зверя, клыками. Это существо неотступно молило о пище, ни на секунду не прекращая своих настойчивых требований. Даже когда все остальное тело готово было забыться сном, существо это ни на секунду не засыпало, стремясь заполучить хоть что-нибудь съестное. Когда же, несмотря на все требования, на все жалобы и мольбы, оно убеждалось, что не получит даже крохотного кусочка пищи, оно лязгало во мраке зубами и бесновалось в отчаянии, не давая уснуть.

Голод мучил Гороскэ и Хатидзо даже во сне. Стоило им хоть на минуту уснуть, как тотчас же снилась еда. То им мерещилось, как кипит, весело булькая, рис в котле, то чудился аппетитный запах лукового супа, заправленного соевой пастой. Им грезились всевозможные лакомства — тонко настругаиные розоватые ломтики рыбы, лапша, пирожки... Стол буквально ломился от этих призрачных яств. Настругаиная рыба лежала на тарелке целой горой, суп варился в огромном котле, жареная рыба была гигантской величины. Во сне они набрасывались на эту пищу и ели много, жадно, одно кушанье за другим.

После пробуждения муки голода становились еще сильнее.

— О, черт, как хочется есть! Ох, до чего ж я голоден! Чего бы я не отдал сейчас за жареного угря! Или за рисовые пирожки! Я согласен на любую еду. Сил нет, как хочется есть...— жалобно причитал Гороскэ, слоняясь из угла в угол по трюму.

А воображению Хатидзо, кроме все этих знакомых, привычных блюд, чудилось еще одно, совсем особенное, обладавшее теперь для него необъяснимо притягательной силой. Ему вспоминалась огромная коровья нога, которую он видел однажды в лавке у мясника на одной из оживленных портовых улочек в Осака. Выросший в рыбачьем поселке, Хатидзо всегда предпочитал мясу овощи или рыбу, и хотя и не разделял предрассудков, свойственных старикам, с отвращением говоривших о «мясе четвероногих», но за всю свою жизнь так ни разу и не купил себе мяса. Как ни странно, это незнакомое на вкус мясо казалось ему теперь удивительно соблазнительным. Ему мерещилось, как шипит, жарясь на вертеле, кусок говядины, с которого каплет кровь, или как это мясо варится в котле вместе с луком и чесноком, распространяя дразнящий запах.

«Наверно, чертовски вкусная штука! Дурак я был, что так ни разу и не собрался отведать!» Эта мысль неотступно преследовала Хатидзо.

Именно с этого времени взгляд его приобрел тот пугающий лихорадочный блеск, который уловил Санкити. И если Санкити чудилось, будто блеск этот становится с каждым днем все более угрожающим, то он не ошибался. В самом деле, сознанием Хатидзо все упорнее завладевала некая чудовищная идея. Несколько раз в течение дня в отверстии люка над его головой мелькала фигура Санкити. И постепенно Хатидзо уже не мог отделить этого юношу от непрестанно мерещившихся ему видений.

В последние дни погода стояла жаркая, и Санкити носил только куртку да короткие синие штаны. Снизу, из трюма, были хорошо видны его ноги. Если судить по этим ногам, думал Хатидзо, между человеком и животным нет большой разницы. Коровья нога, висевшая на крюке в мясной лавке, была побольше размером, только и всего... И вот опять всплывает перед глазами кусок говядины, висевшей под карнизом лавки. Лучи заходящего солнца ярко освещают мясо. Оно вспыхивает, точно красный лоскут. Вне себя, оскалив зубы, Хатидзо бросается на это мясо и пожирает его...

Придя в себя, он невольно содрогнулся. «Кажется, я превращаюсь в зверя...» Он закрыл глаза, силясь уснуть, забыться. Но голод не давал спать. Вот сейчас опять послышатся шаги Санкити, идущего за водой. Слабые, немного шаркающие шаги босых ног... Едва звук их достигает ушей дремлющего Хатидзо, как глаза его широко раскрываются, точно сами собой. И снова, затаив дыхание, он ждет, когда шаги раздадутся ближе, над головой... Хатидзо била дрожь. Он боялся пошевелиться. Но в то же время он испытывал такой мучительный голод, что готов был, кажется, одним прыжком выскочить на палубу и вцепиться зубами во что попало.

По мере того как усиливался голод, эти страшные приступы безумия все учащались.

— Гороскэ! Давай поговорим о чем-нибудь! — крикнул он как-то раз, чувствуя, что окончательно теряет рассудок. Но о чем было говорить? Ничего, кроме еды, не шло на ум. Вдвоем они перебрали все кушанья, какие только знали.— Скажи, Гороскэ, это правда, что тебе случалось есть обезьяну?

— В прошлом году, когда была эпидемия оспы, бабка заставила меня съесть кусочек. Говорили, что мясо обезьяны помогает от оспы лучше всякого талисмана.

— Ну и какое оно на вкус?

— Да как бы тебе сказать... Четвероногие все вообще, примерно, на один вкус, разницы большой нет.

— Я слыхал, мясо суслика сильно воняет.

— Зато барсука, говорят, вполне можно есть.

— Змеи тоже, наверно, годятся в пищу, а?

— Конечно! На горе Хината лесорубы всегда едят жареных змей. Но все же, наверно, вкусом они похуже, чем угорь.

— Выходит, нет таких животных на свете, которые не годились бы в пищу, а?

— Не только животные. В старину, я слыхал, когда случался голод, ели коренья, траву. Если бы мы заблудились в горах, то могли бы грызть кору или собирать коренья. Уж какая-нибудь еда да нашлась бы. Как вспомнишь об этом, ох, до чего же есть хочется!

— Не горюй, Гороскэ. Я кое-что придумал.— Хатидзо не решился произнести вслух, что именно он придумал. Но замолчать, прекратить этот разговор, было уже вне его власти.— Как, по-твоему, Гороскэ, каково на вкус человеческое мясо?

— Я слыхал, будто оно напоминает плоды граната.

— А мне сдается, что намного вкуснее!

— Ты думаешь?

— Безусловно. Раз рыба и мясо четвероногих такие вкусные, значит, и человек не хуже. Ручаюсь, что человечье мясо гораздо нежнее говядины и жирнее, чем рыба.

— Тогда, значит, здорово вкусное...

— Еще бы.

— Ох, давай лучше не будем говорить о еде. Только еще больше хочется есть. Нет, до чего я голоден!

— Это не пустой разговор, Гороскэ. Теперь все зависит от нас самих. Будем действовать с умом, так сможем досыта наесться этим лакомым кушаньем.

Хатидзо казалось, будто замысел еще не окончательно созрел в его голове. Но слова как будто опередили сознание, и он не успел удержать их. И, странное дело, он продолжал хладнокровно развивать перед Гороскэ свой план, не чувствуя больше ни страха, ни угрызений совести. Страшный замысел ошеломил Гороскэ.

— Как хочешь, а на такое дело я не пойду! — заявил он.

— Слизняк! Ведь не тебе же придется его убивать. Ты только знай позови его, когда он будет проходить мимо. Чего же ты трусишь?

— Послушай, да ведь жаль его все-таки...

— Чего там жаль? Все время издевался над нами вместе с капитаном. За одно это его стоит убить. Ладно же, раз ты боишься, обойдусь без тебя. Но только помни, больше уж на меня не рассчитывай.

Гороскэ казалось, что он неминуемо погибнет, если товарищ его покинет.

— Не говори так. Я сделаю все, что ты скажешь! — взмолился он под конец.

— То-то. Смотри же, ты обещал, не забудь!

— Не забуду...

От Хатидзо не укрылось, что в последнее время Санкити стал инстинктивно остерегаться его. Потому-то ему и потребовалась помощь Гороскэ. Вечером он тихонько вышел на палубу и вскоре вернулся с топором, которым кололи дрова. Топор был большой, но заржавел, а лезвие зазубрилось. В лихорадочных поисках точильного камня Хатидзо облазил всю шхуну. Он нашел его под палубой на корме среди разного ненужного хлама. Добыв и топор, и точило, он уселся в углу трюма и принялся точить лезвие. Время от времени он вставал, подносил топор к иллюминатору и разглядывал лезвие при свете звезд. Закончив работу, он спрятал топор под грудой рваной парусины, наваленной в углу трюма.

Рассвело. В это утро Хатидзо не валялся в постели, как обычно. Он поднялся рано, покрепче затянул пояс.

— Вставай, Гороскэ! — грубо растолкал он товарища.— Приготовься, слышишь! Сейчас он придет,— шепнул он напряженным, сдавленным голосом.

Ждать пришлось недолго. Вскоре на палубе послышались знакомые шаги Санкити. Шаги постепенно приближались. Глаза Хатидзо лихорадочно блестели. Изо всех сил стараясь казаться спокойным, он нарочно повернулся спиной к люку и, усевшись перед жаровней, принялся разводить огонь. Помещение наполнилось дымом.

Наконец шаги раздались у самого люка.

— Санкити! — тотчас же окликнул его Хатидзо.

— Что тебе? — Санкити остановился.

— А мы тебя поджидаем,— продолжал Хатидзо,— хотим угостить бататом. Иди, получай свою долю!

— Откуда у вас может взяться батат? Вы обманываете меня!

— Дурачок! Зачем нам тебя обманывать? Вчера вечером я искал точило и нашел несколько штук батата в мешке на складе. Целых три клубня. Два мы съели, а третий оставили для тебя. Можешь сказать нам спасибо. Правда, Гороскэ? —обратился он к Гороскэ, как бы требуя подтверждения. Послышался голос Гороскэ:

— Правда, Санкити. Настоящий батат. Охота, верно, попробовать? Давно ведь не приходилось...

Эти последние слова окончательно лишили Санкити рассудка. К тому же он смутно помнил, что вчера вечером Хатидзо действительно шарил по всей шхуне, что-то разыскивая. Поставив на палубу пустое ведерко, он проворно спустился через люк в трюм.

— Давайте! Дайте мне этот батат! — взмолился он.

— Да вот же, бери!

— Где?

— Да вот же, в корзине рядом с Гороскэ, не видишь, что ли?

— Так дымно, ничего не разгляжу...— Санкити растерянно озирался, дым ел глаза. Опустившись на колени, спиной к Хатидзо, он старался ощупью найти в полутемном углу корзинку, в которой должен был лежать батат. В ту же минуту взлетел и опустился топор. Раздался душераздирающий крик. Обливаясь кровью, Санкити рухнул с проломленным черепом.

Гороскэ, вне себя от страха, упал ничком в ту самую минуту, как за спиной Санкити блеснул занесенный топор. Услышав, как рухнуло тело, он немного оправился от испуга и робко приподнял голову. Но страшное зрелище, представившееся взору, напугало его еще больше. Его начала колотить дрожь. Стуча зубами, он бессмысленно повторял:

— Он умер, ты уверен? Не оживет?

— Все в порядке. Он мертв.— Хатидзо старался сделать вид, будто полностью владеет собой, однако его, как и Гороскэ, колотил озноб. Этот ничтожный Санкити всегда представлялся ему достойным внимания не более, чем какая-нибудь жалкая рыбешка, но теперь, мертвый, он подавлял Хатидзо какой-то непонятной, властной силой.

Хатидзо не знал страха. Он всегда готов был ответить на любой вызов, схватиться с любым противником и бороться с ним до победы. Но с безмолвной, гнетущей силой, исходившей от неподвижного окровавленного тела, бороться было нельзя... Тем больший страх теперь испытывал Хатидзо. Он хотел поскорее покончить с трупом, но ноги и руки не повиновались ему. Желание расправиться с телом Санкити, как он раньше мечтал, совсем исчезло. Растерянный, охваченный страхом, он стоял неподвижно, все еще сжимая в руке топор.

В это время с кормы донесся голос капитана, звавший племянника:

— Санкити! Санкити!

Матросы переглянулись. Гороскэ затрясся еще сильнее. К Хатидзо, напротив, как будто вернулось самообладание. Он тотчас же сообразил, что нужно делать.

— Вставай, Гороскэ! — с досадой прикрикнул он на вконец растерявшегося товарища. Вдвоем они завернули труп в обрывки парусины и засунули под кучу тряпья. Но топор Хатидзо прятать не стал — он положил его рядом с жаровней, чтобы в случае надобности он был под рукой.

Когда Санкити отправился за водой, капитан, как всегда, совершал утреннюю молитву перед алтарем бога Компира. Он молился довольно

долго, но Санкити все не возвращался. Сам не зная почему, капитан встревожился. Он вышел на палубу и позвал юношу. Ответа не было. Пустынная палуба, с единственной уцелевшей мачтой, похожей на телеграфный столб, одиноко торчащий у деревенской околицы, легко просматривалась от кормы до бушприта; Санкити нигде не было. Но один предмет в дальнем конце палубы привлек внимание капитана. Это было маленькое ведерко, стоявшее возле люка на носу шхуны.

Как оказалось там это ведерко? Может быть, Санкити, набрав воды, спустился в трюм проведать товарищей? В нынешних обстоятельствах это было почти невероятно. Если б ведерко стояло поближе к борту, можно было бы предположить, что Санкити, ослабев от голода, оступился и, не сумев сохранить равновесие, свалился за борт. Но ведерко стояло почти в самом центре палубы, значит, это предположение отпадало. Но в таком случае, куда же девался Санкити, бросив свое ведерко? И где?.. У самого входа в опасное логово, где обезумевший от голода хулиган и его незадачливый, окончательно утративший подобие человека товарищ целыми днями шумели, выли и бесновались от бессильного гнева?

Капитан вздрогнул от страшной догадки. Он отчетливо представил себе самое страшное, что способен совершить человек.

Нельзя было медлить ни секунды. Капитан вернулся в каюту, схватил короткий багор, которым пользовались при разгрузке шхуны, и бросился к люку, крича дрожащим от гнева голосом:

— Эй, Хатидзо, Гороскэ, сию же минуту отпустите Санкити! Слышите, сию же минуту!

В трюме молчали. Молчание это еще больше испугало и разгневало капитана.

— Отчего вы молчите? Куда вы девали Санкити? Вам должно быть известно, где он! Эй, Хатидзо, выходи наверх! А ты, Гороскэ, неужели и ты заодно с ним? Почему вы не отвечаете? Или вы натворили такое, что у самих языки отсохли? Ну же, выкладывайте все начистоту! — в ярости топая ногами, капитан колотил багром по краю люка. Наконец снизу донесся голос Хатидзо:

— Перестаньте шуметь! Почем нам знать, куда девался Санкити. Нет его, так ищите сами. Что мы, сторожа вашему Санкити?

— Ты еще осмеливаешься дерзить? Я обо всем догадался! Вы убили Санкити! Отвечайте!

Злоба и жажда мести душили капитана, но он не решался прыгнуть вниз, в трюм, чтобы напасть на убийц. Это было все равно что по доброй воле войти в логово хищников. Прежде чем его ноги коснутся пола, его постигнет участь Санкити. Капитан понимал, что нужно как-нибудь выманить обоих матросов на палубу. И капитан продолжал, взволнованно, громко:

— Так, значит, вам нечего отвечать? Вы не решаетесь даже отрицать то, что вы натворили? Подумайте, ведь мы, моряки, хотя и чужие по крови, но, когда плаваем на одном судне, все равно что родные братья. И в горе, и в радости мы должны помогать друг другу. А вы двое только и делали, что поносили меня на все лады, а теперь решились на такое страшное дело. Знайте же, с этой минуты я считаю вас своими врагами. Или вы воображаете, что убили человека и вам это так сойдет? Выходите по-хорошему, слышите? Поднимайтесь сюда, на палубу! Теперь вам придется иметь дело со мной. Я расквитаюсь с вами за Санкити. Отчего вы молчите? Почему не выходите? Трусите? — И капитан принялся осыпать оскорблениями Хатидзо и Гороскэ: — Жалкие трусы! Вас же двое, а я один. Чего же вы боитесь? И такие слюнтяи

убили человека? Хорошо же, тогда вот, смотрите,— с этими словами капитан отшвырнул прочь багор, который сжимал в руке.— Видите, я теперь безоружен. Можете выходить без опаски — даю слово, что не трону вас, пока не подниметесь сюда оба. Неужели даже на таких условиях не решаетесь выйти? Трусы, поганые трусы, оба как на подбор! Вы только болтать умеете, только на словах храбрецы! И вам не стыдно? Бабы, слюнтяи, бесхребетные медузы!

Внизу послышались шум и возня. Это Гороскэ пытался удержать Хатидзо, который рвался наверх, окончательно потеряв самообладание от сыпавшихся на него оскорблений. Слова капитана подействовали на него, как дым на хищника, спрятавшегося в норе. Оттолкнув цеплявшегося за ноги Гороскэ, он выскочил на палубу, сжимая в руке топор.

— Ладно уж, чего там скрывать и прятаться. Да, мы убили Санкити. Убили, чтобы съесть. Ну и что из этого? — вызывающе крикнул Хатидзо, размахивая топором над головой, готовый обрушить его на капитана, если тот сделает хоть один шаг. В эту минуту он больше не походил на человека. Утратив человеческую душу, он, казалось, утратил и человеческий облик. Всклокоченные волосы и дико блестевшие глаза на исхудалом, давно небритом лице делали его похожим на голодного льва. Голосом, напоминавшим рычанье, он продолжал бросать в лицо капитану: — Если, по-твоему, мы поступили нехорошо, так накорми нас, все равно чем, лишь бы досыта! Дай нам еду, слышишь! Накорми нас. Что, не можешь? Нечем? Ну что же ты молчишь? Мы голодны, понял? Подыхаем с голоду. Нам нужна еда. Человечина или что угодно — все равно.

— Оба вы уже не люди, а дьяволы! — только и мог вымолвить капитан. Он снова схватил багор.

— А по чьей вине? Кто устроил нам этот ад? Ты!

— Я или кто другой — не нам судить.

— Проклятый барсук! — Хатидзо взмахнул топором.

— Негодяй! — крикнул капитан, уклоняясь от удара, и, размахивая багром, в свою очередь атаковал Хатидзо.

Оба уже давно ослабли от голода, но в эту минуту испытывали необычайный прилив сил.

Однако поединок длился недолго. На палубу выкатился Гороскэ и бросился между ними. Уцепившись за ногу Хатидзо, он кричал:

— Хати, перестань! Опусти руку! Мы виноваты. Мы виноваты, что задумали убить Санкити. Как бы нам ни хотелось есть, люди не должны пожирать друг друга. Мы поступили нехорошо. Когда я остался один, там, в трюме, страшно мне стало. Я боюсь призрака Санкити. Капитан, простите нас! Давайте помиримся, будем жить дружно, как раньше. Мне страшно! — Гороскэ упал к ногам капитана и, прижимаясь лицом к палубе, захлебывался рыданиями. У кого хватило бы жестокости отвергнуть эти отчаянные мольбы? Капитан опустил руку, сжимавшую багор, слезы выступили у него на глазах, он заплакал, быть может, впервые в жизни. Хатидзо, хотя и не просил прощения, но стоял неподвижно, опустив голову.

В тот же день вечером тело Санкити перенесли из трюма на палубу. Капитан положил на грудь племяннику листок со священной надписью с алтаря бога Компира, окровавленное тело завернули в обрывки паруса, заменившие саван, крепко-накрепко обвязали сверху веревками и бросили в море.

С гибелью Санкити в груди капитана поселилось не только горе, но и великий страх. Он понимал, что раз уж в мозгу Хатидзо однажды родилась страшная мысль, нынешняя неудача не заставит ее исчезнуть — во

всяком случае, пока продолжается голод. И если Хатидзо вновь решится на преступление, тогда наступит черед его, капитана. На раскаяние и слезы Гороскэ полагаться не приходится. По наущению Хатидзо он снова будет с ним заодно, в этом можно не сомневаться. Понимая, что в случае нападения у него нет ни малейших шансов спастись, капитан принял меры предосторожности. Он смастерил надежные засовы на входной двери. Затем разделил оставшуюся воду и перенес свою долю в каюту.

Теперь капитан почти совсем не выходил из каюты. Как ни старался он примириться с мыслью о смерти (ему даже казалось, будто он полностью покорился неизбежному), в душе он все еще упорно стремился к жизни. Его не оставляла надежда на спасение. Шхуну может прибить к какому-нибудь острову, или вдруг встретится какое-нибудь судно... Иногда эти надежды с особенной силой овладевали его душой. Тогда он тихонько отодвигал задвижку и, шатаясь от слабости, выходил на палубу. Он жадно всматривался в горизонт, стараясь в то же время находиться как можно дальше от трюма. Но сколько он ни смотрел, кругом было лишь до отвращения знакомое море, небо и солнце. Мир был пуст. Капитан возвращался в каюту и снова ложился на свою койку. Случалось, он не выходил из каюты по двое суток. Судя по календарю, прошло уже больше сорока дней, с тех пор как они покинули родной берег. Иногда капитану снились родители и жена. После таких снов он еще острее ощущал горечь и тоску одиночества. Мучительно больно было сознавать, что в этом трагическом положении, когда даже малая букашка была бы желанным гостем, товарищи-моряки, люди одной судьбы, должны бояться друг друга, прятаться друг от друга. Не раз капитан готов был крикнуть: «Хати, Гороскэ, идите сюда, давайте потолкуем о чем-нибудь!» Но в следующую минуту ему вспоминался окровавленный труп Санкити.

Наступил сорок пятый день дрейфа. Уже несколько дней небо хмурилось, а сегодня налетел ветер и поднял такие волны, что даже капитан, выросший на море, не помнил ничего подобного. Капитан привязался поясом к койке, чтобы не упасть. Внезапно сквозь грохот волн он различил голос Гороскэ.

— Капитан, капитан! — звал матрос. Затем раздался стук в запертую дверь каюты.— Капитан, впустите нас! Волны заливают бак, в трюме оставаться никак нельзя. Спасите нас, капитан!

Некоторое время капитан молчал, хладнокровно взвешивая в уме слова Гороскэ. Он знал, что Гороскэ говорит правду. В такой шторм и в самом деле невозможно оставаться на баке. Но почему молчит Хатидзо? Это насторожило капитана. Впрочем, трудно было допустить, что Хатидзо намерен напасть на него так открыто, в такой отчаянный шторм, нарочно подослав с этой целью Гороскэ. Нет, пожалуй, этого можно было не опасаться. Значит, они оба ищут убежища, спасаясь от шторма, как гонимые бурей птицы... Он не имеет права покинуть их на произвол судьбы. Капитан встал и отпер дверь. Впереди стоял Гороскэ, за ним Хатидзо. Однако капитан не сразу впустил их.

— Хорошо, входите. Но раньше разденьтесь догола оба,— строгим, не допускавшим возражений тоном приказал он. Гороскэ тотчас же скинул штаны и куртку и остался в одних трусах. Но Хатидзо медлил.— А ты, Хати? Почему ты не раздеваешься? — потребовал капитан и вдруг заметил, что куртка Хатидзо как-то неестественно оттопыривается на спине.— Ну-ка повернись! — скомандовал он и быстрым движением ощупал спину Хатидзо. Рука наткнулась на что-то твердое. Рывком отвернув полу куртки, капитан увидел топор.— Что это значит? Зачем у тебя

топор? — спросил капитан, изменившись в лице от изумления и гнева. Но ответ Хатидзо прозвучал сверх ожидания спокойно:

— Я не собирался пускать его в ход. Но если бы вы напали на меня, как тогда, с багром, плохо бы мне пришлось безоружному...

Что ж, это звучало правдоподобно. Возможно, капитан сам поступил бы так на его месте... И чтобы убедиться в правоте его слов, он спросил еще раз:

— Это правда?

— Правда,— не колеблясь, ответил Хатидзо.

— Тогда смотри, Хати, мы сделаем так,—капитан вытащил из-под кровати багор, связал его полотенцем вместе с топором и, выйдя из каюты, на глазах у Хатидзо и Гороскэ бросил за борт.— Теперь входите, но помните, если вы задумаете плохое, вам обоим не поздоровится...

С этой ночи оба матроса поселились в тесной каюте капитана. Волны не проникали сюда даже в самый сильный шторм. Но эта совместная жизнь в одной каюте была страшной для капитана. Он вынужден был спать бок о бок с убийцами его племянника, с людьми, способными в любой момент поднять руку и на него. Даже во сне приходилось быть начеку. Правда, кроме багра, брошенного в море, у него имелось и другое оружие. Украдкой он принес из камбуза большой кухонный нож и спрятал его в постели между матрацами. Когда он ложился спать, нож всегда был у него под рукой. «Попробуйте только суньтесь!» — мысленно твердил он.

Тем временем опять начали иссякать запасы воды. Дождя давно не было, а бочонок Хатидзо и Гороскэ, стоявший на баке, опрокинулся во время последнего шторма. И вот наступил день, когда в бочонке капитана тоже не осталось ни капли.

— Неужели нам так и придется помирать здесь? Проклятая наша судьба! — стонал Гороскэ. Голос его был уже едва слышен. Он лежал на циновках между Хатидзо и капитаном, так же, как и он, изнемогавшими от физических и душевных страданий.— Но если подумать — поделом нам! Ведь правда, Хати? Бог Компира разгневался на нас за то, что мы так жестоко поступили с Санкити. Прости нас, Санкити! — Жалобы Гороскэ всегда заканчивались просьбами и мольбами, обращенными к мертвому Санкити. Уставившись широко открытыми глазами на алтарь бога Компира, он плакал и молил о прощении, как будто ему мерещился призрак Санкити. Слушая его причитания, капитан с новой силой переживал случившееся, и в то же время в душу к нему невольно закрадывался страх.

— Не вспоминай больше о Санкити, Гороскэ. Раз ты раскаиваешься, он, наверно, простит тебя. Замолчи,— уговаривал он матроса.

— Капитан, как подумаю, что после смерти буду гореть в аду за убийство Санкити, боюсь умирать! — говорил Гороскэ, и его изможденное лицо судорожно подергивалось от страха.— Чем так мучиться от голода, в сто крат лучше броситься в море и помереть сразу. Я бы бросился, да боюсь умирать. Так страшно мне, так страшно, что и сказать нельзя...

— Не терзайся так. Мы все в одинаковом положении,— уговаривал его капитан, но суеверный страх Гороскэ невольно передавался ему самому.

Как-то раз капитану приснилось, будто бог Компира предупреждает его, что скоро мимо них пройдет торговое судно. Утром он рассказал об этом Хатидзо и Гороскэ.

— Давайте выйдем на палубу. Не может быть, чтобы Компира сказал мне неправду.

Впервые за несколько дней они вышли из каюты. Стояла чудесная погода, яркие лучи солнца, потоками лившиеся с неба, почти ослепили ослабевших от голода моряков. Но вскоре глаза свыклись со светом, и все трое стали жадно вглядываться в даль. Море, окружавшее шхуну со всех сторон, было теперь для них диском судьбы, а далекая линия, отделявшая этот диск от неба,— границей жизни и смерти. О, если бы в какой-нибудь точке этой линии показался хоть слабый дымок! Охваченные одним исступленным желанием, они с трудом волочили ослабевшие ноги, переходя от одного борта к другому. И вновь они останавливались и вглядывались, и снова, отчаявшись, брели к противоположному борту. Единственный бинокль капитана переходил из рук в руки.

Солнце уже стояло в зените, заливая палубу почти отвесными лучами, а море было по-прежнему пустынно. В конце концов матросы устали ждать понапрасну.

— Никакого парохода нет и не будет. Ерунда все это! — первым высказал свое разочарование Хатидзо.— Пойдем, Гороскэ, сколько ни жди, бесполезно.

— Пойдем, говоришь? Ох, проклятая наша доля! — всхлипнул Гороскэ.

— От богов и от будд толку мало. Только дурак может на них надеяться,— с явным намеком в адрес капитана сердито заявил Хатидзо и, ворча, что от всей этой кутерьмы у него только голова закружилась, побрел на корму в каюту.

Гороскэ остался, но спустя полчаса окликнул капитана:

— Капитан, я тоже, пожалуй, пойду прилягу. И вы возвращайтесь, чего уж...— шатаясь от слабости, он потащился в каюту. Капитан не ответил. Он уцепился за единственную уцелевшую мачту и настойчиво оглядывал горизонт. Кругом расстилалась все та же синяя безмолвная пустыня, без конца и без края. Капитан опустился на палубу возле мачты и громко, в голос заплакал.

— Сейчас штиль, и спасти нас было бы так легко и просто...— плача, бормотал он.

Сколько времени прошло после этого, он не знал. Ему казалось, что он не спал, но, очевидно, он задремал. Его разбудил гудок парохода.

Сперва он подумал, что опять видит сон. Но как только он взглянул на восток, вся кровь внезапно прихлынула к его сердцу.

— Пароход! Пароход! Хати, Гороскэ! — громко закричал он.

Услышав его голос, оба парня, лежавшие в каюте, выбрались на палубу. Пароход — это было великолепное грузовое судно — находился от них уже на расстоянии меньше морской мили.

— Видите, он идет к нам!

— Правда... Он приближается, приближается!

— Какое счастье, какое счастье! — они прыгали, кричали от радости и в конце концов заплакали, вцепившись друг в друга. Хатидзо обнимал капитана так же горячо, как и Гороскэ. Его угрюмое, обросшее щетиной лицо сияло неподдельным счастьем и благодарностью.

Мог ли капитан вспоминать о пережитой трагедии в минуты этой великой радости? Матросы обнимали его, а он, всхлипывая, бессвязно повторял:

— Ты рад, Хати, да? А ты, Гороскэ?.. Мы самые счастливые люди на свете!

Но как ни велико было их волнение, они не забыли, что нужно делать. По приказу капитана Хатидзо и Гороскэ принесли из каюты сигнальные флаги и подняли их на верхушку мачты. Когда на мачте

затрепетал флаг в синюю и белую клетку и маленький треугольный вымпел с красным солнцем на белом поле, с парохода ответили протяжным гудком.

— Они сигналят нам. Они идут к нам на помощь!

— Они быстро движутся, уже совсем близко!

— О великий Компира! Великий Компира! Все твоя благодать! — капитан уселся, скрестив ноги, под мачтой и, молитвенно сложив руки, повернулся в сторону каюты, где находился алтарь Компира. Пойти туда, чтобы помолиться у алтаря, было выше его сил — он, как ребенок, ни на секунду не мог оторвать взгляд от парохода, который нес им спасение.

Вскоре все трое очутились на палубе парохода. Из пустыни, где были только море, небо и солнце, они снова вернулись в мир, полный жизни, звеневший людскими голосами. Это произошло ровно на пятьдесят девятый день после того, как они покинули берега Кюсю.

Команда парохода окружила их ласковой заботой. Матросы по очереди ухаживали за ними, свободные от вахты члены команды то и дело заглядывали на корму, стараясь услужить кто чем мог. Когда через день-другой они уже настолько оправились, что могли глотать жидкий рисовый отвар, один матрос подстриг им волосы, торчавшие во все стороны, словно морские водоросли. Руки и лица им обтерли спиртом и до некоторой степени вернули всем троим человеческий облик. Вот только одежду сменить на первых порах было невозможно: предельно исхудавшие тела, покрытые лиловыми пятнами как будто после побоев, напоминали обтянутые кожей скелеты; при малейшем прикосновении и капитан, и оба матроса вскрикивали от боли. Теперь, когда угроза смерти исчезла, все трое чувствовали себя по-настоящему тяжелобольными. Разговаривать они могли только шепотом.

Спустя тринадцать дней, которые они провели не поднимаясь с постелей, до них донеслась весть, что завтра наконец пароход прибудет в Иокогаму. В два часа утра «Котобуки-мару» — так назывался пароход — должен был пройти мимо острова Осима. Значит, вдали на горизонте можно будет разглядеть темный силуэт острова и тонкую струйку дыма, всегда висящую над вулканом Михара-яма, похожую на дымок, поднимающийся с курительного прибора, забытого в дальнем углу просторного зала.

Когда на горизонте возникли очертания острова, все моряки на «Котобуки-мару» впились в него глазами с тем чувством, с каким вернувшийся из дальнего странствия путник смотрит на показавшиеся вдали окна родного дома. Трое спасенных слышали радостные крики команды: «Остров! Виден остров!» — но как ни хотелось капитану и обоим матросам тоже увидеть землю, они были еще слишком слабы, чтобы встать. С великим трудом, превозмогая боль, им удалось повернуться набок, но все равно, с того места, где стояли их койки, ни острова, ни дыма вулкана не было видно.

— Взглянуть бы одним глазком! Всего несколько шагов сделать — оттуда, наверно, хорошо видно! — волновался Гороскэ и сам, без посторонней помощи,— как только ему это удалось? — уселся на койке. Хриплым радостным голосом он выкрикивал: — Что мне остров, плевать мне на остров, на что он мне сдался? Завтра — Иокогама! Завтра мы будем не где-нибудь, а в Иокогаме! Это все равно что дома! Как я счастлив, капитан! Хати, ты почему лежишь с таким хмурым видом и молчишь? Или ты не рад? А я так сил нет, до чего рад! Так рад, что не могу спокойно лежать на месте! Так счастлив, что впору пуститься в пляс! И буду плясать, буду плясать! — В самом деле, сидя на койке,

он принялся размахивать руками, как рыба двигает плавниками, и, раскачиваясь всем телом из стороны в сторону, изображал какое-то подобие танца, уставившись в пространство полубезумным взглядом.

— Ты что, спятил, Гороскэ? — удивился капитан.— Помнишь, что тебе говорили? Нельзя так суетиться и прыгать!— Но Гороскэ не слушал.

— Теперь и помирать можно! Теперь все можно! Мы вернулись! Завтра Иокогама! Да разве тут усидишь спокойно? — выкрикивал он, продолжая подпрыгивать. Но внезапно он пошатнулся и соскользнул с койки на пол.

— Что с тобой? Вставай скорее! Гороскэ! — испуганно звали капитан и Хатидзо, но Гороскэ не отвечал и только протяжно стонал. Его товарищи были очень слабы и не могли встать и помочь ему. Они хотели бы позвать кого-нибудь, но их слабые голоса все равно не могли быть услышаны. Как на грех, поблизости не было никого из матросов — все готовились к завтрашнему прибытию в порт. Прошло почти два часа, когда один из моряков случайно заглянул на корму. Заметив упавшего с койки Гороскэ, он испуганно подбежал к нему, но к этому времени тело Гороскэ уже успело похолодеть.

Назавтра в десять часов утра «Котобуки-мару» вошел в Иокогамский порт. Чиновники из управления порта пришли на корму, чтобы записать показания спасенных моряков с «Кайдзин-мару». Необычно долгий дрейф шхуны вызывал любопытство — чиновников интересовало все, вплоть до самых незначительных обстоятельств. Но в то же время они не забывали своих обязанностей. Последовал подробный допрос по всей форме. Особенно досконально и тщательно расследовалась смерть Санкити.

— Так вы говорите, смерть последовала от болезни?

— Да, господин,— капитан «Кайдзин-мару» невозмутимо утверждал, что Санкити умер от болезни.

— Чем он болел?

— Он сильно ослабел от голода и к тому же еще схватил простуду.

— Сколько дней он болел?

— Дня четыре или, может быть, пять... Хорошенько не помню.

— Ладно, будем считать, что он умер на пятый день. И вы, значит, похоронили труп в море?

— Да, мы завернули тело в старую парусину и бросили в воду.

В этот момент с койки, на которой лежал Хатидзо, внезапно донеслись судорожные рыдания. Закрыв лицо руками, Хатидзо плакал, содрогаясь всем телом. Дежурный матрос подошел к нему, ласково уговаривая успокоиться, но он, как будто не слыша уговоров, все сильнее захлебывался рыданиями. Чиновник, уверенный, что слезы Хатидзо вызваны тягостными воспоминаниями о смерти товарища, не обратил внимания на этот взрыв горя и спокойно продолжал допрос. Только капитан понимал, чем вызваны слезы Хатидзо. Но сейчас капитан испытывал по отношению к нему не столько гнев, сколько жалость. Ему хотелось успокоить Хатидзо, сказать, что он не собирается его выдавать. Но в присутствии чиновника этого нельзя было сказать вслух. И он продолжал хладнокровно отвечать на вопросы.

К 91-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

И. Анисимов

ЛЕНИН И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

В начале 60-х годов нашего столетия уже не составляет особого труда ясно представить себе социалистическую перспективу развития всемирной литературы. Это сама очевидность. И если буржуазная критика все еще не решается признать совершающиеся на наших глазах коренные изменения во всемирной литературе, это свидетельствует только о ее духовной нищете.

Советские исследователи много сделали для того, чтобы раскрыть новые закономерности развития литературы в эпоху социалистической революции. И все же мы находимся лишь в самом начале работы, имеющей огромное научное значение.

В частности, предстоит всесторонне осветить самый момент исторического перелома, исследовать истоки явлений, которые приобрели в наше время всеобъемлющее значение во всемирной литературе. Наши историки литературы еще не раз будут обращаться к этому удивительно динамическому, предельно насыщенному творческими открытиями периоду.

В годы, предшествующие первой мировой войне и Великой Октябрьской социалистической революции, всемирная литература находилась в состоянии предельно обострившейся борьбы сил реакции и прогресса. По мере того как капиталистический мир утрачивал свою устойчивость в преддверии всеобщего кризиса, в литературе совершались процессы, являвшиеся отражением деградации капитализма.

Уже в конце XIX века буржуазная критика провозглашает поход против реализма. В таком документе, как опубликованная Жюлем Юре «Анкета о литературной эволюции», превосходно запечатлена ярость, охватившая разрушителей реализма, справлявших тризну по ненавистному им литературному направлению *. Большинство опрошенных Жюлем Юре французских писателей конца века заявило о своей приверженности декадансу. Декадентских течений, входивших тогда в моду и по существу ничем не отличавшихся друг от друга, было множество. Необычайно широко распространяются пессимистические настроения, различные виды мистики, культ отчаяния. Это был хаос.

Анри Клюар, автор «Истории французской литературы от символизма до наших дней», пишет об одной из попыток классифицировать бесчисленные декадентские измы: «кладбище школ, родившихся и умерших в годы с 1901 по 1913, представляет перечень названий, которые не может удержать наша память: «флерализм», «эффренеизм», «друидизм» и множество других»,— которые Флориан-Пармантье, сам являющийся основателем «импульсионизма», пытался представить и изучить в своей «Истории французской литературы с 1885 до 1914 г.».

Мы, конечно, ничего не поняли бы в истории европейской литературы, если бы доверились буржуазным литературоведам, которые называют конец XIX — начало XX века временем расцвета символизма и вытекающих из него бесчисленных разновидностей модернизма и пытаются создать

* Как известно, Толстой использовал данные «Анкеты» Жюля Юре, когда он формулировал обвинительный приговор буржуазной литературе в знаменитом исследовании «Что такое искусство?»

впечатление, что в этот период литература нашла какие-то новые пути своего развития.

Блеф модернистского новаторства опровергнут жизнью. Юре и Флориан-Пармантье были более откровенны в обнажении хаоса и бессмыслицы той декадентской «ярмарки на площади», в которую превращалась буржуазная литература, охваченная неизлечимой болезнью распада.

2

Свести к модернистской пестроте литературу предвоенной эпохи конечно нельзя. Действительность была сложней и богаче, и наше внимание должны остановить явления, которые не интересуют буржуазных исследователей. Именно эти явления имеют огромное значение для будущего всемирной литературы.

Размежевание двух литератур в каждой национальной европейской литературе принимает в предвоенные годы крайне резкий характер. Наиболее значительные писатели начинают воспринимать капитализм как обреченную на гибель общественную систему, критическое начало в их творчестве усиливается. Литература критического реализма как бы достигает предела своих возможностей, обнажая аморальность буржуазного общества.

«Неприятные пьесы» Шоу представляют образец такого реализма. Рядом с ними можно поставить «Человека, который совратил Гедлиберг» Марка Твена, возмущенную сатиру, далеко идущую в своих выводах (как известно, последнее десятилетие жизни Твена отличается необычно резкими для него осуждениями капиталистического мира), а также горькие сатиры Франса, и особенно «Остров пингвинов». Они и составляют ведущую магистраль развития всемирной литературы в начале XX столетия. простирающуюся до «Верноподданного» Генриха Манна, законченного писателем перед самой войной.

Неуклонное нарастание обличительного начала в литературе, которая решалась противопоставить себя буржуазному обществу, составляет самую существенную особенность переходного времени.

Золя, «Я обвиняю» которого прозвучало на весь мир, с полным основанием видел в этом обвинительном приговоре капиталистическому обществу итог своего творческого развития. Примечательно, что когда некоторые французские критики хотели оказать высшую честь позднему Золя, они сравнивали его с «великим русским» — Л. Н. Толстым. Именно Толстой создал величайшее произведение обличительного реализма — «Воскресение». Его всемирное воздействие поистине необозримо. И эта самая последовательная, самая беспощадная в мировой литературе отповедь циничному лицемерию буржуазного общества стала вершиной того критического реализма, который приобретал все большую силу, все более гневную интонацию на рубеже двух столетий. Именно эти замечательные победы реализма и спасают достоинство всемирной литературы конца XIX — начала XX века, являя собой внушительное и яркое противопоставление модернистскому маразму.

3

Тесно переплетаясь с обличительными произведениями критического реализма, развертываются в этот же период социалистические искания передовых европейских и американских писателей.

Социалистические утопии Золя были окрашены реформистскими иллюзиями, что принижало их пафос, но важен сам факт обращения к социализму крупнейшего французского писателя.

Анатоль Франс с его социалистическими устремлениями становится необычайно характерной фигурой литературы начала XX века. Созданные им социалистическая утопия «На белом камне», горячая революционная публицистика, эпический цикл «Современная история» неоспоримо свидетельствуют о том, что наиболее значительные достижения всемирной литературы начала XX века не имеют ничего общего с модернистской мишурой.

Социалистические симпатии Верхарна и вдохновленная ими романтическая утопия «Зори» раскрывали новые возможности перед всемирной литературой.

Социализм Джека Лондона, облик которого буржуазная критика стремилась грубо исказить, был явлением для американской литературы. Мы имеем в виду и «Железную пяту» Джека Лондона — фантастическое прозрение, в котором неизбежность

столкновения труда и капитала показана с огромной силой, и его публицистику. Джека Лондона привело к социализму сознание того, что он находится «на дне социальной пропасти».

Понятие «социальной пропасти», проходящее сквозь всю публицистику Джека Лондона, может являться ключом и к сатирической фантастике Франса, и к позднему Твену, и к обличительному театру Шоу, и к «Верноподданному» Генриха Манна.

«Революция уже пришла. Попробуйте остановить ее»,— провозгласил Джек Лондон. Подобное восприятие современности присуще большинству передовых писателей того времени — Ромену Роллану, Эптону Синклеру и многим другим.

Как известно, бурно протекавший процесс социалистических исканий не привел писателей, искренне стремившихся найти выход, к успеху. Золя, Верхарн, Франс, Джек Лондон, Эптон Синклер и другие рано или поздно переживают глубокий духовный кризис: социализм, лишенный революционной перспективы, не мог удовлетворить их, дать их творчеству животворный импульс.

Лишь М. Горькому удалось достичь той цели, к которой стремились писатели Запада и Америки. Он создал «Мать» — социалистический революционный роман, ставший исходным моментом великого современного движения, называемого нами социалистическим реализмом.

Победа Горького, бесспорно, опирается на весь огромный и часто мучительный опыт всемирной литературы в поисках социалистического выхода, но это произведение, вобравшее в себя революционность русского рабочего класса, высоко поднимается над теми тщетными попытками социалистического синтеза, которые предпринимались в предвоенные годы писателями других стран.

4

Таким образом, на рубеже социалистической революции всемирная литература не только продолжает развивать реалистическую традицию, на которую ополчаются реакционные силы, но и имеет определенный опыт социалистических исканий, прокладывавших ей путь вперед, даже когда они не приводили к победе.

«Мать» Горького уже непосредственно предваряла новую эпоху всемирной литературы, и в этом смысле роман принадлежал будущему.

Как известно, Ленин оценивал «Мать» как очень своевременное, насущно нужное народу, нужное революции художественное произведение.

Ленин относился с пристальным вниманием к попыткам передовых писателей Запада выйти на социалистический путь. В сохранившихся выписках из каталогов Бернской библиотеки, относящихся к 1915 году, мы находим имена Синклера, Андерсена Нексе, Дж. Лондона (характерно, что книг Синклера и Лондона в библиотеке не оказалось). В выписке, относящейся к 1916 году, повторяется имя Нексе, с указанием произведения «Пелле-завоеватель» *.

В дореволюционной переписке Ленина встречаются имена Синклера и Анатоля Франса (1908). Н. К. Крупская рассказывает, что Ленин в бессонные ночи зачитывался Верхарном. Она подтверждает, что «Огонь» Барбюса был прочитан Лениным еще в Швейцарии.

Мы не приводим здесь суждений Ленина об этом романе, оказавшем глубочайшее воздействие на литературу двадцатого столетия. Они широко известны и являются основой научного изучения новых закономерностей развития всемирной литературы в нашу эпоху. Необходимо только подчеркнуть, что Ленин считал романы Барбюса «Огонь» и «Ясность» лишь «одним из особенно наглядных подтверждений повсюду наблюдаемого, массового явления роста революционного сознания в массах...»

Вот одна из иллюстраций к этому ленинскому обобщению. В 1914 году в далеком Чили революционный деятель и талантливый писатель Луис Эмилио Рекабаррен писал о будущем: «За войной должна последовать революция... так называемая буржуазная цивилизация и культура рухнула, потерпела полное крушение. Теперь должна возникнуть новая победоносная культура, социалистическая цивилизация...»

То, что прогноз Луиса Эмилио Рекабар-

---

* Неизвестно, имел ли возможность Ленин прочитать эти заинтересовавшие его произведения в годы швейцарской эмиграции, но в его личной библиотеке в Кремле было несколько книг Нексе.

рена оказался таким удивительно глубоким, свидетельствует о широчайшем, подлинно всемирном размахе процесса революционного пробуждения масс.

5

Великая Октябрьская социалистическая революция сразу же отражается в зеркале всемирной литературы. Западные авторы стремятся по свежему следу описать события Октябрьской революции. Ко всем этим начинаниям Ленин относился с исключительным интересом. Он требовал, чтобы из-за границы присылалось все, что было написано о Советской России: «если нельзя всего, то вырезки всего о большевиках»,— писал он советскому послу в Берлине (август 1918 года).

В феврале 1921 года он просил библиотекаря прислать полученную из-за границы книгу немецкого писателя-экспрессиониста Франца Юнга «Reise in Russland» («Путешествие в Россию»). Автор, позднее отказавшийся от прогрессивной общественной деятельности, очень восторженно относился в то время к Советской России. Кстати, он явился первым, кто попытался воплотить образ Ленина на сцене (драма «Die Kanaker»). Можно привести также недавно опубликованные документы — записки Ленина секретарям, касающиеся Луизы Брайант, Бесси Битти, автора книги «Красное сердце России» («Red Heart of Russia»), Луи Фрейны и других, писавших о Советской России в первые годы ее существования.

Ленин доброжелательно относился к французскому писателю Анри Гильбо, который некоторое время жил в Советской России и который впоследствии сошел с правильного пути. Книга Гильбо о синдикалистском движении во Франции вышла с предисловием Ленина. Перу Гильбо принадлежит первая попытка дать литературный портрет вождя и вдохновителя Октябрьской революции.

Ленин глубоко симпатизировал Джону Риду. Он помогал ему, когда Рид еще только собирался написать свою волнующую книгу, и горячо приветствовал ее в известном предисловии.

«Десять дней, которые потрясли мир» — великое эпическое произведение, показавшее рождение нового мира, первое свидетельство того, что всемирная история вступила в новую эпоху своего развития, книга, в которой горит пламень социалистического реализма.

Как теперь мы знаем, Ленин очень внимательно читал книгу Герберта Уэллса «Россия во мгле». Многочисленные подчеркивания и нотабене Ленина касаются тех мест текста, которые раскрывают отношение Уэллса к Советской России: писатель вынужден признать значимость исторического поворота, несмотря на несогласие с большевиками.

«...факт, грозный и удручающий, состоит в том, что рухнула социальная и экономическая система, очень схожая с нашей и теснейшим образом с ней связанная» — против этих слов Уэллса, подчеркнутых двумя чертами, Ленин ставит нотабене, выделяющее признание автором «России во мгле» непоправимого краха старого общества.

Другими нотабене отмечены также подчеркнутые слова Уэллса, в которых высказано опасение, что на путь России станут другие страны. «Крайне мало вероятия на то, что это крушение не распространится за ее границы. Возможно, что и другие крупные территории к востоку и к западу от России одна за другой будут проваливаться в эту брешь, образовавшуюся таким образом в цивилизованном мире. Быть может, туда провалится вся современная цивилизация».

Ленин подчеркивает и те места в книге Уэллса, в которых сказывается его упрямство, нежелание признать очевидные факты.

Ленина всегда интересовали изменения, которые происходили в сознании писателей западного мира. Судя по пометкам на страницах книги «Россия во мгле», его внимание привлекает и то, что хотя Уэллс далеко не все понял в увиденном в Советской России, но он признал правоту, силу и величие советской революции.

6

Среди передовых писателей Европы и Америки растет стремление покончить с состоянием «на дне социальной пропасти» и выйти на широкий простор нового. Выражение «революция в умах» входит в литературный обиход тех лет. Мы встречаем его

у Роллана, оно же служит эпиграфом к знаменитому манифесту Барбюса «Свет среди бездны», ярко передавая смысл совершавшегося во всемирной литературе поворота.

Ленин придает исключительно важное значение романам Барбюса «Огонь» и «Ясность», запечатлевшим революционный сдвиг, который произвела в сознании масс империалистическая война. Он высоко оценивает деятельность группы «Кларте», влияние которой широко распространялось среди европейской интеллигенции.

Ленин с удовлетворением отмечает, что Анатоль Франс, наряду с другими французскими деятелями культуры, выступает в защиту Советской России. Как известно, последние годы жизни Анатоля Франса были годами великого духовного обновления писателя.

«Россия — страна, где сбывается невозможное». «Ничто не сможет помешать неизбежной революции, которая совершается на наших глазах». Таковы афоризмы Франса, приветствующего начало социалистической эпохи.

Он уже был слишком стар, чтобы создать новые произведения, соответствующие его горячим симпатиям к коммунистическому движению, но прекрасны последние замыслы А. Франса. В них запечатлелось настойчивое стремление художника послужить будущему. И хотя мажорная «Жизнь в цвету», вышедшая в 1922 году, представляет лишь последнюю часть уже давно начатой автобиографической трилогии, в ней ощутимо дыхание эпохи — обличение ханжества и лицемерия буржуазного общества достигает сокрушительной силы.

В «Послесловии» А. Франс, возвращаясь к мыслям о крушении цивилизации, придает им иное течение: «новая Европа будет настолько не похожей на ту Европу, которая рушится сейчас на наших глазах, что не станет интересоваться нашим искусством и нашими мыслями».

Сопоставление старой, капиталистической, и новой, социалистической, Европы делает прогноз Франса далеким от безнадежности прогноза «Острова пингвинов».

Бернард Шоу тоже ищет в эти годы выход со «дна социальной пропасти». Он посвящает Советской России великолепную философскую пьесу, показывающую полный духовный крах буржуазного мира,— «Дом, где разбиваются сердца» (1919) и посылает Ленину драматическую пенталогию «Назад к Мафусаилу» с надписью: «Николаю Ленину, который один среди государственных деятелей Европы обладает дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту».

Как известно, Ленин внимательно читал предисловие к этой пьесе и многое подчеркивал в ней. Изучая заметки Ленина, мы видим иронию, относящуюся к тем рассуждениям Шоу, в которых он платит дань своим фабианским предрассудкам. Но зато с большим удовлетворением Ленин отмечал места, в которых проявилась сила сатирического обличения Шоу.

Подчеркнуты и отмечены нотабене слова Шоу: «...привел Европу к катастрофе столь ужасной и столь огромной по масштабам, что сейчас, в 1920 году, когда я пишу эти строки, еще далеко нельзя сказать с уверенностью, что наша цивилизация ее переживет». Ленин помещает в рамку стоящее в начале фразы слово «неодарвинизм» и на полях пишет ироническое «ха-ха!». Так обнажается обычная парадоксальность Шоу, и высказанная в этой форме серьезная, глубокая мысль приобретает особую убедительность.

Ленин пытливо и внимательно читает Шоу и Уэллса и других европейских писателей, пытающихся отразить в своих произведениях великие изменения, совершающиеся в мире. Он придает исключительное значение тому, что передовая интеллигенция стран капитализма, отбрасывая предрассудки и заблуждения, начинает наперекор буржуазной пропаганде понимать, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории человечества. Между мастерами культуры самых различных направлений Ленин видит общее: лучшие из них не могут остаться в стороне от широкого движения европейской интеллигенции, переходящей на сторону нового мира. Письмо к Карлу Штейнмецу, известному исследователю в области электротехники, написано в таких выражениях, которые близко напоминают ранее сказанное о романах Барбюса:

«Во всех странах мира растет — медленнее, чем того следует желать, но неудержимо и неуклонно растет число представителей науки, техники, искусства, которые убеждаются в необходимости замены капитализма иным общественно-экономическим

строем и которых «страшные трудности» («terrible difficulties») борьбы Советской России против всего капиталистического мира не отталкивают, не отпугивают, а, напротив, приводят к сознанию неизбежности борьбы и необходимости принять в ней посильное участие, помогая новому осилить старое».

В произведениях литературы Ленин стремится обнаружить отражение этого процесса, охватывающего все новые и новые слои и являющегося наглядным свидетельством того, что схватка старого и нового приобретала «мировой масштаб». Отсюда — пристальный интерес к творчеству Барбюса и других писателей, стремящихся связать свое творчество с великими переменами в жизни человечества, вызванными Октябрьской революцией.

7

Среди бурно развивающихся явлений нового во всемирной литературе особое значение имеет творчество Анри Барбюса. В самом облике этого писателя, смело и без колебаний ставшего на революционный путь, было нечто такое, что делало его характернейшей фигурой эпохи. Можно взять любое из выступлений Барбюса конца 10-х — начала 20-х годов, чтобы показать, что ему удается наиболее четко, ясно и последовательно выразить революционные стремления передовых писателей. Таково, например, очень не понравившееся буржуазной критике обращение Барбюса к интеллигенции «С ножом в зубах» (1921).

Небольшая книга с вызывающим названием (в нем повторена «формула» антикоммунистического плаката, которым были заклеены тогда стены Парижа) и жгучим содержанием. Судьбы современной интеллигенции и судьбы литературы рассматриваются здесь под знаком «социальной революции». Речь идет о глубочайших изменениях в сознании писателей, художников, ученых, перед которыми впервые открывается зрелище «необозримых человеческих масс».

Трудно переоценить ту силу убедительности, которую приобрели в накаленной атмосфере идейных исканий 20-х годов призывы Барбюса без колебаний и оговорок связать литературное творчество с революцией. Очень верно писал о Барбюсе Ральф Фокс: «Он был человеком, переделавшим себя в ожесточенной борьбе, переделавшим себя, чтобы стать голосом миллионов, вступавших в сражение за новое свободное общество, которое навсегда покончит с ужасами капитализма, осквернившего все человеческие отношения».

Барбюс вошел в историю всемирной литературы как писатель, который с огромной чуткостью уловил значение для судеб литературы происходивших великих перемен в жизни человечества и с огромной энергией искал путей сближения всемирной литературы с чаяниями пробудившихся масс.

Напоминая о том, что в старое время многие честные люди питали искреннее отвращение к политике, Барбюс доказывал, что в эпоху социальной революции писатель, художник, ученый должны по-новому отнестись к политике. «Политика — осязаемая работа социальной мысли, политика есть жизнь»,— говорит он и, исходя из этого, развертывает программу, одухотворенную социалистической идейностью новаторства, смело отбрасывающего хлам старого, все омертвевшие каноны.

Барбюс устанавливает нерасторжимую связь между литературой и революцией.

«Надо стремиться к революции, ибо она — благо». «Революция рождается из действительности». Ударные барбюсовские афоризмы пробивали всемирной литературе новую колею.

Все, что пишет Барбюс в это замечательное время, полно пафоса. «Мы живем в эпоху, когда мысль должна подняться до страшной высоты событий».

Это и есть главное. И это — путь невиданных возможностей творческого развития.

Барбюс излагал революционную программу с такой последовательностью, которая иногда пугала писателей, колебавшихся принять решение.

Но именно эта последовательность делала, по выражению Ленина, голос Барбюса «великим голосом». Еще в 1919 году, откликаясь на манифест «Кларте», Генрих Манн полностью солидаризировался с революционным документом: «наши заветные мысли перекликаются с вашими».

Особенно увлекает Генриха Манна идея «духовного интернационала», сближения

всех культур мира и совместной борьбы за социальную справедливость.

Много лет спустя, вспоминая о роли Барбюса в историческом повороте, который совершился во всемирной литературе, Генрих Манн пишет о нем как о «великом вожде всей левой интеллигенции» и очень убедительно показывает, что Барбюс приобрел такое огромное влияние потому, что он всем своим существом понимал необходимость коренных перемен в социальной действительности и в литературе.

Генрих Манн отмечает далее, что непреложную убедительность призывам Барбюса придавала «явь» социалистической действительности, могучая и подлинная демократия Советского Союза, его новый подлинный гуманизм.

Суждения Генриха Манна свидетельствуют об огромном размахе движения, у истоков которого стояла группа «Кларте», о необычайной привлекательности революционной программы этого движения, выразившей суть изменений, совершавшихся во всемирной литературе.

8

Бурный процесс рождения новых явлений во всемирной литературе начинается на самом рубеже Октябрьской революции, в первые же дни ее. И если джон-ридовские «Десять дней, которые потрясли мир» вырастают буквально из действительности Октябрьского переворота (американский писатель был его участником), то и в странах, находящихся вдали от Петербурга и «красной России», возникают безо всякой паузы бесчисленные отзвуки бури, самые разнообразные литературные отражения социалистической революции.

Очень хорошо об этом говорит Иоганнес Бехер в своем «Привете немецкого поэта Советскому Союзу»: «Когда я в 1917 году сделал попытку прославить в стихах победу великой русской Октябрьской революции, я чувствовал, что возникновение Советского Союза означало возникновение нового человеческого порядка, нового мирового устройства. С годами это предчувствие превратилось в великую уверенность. И на вопрос, что означал для моего творчества Советский Союз, я мог бы ответить так: Советскому Союзу я признателен в такой же мере, в какой мере я признателен самой жизни: новой, возвышенной жизни. Vita nuova, другая или новая жизнь, о которой мечтали поэты всех времен, наступление «царства человеческого», общие очертания и фундамент человеческого века, наступающего после тысячелетий господства богов и сумерек идолов, осуществление платоновского государства разума, государства солнца Кампанеллы, мечта о «совершенном человеке» или «Утопия» Томаса Мора, осуществление христианского идеала Civitas dei, возвращение античной Калокагатии, прекрасно-доброго, олицетворением чего были и классики Эллады, и поэты Ренессанса, страна духовных стремлений, которую искал Гёльдерлин в «неизлечимо больном веке»: триумфальное видение несравненного единства торжествующей гармонии, симфонического созвучия — воплощением всего этого стал для меня СССР».

Сложность данной поэтической фразы с трудом поддается переводу, но богатство ее внутреннего смысла тем не менее ясно и наглядно. Великому немецкому поэту удалось в бурном, как бы не вмещающемся в границы обычного, монологе передать то неповторимое и незабываемое чувство творческого раскрепощения, которое принесла Октябрьская революция лучшим писателям Запада.

Все последующее творчество Бехера было озарено светом социалистической революции, могучее новаторство имело под собой плодородную почву, и это был путь замечательного немецкого поэта к подлинному величию.

Октябрьская революция вызвала к жизни новые явления в литературах всех стран мира. Так, творчество известного китайского писателя Лу Синя приобрело полную силу именно под воздействием Великой Октябрьской социалистической революции.

О том, что Латинская Америка уже в начале 20-х годов испытывает могучий прилив революционных сил, свидетельствовало появление в 1924 году получившего всемирную известность романа колумбийского писателя Хосе Риверы «Пучина», в котором «зеленый ад» впервые становится ареной борьбы за социальную справедливость.

Молодой Иржи Волькер в своих набросках революционной эстетики намечает с

необычной смелостью путь революционного искусства, путь «нового оптнмизма», который означает веру не в совершенство существующего мира, а в возможность его улучшения.

«Мы горячо верим в действительность»,— писал Иржи Волькер, призывая «новое искусство» к сочетанию реализма с социалистической идейностью.

Иржи Волькер всем своим существом понимал, что «живет в период отмирания одного и зарождения другого искусства».

Как и Барбюс, он исходил из того, что «сегодня поэты обязаны раскрыть величие нашей эпохи».

Заветы Иржи Волькера являются священными заветами чешской литературы, которая уже в первые послеоктябрьские годы дала революционную поэзию Ольбрахта, С. К. Неймана, «Лучший из миров» Марии Майеровой. Поэзия Христо Смирненского является замечательным воплощением новых горизонтов, открывшихся перед болгарской литературой.

Творчество этих писателей положило начало великому обновлению во всемирной литературе, свидетелями которого мы сегодня являемся и в котором заключено будущее всемирной литературы.

9

«Старая буржуазная и империалистическая Европа, которая привыкла считать себя пупом земли, загнила и лопнула в первой империалистической бойне, как вонючий нарыв,— писал Ленин.— Как бы ни хныкали по этому поводу Шпенглеры и все способные восторгаться (или хотя бы заниматься) им образованные мещане, но этот упадок старой Европы означает лишь один из эпизодов в истории падения мировой буржуазии, обожравшейся империалистическим грабежом и угнетением большинства населения земли».

Эта характеристика шпенглерианства, которое было щитом буржуазии (прикрываясь им, она пыталась обороняться от революционного наступления), имеет особо важное значение. В словах Ленина дана отповедь самому модному тогда философу капиталистической Европы. И мы должны сопоставить понимание неизбежного распада капиталистического мира передовыми писателями современности — Уэллсом, Шоу и другими — и шпенглерианское «хныканье», которое было выражением взглядов самой гнусной, зверски ожесточенной части революцией наказанного господствующего класса.

Разоблачение реакционной буржуазной идеологии, и в частности шпенглерианства, занимает большое место в той идеологической борьбе, которую ведет Барбюс.

Как известно, Ленин возвращается к Шпенглеру не один раз. Так, говоря о выпущенной тогда еще остававшимися в России мракобесами Бердяевым, Букшпаном, Степуном, Франком книге «Освальд Шпенглер и закат Европы» (1922), Ленин приходит к выводу, что «это похоже на «литературное прикрытие белогвардейской организации», прямо связывая философские упражнения доморощенных шпенглерианцев с политической контрреволюцией.* И это было очень точное определение физиономии названных литераторов и очень точное обозначение того, какой остроты достигает идейная борьба, когда рушатся стены капиталистического Иерихона.

10

Чтобы правильно понять процессы, которые происходят во всемирной литературе в эпоху социалистической революции, необходимо рассматривать их в свете того «громадного ускорения мирового развития», на которое обращает наше внимание Ленин. На очень коротком отрезке времени сосредоточены невиданно грандиозные размеры творческой энергии. Смелость исканий, ниспровержение отживших эстетических канонов, последовательное сближение художественного творчества с интересами «все новых сотен и сотен миллионов людей», вовлеченных революцией в творчество новой жизни,— все это делает революционные явления, возникающие на стыке двух эпох, на рубеже Октябрьской социалистической революции, необычайно актуальными и сегодня.

---

* Мы цитируем записку Ленина Горбунову. На следующий день, 6 марта 1922 года, Ленин обращает внимание Чичерина на только что вышедшую книгу Гест Л. Хейдна «Борьба за власть в Европе в 1917—1921 гг. Очерк экономического и политического положения государств Центральной Европы и России», предупреждая, что «автор, видимо, опасный мерзавец, подлиннейший labor lieutenant of the capitalist class».

Буржуазная критика не прочь строить предположения относительно того, что социалистическая литература отделена от всемирной литературы пропастью или, как выразился недавно итало-американский славист господин Поджиоли, «Советская Россия полностью и до конца отложилась от мировой литературы». Подобную позицию можно назвать позицией человека, потерявшего голову.

Всемирная литература, испытав всеобъемлющее воздействие Великой Октябрьской социалистической революции, развивается уже по другим законам, совершенно не доступным пониманию господ вроде Поджиоли. Это ленинские законы неизбежного торжества коммунизма, захватывающего уже сегодня умы лучших писателей мира, дающего им надежду и пафос и высоко поднимающего их над той «социальной пропастью», в которую низвергал их когда-то безраздельно господствовавший капитализм.

В эпоху социалистической революции происходит не только стремительное развитие новых литератур социалистического реализма в странах социалистического лагеря, но и бурное развитие демократических и социалистических элементов в каждой национальной культуре стран капитализма.

Совершенно очевидно, что не потребовалось никакой исторической дистанции, разделяющей революцию и художественное отражение, что в тех зернах нового, которые были посеяны в самом начале Великой Октябрьской социалистической революции, заключено гигантское потенциальное содержание, которым оплодотворено все последующее развитие всемирной литературы.

Б. Яковлев

ВЕЛИКАЯ ШКОЛА

(Заметки о ленинских переводах)

Ленин и проблемы перевода... Правомерна ли столь специальная тема, когда речь идет о жизни и деятельности вождя народных масс, об изучении литературного наследия гениального мыслителя и революционера?

Обратимся за ответом на этот вопрос к сочинениям Ленина — его книгам и статьям, речам и письмам,— и мы убедимся не только в правомерности названной темы, но и в ее безграничной широте.

Ленин высказывался по важнейшим проблемам теории перевода, выступал против буквализма, отсебятины, подмены перевода безответственным пересказом, против каких бы то ни было невежественных или неряшливых, а порой и преднамеренных искажений оригинала.

Ленин был и критиком переводов. Он неоднократно рецензировал их. В его трудах содержатся взыскательные и тонкие оценки переводов со всех основных европейских языков. Остро и метко критиковал он различные ошибки переводчиков. Ленин, далее, не раз становился редактором переводов. Он отредактировал ряд рукописей переводчиков, в том числе и принадлежащий А. И. Ульяновой-Елизаровой перевод «Ткачей» Гауптмана. Предметом его внимания и заботы были отбор книг для переводов, моральная и материальная поддержка переводчиков. Однако едва ли не самое главное заключается в том, что Ленин был непревзойденным мастером публицистического перевода. Он издал несколько книг в своем переводе с английского и немецкого, сам, как правило, переводил или тщательно выверял по оригиналам высказывания Маркса и Энгельса. Нередко включал он в свои работы обширные переводы иноязычных текстов.

Более того, Ленину принадлежат в общей сложности даже не сотни, а тысячи переводов «с пояснением», по его собственному определению, различных высказываний иностранных авторов, пословиц, поговорок, философских, экономических, политических и других специальных терминов и реалий.

«Я перевожу... немецкие выражения», «...как говорят англичане...», «Французское слово... передаваемое русским...», «...в ироническом переводе на русский...», «...буквально в переводе с греческого...», «В вольном русском переводе это значит...». В трудах Ленина множество таких замечаний, разъясняющих читателю политический смысл всевозможных специальных понятий и терминов, идиоматических словосочетаний и оборотов.

Ленин прибегал и к буквальным, и к переносным, и к «вольным», по его выражению, переводам.

Разнообразные документальные и мемуарные свидетельства характеризуют интерес Ленина в общей сложности почти к пятидесяти языкам и языковым группам. Среди них — древние языки: греческий, латинский, старославянский; германские — немецкий, английский, шведский, датский, голландский и фламандский; романские — французский, итальянский, испанский и португальский; славянские — польский, болгарский, чешский, украинский и белорусский; балтийские — латышский и литовский; финно-угорские — финский, эстонский, венгерский, карель-

ский, коми (зырянский), мансийский (вогульский), хантыйский (остяцкий); иберийско-кавказские — грузинский; языки народов Дагестана; армянский; иранские — персидский, таджикский и осетинский; тюркские — азербайджанский, туркменский, казахский, киргизский, татарский, башкирский, узбекский, чувашский, якутский; языки других народов Востока — китайский, арабский, хинди, цыганский...

Вразрядку набраны названия языков, которые Ленин изучал или о которых так или иначе специально высказывался.

Широту лингвистических интересов Ленина показывает и такой факт. Изучая в годы первой мировой войны «Указатель нового пополнения цюрихских библиотек» за январь — март 1916 года, Владимир Ильич включил в список привлекшей его внимание научной литературы, наряду с «Немецким фонетическим словарем» Виэтора, книгу немецкого лингвиста Карла Франке «Предполагаемый язык людей ледникового периода».

Разумеется, в ряде случаев материал, относящийся к теме, ограничивается лишь переводами кратких отрывков, выражений, реалий, наименований. Но и в мельчайших фактах обращения Ленина к переводу проявились отличительные литературные особенности его публицистического стиля — сжатость и образность, афористичность и синонимическое богатство, смелое обращение к народному просторечию.

* * *

Осенью 1920 года Ленин заполнил обширный опросный бланк, составленный для перерегистрации членов Московской партийной организации. «На каких языках, кроме русского, говорите, читаете, пишете?» — запрашивала анкета. «Французский, немецкий, английский; плохо все 3»,— ответил Владимир Ильич.

Ленин свободно говорил, читал и писал на этих языках. Более того, он блестяще переводил с них сложнейшие тексты, но все же не был удовлетворен своими знаниями, которые почитал бы превосходными любой другой публицист и оратор.

Но языковые познания Ленина далеко не исчерпываются названными им с обычной скромностью лишь тремя основными западноевропейскими языками. В статье Н. К. Крупской «Ленин об изучении иностранных языков», опубликованной осенью 1937 года на страницах «Правды», говорится: «Ленин знал много иностранных языков. Хорошо знал немецкий, французский, английский, изучал их, переводил с этих языков... Ленин изучал еще польский, итальянский, понимал чешский, шведский».

К семи (а не трем!) перечисленным здесь живым европейским языкам Н. К. Крупская добавляет еще три древних, которыми Ленин в совершенстве овладел в гимназии: старославянский, латинский и греческий. Следует назвать также украинский, болгарский, которые он изучал в двадцатых годах, датский, финский и голландский, арабский и хинди (переводы отдельных выражений и слов с этих языков встречаются в научных трудах, публицистических и ораторских выступлениях Ленина), а также разговорный китайский (с некоторыми китайскими выражениями Владимира Ильича познакомили китайские красногвардейцы в первые послеоктябрьские дни).

В изучении иностранных языков коммунистами Ленин видел одно из проявлений пролетарского интернационализма. Весной 1903 года он беседовал в Швейцарии на эту тему с русской студенткой-эмигранткой Марией Бартэн. Узнав, что его совсем юная собеседница свободно владеет английским, французским и немецким языками и понимает по-итальянски, Владимир Ильич сказал:

— Это очень хорошо. Знание иностранных языков чрезвычайно важно для интернациональной солидарности рабочего класса... Наши эмигранты, хоть и живут годами за границей, плохо владеют иностранными языками. А все оттого, что варятся в собственном соку и, кроме русской читалки, русской столовки, русских товарищей, ничего и никого не видят...

Порекомендовав собеседнице помочь товарищам по эмиграции и «позаняться с ними французским, немецким», он снова подчеркнул:

— ...Знание иностранных языков для солидарности пролетариата неоценимо!

Сам Ленин, овладевая языком, всегда изучал литературу и быт народа, обращаясь прежде всего к быту рабочего класса. Весной 1924 года Н. К. Крупская писала в статье «О Владимире Ильиче»: «Любил

Ильич... наблюдать быт. Куда-куда мы не забирались с ним в Мюнхене, Лондоне и Париже!.. Он хотел видеть жизнь немецкого, английского, французского рабочего, слышать, как он говорит не на больших собраниях, а в кругу близких товарищей, о чем он думает, чем он живет».

Воспоминания ближайшего друга Джона Рида — Альберта Риса Вильямса сохранили высказывания Ленина о методе изучения им иностранных языков.

18 января 1918 года Ленин, беседуя с Ридом и Вильямсом, посоветовал им русским языком «заниматься систематически».

— С самого начала вы должны,— говорил тогда Владимир Ильич,— овладеть основами языка. Я расскажу вам о своем методе...

И Ленин порекомендовал американским публицистам учить сначала имена существительные, потом глаголы, причастия, прилагательные русского языка, «выучить всю грамматику — орфографию и синтаксис, а затем непрерывно, всюду и со всеми практиковаться...»

Ленин обращался к самой разнообразной языковедческой — теоретической и справочной — литературе. Собранная воедино, она составила бы обширную библиотеку. Отдельный раздел образуют труды русских языковедов и прежде всего глубоко изученный им «Толковый словарь живого великорусского языка» Даля.

С какого бы языка ни переводил Ленин, его речь всегда оставалась классически чистой русской речью. В немалой мере это определялось не только его гениальной литературной одаренностью, но и высокой языковой культурой, одной из основ которой было глубокое знание тончайших оттенков русского языка.

* * *

Ленин не владел восточными языками. Он, однако, настойчиво требовал их изучения от коммунистов, работающих на Востоке, проявлял пристальное внимание к этим языкам. В «Тетрадях по империализму» Ленин обращается к литературе по языкам народов Востока. Специальную заметку он посвящает изданной в Париже диссертации П. Кузнецова «Борьба цивилизаций и языков в Центральной Азии».

Конспектируя книгу немецкого ученого Георга Вегенера «Современная Индия» и оценивая ее как «...недурной, ясный, краткий очерк» основных проблем английского владычества в тогдашней Индии, Ленин отмечает многонациональный характер этой великой страны («Нет единой нации, нет одного языка») и особо выделяет движение «свадеши» (=за продукты, произведенные в собственной стране) (бойкот английских продуктов). В подмеченном здесь Лениным выразительном словечке запечатлена одна из форм протеста народов Индии против английского империализма.

В конспекте другой книги — «Древний и современный империализм» Кромера, по ленинской характеристике, «английского империалиста и чинодрала»,— снова отмечается многоязычие Индии: «В Индии 147 языков: 276 миллионов говорят на 23 языках».

Ленина — политика, историка и экономиста всегда интересовало число людей, говорящих на тех или иных языках.

Конспектируя в годы первой мировой войны английский «Атлас всемирной торговли», подготовленный Бартоломью «по данным начала нашего века», он составляет табличку, характеризующую число «говорящих на разных языках»:

	млн.
по-английски	111
по-немецки	75
по-русски	75
по-французски	51
по-испански	43
по-итальянски	33
по-португальски	13

Английский статистик ограничился здесь языками только колониалистских стран. Ленина же особо интересовали языки и колониальных или полуколониальных народов, составлявших в начале XX века абсолютное большинство населения земного шара.

Для характеристики самого направления языковедческих интересов Ленина типична заметка «Социализм в Китае», построенная на основе статьи — корреспонденции А. Джекса, присланной из Шанхая в английский журнал «Социалистическое обозрение». В конспекте отчеркнуто четырьмя вертикальными чертами на полях такое наблюдение автора:

«По-китайски социализм и общество одно слово («Ши-Гуи»).

Внимательно прислушивался Ленин к разговорному языку китайских добровольцев-

красногвардейцев, участвовавших в охране Смольного. Один из этих красногвардейцев, Ли Фу-цин, недавно побывавший в Москве, поделился воспоминаниями о том времени. Беседуя в начале 1918 года с китайскими добровольцами, Ленин сказал Ли Фу-цину:

— А вы пока еще слабо говорите по-русски. И ваши товарищи тоже. Изучайте русский язык, он вам пригодится. Вам легче будет понимать все то, что происходит сейчас в нашей стране...

Ли Фу-цин вспоминает: «Ленин советовал нам учиться и сам не стеснялся учиться у нас разговаривать по-китайски...» В очерке китайского автора Ли Син-пея «Он был в охране Ленина» приводится такой рассказ того же Ли Фу-цина:

«В. И. Ленин спрашивал, как звучит то или другое слово по-китайски. Китайские товарищи называли В. И. Ленину несколько китайских слов: «ни хао» («здравствуйте»), «чи-фань» («кушать»), «хэча» («пить чай») и т. д. В. И. Ленин, повторяя вслух эти слова, вынул из кармана записную книжку и карандаш и быстро записал их. Каким близким и простым был он в то время, как непринужденно вел разговор, словно старший в семье говорил с младшим! После этого В. И. Ленин, встречая китайских товарищей, здоровался с ними: «Ни хао! Ни хао!»...»

Не забыл Ленин и о своем совете китайским бойцам учиться русскому языку. Он прислал им учительницу. Она вручила каждому по букварю и сказала: «Это вам от Ленина, Владимир Ильич специально распорядился обеспечить вас букварями...»

О живом интересе Ленина к культуре народов Азии свидетельствует, в числе прочих данных, и состоявшаяся еще в самом начале 1918 года беседа с академиком С. Ф. Ольденбургом — одним из крупнейших русских востоковедов.

Ленин сказал тогда Ольденбургу:

— Вот ваш предмет... как будто бы он далек от нас, но и он близок нам... Идите в массы, к рабочим и расскажите им об истории Индии, обо всех вековых страданиях этих несчастных, порабощенных и угнетенных англичанами многомиллионных масс, и вы увидите, как отзовутся массы нашего пролетариата. И сами-то вы вдохновитесь на новые искания, на новые исследования, на новые работы огромной научной важности...

Более сорока лет тому назад — зимой 1921 года — Ленин дал совет послу РСФСР в Турции С. И. Аралову, который ехал туда с членами семьи, «обязательно научить детей турецкому языку, да и самому постараться овладеть им. Для того чтобы дружить, это очень важно».

* * *

Творческую и редакторскую работу Ленина над переводами принято в теоретической литературе относить к числу неоценимых по значению, но якобы относительно редких случаев его литературной и редакторской деятельности. Редки, однако, вовсе не те случаи, когда Ленин переводил или редактировал переводы, а, наоборот, те, когда, встретившись с заинтересовавшей его чем-либо зарубежной книгой или статьей, он не переводил ее самостоятельно или не проверял по оригиналу существовавшие ранее переводы, исправляя их ошибки и восстанавливая пропуски.

В научной, и особенно учебной, литературе давно уже сложилось, к сожалению, распространенное, но весьма далекое от полноты представление и о якобы относительно небольшом объеме переводных трудов Ленина. Представление это, во-первых, ограничивает их лишь тремя языками, несмотря на то, что они охватывают по крайней мере десять, ибо Ленин переводил не только с английского, немецкого и французского, но и с итальянского, польского, шведского, датского, украинского и, разумеется, с греческого и латинского.

О работе Ленина как редактора переводов упоминают при этом лишь в связи с одним изданием (русский перевод книги Маркса «Гражданская война во Франции»), в то время как таких изданий и публикаций в периодической печати около десяти. Исследователи, как правило, даже не называют сохранившихся неизданных переводов Ленина, которые также обогащают наши сведения о характере и объеме его переводных трудов и связанного с ними литературного наследия.

Более того! Перечень переведенных Лениным высказываний Маркса и Энгельса исчерпывается чуть ли не исключительно «отдельными местами» из «Манифеста Коммунистической партии». На самом деле Ленин перевел на русский язык важнейшие поло-

жения сотен работ классиков марксизма.

Среди них такие шедевры публицистики Маркса, как «Буржуазия и контрреволюция», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская война во Франции», «Нищета философии», все четыре тома «Капитала», если отнести к ним «Теории прибавочной стоимости». В ленинских переводах известны фрагменты таких классических трудов Энгельса, как «Анти-Дюринг», «Бакунисты за работой», «К жилищному вопросу», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», «Положение рабочего класса в Англии», «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Развитие социализма от утопии к науке», «Революция и контрреволюция в Германии», «Эмигрантская литература» и многие другие. Совместные произведения основоположников марксизма представлены в этих переводах — вслед за «Манифестом Коммунистической партии» — отрывками из «Немецкой идеологии», «Святого семейства», «Циркуляра против Криге».

В общей сложности в той или иной форме ленинские переводы воспроизводят отрывки примерно из двухсот произведений Маркса и Энгельса. Сведенные воедино переводы эти составили бы объемистый том — замечательную хрестоматию избранных Лениным важнейших высказываний основоположников научного коммунизма и в то же время собрание классических образцов русского публицистического перевода.

Но переводы высказываний Маркса и Энгельса — основная по объему и значению, но далеко не единственная составная часть наследия Ленина-переводчика. Напомним хотя бы о принадлежащих ему переводах зарубежной философской, экономической и социологической литературы самых разнообразных направлений, среди авторов которой, наряду с Гегелем или Фейербахом, мы найдем Джорджа Беркли и Карла Клаузевица, Фердинанда Лассаля и Сен-Симона и еще более ста зарубежных авторов — ученых, политиков, журналистов. Ленин, наконец, сам переводил крылатые изречения Гете, Гейне, Гервега, Потье и других писателей.

Монографический анализ всех ленинских переводов, превышающих, по нашим предварительным подсчетам, триста авторских листов, ждет еще своих исследователей. Мы ограничимся лишь их кратким библиографическим обзором.

В конце 1889 — начале 1890 года Ленин перевел «Манифест Коммунистической партии», а весной 1894 года ряд отрывков из книги Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Осенью 1895 года Владимир Ильич заканчивает перевод статьи «Фридрих Энгельс», опубликованной в венской газете «Neue Revue».

В 1896—1897 годах он работает над переводом работы немецкого экономиста Карла Бюхера «Происхождение народного хозяйства».

В сентябре 1899 года выходит из печати переведенный Лениным вместе с Н. К. Крупской первый том книги Сиднея и Беатрисы Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма». Перевод второго тома вышел в 1901 году под редакцией Ленина, не уступающей по объему и характеру авторскому труду переводчика («...перевод плохой, приходится переводить почти заново»,— сообщает об этом Н. К. Крупская матери Владимира Ильича).

В 1900 году В. И. Ленин переводит для «Искры» рукопись Гайндмана «Социализм, тред-юнионизм и политическая борьба». Зимой 1902 года — редактирует, а быть может, в значительной степени и выполняет русский перевод брошюры К. Каутского «Социальная революция». Год спустя — зимой 1903 года — переводит статью Энгельса «Крестьянский вопрос во Франции и Германии».

Летом 1904 года, судя по письму к М. А. Ульяновой, Ленин «начал переводить» книгу английского экономиста Гобсона «Империализм». Рукопись этого перевода не сохранилась, и для своего труда об империализме Владимир Ильич воспользовался переводами Н. К. Крупской, тщательно сверенными им с оригиналом и в ряде случаев исправленными.

Весной 1905 года Ленин отредактировал и сопроводил предисловием перевод главы «Уличная борьба» из мемуаров генерала Парижской коммуны Клюзэрэ. Осенью того же года он публикует в «Пролетарии» переводы важных документальных материалов о первой русской революции, напечатанных в английской газете «The Times» и немецкой «Vorwärts».

В 1905—1906 годах выходят два издания сборника переведенных Лениным совместно с Н. К. Крупской еще в дни ссылки статей Каутского о ревизионистских писаниях Бернштейна. Отдельной брошюрой в 1905 году в Женеве и год спустя в Петербурге издается отредактированный Лениным перевод статьи Энгельса «Бакунисты за работой».

В декабре 1906 года Ленин выступил с предисловиями к русским переводам брошюр В. Либкнехта «Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений!» и К. Каутского «Движущие силы и перспективы русской революции», одновременно редактируя последний из них. Зимой 1907 года он пишет предисловие к русскому переводу писем К. Маркса к Л. Кугельману и редактирует их перевод, выполненный М. И. Ульяновой. 19 апреля — заканчивает предисловие к переводу писем к Ф. А. Зорге Маркса, Энгельса и других деятелей рабочего движения. Осенью 1907 года — редактирует русский перевод докладов австрийской социал-демократической и итальянской социалистической партий Международному социалистическому конгрессу в Штутгарте...

Перечень основных переводных трудов Ленина далеко не раскрывает весь объем его переводной работы. Перечисление ленинских переводов, не выходивших отдельными изданиями, заняло бы десятки страниц.

Об исключительной интенсивности работы Ленина над переводами свидетельствует и его переписка с родными — Н. К. Крупской, А. И. Ульяновой-Елизаровой, М. А., М. И., Д. И. Ульяновыми и М. Т. Елизаровым. Все они в свою очередь при постоянной деятельной помощи со стороны Владимира Ильича переводили научную, политическую и художественную литературу с английского, немецкого, французского и итальянского языков. Перелистываем эти письма, чтобы еще раз убедиться в широте материала, который относится к данной теме.

1896 год. «Сейчас перевожу с немецкого»,— сообщает Ленин старшей сестре из одиночной камеры петербургской тюрьмы.

1897. Ленин пишет родным из сибирской ссылки, из глухого села, находившегося тогда в 600 километрах от железной дороги: «С удовольствием взял бы и всякие вещи для переводов... взяв на себя самое предприятие перевода и ручательство за его своевременное и надлежащее выполнение».

«Чрезвычайно дельная и интересная вещь,— пишет Ленин вскоре Анне Ильиничне по поводу работы одного итальянского марксиста.— Мне и пришло в голову: отчего бы тебе не перевести ее?.. перевод французский не везде и не вполне хорош».

1898. «Читал в газетах о выходе твоего перевода Амичиса,— пишет Ленин тому же адресату.— Если есть у тебя свободные экземпляры,— пришли мне. На каких условиях ты переводила? Был ли договор, и какой, с издателем?»

Месяц спустя Ленин сообщает матери и младшей сестре: «... получаю теперь большой перевод с английского (из Питера) Адама Смита...» Судьба этого ленинского перевода точно не известна. Еще через месяц он пишет родным: «Напросился тут я на перевод и получил толстую книгу Webb'a. Очень боюсь, как бы не наделать ошибок».

«Webb'a переписываем набело вдвоем с Надей,— рассказывает Ленин несколько месяцев спустя...—...Надоела мне эта переписка (около 1000 писчих страниц на обоих нас) порядком. Но перевод был интересный, ибо книга весьма и весьма дельная».

1899. «...собираемся начать делать переводы с русского на немецкий...» — пишет Н. К. Крупская, по поручению Владимира Ильича, Марии Ильиничне. «Редакцию перевода Webb'a я согласен взять»,— извещает Ленин А. И. Елизарову.

1900. «Переводим с русского», «...занимаюсь мало-мало языками». В письмах к родным за этот год немало таких ленинских сообщений.

1901. В письме к матери Ленин высказывает сожаление, что, будучи в Праге, он «не занимался... чешским языком»: «Интересно, очень близко к польскому, масса старинных русских слов». М. Т. Елизарову Владимир Ильич рекомендует избранный и проверенный им «самый рациональный способ изучения языка»: «переводы и притом о б р а т н ы е, т. е. сначала с иностранного на русский письменно, а потом с русского перевода опять на иностранный».

1904. «Я получил теперь книгу Гобсона об империализме и начал переводить ее»,— узнаем мы из очередного письма к матери.

1907. «Есть книги, работа... Маняша... работала много — переводила»,— характеризует Владимир Ильич краткий отдых в Куоккале.

1908. «Писал тебе недавно кое-что о переводах. Теперь хотел бы добавить...»— так начинается письмо Ленина, адресованное М. И. Ульяновой.

«Писал тебе на днях о переводах»,— напоминает Ленин через три дня. «Послал Маняше книгу для перевода (немецкий роман)»,— информирует он А. И. Ульянову-Елизарову.

1912. «В последнее время сидел дома за переводом»,— пишет Ленин из Парижа. «...переводы все же лучшее занятие, и выходит переводных книг немало»,— замечает он в письме из Кракова.

1913. «Буду искать поусерднее всяких издателей и переводов...» 1916. «О переводных вещах я послал... три предложения...», «Насчет переводов предложил 3 книги...» 1917. «Можно взять с собой перевод».

Почти за каждой из таких выписок — большой и совсем еще не разработанный историко-литературный и даже шире — историко-революционный материал.

Можно сказать без всякого преувеличения, что проблемы перевода живо, непосредственно и вполне профессионально всегда интересовали Ленина. Обратимся для примера хотя бы к его «Философским тетрадям». Еще в 1895 году, конспектируя книгу Маркса и Энгельса «Святое семейство», Ленин подчеркивает, что ими дается «масса поправок перевода».

Два десятилетия спустя в конспекте книги Жоржа Ноэля «Логика Гегеля» Ленин считает необходимым особо «Отметить переводы терминов Гегеля» и выписывает около двадцати пяти французских переводов гегелевской философской терминологии. Здесь же Ленин указывает и основные «Французские переводы Гегеля...»

«Перевод плох!» — восклицает Ленин, изучая перевод «Метафизики» Аристотеля, и сопоставляет его с греческим оригиналом...

Мы не исчерпали и малой части подобных выписок.

Уже в юности Ленин, пишет Н. К. Крупская, «знал, старался раздобыть все что мог из Маркса и Энгельса на немецком и французском языках. Анна Ильинична рассказывает, как он вместе с сестрой Ольгой читал «Нищету философии» на французском языке. Больше всего приходилось ему читать на немецком языке. Наиболее важные заинтересовавшие его места из произведений Маркса и Энгельса он переводил для себя на русский язык».

В юности Ленин переводил высказывания классиков марксизма для себя и друзей по революционным кружкам. В зрелые годы он переводил их для товарищей по партии, борцов за освобождение рабочего класса. Своим ближайшим друзьям Ленин не раз говорил, что он неизменно читает и перечитывает в подлинниках творения Маркса и Энгельса, всегда находя в них нечто новое. Это новое Ленин не только находил в подлинных текстах основоположников научного коммунизма, но и с изумительным мастерством передавал русскому читателю в своих переводах. Каждый такой перевод был своеобразной встречей исполинов революционной мысли, их могучей перекличкой в веках.

Равняться на Ленина никто не может, но всякий должен, сказал Луначарский, бывший, кстати сказать, подобно Плеханову и Воровскому, не только блестящим публицистом, но и замечательным переводчиком. Изучение ленинских переводов произведений и высказываний Маркса и Энгельса — поистине великая школа для переводчиков любого вида литературы: и научной, и публицистической, и художественной.

Переводные труды Ленина не только не изучены, но не систематизированы, не собраны воедино, а в ряде случаев даже еще не изданы. Многие ленинские переводы стали величайшей библиографической редкостью. Давно уже пришло время обратиться и к этой стороне многогранной деятельности бессмертного учителя трудящихся мира.

ОТКРЫТЫЕ ГЛАЗА И ЧЕСТНОЕ СЕРДЦЕ

Шла ожесточенная битва за жизнь молодой советской страны. Было мало хлеба, мало угля, не хватало одежды... Еще молчали многие заводы, пустовали шахты... Черепашьим шагом передвигались по российским просторам теплушечные составы. И зарубежные оракулы (в который уж раз!) предсказывали неминуемую близкую гибель социалистического государства.

Но и в те суровые дни 1918—1920 годов люди с трезвым умом, приезжая в Советскую Россию, приходили к заключению, что ни голод, ни холод не могут изменить ход истории. Они убеждались, что Советы — огромная сила, что идеи ленинской партии овладели миллионами рабочих и крестьян, что у новой России многообещающее будущее.

Сквозь пелену лжи, которой окружали за рубежом Страну Советов, сквозь поток низкопробной клеветы проповедников капитализма настойчиво пробивала себе путь правда о первых победах русской революции, о Ленине, о советских людях.

Среди честных иностранцев, прямо и убежденно сказавших миру эту правду сорок с лишним лет назад, была английский скульптор Клэр Шеридан — очевидец происходивших в России исторических событий... Мы печатаем в сокращении главу из ее книги о Советской республике.

Клэр Шеридан

Неприкрашенная правда

К намечающейся выставке нужно было завершить одну работу, и мне пришлось отказаться от удовольствия провести август с детьми в Бреде и остаться в опустевшем Лондоне. Работа, которую я хотела закончить,— статуя Победы. Я задумала ее, охваченная страстным протестом, после того как однажды в моей студии побывал слепой солдат. Это была не хорошо знакомая, традиционная Победа. Нет, мою Победу не каждый захотел бы выставить в общественном месте. Но этой статуей я выразила чувства, которые не могла облечь в слова...

Решение поехать в Россию исключало мое присутствие на выставке. Я сомневалась, сможет ли выставка вообще быть открыта без меня. Однако перспектива создать скульптурный портрет Ленина заслонила все соображения. Выставки еще будут у меня в течение всей дальнейшей жизни, а здесь предстояло нечто такое, что никогда, по всей вероятности, больше не повторится...

В сентябрьское утро 1920 года в 10 часов 30 минут паровоз выпустил пары на московском вокзале... Вскоре мы с фантастической быстротой под вой автомобильной сирены мчались по малолюдным улицам... И вот уже показался перед нами Кремль с его высокими прямоугольными башнями над воротами... Какое потрясающее зрелище! Наша машина сбавила ход, чтобы можно было показать часовому пропуск, и мы въехали на площадь, со всех сторон окруженную златоглавыми большими и маленькими зданиями своеобразной архитектуры...

Стоял великолепный сентябрьский день. В воздухе чувствовалась легкая прохлада.

* Отрывки из книги Шеридан публиковались в советской печати сразу после ее выхода в 20-х годах.

Листья на деревьях в саду под кремлевской стеной были ярко-желтые и медленно опадали, как бы предупреждая о приближающейся зиме.

Комната, которую предоставили мне для работы, находилась в большом круглом здании, где когда-то помещался суд. Сейчас здесь проходят съезды Советов и над зданием развевается красный флаг...

Почти каждый вечер мы проводили в оперном театре. Для нас заказывали места через министерство иностранных дел. Зал примерно таких размеров, как Ковент гарден, с лепными золотыми украшениями и алой бархатной обивкой. Театр был переполнен до отказа рабочими, среди которых профсоюзы бесплатно распределяли билеты. Здесь можно было увидеть лица русских совсем в ином свете. Люди, облокотившись на барьеры лож, устремившись вперед, были целиком поглощены зрелищем балета. Я не слышала ни кашля, ни шепота. Это были усталые люди, пришедшие сюда после тяжелого трудового дня — они заслужили это удовольствие и в полной мере им наслаждались. Напряженное внимание, с которым они смотрели балет или слушали оперу, производило огромное впечатление. Впервые в своей жизни эти люди, так долго находившиеся под гнетом, работавшие на других, люди, с которыми обходились как с рабами, получили право на удовольствия, до сих пор принадлежавшие только богатым. Лица русских, а не пропаганда коммунистов начали оказывать влияние на мои взгляды...

Через один-два дня мне сказали, что ко мне зайдет Дзержинский — председатель Чрезвычайной комиссии... Невысокого роста бледный человек в форме вошел и несколько застенчиво посмотрел на меня, затем на мою работу. Я не обратила на него особенного внимания, думая, что это один из случайных посетителей, и ждала, когда он уйдет. Тогда он сказал, что фамилия его Дзержинский.

Вид этого скромного, без каких бы то ни было претензий человека глубоко поразил меня... У него было узкое лицо и как бы вылепленный из алебастра нос. Время от времени глубокий кашель сотрясал его тело, и тогда вся кровь приливала к лицу...

Мне хотелось поговорить с Дзержинским, но, к несчастью, я могла объясняться с ним только на немецком языке, а мои познания в нем были ограниченны. Все-таки я сумела сказать ему, что, когда люди сидят так спокойно, как он, это значительно облегчает работу художника.

«Терпению и спокойствию учишься в тюрьме»,— ответил Дзержинский. Я спросила его, сколько времени он провел там.

«11 лет, четверть моей жизни»,— сказал Дзержинский.

Его голос, хотя и спокойный, был глубок, и в нем звучала сила... Тюрьма надломила здоровье этого человека, но дух его остался несломленным. Он жил для России и страдал за Россию... Друзья Дзержинского глубоко и, можно даже сказать, трепетно обожали его...

Как странно жить в большом городе, где окна постоянно плотно затворены, а витрины затемнены, словно после воздушного налета. Все лавки в городе закрыты. Только в витринах цветочных магазинов полно больших искусственных хризантем... Помещения гостиниц заняли государственные учреждения...

В городе масса художественных галерей. Остались в неприкосновенности все старые и созданы новые галереи, в которых собраны произведения искусства из частных коллекций; некоторые дома, бывшие прежде частной собственностью, превращены в пролетарские художественные школы. Здесь солдаты и моряки рисуют и лепят с натуры. Дворец великого князя в Кремле, что против царь-колокола, стал рабочим клубом...

Я мало знала и еще меньше понимала как в коммунизме, так и в условиях, вызвавших его к жизни (если не считать того, что я прочла в романах). Законы собственности и теория капитализма были для меня ничего не значащими словами. У меня не было ни собственности, ни капитала. Хотя мой отец и был экономистом, я абсолютно ничего не понимала в экономике. (Г. Уэллс сказал мне однажды: «Какая жалость, Клэр, что вы необразованны».) Но тем не менее подсознательно я была революционеркой. Я пришла к этому не путем логических рассуждений...

Я хотела остаться в России, чтобы принять участие в ее реконструкции. Россия отвечала моему чувству пацифизма... Даже если бы я не желала ничего другого, мне хотелось бы, чтобы мои дети получили здесь образование. Я была убеждена (как убеждена и до сих пор)... что новая Россия никогда не пойдет ни на какие военные агрессии. Красная Армия существует для обороны. В необходимости иметь армию для обороны страны новая Россия убедилась на опыте, но каждый красный русский солдат и все родные этого солдата знали и знают, что их никогда не пошлют поддерживать агрессивные действия за пределами родины.

Мое сердце постоянно, с тех пор как родился Дик *, полно ужаса и страха перед войной. Что, если в один прекрасный день его заберут, чтобы сделать из него пушечное мясо, или заклеймят как труса? Что, если на его долю выпадет худшее, чем смерть? Слепота, отравление газом, уродство?.. Когда я слышу, как маршируют солдаты, я всегда думаю о Дике и об Уилфриде **, об Уилфриде, который был так ужасно обманут и отдал свою жизнь в тщетной надежде, что это была последняя

* Сын Клэр Шеридан.

** Муж Шеридан, погибший в первую мировую войну.

Скульптурный портрет В. И. Ленина работы Клэр Шеридан.

война, «война за то, чтобы положить конец войнам»...

Таковы были мои весьма неопределенные, несвязные мысли, день ото дня окрашивавшиеся в новые цвета и приобретавшие новые очертания, чтобы в конце концов отлиться в более отчетливые формы...

На следующий день после отъезда Г. Уэллса * комендант Кремля сказал мне, что завтра с одиннадцати часов утра до четырех я смогу работать в кабинете Ленина. Всю ночь я не сомкнула глаз.

Утром Бородин ** проводил меня в Кремль. Я была взволнована так, как никогда в жизни. По дороге он сказал мне:

«Помните одно: сейчас вам предстоит создать самое лучшее из всего, что было создано вами за всю жизнь».

Мы вошли в Кремль через боковые ворота, охраняемые часовым. Мне было известно, что Ленин живет где-то в этой части здания, и я часто пыталась отгадать, за каким из этих окон, за какой дверью живет и работает великий человек. А этих окон и дверей было так много!

Поднявшись на третий этаж, мы миновали несколько дверей и коридоров и наконец оказались в двух смежных комнатах, где работали женщины-секретари. Михаил Бородин поручил меня девушке — личному секретарю Ленина. Затем он пожал мне руку и пожелал успеха в работе.

У меня было такое ощущение, как будто я вновь попадаю в школу. Меня охватил страх и глубокое волнение, потому что это была самая ответственная работа из всех, за которые мне когда-либо предстояло еще взяться.

Секретарь указала мне обитую белым войлоком дверь и предложила войти. Дверь не была заперта, она легко отворилась.

Ленин сидел в очень светлой комнате перед огромным письменным столом, заваленным какими-то книгами и бумагами. Когда я вошла, он взглянул на меня, улыбнулся и через всю комнату пошел мне на-

---

* Герберт Уэллс пробыл в России 15 дней, жил в Москве в том же доме на Софийской набережной, что и Шеридан.

** М. М. Бородин находился в то время на дипломатической работе.

встречу. Его манера обращения быстро успокоила меня. Я попросила прощения за то, что вынуждена беспокоить его. Он рассмеялся и по-английски сказал мне, что еще до меня другой скульптор обосновался у него в кабинете и провел здесь несколько недель...

Пока три солдата втаскивали в кабинет подставку и глину, Ленин объяснил мне, что я могу работать здесь столько времени, сколько мне понадобится, при условии, что он будет сидеть за своим письменным столом и читать.

В комнате все дышало покоем, и Ленин углубился в книги... Даже когда я кружила около него, пытаясь измерить расстояние от уха до носа, он, казалось, совсем не замечал моего присутствия. Он сразу же как бы совершенно выключился, сосредоточился на своей работе и был уже целиком поглощен ею.

Я работала до без четверти четыре. Еще никогда я не работала так долго без перерыва. В течение всего этого времени Ленин не ел, не пил и не выкурил ни одной папиросы. Входили секретари с письмами. Он распечатывал их, клал письмо перед собой, а на конверте, не глядя, механически делал пометку и возвращал его обратно. Его лицо несколько оживлялось, лишь когда раздавалось тихое жужжание телефона и над столом одновременно загоралась маленькая электрическая лампочка.

Мои попытки завязать с Лениным разговор не встретили одобрения, и, сознавая, что своим присутствием я и так докучаю ему, я не посмела настаивать. Сидя на подоконнике и отдыхая, я не переставала твердить себе, что все это происходит на самом деле, что я действительно нахожусь в кабинете Ленина и выполняю свою миссию... Я без конца повторяла про себя: «Ленин! Ленин!»,— как будто никак не могла поверить, что окружающее меня — не сон.

Вот он сидит здесь, передо мной, спокойный, молчаливый, небольшого роста человек с огромным лбом. Ленин, гений величайшей революции в истории человечества,— если бы он только захотел поговорить со мной! Но... он ненавидел буржуазию, а я была ее представительницей. Он ненавидел Уинстона Черчилля, а я была его племянницей... Он разрешил мне работать у себя в кабинете, и я должна была выполнять то, за чем пришла, а не отнимать у него попусту время: ему не о чем было говорить со мной. Когда я, собравшись с духом, спросила, какие новости из Англии, он протянул мне несколько номеров «Дейли геральд».

В четыре часа я оставила его кабинет, после шести часов работы без отдыха.

Обед я пропустила, а ужина нужно было ждать до девяти часов. Михаил Бородин пришел ко мне, и мы пили чай. Он спросил, как идут у меня дела, и посоветовал пораньше лечь в постель, чтобы завтра быть полной сил...

На следующий день Ленин принял меня так же дружелюбно, как и в первый раз... но по-прежнему часы проходили в молчании. И вдруг он оторвался от лежащей перед ним книги и взглянул на меня так, как будто видел в первый раз. Он посмотрел на свой скульптурный портрет, над которым я работала, и снисходительно улыбнулся мне. Так улыбаются ребенку, строящему карточный домик. Затем Ленин спросил:

«Как относится муж к вашей поездке в Россию?..»

«Мой муж убит на войне»,— ответила я.

«На какой войне?»

«Во Франции».

«Ах да, конечно,— он понимающе кивнул.— Я все забываю, что у вас была только одна война. У нас ведь, кроме империалистической, была и гражданская война, и еще мы воевали, защищая страну от интервентов».

Ленин заговорил о бесплодном духе самопожертвования, которым были одержимы англичане, вступая в войну 1914 года, и посоветовал прочесть «Огонь» или «Ясность» Барбюса. Затем, изменив тему разговора, он спросил меня, систематически ли я работаю в Лондоне и по скольку часов в день.

«В среднем по семь часов».

Мой ответ, кажется, удовлетворил его...

Нашу беседу прервал приход президента Калинина, и Ленин повернулся к нему. Впервые за все это время его лицо оказалось обращенным к окну. Я увидела его в совершенно ином освещении. Ленин продолжал разговаривать с Калининым, и это было мне очень на руку. Его лицо в состоянии покоя — совсем не то, что я хотела запечатлеть. А разговаривая оживленно с Калининым, он высоко поднимал и хмурил брови. Казалось, что Ленин погрузился в глубокие размышления, выражение его лица было одновременно суровым и полным юмора. Он устремил на Калинина проницательный взор, словно читал его мысли и знал наперед все, что Калинин может сказать ему, и даже больше.

Калинин — крестьянин, избранный крестьянами. У него доброе простое лицо сына земли. Крестьяне любят его. Доступ к нему совершенно свободен. Люди приходят сюда толпами со своими просьбами и жалобами, и он занимается делами каждого, не зная устали. В любом слове и жесте Калинина ощущаешь любовь и уважение к Ленину.

Когда они кончили разговаривать, Калинин взглянул на бюст и сказал: «Хорошо». Потом он спросил у Ленина, что думает тот. Ленин засмеялся, сказал, что в этом ничего не понимает и потому судить не может, но убедился в том, что я работаю быстро.

Когда мы снова остались одни, я набралась храбрости и попросила его сесть на вращающийся стул. Он согласился, хотя, вероятно, это показалось ему забавным, и

сказал, что никогда еще не сидел так высоко...

Я увидела, что Ленин стал со мной приветливее, и показала ему несколько фотографий своих работ. Хотя он и говорил, что ничего не смыслит в искусстве, однако весьма определенно охарактеризовал «буржуазное искусство», которое, как он сказал, всегда стремится к красивости. Он относится отрицательно к красоте как к абстрактному идеалу. Он заявил, что считает неоправданной красоту, которой я наделила свою Победу; «Милитаризм и война безобразны и могут вызвать только ненависть,— сказал он,— и даже самопожертвование и героизм не могут придать им красоты. Порок буржуазного искусства в том, что оно всегда приукрашивает». Затем Ленин взглянул на фотографию скульптуры «Головка Дика», и выражение нежности промелькнуло на его лице.

Я спросила: «Это тоже очень приукрашено?» Он покачал головой и улыбнулся. Затем торопливо вернулся к своему огромному письменному столу, как человек, потерявший слишком много времени, уселся в кресло, и мгновенно я и моя работа перестали для него существовать.

Ленинская способность сосредоточиваться впечатляла, пожалуй, больше всего. Такое же сильное впечатление производил и его огромный лоб...

Лицо его выражало скорее глубокую думу, чем властность. Мне он представлялся живым воплощением мыслителя (но не роденовского)...

Он выглядел очень больным... Пуля, пущенная рукой женщины, покушавшейся на жизнь Ленина, все еще оставалась в его теле.

Один раз я увидела его с рукой на перевязи. Он сказал, что это «ничего», но был желт, как слоновая кость. Он совершенно не гулял и довольствовался лишь тем небольшим количеством свежего воздуха, которое проникало в его кабинет через маленький вентилятор в верхней части окна. Изредка, кажется, Ленин все-таки уезжал на один день за город. Несколько раз проносился слух, что Ленин на охоте. Но это, очевидно, случалось весьма редко, поскольку об этом говорили как о чем-то особенном.

Когда бюст был готов настолько, насколько он мог считаться готовым в этих сложных условиях, Ленин тепло пожал мне руку, сказав, что я хорошо выполнила свою работу и что она должна понравиться его друзьям. Затем, по моей просьбе, он подписал фотографию...

* * *

Утром 6 ноября мне сказали, что поезд уходит сегодня... В тот морозный вечер ярко светила луна, сверкали звезды... Я окинула взором мой любимый Кремль. Он казался еще более красивым и величественным, чем когда-либо... Часы на Спасской башне печально пробили без четверти семь... Мне было очень грустно расставаться... Россия глубоко проникла в мою душу. Я возвращалась в мир, которому мне еще долго суждено было оставаться чужой...

По прибытии в Стокгольм я была удивлена и смущена, неожиданно подвергшись осаде газетных репортеров. Какие-то незнакомые люди увезли меня на машине в киностудию и засняли на пленку. Позже я увидела себя на экране...

Я никак не могла понять, чем все это вызвано, пыталась отгадать, ждет ли меня такой же прием в Англии...

В полночь, как только корабль прибыл в Ньюкасл, репортеры принялись с боем брать у меня интервью. Они приехали из Лондона и ждали меня здесь два дня. Они особенно торопились, так как должны были вовремя передать свои сообщения в Лондон для утренних газет...

Между тем таможенный чиновник был по отношению ко мне крайне резок, обращался со мной так, будто я была нежелательной иностранкой. Он настоял на том, чтобы я открыла большие, похожие на гробы, ящики, хотя я и уверяла его, что там нет ничего, кроме скульптур. Он по локоть запустил руку в солому и стружки...

«У меня нет ни духов, ни табака — в России мы не имеем таких вещей».

«Не это мы ищем»,— ответил он свирепо.

Мне тогда не могло прийти в голову, что они искали пропагандистские брошюры, я поняла это лишь позднее...

Пока я разрывалась между таможенниками и репортерами, так как и те и другие требовали моего внимания, приближался час отхода поезда. Наконец ящики были вновь заколочены, и один из репортеров предложил довезти меня до вокзала. Другой, с «кодаком» в руках, встретил меня там вспышкой магния.

«Неужели я в самом деле совершила что-то заслуживающее такого интереса?» — спросила я у корреспондента «Дейли мейл».

«Еще бы!» — ответил он, улыбаясь...

Трудно описать, как по-разному встретили меня в Лондоне: похвалы, упреки, поздравления, брань, панегирики и критика... Я узнала, в какое бешенство пришла моя семья после моего отъезда... Уинстон* заявил, что никогда больше не будет разговаривать со мной...

На следующий день мой дневник занял целую колонку в «Таймс». С афиш на углах улиц глядели пурпурные буквы — **«Дневник миссис Шеридан»**...

Моя частная жизнь стала адом. Выражение молчаливого страдания и негодования, появлявшееся на лице моего отца, как только он видел меня, приводило всех окружающих в уныние. Мои тетки ругали и осыпали меня упреками при каждом удобном

---

* Уинстон Черчилль.

случае и без конца досаждали мне замечаниями о моих «кровавых друзьях-большевиках». Мне постоянно приходилось выступать в защиту людей, так гостеприимно делившихся со мной тем немногим, что они имели. Лишь истощив все свое негодование и гнев, я научилась сохранять спокойствие и оставаться глухой к невежественной болтовне, которую мне приходилось слышать со всех сторон. К концу недели Лондон сделал меня «большевичкой» в гораздо большей степени, чем даже Москва.

Этот период был поворотным в моей жизни. Так называемые «друзья» пропали один за другим — точно так же, как опадают листья при первых морозах. Верными остались лишь несколько старых друзей, и их дружба стала вдвойне дороже...

Но у меня появилось много новых друзей. Однажды, когда я была в студии одна, раздался стук. Я открыла входную дверь. На пороге стоял высокий мужчина, одетый в поношенный костюм, в матерчатой кепке, надвинутой на глаза... Он говорил с каким-то неопределенным — не то ирландским, не то шотландским — акцентом. Он сказал, что у нас есть общие знакомые в Москве... Это был Уильям Галлахер, английский коммунист, скрывавшийся от полиции...

Телеграфно мне предложили турне по Соединенным Штатам... Я никогда в своей жизни не выступала публично, но... Но, если нужно, надо суметь...

Чтобы попробовать силы, я приняла сперва предложение выступить в Браунинг-клубе, где-то в Ист-энде, перед рабочей аудиторией... Председатель представил меня и сделал маленькое вступление. Затем он сел, раздались аплодисменты, и наступила тишина. Я вынуждена была встать... Дыхание у меня прервалось. Сердце забилось.

Но эти люди были ко мне добры. Они слушали внимательно, не кашляли, не вертелись. Иногда они смеялись. Это придавало мне уверенности. Я даже заметила раз слезы на глазах у некоторых из моих слушателей. Тогда я перестала прислушиваться к звуку собственного голоса. Я была целиком увлечена тем, о чем рассказывала. Время шло очень быстро. Сорок минут пролетели совершенно незаметно, когда я кончила, они не только аплодировали, но поднялись на трибуну, крепко жали мне руки, и, прежде чем я успела опомниться, весь зал окружил меня...

Оставалось всего лишь две недели до того срока, когда скульптуры советских руководителей надо было отправить отлитыми в Москву. Бюст Ленина я по собственной инициативе высекла из мрамора...

Дневник английского скульптора

Советская республика вела еще бои на фронтах гражданской войны. Голодная, нищая, она завершала разгром вооруженных до зубов белых армий. Разоренная, истекающая кровью, она очищала от интервентов свои земли. В те дни и родилась эта лаконичная запись: «Британские власти субсидировали Врангеля, чтобы он продолжал вести в Крыму свои атаки... Уинстон (Черчилль.— А. Л.) открыто настаивал на более решительной интервенции. Все время в Россию отправляли корабли с оружием и боеприпасами, пока не поднялись трудящиеся, организовав движение «Руки прочь от России!», забастовали моряки. В этот политический круговорот оказалась вовлеченной и я, жившая до тех пор так безмятежно в мире искусства».

Клэр Шеридан, которой принадлежали эти строки,— племянница Уинстона Черчилля. Перед ней открыты двери самых изысканных аристократических домов. Но Клэр не разделяет враждебных чувств своего высокопоставленного родича к России, к русскому народу. «Русских революционеров тогда еще мало знали...— вспоминала позднее Шеридан.— Я относилась с жадным интересом ко всему, связанному с ними. Я любила славян, славянскую музыку, славянскую литературу, славянское искусство и убранство. Меня всегда, с самого детства, тянуло к России. К тому времени я уже знала много о новом русском режиме, его целях, методах и о клевете, с помощью которой его представляли в неверном свете за границей».

Шеридан стремилась во что бы то ни стало попасть в Советскую Россию. И когда представилась эта возможность, она оставила все дела, оставила детей, родных, друзей — только бы увидеть новую Россию, увидеть Ленина!

Она приехала в Советскую страну сентябрьским утром 1920 года. Жадно всматривалась она в лица, с кем ее знакомили в Москве: ведь это они делали революцию, великую революцию!.. Она ходила по Кремлю и думала с волнением о том, что где-то здесь, совсем рядом, живет, работает Ленин... Она находила вокруг себя то, с чем знакома была давно по книгам: памятники русского зодчества, места, где творили великие русские люди...

Молодую англичанку видели тогда всюду. Она забиралась в дальние уголки столицы, сидела в холодном зале Большого театра и всюду убеждалась: у русских мало хлеба, им не хватает еды, у них нет одежды, однако они и не думают унывать! Они умеют не только сносить трудности, отмечает Шеридан, они умеют их

побеждать. И эта бодрость, оптимизм среди разрухи потрясают английскую женщину. «Мне по душе сама сущность происходящего здесь и жизненная энергия народа,— записывает Шеридан.— Если бы у меня не было детей, я бы осталась в России навсегда. Возможно, здесь недостаточно пищи для тела, но здесь есть пища для души. И я скорее бы предпочла жить, пренебрегая удобствами, в атмосфере гигантских усилий, нежели в роскоши, среди людей, живущих без цели».

Однажды вечером Шеридан навестил Герберт Уэллс. Знаменитый писатель уже побывал в Петрограде. Он встречался с Максимом Горьким. Он беседовал здесь, в Москве, с самим Лениным. Он видел повсюду разруху, голод. Россия погибнет, уверял Уэллс, если ей не помогут извне.

— Какой ветер занес вас, Клэр, в Москву? — поражался писатель.— Вы хотите лепить Ленина? — еще более изумлялся он, уверенный в том, что глава Советского правительства не найдет для нее времени.

Но ей выдали пропуск в Кремль. Ей отвели в Кремле помещение под студию. Ей (как жаль, что уехал Уэллс!) сообщили:

— Ленин готов вас принять.

И настал день, ради которого Шеридан совершила тяжелое в ту пору путешествие из Англии в Россию,— памятный день встречи с Владимиром Ильичем. «Никогда не видела я человека,— рассказывала она,— который представлялся бы мне таким многоликим. Ленин то смеялся, то хмурился, то казался задумчивым, печальным, то полным юмора. И все эти выражения сменяли друг друга. Бывало, что его брови вздрагивали, потом поднимались вверх, а затем он вновь грозно сдвигал их. Я наблюдала за этой сменой выражений в его лице, выжидала, колебалась — и стремительно, в каком-то неистовом порыве сделала выбор. Это был его прищуренный взгляд... Замечательно! Ни у кого нет такого взгляда! Это только его взгляд!»

О работе английского скульптора над портретом Ленина повествует публикуемый нами отрывок из ее книги. В основу этой книги легла московская тетрадь Шеридан. Торопливо, карандашом записывала она в нее впечатления об Ильиче, рассказы о нем всех, с кем только приходилось ей встречаться. «Честные, правдивые записи,— отмечал журнал «Совиет Раша»,— свидетельствовали о том, что миссис Шеридан увезла из России нечто большее, чем воспоминания о выдающихся, замечательных людях. Ее глубоко взволновала творческая энергия Советской республики, достоинство, с которым Советская республика переносила лишения и приносила жертвы, огромная нравственная сила, вдохновляющая, как она чувствовала, людей на созидание новой цивилизации, несмотря на все препятствия, какие только можно было себе представить».

Дневник Шеридан ошеломил англичан. Ведь все, что сообщала их соотечественница, так отличалось от того, что писала буржуазная печать!

Весть о необыкновенной поездке английской женщины в Москву, к Ленину облетела многие страны. Она проникла и в Соединенные Штаты. «Нью-Йорк таймс» поторопилась приобрести монопольное право на публикацию в США дневника Шеридан. Ее пригласили выступить в Америке с лекциями о России.

И вот Шеридан спускается по трапу в нью-йоркском порту. Как и в Англии, она оказывается здесь во власти репортеров. Их интересует все, что она может рассказать о Ленине.

Шеридан не скупится на интервью. Она охотно выступает с публичными лекциями. Всюду ее страстные рассказы о России, о Ленине привлекают огромное число слушателей. Ей пожимают руки, ее благодарят:

— Спасибо за то, что вы справедливы и непредубежденны!

«Со времен тех десяти дней, которые потрясли мир в ноябре 1917 года, когда по улицам Петрограда в бешено несущемся броневике революции промчался Джон Рид,— писал еженедельник «Нейшн»,— никто, кажется, не чувствовал себя так хорошо в России, как миссис Шеридан».

С тех пор когда Клэр Шеридан побывала в России, минули десятилетия. Как же сложилась в дальнейшем ее судьба?

Поездка в Россию, ее выступления в печати с «Московским дневником» надолго связали скульптора с журналистикой. Корреспонденткой ряда газет и журналов изъездила она Европу и Америку. Преклонные же годы Шеридан вновь посвятила ваянию.

И хотя много воды утекло за сорок с лишним лет, правдивый репортаж Клэр Шеридан о молодом Советском государстве остался не только яркой главой в ее жизни, но и знаменательным документом в истории нашей страны.

Публикация и перевод АЛЛЫ ЛЮБАРСКОЙ

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Минувшее предостерегает!

СТИХИ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618—1648 ГОДОВ

Перевод и предисловие Льва Гинзбурга

В разгар Тридцатилетней войны, в 1636 году, Андреас Грифиус написал сонет «Слезы отечества». Заголовок этот стал своего рода формулой, пережившей Грифиуса и его время. В 44—45 годах нашего века немецкий пейзаж мало чем отличался от тех скорбных ландшафтов, которые воспроизведены в стихах Грифиуса, Флеминга или Пауля Гергардта: развалины, пожары, мгла, пепел. «Архитектура» развалин не меняется с течением времени, облик разрушенных войной городов всегда одинаков, и «слезы отечества» — это всегда слезы матерей, сирот, вдов. Вот почему, читая старые, трехсотлетней давности строки, испытываешь странное чувство. О ком и о чем эти стихи? О сожженном в 1637 году Фрейштадте или о современном Дрездене, сгоревшем в ночь на 13 февраля 1945 года? Триста или всего лишь пятнадцать лет назад были оплаканы могилы немецких юношей, погибших в бесславной войне за неправое дело, и разве не вчера прозвучал над Германией исступленный призыв:

Очнемся, пробудимся,
Переживем беду,
Навеки предадимся
Достойному труду.

Умолкни, глас гордыни!
Стремясь к иной судьбе,
Великий мир, отныне
Мы отданы — тебе!

Дело, разумеется, не только в словесном сходстве и в ассоциациях. При всем различии эпох, исторической обстановки поэзия Тридцатилетней войны оказалась на редкость злободневной. Об этом хорошо сказал Иоганнес Бехер: «Речь идет о том, чтобы закончить наконец немецкую трагедию. Речь идет о том, что долго, слишком долго текли «слезы отечества»...

В 1618—1648 годах истерзанная, растоптанная солдатскими полчищами Германия познала проклятие войны. Мы читаем у Шиллера: «Бедствия Германии были столь ужасающи, что миллионы людей молили лишь о мире и самый невыгодный мир казался благодеянием небес. Пустыни расстилались там, где прежде работали тысячи бодрых и трудолюбивых людей... Сожженные замки, запущенные поля, испепеленные деревни тянулись на протяжении многих миль, являя картину небывалого разрушения... Города стонали под гнетом грабительских гарнизонов...»

Тридцать лет! Человек, родившийся в начале войны, успевал прожить половину жизни, а война все еще продолжалась; мальчик, который провожал в поход своего отца или деда, возмужав, сам уходил все на ту же бесконечную войну. Людям стало казаться, что сама вечность состоит в заговоре с войной. Поэт Иоганн Рист восклицал:

Ах, вечность! Ты страшишь меня!
Здесь, среди крови и огня,
Я ужасом охвачен.

Скажи, наступит ли предел
Иль этот роковой удел
Навек нам предназначен?

Этот вопрос трудно назвать праздным.

Три столетия спустя, в 1960 году, газета «Дас андере Дейчланд» опубликовала вехи биографий трех немцев — деда, отца и сына. Дед «служил» кайзеру — погиб в первой мировой войне; отца угнали на смерть при Гитлере; сына мобилизовали в бундесвер. «Немецкая трагедия».

Кто бывал в Германии, тот видел бесчисленные памятники. Парки иных западногерманских городов напоминают солдатские кладбища. На замшелых плитах — имена павших при Фридрихе. Бронзовые фигуры, застывшие в скорбных позах, изображают солдат франко-прусской войны. Затем следуют памятники поновее — гранитные, бетонные, похожие на доты: «1914—1918», «1939—1945».

«Веселая вдова» — Западная Германия украшает обелиски веночками, каждое утро добросовестно молится «за упокой», потом, утерев надушенным платком «слезы отечества» и припудрив лицо, возвращается к реальности — определяет военные заказы, составляет мобилизационные планы, рассылает повестки призывникам: «немецкую трагедию» хотят дополнить еще одним, на этот раз «ядерным», действием.

Из глубины веков доносится встревоженный голос:

Ужель все было даром?..

В Германской Демократической Республике с «немецкой трагедией» решили покончить навсегда. В гимне ГДР звучит государственная клятва: «Чтобы ни одной матери не приходилось оплакивать своего сына!» Это ответ на вопрос, который многие века подряд щемил сердце немецкого народа: будет ли наконец мир?

Когда в Германской Демократической Республике, стараниями Иоганнеса Бехера, издали большую антологию «Слезы отечества» — немецкая поэзия 16—17 столетий», то это носило отнюдь не абстрактный, литературоведческий характер. Открывая широкому читателю забытую страницу немецкой поэзии, Бехер обретал в старых поэтах новых союзников в сегодняшней борьбе за мир. Триста лет назад, в эпоху величайшего национального несчастья поэзия мужественно выступила в защиту мира. Вместе с войной в Германии рождалось сопротивление войне.

Еще сравнительно недавно филологи рассматривали эти стихи лишь с точки зрения канонов «немецкого барокко». Сегодня мы по-новому читаем старые строки. Нас поражает в них глубина мысли и чувства, острое понимание существа и причин народного бедствия. Поэты различных направлений и темпераментов объединились в ненависти к войне. Это был их главный враг, и они боролись с ним каждый по-своему, но всегда беспощадно.

Виднейший поэт Мартин Опиц считается теоретиком классицизма, реформатором немецкого стиха. Он писал сложные трактаты о природе поэзии, незатейливые салонные пасторали и тонкую любовную лирику. Его окружала слава, современники сравнивали его с классиками античности. И все же Опиц не был доволен собой. Он считал, что перед лицом переживаемой народом трагедии самые изысканные стихи — не больше чем пустая забава. Так возникли его «Песни утешения средь бедствий войны».

Мартин Опиц утешал своих соотечественников, другой поэт, Фридрих Логау, не давал им успокоиться. В его сатирических эпиграммах «доставалось» дворянам и придворным, бюргерам и ландскнехтам. Ему хотелось не только мира, но и свободы, духовного раскрепощения немцев. Впоследствии Лессинг переиздал эпиграммы Логау: времена менялись, а «объект сатиры» оставался нетронутым...

Строгий классический сонет и скромная песенка о том, что «дороги замело», угрюмое раздумье безвестного мейстерзингера «о краткости жизни человеческой» и яростная солдатская баллада, в которой оплеван «прославленный» своим мародерством генерал Хольк,— все это отражало отчаяние народа, его неприкаянность, томление народного духа.

Война никого не щадила — ни солдат, ни поэтов. В чумном бараке завершил свой жизненный путь Мартин Опиц. Он хотел «утешить» старика нищего, вышел из кареты, чтобы протянуть ему милостыню,— заразился чумой, умер. От тифа умерла молодая жена Фридриха Логау. Отложив в сторону эпиграммы, он принялся сочинять элегию: «Благодарю тебя за твою любовь... Я приду туда, где ты теперь!», но вскоре понял, что это — слабое утешение. В своих эпиграммах он высмеял тщетные надежды на загробное блаженство: исполнение желаний в раю — всего лишь издевка.

Поэт Пауль Флеминг был певцом жизненных наслаждений, дипломатом, придворным. Этот молодой красавец писал вакхические гимны, «любовные жалобы», песни «К ее устам». Однако война проняла и его. Радость любви была омрачена мыслью о страданиях родины. Будучи с посольством в России и в Персии, любуясь золотыми куполами Москвы и тегеранской экзотикой, Флеминг не забывал о Германии. В «Новогодней оде 1633 г.» блистательный дипломат с непосредственностью и задушевностью простолюдина рассуждает о бедствиях войны и благах мира:

Жить в согласье — не зазор,
А война — для всех разор.

Разве стольких страшных бед
Стоят несколько побед?

Война сделала печальником, певцом народного горя Андреаса Грифиуса — автора тяжеловесных трагедий «Лев Армянин» и «Екатерина Грузинская». Трагедии эти почти забыты, а стихи Грифиуса живут по сей день. Оплакивая родину, Грифиус горевал о разграбленных войной «сокровищах души». Это была первая в немецкой литературе «заявка» на тему о потерянном в войне поколении...

В то злосчастное тридцатилетие поэзия, одухотворенная служением миру, выдержала труднейшее испытание. Именно в те годы расцвел талант Опица, Грифиуса, Логау, на всю Германию прозвучали голоса Мошероша и Шоттеля, выступивших в защиту немецкого языка и национальной немецкой культуры, а со страниц романа Гриммельсгаузена бессмертный простак Симплициссимус восславил мирный и свободный труд.

Огонь патриотизма, который пылал в немецкой литературе 17 столетия, позднее с новой силой вспыхнул в драмах Лессинга, в гражданской лирике Шубарта, к грозным событиям Тридцатилетней войны было приковано внимание Фридриха Шиллера. Мы находимся как бы у первоистоков немецкой политической поэзии с ее раздумьями над грядущими судьбами Германии и освободительным пафосом.

Тридцатилетняя война — «дела давно минувших дней», но вот катит через всемирную сцену свою тележку мамаша Кураж, героиня Гриммельсгаузена, воскрешенная Брехтом, и у нас на глазах прошлое сливается с настоящим...

В 1648 году, после Вестфальского мира, поэт Пауль Гергардт обратился к немецкому народу с взволнованной проповедью. Он призывал к суровой национальной самокритике, к честному осознанию роковых ошибок прошлого, высказывал надежду, что «в любую дверь» войдут мир и процветание.

Этой надежде не дано было осуществиться. На гнилой болотной почве вызревала та самая реакция, которая мучила и душила лучших людей Германии, втягивала немецкий народ и весь мир в кровопролитные войны, а под конец осквернила землю бараками и крематориями Дахау, Бухенвальда, Освенцима.

Борясь против этой черной реакции, патриотические силы немецкого народа опираются на лучшие традиции отечественной истории. Там, в Германской Демократической Республике, на пространстве от Одера до Эльбы, давняя мечта о мире стала программой действия. В Западной Германии мечта остается пока только мечтой. И все же горький опыт веков не прошел даром и для многих «западных» немцев. Все больше становится тех, кто понимают, что жизнь — это мир, а новая война — самоубийство. И как простую, но мудрую истину повторяют они слова древнего предостережения: если отвернемся от мира, «в родство не вступим с ним — самих себя обидим, себя самих казним!»

Андреас Грифиус

СЛЕЗЫ ОТЕЧЕСТВА, ГОД 1636

Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,
Ревущая труба и ненасытный меч
Похитили наш труд, вконец нас одолели.

В руинах города, соборы опустели,
В горящих деревнях звучит чужая речь.
Как пересилить зло? Как женщин оберечь?
Огонь, чума и смерть. И сердце стынет в теле.

Сколь скорбен край, где кровь потоками течет!
Мы восемнадцать лет ведем сей страшный счет.
Забиты трупами отравленные реки.

Но что позор и смерть, что голод и беда,
Пожары, грабежи и недород, когда
Сокровища души разграблены навеки?!

Пауль Флеминг

НОВОГОДНЯЯ ОДА 1633 г.

Край мой! Взгляд куда ни кинь —
Ты пустыннее пустынь.
Милый Мейсен! Злобный рок
На позор тебя обрек.

Жмут нас полчища врага.
Затопили берега
Реки, вспухшие от слез.
Кто нам пагубу принес?

Наши села сожжены,
Наши рати сражены,
Наши души гложет страх,
Города разбиты в прах.

Если хлеба кто припас,
То давно проел припас.
Голод пир справляет свой
В опустевшей кладовой.

Так зачем и почему
Сеют войны и чуму?
Слушай, вражеская рать!
Может, хватит враждовать?

Жить в согласье — не зазор,
А война — для всех разор.
Разве стольких страшных бед
Стоят несколько побед?

Марс, опомнись! Не кичись!
Милосердью научись
И скажи: «На кой мне меч?
Тьфу! Игра не стоит свеч!

Каску грозную свою
Певчим птахам отдаю,
Чтоб в канун весенних дней
Птицы гнезда вили в ней.

А кольчуги да клинки
Вам сгодятся, мужики!
Из клинков да из кольчуг
Будет лемех, будет плуг».

Не хотим военных свар!
Мир — вот неба высший дар!
Прочь войну, чуму, беду
В наступающем году!

Мартин Опиц

* * *

Средь множества скорбей, средь подлости и горя,
Когда разбой и мрак вершат свои дела,
Когда цветет обман, а правда умерла,
Когда в почете зло, а доброта — в позоре,

Когда весь мир под стать Содому и Гоморре,—
Как смею я, глупец, не замечая зла,
Не видя, что вокруг лишь пепел, кровь и мгла,
Петь песни о любви, о благосклонном взоре,

Изяществе манер, пленительности уст...
Сколь холоден мой стих! Сколь низок он и пуст,
Для изможденных душ — ненужная обуза.

Так о другом пиши! Пора! А если нет —
Ты — жалкий рифмоплет, ты — больше не поэт,
И пусть тебя тогда навек отвергнет муза!

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Ах, выпал снег повсюду.
Кругом белым-бело.
Как грустно мне, как худо:
Дороги замело.

Мой ветхий дом без крыши
Стоит на холоду.
Оконца ветер вышиб.
Замерзну... Пропаду...

Услышь! Узнай! Скорее!
Я здесь схожу с ума.
Но ты придешь, согреешь
И — кончится зима.

Фридрих Логау

ЭПИГРАММЫ

Отважная честность

Что значит в наши дни быть баснословно смелым?
Звать черным черное, а белое звать белым,
Чрезмерно громких од убийцам не слагать,
Лгать только по нужде, а без нужды не лгать.

Исполнение желаний

Все то, о чем мечтал, к чему всю жизнь стремился,
Посредством смерти я, в конце концов, добился:
Я умер на войне и приобрел свой дом,
И ни война, ни смерть меня не тронут в нем.

О КРАТКОСТИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

(Из лирики мейстерзингеров)

Сколь неразумно мы живем,
Забыв господне слово!
Плутуем, пакостим, живьем
Друг друга съесть готовы.
Постыдно короток наш век.
Но больше, чем могилой,
Запуган жизнью человек...
О господи, помилуй!
Нужда и немощь нас гнетут,
Тревоги, опасенья.

И нет для нас ни там, ни тут
Надежды на спасенье.
Заботы тягостные нас
До срока в землю сводят.
Вот так зимою в ранний час
К нам сумерки приходят
И грустно в темноте ночной
Чадит огарочек свечной...

Ты молод был, рубил сплеча,
Отвага сердце грела,
Судьбой зажженная свеча
Так весело горела.
И вдруг тоска стеснила грудь:
Пошел восьмой десяток.
Что делать? Длинный пройден путь,
Да невелик остаток.
Но эти семьдесят годов
Достойно ли ты прожил
Или тщетой своих трудов
Лишь зря людей тревожил?
А коли так, то проку нет
Жить до восьмидесяти лет...

О чем вещает царь Давид?
(Усердней в корень зрите!)
Что старцы, дряхлые на вид,
Полны опасной прыти.
Худы, больны, бледны, как тень,
С проворством конокрада
Они хотя бы лишний день
Урвать у жизни рады.
Трясутся, хнычут, мельтешат,
Не могут отцепиться.
От смерти смертники спешат
Деньгами откупиться.
Но деньги смерти ни к чему:
Ей все дается даром.
Она велит уйти во тьму
И молодым и старым.
Жизнь улетает, как стрела,
Что пущена из лука,
И невозможно тяжела
Нам вечная разлука.
Жизнь — это мчащаяся прочь
Почтовая карета,
А смерть — медлительная ночь,
За коей нет рассвета.
Жизнь — это лодка на волнах,
Жизнь — это в небе птица,
А смерть — могила, смертный страх
И хладная темница...

Так дорожите каждым днем,
Не плачьте, не дрожите,
Не бойтесь смерти, но огнем
Зажженным дорожите!
Не чванством будь душа горда,
А силой благородства!
Не продавайте никогда
Святого первородства!
Пусть будет чист и ясен взгляд,
Пусть нами разум правит,
Тогда дурных желаний яд
Сердец нам не отравит.
Мы станем так на свете жить,
В стремленье к совершенству,
Чтоб честно право заслужить
На вечное блаженство.
И жизнь и смерть сегодня нас
Предупреждают грозно:
«Не опоздайте! В смертный час
Раскаиваться поздно!»

Так пусть, друзья, пойдут нам впрок
Слова простые эти,
Покуда не упущен срок,
Пока живем на свете!

Иоганн Рист

ВЕЧНОСТЬ

Ах, слово «вечность»... Вникни в суть!
Оно, как меч, сверлит мне грудь —
Нет ни конца ни краю...
Ах, вечность! Время вне времен.
Бреду, бедой обременен.
Куда бреду — не знаю...

Всему свой срок и свой черед:
Ослабнет горе, боль замрет,
Смирится бессердечность.
Но день за днем, за веком век
Свой буйный, свой бесцельный бег
Не остановит вечность.

Ах, вечность! Ты страшишь меня.
Здесь, среди крови и огня,
Я ужасом охвачен.
Скажи, наступит ли предел
Иль этот роковой удел
Навек нам предназначен?

Ах, слово «вечность»... Вникни в суть:
Оно, как меч, сверлит мне грудь —
Нет ни конца ни краю...
Ах, вечность! Время вне времен.
Бреду, бедой обременен.
Куда бреду — не знаю...

ИЗ «СОЛДАТСКИХ ПЕСЕН»

Генерал Хольк, умирая в 1633 году в Адорфе от чумы, говорит:

Спаси меня, о боже!
Лежу на смертном ложе —
В какую влип беду!
Господь, подумай только,
Что генерала Холька
Ждут дьяволы в аду!

Я — лютеранской веры.
Но всё из-за карьеры
(Черт бы ее побрал!)
Сказал себе: «Не струшу,
Продам-ка папе душу!»
И вот я — генерал.

В бою и перед боем
Не брезговал разбоем.
Добром набил сундук.
Ах, то был труд излишний!
Спаси меня, всевышний!
Избавь от вечных мук!

Как подведут итоги,
Раздастся голос строгий:
«Ты Лейпциг разорил!
Все пропил, промотал ты,
Деньгами, что украл ты,
Бессовестно сорил!»

Жаль, смерть меня скрутила.
А я ведь был кутила,
Знал, что такое страсть!
Мы пели, пили, жрали,
А люди помирали,
Чтоб мне кутилось всласть.

Все полетело прахом!
Дрожу, охвачен страхом:
Вот-вот сойду с ума.
В кишках — сплошное жженье
Я проиграл сраженье,
И верх взяла чума.

Стращайте, не стращайте —
Пришел конец... Прощайте!
Издам последний вздох.
Я, в лапах у соблазна,
Жизнь прожил безобразно
И грешником подох.

Пауль Гергардт

ОДА В ЧЕСТЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ МИРА

Итак, сбылось! Свершилось!
Окончена война!
Несет господня милость
Иные времена.
Труба, замри! Пусть лира
Ликует над толпой,
И песнь во славу мира,
Германия, запой!
Ты мерзла, ты горела,
Стонала на кресте —
И все же нет предела
Господней доброте!

Он пощадил неправых,
От кары грешных спас:
Ведь хмель побед кровавых
Доныне бродит в нас.
Мы, в муках задыхаясь,
Страдали поделом,
Но, исступленно каясь,
Мы одержимы злом
И на зверей похожи,
Во всем себе верны,
Так помоги нам, боже,
Избыть соблазн войны!

Пусть мир—глашатай счастья—
Стучит в любую дверь.
Какой он послан властью.
Мы поняли теперь.
Встречать его не выйдем,
В родство не вступим с ним —
Самих себя обидим,
Себя самих казним.
И подлым равнодушьем
Уже на сотни лет
Бессмысленно потушим
Любви и правды свет.

Ужель все было даром?
Стенанья наших вдов,
Объятые пожаром
Руины городов,
Разрушенные башни
Святых монастырей,
И выжженные пашни,
И пепел пустырей,
И рвы глухие эти,
Где спят, погребены,
Родные наши дети,
Любимые сыны?

Так оглянись, подумай,
Горючих слез не прячь.
Нет! Свой удел угрюмый
Безропотно оплачь!
Мы над судьбой, над богом
Глумились до сих пор.
Он в испытанье строгом
Нам вынес приговор,
Но изменил, прощая,
Тот приговор крутой,
К добру нас приобщая
Своею добротой.

Очнемся, пробудимся,
Переживем беду,
Навеки предадимся
Достойному труду.
Умолкни, глас гордыни!
Стремясь к иной судьбе,
Великий мир, отныне
Мы отданы — тебе!
Раскрой свои объятья
И страстно призови:
«Живите в мире, братья,
В покое и в любви!»

А. Елистратова

НЕПРИЯТНАЯ ПРАВДА ОБ ОДНОЙ «ПРИЯТНОЙ» ПРОГУЛКЕ

Кто не помнит и не любит мистера Пикквика? Образ этого доверчивого старого джентльмена, столько раз попадавшего впросак, но превозмогавшего все невзгоды благодаря своему добродушию и лучезарному оптимизму, принадлежит к лучшей национальной традиции английского юмора. Но Пикквик оказался неповторимым. Даже сам его создатель, Диккенс, пустивший странствовать по свету этого чудаковатого добряка, не мог уже найти для него места в своих зрелых романах, где миру предстала в ее действительных противоречиях сумрачная буржуазная Англия.

Что же сказать о литераторе наших дней, который вздумал бы сам воспользоваться маской добродушнейшего мистера Пикквика для того, чтобы, изображая из себя наивного, подслеповатого простачка, попытаться обелить одно из самых черных дел современной реакции — угнетение и эксплуатацию порабощенных народов африканского континента? Подобная попытка была бы столь же отвратительно лицемерна, как и безнадежно несостоятельна. Однако именно такое предприятие затеял автор книги «Турист в Африке» * английский писатель Эвелин Во.

Поначалу можно подумать, будто описываемая им поездка в Африку была не более, как невинной причудой стареющего состоятельного джентльмена. Он попросту устал и от зимней слякоти, и от суеты рождественских праздников. Почему бы не съездить в Африку — «в Африку без забот, снова посмотреть на экзотику», а кстати, и опубликовать свой дневник в надежде, как пишет сам автор, на то, что «те вещи, которые позабавили и заинтересовали меня во время моего маленького турне, могут позабавить и заинтересовать других».

Следуя этому плану, наш самозванный пикквикист на протяжении большей части записок упорствует в намерении развлекать читателей мелкими подробностями своего турне. Он делает вид, что понятия не имеет о грандиозной исторической драме, разыгравшейся на просторах африканского континента, народы которого в героической борьбе взламывают систему колониального рабства. Этой подлинной Африке сегодняшнего дня Эвелин Во предпочитает выдуманную «Африку без забот» и угощает нас то описанием неизгладимого впечатления, произведенного якобы на жителей Момбасы «продолжительным счастливым визитом» английской королевы-матери, то еще более прочувствованными личными воспоминаниями о собственном визите в тамошний публичный дом, «где обслуживают все пороки». «Никогда не случалось мне бывать в таком веселом злачном месте»,—восклицает разгулявшийся мистер Пикквик. Впрочем, он был принят и в более респектабельном обществе. Он рассыпается в комплиментах перед английскими колониальными чиновниками и их супругами. Их гостиные так уютны! Их машины так комфортабельны! Ах, как милы и добры все эти господа Р., Томпсон, Ньюмен и прочие, так самоотверженно посвятившие себя заботам об удобствах и развлечениях заезжего гостя! Вот портрет одного из них, мистера Р.: «Неизменная чарующая улыбка»

* Evelyn Waugh. A Tourist in Africa. London, Chapman & Hall, 1960.

сияет на лице этого «крупного, красивого, бодрого мужчины среднего возраста». Мистер Р. ведает кадрами всего правительственного аппарата в Танганьике; сколько «такта, терпения и благоразумия» требуется ему в его работе! Мистер Р. только и делает, что улаживает «разногласия, неполадки и скандалы» да разъезжает по стране, дабы «убедиться в том, что все достаточно счастливы и здоровы». В этих поездках ему сопутствует некий бригадный генерал в отставке, «занятый делами, характер которых мне так и не удалось в точности установить»,— признается Во. Этот «кадровый офицер» также отличается «несокрушимой жизнерадостностью». Он и глазом не моргнул даже, когда потерял портфель, битком набитый секретнейшими документами! Чем не идиллия? Надо ли удивляться тому, что, по мнению Эвелина Во, коренное население британских колоний в Африке неуклонно процветает под наблюдением подобных бодрых весельчаков. Если жителям Западной Африки и случается плохо питаться (что вынужден допустить и автор), то в этом, оказывается, виновата не только их бедность, но и они сами. Ведь они упрямо не прислушиваются к советам добрых чиновников из санитарного управления и никак не желают выработать в себе «вкус к размеренной и разнообразной диете».

А что за райские условия труда установили, оказывается, на плантациях! «Хороший работник способен срезать за четыре часа положенную норму сизаля и, если пожелает, может прекратить работу в десять часов утра, заработав все, что ему необходимо на день. Если он выполнит еще вторую норму, он в состоянии позволить себе изрядную выпивку»,— безапелляционно уверяет наш турист.

Если что и смущает новоявленного мистера Пикквика в той картине, которая открывается его глазам в Африке, то это — сущие пустяки. Дамам, приезжающим из Европы, конфузливо замечает он, не следовало бы шокировать туземцев чрезмерно открытыми сверхмодными туалетами. Что касается до британских колониальных чиновников, то и они, возможно, наносят некоторый урон собственному престижу, появляясь в присутственных местах в коротеньких штанишках «шортах». Правда, для большей внушительности они дополняют этот облегченный костюм моноклем; но монокль, по мнению мистера Во, все же не вполне спасает положение.

Иной раз возникали и другие досадные неполадки. Нашему путешественнику так и не удалось попасть на традиционный народный праздник племени масаи в Кении; как ни докучал он своими расспросами всем встречным, неприветливые туземцы не открыли ему ни времени, ни места сбора. «Экскурсия к масаи оказалась не столь увеселительной, как я надеялся»,— с грустью записывает в своем дневнике Во. Удивляет его и угрюмое молчание африканца шофера, который на протяжении всей этой поездки наотрез отказывается разделить трапезу со своим назойливым пассажиром. Во теряется в догадках: что могло бы быть причиной этой упорной отчужденности? Религиозные запреты? Дурной характер? Наконец он успокаивает себя, приходя к глубокомысленному выводу, что у его чернокожего спутника, «вероятно, просто не было аппетита».

Но все это мелочи. А в остальном автор, как кажется, преисполнен безмятежной уверенности в том, что «британская администрация безупречна, эффективна и благожелательна», и особенно подчеркивает заслуги «усердных и исполнительных офицеров из армии», которыми пополнились кадры колонизаторов Африки после второй мировой войны.

Обстоятельства, однако, волей-неволей вынуждают Эвелина Во то и дело забывать о принятой им на себя роли простака, якобы и не подозревающего о революционной буре народного освободительного движения, сотрясающей африканский континент. «Беспорядки» в соседнем Ньясаленде омрачили ему «мирные, досужие дни и вечера в кругу друзей», которые он проводил в Танганьике. Тут уж было не до туризма, и мистер Во предпочел уехать туда, где было поспокойнее.

С досадой пишет он о «неблагодарности» африканцев. Уж на что «безупречна, эффективна и доброжелательна» британская администрация в Занзибаре! А ведь «без сомнения, скоро мы будем читать в газетах о «занзибарском национализме» и тирании колониалистов».

Его тревожит судьба плантаторов, переселившихся в британские колонии в первые годы после второй мировой войны. Подумать только, они были озабочены тем, как обезопасить свои капиталы от возмож-

ных посягательств со стороны лейбористского правительства, и поспешили ликвидировать свои поместья в Англии, надеясь получить в Африке полную свободу рук. Но Африка, оказывается, встретила их новыми «разочарованиями»! С сочувствием пишет Во и об испытаниях, выпавших на долю германских юнкеров, когда-то считавших себя хозяевами Танганьики, потесненных затем англичанами, а теперь «покорно ожидающих, что управление будет передано в руки туземцев». Проникновенно повествует он о визите к одному из этих последышей германского империализма, фабриканту паркетных плиток, который принимает автора в доме, увешанном дворянскими гербами и «с гордостью» рассказывает о брате — прусском офицере, убитом в боях за Севастополь в конце второй мировой войны, и о родовых латифундиях в Пруссии и Саксонии — увы, теперь уже конфискованных...

Однако Во старается отогнать от себя эти тревожные наблюдения и аналогии. Он утешает читателей сентиментальными картинками, призванными показать, что колониализм еще продолжает играть роль доброго опекуна черной Африки. Супруга окружного начальника в Танганьике собирает у себя на веранде туземных девушек, которых учит кройке и шитью. В Сериме (Родезия) африканские юноши под руководством католических монахов трудятся, украшая росписью и резьбой новую церковь...

Но все же наступает момент окончательного подведения итогов. Этот момент знаменательным образом совпадает с рассказом о посещении могилы Сесила Родса Здесь, у надгробия «основателя великой империи» (как именует Родса империалистическая легенда), естественно сопоставить прошлое с настоящим и установить «баланс» «достижений» британского колониализма в Африке.

Для Эвелина Во итог неутешителен. С горечью цитирует он строки стихотворения, написанного на смерть Родса Киплингом. Поэт британского империализма предсказал, что дух Родса будет вечно царить над покоренной Африкой. «Это было написано всего лишь пятьдесят семь лет назад, и все предсказания уже опровергнуты», — признается Во. Он вспоминает о временах Лобенгулы — царя племен матабеле и машона, у которого британские агенты приобрели по дешевке — за ежемесячную ренту в 100 фунтов, тысячу ружей и речной пароход — право распоряжаться огромной территорией нынешней Южной Родезии. Теперь такие средства уже недействительны: «От Алжира до Кейптауна весь африканский континент охвачен политическим движением, которое бессмысленно было бы игнорировать...» «Британская империя рушится...»

Формулируя этот вывод, Эвелин Во сопровождает свое вынужденное признание брюзгливыми сетованиями на чрезмерный «либерализм» Великобритании, подорвавший якобы основы ее колониального владычества. Он осмеливается даже рассуждать о «высоком рыцарстве» британских колонизаторов, проявленном якобы в Африке. Ведь здесь коренных жителей истребляли силой оружия, а не ядом, как в Австралии, где изголодавшимся туземцам попросту подкладывали отравленную пищу! Он пытается подвести и «философскую» базу под свою концепцию будущего Африки. Процветание и порядок, вещает он, могут быть достигнуты только в таком обществе, которое основано на строгой социальной иерархии. «Идея бесклассового общества столь противоестественна для человека, что его разум практически не может вынести такой нагрузки!» Да, перед нами уже явно не добряк Пикквик, а его антипод, тот самый британский литератор, который в свое время пропагандировал среди соотечественников кровавый «опыт» Муссолини и не мог простить им того, что они сражались против гитлеризма в союзе с народами СССР. *

Я пишу эти строки в те дни, когда весь мир потрясен злодейским убийством Патриса Лумумбы и его соратников. Эта подлая и трусливая расправа над героическими борцами за свободу Африки — свидетельство отчаянной паники, усиливающейся в лагере колониалистов по мере того, как народы африканского континента завоевывают свою независимость. Отражением этой паники является и путевой дневник Во, с его смесью притворной наивности и горькой правды.

С одной стороны, автор делает вид, будто ему невдомек, почему «совесть англичан» так «озабочена Африкой». Эта озабоченность кажется ему даже «неестественной».

* Мы уже имели случай охарактеризовать реакционные взгляды Э Во и циничный, антигуманистический дух его «юмора». См. журнал «Иностранная литература» № 5, 1958 г.

Что касается самого Во, то, когда по возвращении домой его спросят: «Как там с апартеидом?.. Как с арестами политических деятелей?» — он сможет дать только один ответ: «Не знаю». С его точки зрения, правильнее было бы вообще воздержаться от этих слишком неприятных, бестактных вопросов. Куда легче было бы отвечать собеседникам, беззаботно осведомляющимся: «Ну как, хорошо провели время?»

А рядом следует признание: «Я отправился за границу, как я уже отметил, с намерением уйти от «проблем» и искать только развлечений и живописности. Увы, это невозможно. «Проблемы» вторгаются в нашу жизнь»,— признается автор. И хотя в заключительных абзацах книги Эвелин Во заявляет, что «не даст газетам портить» свой отдых, и призывает своих читателей, не задумываясь над тем, что творится в тюрьмах Кении, спокойно наслаждаться вместе с ним благами жизни, мы должны разочаровать его. История вряд ли позволит ему и его единомышленникам это сделать. Колониалистам не уйти от «проблем», порожденных их собственной политикой; им не уйти от гнева народов, пробуждающихся к свободе и независимости.

Я. Эльсберг

КУДА ИДУТ ЧЕЛОВЕК И ЛИТЕРАТУРА?

I

Одна из самых характерных особенностей современного литературного развития заключается в том, что процессы этого развития в каждой отдельной стране уже не могут быть глубоко поняты вне сопоставлений в масштабе мировой литературы.

Прежде всего знаменательно, что в этих сопоставлениях центральную роль приобретают сейчас художественные решения, которые найдены литературами социалистического реализма и, в первую очередь, наиболее мощной из них — советской литературой.

В таком утверждении нет ничего тенденциозного, субъективного, что могло бы быть объяснено предвзятой позицией советского критика. В необходимости таких сопоставлений сказываются объективные исторические закономерности.

В заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий (ноябрь 1960 года) говорится: *«Главная отличительная черта нашего времени состоит в том, что мировая социалистическая система превращается в решающий фактор развития человеческого общества... Главное содержание, главное направление и главные особенности исторического развития человеческого общества в современную эпоху определяют мировая социалистическая система, силы, борющиеся против империализма, за социалистическое переустройство общества. Никакие потуги империализма не могут приостановить поступательное развитие истории. Заложены прочные предпосылки для дальнейших решающих побед социализма. Полная победа социализма неизбежна».* *

Литература любой капиталистической страны не может в наше время не откликаться на существование и рост мировой социалистической системы, на то всемирно-историческое движение к социализму и коммунизму, которое происходит в мире.

Любая литература современности вольно или невольно, прямо или опосредствованно вынуждена сейчас занимать те или иные позиции по отношению к духовному складу, характерному — при всем своеобразии его национальных проявлений — для человека социалистического общества.

Столь же очевидно, что глубина проникновения того или иного писателя в самую сущность такого духовного склада может быть весьма различной. Сильно может колебаться прежде всего степень точности и правильности соответствующих впечатлений и знаний писателя. Но и сквозь спорную интерпретацию и даже искажения все же — если речь идет о значительном художественном произведении — будут видны новые черты, о которых идет речь.

Главное в том, что необходимость увидеть и понять такого человека является органической потребностью — жизненной и эстетической — современной литературы.

В сущности, вокруг писателя — в какой бы стране он ни жил — уже нет, или почти нет, людей, которые не оказывались бы в тех или иных социальных и духовных, осознанных или только объективных связях и коллизиях с идеями социализма.

---

* «Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий», Госполитиздат, 1960, стр. 8—9.

Все это ведет художников буржуазной страны, как бы далеки они ни были от идей социализма, к постановке — пусть и полемической — вопросов и проблем, к которым иным путем подходит литература социалистического реализма.

Быть может, особенно интересно охарактеризованные выше сложные идейные коллизии проиллюстрировать на материале журналистики и художественной литературы ФРГ. Именно Западная Германия, точнее, ее руководящие круги, более чем какая-либо другая современная буржуазная страна в наше время претендует на социальную монолитность. Господствующие круги этой страны считают ее непоколебимым бастионом антикоммунизма, недоступным социалистическим веяниям.

Правда, идеологи этих кругов проявляют интерес к Советской стране, но интерес весьма своеобразный. Речь идет о многочисленных «исследованиях» и изданиях, проникнутых духом пресловутой «Ostforschung» — так называемого «исследования Востока».

За последние годы слависты ГДР уже дважды собирались на специальные конференции, посвященные изучению и разоблачению истинного смысла этого «ведения», цинично служащего реваншистским целям и идеологической подготовке новой войны. Эта «Ostforschung» совершенно чужда науке и тем честным ученым-славистам, которые работают в ФРГ.

Достаточно познакомиться с таким, например, изданием, как «Osteuropa», руководимым Клаусом Менертом, чтобы убедиться в том, что от журнала этого литературой и наукой, как говорится, и не пахнет. Произведения советской литературы «исследуются» тут при помощи такого тематико-статистического метода, который ничего общего с литературоведением, критикой и эстетикой не имеет. Замысел произведения, его основная идея, художественная ценность — все это совершенно не интересует сих «специалистов».

Для них советская литература всего лишь материал, который позволяет фабриковать лжесвидетельства. Например, если один из героев одного из литературных произведений говорит о тех или иных недостатках советской действительности, то соответствующий «специалист» из «Osteuropa» тщательно и любовно выписывает данную цитату и на основе ее приходит к обобщающему выводу, что вся советская действительность страдает этим недостатком.

Если же какое-либо произведение никак такого рода операциям не поддается, то над ним произносится беспощадный приговор. Именно на этом основании некая Барбара Бодэ доходит до того, что «расшифровывает» петуха, павшего жертвой увлечения Нагульнова петушиным пением, как символ «миллионов человеческих жертв».

В свое время гитлеровский генеральный штаб. сознательно подгоняя скудные разведывательные данные под требования фюрера, пророчествовал быстрый — в случае войны — развал советского государства. Ныне по этому пути идут «ученые» информаторы из «Osteurora», деятельность которых нужна лишь ведомству Штрауса.

Тут невольно вспоминается «Osteurora» 20-х годов. Тогда в ней по вопросам литературы писал г. Артур Лутер, некогда преподававший в Московском университете. Исходя в своих оценках из противопоставления русского народа коммунизму, он тем не менее действительно интересовался нашей культурой, в особенности ее художественными ценностями, внимательно изучал их и, несмотря на все оговорки, приходил к выводу (в связи с десятилетием советской власти): «Россия живет и растет, творит и трудится».

Тогда журнал, как бы ни был тенденциозен его комментарий, стремился познакомить немецкого читателя с конкретными фактами советской действительности и тщательно собирал их. Современная «Osteurora» боится подлинных фактов и поэтому обходит или извращает их, измышляет небылицы. Клевета во что бы то ни стало — таков лозунг этого органа.

Очевидно, что о сих «вередах общественного организма», если использовать выражение Щедрина, говорить не стоит.

II

Но вот об интеллигенции ФРГ, которая стоит между «торжествующей свиньей» западногерманской буржуазии и миром социализма — хотя и далеко не на равном расстоянии между ними,— сказать необходимо.

В этом отношении любопытный материал представляет издаваемая в Мюнхене газета

«Культур», посвящающая свои страницы в основном проблемам культуры, искусства и литературы, а также и некоторым непосредственно политическим вопросам.

Это орган буржуазной (впрочем, таковой себя не считающей) интеллигенции, заявляющей о своей враждебности подготовке новой войны, реваншизму, возрождению фашистских настроений. Вместе с тем эта интеллигенция закрывает глаза на то, что разгулу шовинизма потворствует прежде всего верхушка западногерманской буржуазии.

Отношение этой интеллигенции к миру социализма и его идеям, к ГДР и СССР крайне двусмысленно. Откровенно враждебные выпады и нарочитое игнорирование соседствуют здесь с невольными признаниями тех или иных достоинств социалистического мира.

Прежде всего следует отметить, что «верноподданническое» отношение к республике Аденауэра у некоторых представителей интеллигенции сочетается с горькой, глубоко пессимистической, порой крайне резкой и в сущности безнадежной оценкой духовной атмосферы, царящей в ФРГ.

Вывод автора одной из статей, опубликованных в «Культур», о том, что в ФРГ «презрение к духу безгранично»,* ни в коей мере не является исключением, как это видно из многих печатаемых в газете материалов.

В статье Германа Кестена «Немецкие критики» (№ 149, март 1960 г.) дается такая характеристика идейной атмосферы в ФРГ: «...либерализм, просветительство, социализм считаются дискредитированными, левых называют безродными». Не удивительно, что в такой обстановке «моральное безразличие становится художественным принципом и программой литературной критики». которую Кестен упрекает в консерватизме и эстетстве. Правда, он смягчает свою пессимистическую оценку литературной жизни ФРГ (ибо, разумеется, такое состояние критики не может не отражать существенных пороков литературы в целом) указанием на то, что литературу ведут и делают не профессиональные критики, и Кестен возлагает свои надежды на «наиболее значительных писателей эпохи».

* «Культур» № 147, январь 1960 г. (статья Рихарда Рота).

Но в той же «Культур» в № 155 (сентябрь 1960 г.) помещена статья Эрнста Крейдера «Литература и правда». По словам автора, «наша литература, если не считать некоторых находящихся в стороне от господствующего течения писателей, проходит мимо решающих мотивов человеческого поведения». Бо́льшая часть романистов занята тем, что «удивительными акробатическими упражнениями отвлекает внимание от того, что действительно имеет для нас всех злободневное значение». Крейдер называет эту литературу «литературой обходов», она изображает всего лишь «возбужденные душевные состояния, затененные или грозовые внутренние чувствования».

В другой статье в том же номере литература ФРГ названа «провинциально-безобидной».

Смысл этих упреков ясен — литература ФРГ стоит в стороне от острейших общественных вопросов.

Нас способен даже удивить такой строгий приговор. Может показаться, на первый взгляд, что этот приговор несправедлив по отношению к произведениям талантливых западногерманских писателей — Вольфганга Кёппена, Генриха Бёля, Ганса Вернера Рихтера, Герта Ледига и других, уже не говоря о таком старейшем немецком писателе-демократе, как Леонгард Франк.

Но ведь Крейдер и не отрицает того, что имеются писатели, стоящие в стороне от основного осужденного им течения западногерманской литературы и, очевидно, обращающиеся хотя бы к некоторым из тех актуальных общественных проблем, которых он не находит в произведениях большинства. Однако их произведения — и об этом лучше всего свидетельствует сама же «Культур» — не играют по-настоящему крупной общественной роли в ФРГ. Даже эта газета, в которой именно эти писатели (за исключением Л. Франка) выступали и выступают неоднократно, уделяет их произведениям всего лишь небольшие рецензии; никакого полного и всестороннего обсуждения, никакой дискуссии вокруг ряда значительных книг, дающих большой материал для раздумий, здесь, например, не найти.

Литература, больше того, духовная жизнь в целом оказывается ныне в ФРГ,

с точки зрения западногерманской печати и общественного мнения, чем-то совершенно незаметным, неинтересным, несущественным.

Правда, «Культур» затевает дискуссии о политической жизни студенчества, о положении писателей и, как мы уже видели, о характере литературной критики, но из знакомства со всеми этими дискуссиями возникает лишь одно впечатление: все они не имеют серьезного значения в общественной жизни ФРГ.

Нам даже трудно представить себе, что роль художественной литературы может в национальной жизни страны пасть так поразительно низко.

Это проявляется и тогда, когда авторы «Культур» — правда, весьма редко, а главное, как-то мимоходом и бегло — высказывают и весьма горькие истины по адресу общественного строя ФРГ.

В одной из самых резких в этом смысле статей, помещенных в «Культур», в статье Г. фон Крамера (№ 155, сентябрь 1960 г.) говорится о существовании «авторитарной псевдодемократии» в ФРГ.

В следующем номере помещен ответ того же автора одному критику, откровенно выступившему с позиций антикоммунизма. В этом ответе Крамер гневно характеризует «ненавистную неизменившуюся немецкую умственную атмосферу, которая вновь толкает нас к национализму и еще дальше».

Ганс Вернер Рихтер, рассказывая на страницах «Культур» в апреле 1959 года о своем романе «Линус Флек, или Утеря достоинства», над которым он тогда еще работал (мы об этом романе, ныне уже вышедшем, упомянем ниже), указывал, что «обстоятельством и местом» его действия является «духовное пространство нации», если таковое вообще еще существует».

Вспомним также вышеприведенные слова о том, что в ФРГ «презрение к духу безгранично».

Но беда в том, что все эти горькие и резкие слова не приобретают значения гордого и властного вызова тому общественному и духовному строю, против которого они направлены. Писатель ФРГ не чувствует себя трибуном, рупором своего народа, чей голос звучит как «колокол на башне вечевой».

В очень злых и саркастических заметках «Они продали душу дьяволу» (из сборника «Я живу в Федеративной республике», в котором участвует ряд писателей) Вольфганг Кёппен писал: «Я потолстел. Я вовсе не ожидал этого. Когда я смотрю в зеркало, мне становится не по себе. Я вижу чудовище Калибана или я вижу жаркое, которое готовят для Калибана... Итак, я живу хорошо. Кто я: Ганс-счастливчик или самый лучший «Персиль» (средство для стирки белья.— *Ред.)* из всех, какие когда-либо были? Даже издатели и редакции выплачивают мне гонорары за мою публично признанную непартийность. Так почему же тогда испытываешь какое-то неприятное чувство? Один критик сказал, что я страдаю от повышенной кислотности. Вовсе не так! Моя болезнь — это слишком восторженное доверие к жизни. Моя кротость объемлет даже этого критика».

В. Кёппен дает затем настоящую сатирическую зарисовку жизненно-политического уклада ФРГ, благополучные граждане которой обжираются устрицами, свиными отбивными и... вооружаются. Кёппен пишет далее: «Наш широко известный филистер ведет себя столь же бессмысленно, сколь и отвратительно, о чем свидетельствуют фильмы, иллюстрированные романы, свадебные объявления, цветные ленты, рейнские шутовские колпаки и лейтенантские фуражки, как и прежде с высокой тульей. Иногда мне хочется заплакать над нежным цветком нашей демократии; и в гордых порывах, в прилетах и отлетах самолетов, парадных приветствиях и возвещающих победу речах об иллюзиях чудится мне предзнаменование. Я писатель. Немецкий писатель. И не хотел бы быть чем-то другим. Но Герман Кестен сравнивает нашу писательскую деятельность в Федеративной республике с вечерней зарей. Предвещает ли она ночь? Принесет ли она радостный день? Я не осмеливаюсь опровергать Кестена, я не верю в радостный день».

Когда читаешь эту заметку, невольно вспоминаешь того исподтишка подсмеивающегося обывателя, которому Щедрин любил в своих сатирах предоставлять роль рассказчика — последний был склонен похваливать свое спокойное и умеренное, «трезвенное» и лишенное каких-либо свободолюбивых «бредней» «житьишко», делая это, однако, так, что мороз подирал по коже,

и ирония эта открывала выход гневно-лирическому чувству самого писателя.

Злая же шутка насчет Калибана вызывает ассоциации и с «торжествующей свиньей» реакции, и с той свиньей (также из щедринского цикла «За рубежом»), которая воплощала собою аппетит и сытое довольство третьей республики, сей «республики без республиканцев»...

Сатирическое острие заметки направлено против того «Ганса-счастливчика», писателя-филистера, «тихого гражданина», который пришелся ко двору руководящим кругам западногерманской буржуазии, продавшим свою душу дьяволу «холодной», а то и «горячей» войны.

Сам Кёппен совсем-то уж не так кроток — неизгладимой печатью заклеймил он в романе «Смерть в Риме» медный лоб эсэсовского генерала Юдеяна, этого палаческих дел и массовых убийств мастера.

Небольшая, проникнутая духом истинной сатиры заметка Кёппена глубоко драматична. Писатель ощущает себя пленником сытого, но отвратительного уклада; он его презирает и способен заклеймить, он явно мечтает — и это крайне важно — о человеке, по духовному складу своему противоположном «тихому гражданину», но он не чувствует в себе сил призвать своего «друга-читателя» к «действиям героическим, подвигам самоотвержения» (Щедрин) во имя иной, лучшей жизни.

Немецкая литература потому даже и кажется Кёппену стоящей на пороге ночи, что он ощущает ее бессилие. Но значение и смысл этого чувства бессилия можно правильно понять, если иметь в виду конкретные исторические обстоятельства, в которых Кёппену и ряду близких ему по мироощущению и жизненному опыту писателей приходится действовать.

Сопоставляя эту заметку (а она именно драматизмом своим во многом характерна для всего творчества не только Кёппена, но и таких писателей, как Рихтер и Бёль, при всем, что их отличает друг от друга) с *большей частью* публицистических выступлений «Культур», мы убеждаемся в том, что драматизма в этой публицистике почти не чувствуется. Вполне вероятно, что некоторые публицисты «Культур» (например, цитированные выше Крейдер, фон Крамер) остро переживают свое положение в духовной пустыне ФРГ. Но речь идет о большинстве сотрудников газеты, в особенности об авторах ее программных статей.

В самом деле, разоблачая грязные выходки неонацистов, их антисемитские выступления, газета печатает успокоительные заявления министра внутренних дел ФРГ Шредера (тут же, как ему и положено, клевещущего на коммунистов) или, например, «правящего бургомистра» Западного Берлина Вилли Брандта. Получается так, что на эти заверения якобы вполне позволительно положиться... А это делается в то время, как тот же Шредер терпит в ФРГ организацию бывших эсэсовцев, объединяющую 400 000 (!) человек. А роль Брандта в пропаганде «холодной войны» общеизвестна.

Публицисты «Культур» объявляют себя сторонниками мира, они выступают против идеологической подготовки новой войны в ФРГ. И при этом возлагают надежды на правящие круги ФРГ, несомненно ответственные за разжигание реваншистских и националистических настроений! Мало и того. Свои пацифистские и антифашистские воззрения они соединяют с антикоммунизмом.

В выступлениях Г. Кестена и некоторых других публицистов «Культур» не раз проскальзывают, пусть обычно беглые, но недвусмысленные намеки и выпады антикоммунистического и антисоветского характера. В одной статье «коммунистический антигитлеризм» ставится на одну доску с «буржуазным антигитлеровским лагерем», несостоятельность которого при этом подчеркивается. Порою понятие «тоталитарный» прикрепляется — в духе клеветнической буржуазной пропаганды — к коммунистической идеологии.

Никто, конечно, не требует от буржуазных интеллигентов, выступающих в качестве сторонников мира, сочувствия коммунистической идеологии. Но именно потому, что борьба за мир является ныне спутником борьбы за коммунизм, не видеть в нем мощного союзника — значит быть политически слепым и на деле выступать против той линии, сторонниками которой публицисты «Культур» себя считают.

Нечто существенно иное характерно для заметок Г. В. Рихтера, побывавшего в ГДР и рассказывающего о своих впечатлениях в № 153 «Культур» (июль 1960 г.). Писатель чувствует себя «дома» в ФРГ, но он, хотя не без грусти, не может не видеть

явных достоинств духовной политической жизни в ГДР, достоинств, которым ФРГ ничего противопоставить не в состоянии.

В беседах с представителями различных слоев населения ГДР Рихтер обнаружил у них «чрезвычайно живой политический интерес», и прежде всего к задаче объединения Германии.

Когда же Рихтер попытался в ФРГ поделиться своими вынесенными из ГДР впечатлениями, то констатировал «болезненную политическую сонливость» и встретил «безразличие, смешанное с легким неудовольствием». «Это был другой мир, внутреннюю пустоту которого я только сейчас вполне понял». Здесь писатель нашел «лишь интерес к собственной карьере, к множеству мелочей».

Обратился Рихтер в ФРГ и к молодежи, но «...большие политические проблемы их не занимали. Зачем мы должны этим интересоваться? Политика ведь делается через нашу голову».

Так писатель и пришел к выводу, который сделать ему было совсем не легко: «Подлинная дискуссия (имеется в виду «дискуссия» между ФРГ и ГДР.— *Я. Э.*) происходит в духовной области. И здесь ФРГ находится в состоянии безнадежной отсталости».

Быть может, особенно существенно то, что вся статья, несмотря на отдельные выпады против политического строя ГДР, обычные для «Культур», проникнута полным драматизма сознанием духовной отсталости, невозможности примириться с ней, стремлением разобраться в вопиющих противоречиях, раздирающих жизнь немецкого народа, а что особенно важно — разобраться в людях Германии, в человеке.

Именно этого чувства мы совсем не находим ни у Г. Кестена, ни у ряда других публицистов «Культур». ГДР они высокомерно игнорируют. Для Рихтера вопрос о духовном складе человека социалистического общества, об этом обществе как особом мире уже встал, он в чем-то даже уловил высоту его идейного развития. Большинство же публицистов «Культур» стремятся этот вопрос обойти.

Кестен и другие отмечают, порой даже с вызовом, те или иные серьезные недостатки в общественной жизни ФРГ. Но этим только они и ограничиваются. У них нет чувства мучительности жизни в ФРГ, в стране «экономического чуда», в стране, где охваченная погоней за деньгами и развлечениями буржуазия пренебрегает всем духовным. Нет того чувства, которое так характерно для Кёппена, Рихтера, Бёля, да и для некоторых других писателей, для каждого из них, разумеется, по-своему.

В критике Кестена и ему подобных есть что-то «каплунье» (опять невольно вспомнился Щедрин!). Они ужасно довольны собою, своим остроумием, своим критическим «курлыканьем» и свободомыслием, своей духовной «независимостью» (на деле такая «независимость», «непартийность», как то хорошо показал Кёппен в процитированной выше заметке, вполне устраивает— по крайней мере до поры до времени — правящие круги Бонна).

Самые кардинальные проблемы общественной жизни ФРГ публицисты типа Кестена обходят. И прежде всего — то, что хозяином страны является крупная буржуазия.

Когда мы читаем заявление Генриха Бёля: «Христианский мир должен быть миром, не знающим страха, а наш мир не христианский, ибо страх не только уменьшается, но и растет» (№ 143, ноябрь 1959 г.), то в таком заявлении мы узнаем не только религиозные иллюзии писателя, но и цельное неприятие того мира, в котором он живет.

Многие же публицисты из «Культур» в решительности постановки коренных общественных вопросов уступают даже откровенно консервативным ученым ФРГ.

Вот, например, в сугубо гелертерски-академическом журнале «Университас», издаваемом в Штутгарте (1959 г., № 3), в котором так силен консервативный, если не реакционный, и теологический, если не клерикальный, душок, была помещена статья профессора Г. Фрейера (Университет Мюнстер) «Идея свободы в техническом веке».

Развивая апологетическую по отношению к буржуазному строю концепцию, Г. Фрейер пытается вместе с тем «справиться» с выдвинутым молодым Марксом понятием «отчуждения». Фрейер признает, что в капиталистическом обществе (которое он, впрочем, избегает так называть) рабочий, если говорить словами Маркса, «не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развертывает свободно свою физическую и духовную

энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свой дух» *.

Г. Фрейер вынужден сказать, что в «современном мире работы» (то есть, попросту говоря, в капиталистическом мире) «индивидуум занят в предприятии как специализированная рабочая сила, так что его труд не является свободной самодеятельностью... Наш социальный аппарат строится таким образом, что он соприкасается с человеком лишь в определенном отношении, но не включает в себя человека как целостную личность... Рабочий становится человеком без личных качеств».

Правда, Фрейер пытается и «в системе нашего общественного и политического порядка» (то есть общественного порядка ФРГ) обнаружить такие пункты, где якобы «свобода человека может быть реализована», но должен признать, что для этого «индивидуум сам должен сделать главное».

Конечно, это весьма «легкий» и весьма дешевый призыв. И тем не менее нельзя не отметить, что Г. Фрейера беспокоит (хотя он и ищет пошлейшего компромисса) главное — бесчеловечность капиталистического строя,— то главное, что многие публицисты из «Культур» всячески намеренно обходят Вот они-то, несмотря на громкие фразы, действительно пытаются быть «тихими гражданами» ФРГ, если использовать слова В. Кёппена.

Перейдем теперь к некоторым художественным произведениям западногерманских писателей.

III

Вопрос о том, каков должен быть человек, способный построить светлое «завтра», бороться за него или по крайней мере заглянуть в него, стоит болезненно и драматически остро для прогрессивных западногерманских писателей.

Именно болезненно! Ибо неприятие действительности сочетается у этих писателей с ощущением своего практического бессилия по отношению к ней, с идейной неотчетливостью своего протеста против нее, даже с сомнениями в возможности лучшего будущего.

И, быть может, как раз Кёппен особенно напряженно задумывается над судьбой человека, особенно целенаправленно намечает он те пункты, вокруг которых концентрируются его (и, разумеется, отнюдь не только лично его) сомнения. Мы имеем в виду «Смерть в Риме» и книгу путевых впечатлений, в которой значительная часть отведена посещению СССР.

В романе «Смерть в Риме» наиболее острые суждения в интересующем нас направлении высказывает герой Кёппена — композитор Зигфрид Пфаффрат. Было бы, разумеется, неправильно механически возлагать ответственность за все мысли персонажа на самого писателя. Однако, сопоставляя эти мысли с раздумьями, вызванными у Кёппена советской действительностью, а отчасти и с той сатирической заметкой, которую мы цитировали выше, убеждаешься в известном единстве некоторых очень существенных сторон воззрений Зигфрида и его создателя.

Впрочем, Зигфрид в особенно заостренной, резкой форме высказывает сомнения, свойственные самому писателю. Кёппен, видимо, хочет, объективируя эти черты мировоззрения своего героя, превратить их в нечто дискуссионное, возможно не вполне бесспорное и для себя.

Каковы бы ни были взаимоотношения Зигфрида и самого писателя, оба они — интеллигенты, яркие, творческие, притом одного и того же поколения. Отрочество и юность этого поколения прошли в нацистских молодежных организациях. Они служили в гитлеровской армии и пережили крах режима. Прошлое является для них неистребимо страшным воспоминанием, тем ликом Горгоны, который парализует жизненную энергию, надежду, веру. Они покорялись этой страшной силе, которая гипнотизировала и поработила их и крах которой даровал им не только свободу, но и глубочайший скептицизм и прежде всего сомнения в возможности построения разумного общественного строя.

А послевоенная Западная Германия, оккупированная американцами, быстро перешедшими от формально-механического насаждения «демократии» к покровительству реваншизму, и наступившее затем «бешенство благосостояния», по выражению одного шведского буржуазного журналиста,— все это только стимулировало и укрепляло такое неверие.

В романе Кёппена содержится эпизод, пожалуй особенно выразительно характе-

* К. Маркс и Ф. Энгельс. «Об искусстве». Москва, «Искусство», 1957, т. I, стр. 155.

ризующий мучительные уроки, которые Зигфрид вынес из прошлого своей страны. В Риме перед началом исполнения его симфонии Зигфрид наблюдает публику, спешащую в концертный зал. Его особенно привлекает молодежь, которая подымается на галерею, и он думает: «Я бы охотно воспринял этих молодых людей, молодых исследователей, студентов, рабочих, священников, молодых девушек, как моих товарищей... Мне вспомнился также, когда я на них смотрел, призыв: студенты и рабочие, «пролетарии и интеллигенты, соединяйтесь!», но я не могу в это поверить, я не верю, что новый мир возникнет из этого союза. Гитлер, Юдеян, моя родня и служба в армии *отняли у меня веру во всякое объединение* (курсив мой.— *Я. Э.*). Я приветствовал поэтому тех немногих старых людей, которые среди молодежи подымались на Олимп, быть может, мой концерт был задуман для одиноких».

Потеря веры во всякое объединение, в любой союз людей! Какое страшное признание, какое несчастье прийти к такому заключению!

Для советского человека такое чувство не только незнакомо, но и уродливо, ибо вся наша жизнь построена громадными коллективными целеустремленными усилиями миллионов, вдохновлена общими высокими идеями и идеалами, мобилизующими мысль и чувство, идеалами, научно обоснованными и отвечающими высшим требованиям человеческого достоинства, благородства и морали.

Одна из примечательнейших особенностей нашей литературы и искусства — это воплощение счастья и радости коллективного творчества (подразумевающего и рост каждого человека) в борьбе против врагов революции и родины (вспомним фильм «Чапаев»), в общественной борьбе (вспомним Давыдова и его друзей), в творческом труде (вспомним образы «За далью — даль» Твардовского). Стремление к радости коллективного труда — одна из самых характерных черт облика советского человека.

Необходимо вместе с тем уяснить себе и отличие взгляда Кёппена на человеческое одиночество от позиции модернистов-экзистенциалистов, у которых одиночество возведено в идеал и определяет всю концепцию жизни.

Так, если, например, Камю апологетизирует одиночество, то Кёппен болеет им. Камю вознес одиночество на пьедестал после участия в Сопротивлении, изменив тем самым лучшему, что было в движении, а вернее, никогда не будучи близким к этому лучшему. Кёппена толкнуло к одиночеству насилие нацизма над человеческой душой. Но он все же сомневается в праве на такое одиночество. Камю же восхвалял его, звал к нему своих читателей. Камю, несмотря на свое дарование, неизменно подгонял душевные движения своих героев под заранее намеченную схему именно потому, что изображение одиночества как высшего состояния души противоестественно. Камю был и остался модернистом, Кёппен же пришел к реализму (хотя и осложненному модернистскими влияниями), ибо он все более внимательно прислушивается к самой жизни.

Вообще модернистской литературе и эстетике свойственна апология самых крайних форм субъективизма и солипсизма. Многие стараются при этом превзойти друг друга — кто во что горазд.

Так, французский писатель Роб-Грийе выступил в западногерманском журнале «Акценте» (1960 г., № 2) со статьей, которая, так сказать, предлагает — совсем в американском духе — «патентованное средство» от трагических противоречий жизни.

Оказывается, чувствуя себя несчастным и одиноким, человек должен просто-напросто перестать надеяться на какую-либо помощь со стороны. Он всего лишь не должен «звать», то есть он должен заранее уверить себя в том, что ни на какое сочувствие, сострадание он и не вправе рассчитывать, что в известном смысле вблизи никого нет и даже *быть* не может. Роб-Грийе полагает, что сей «рецепт» принесет человеку облегчение, ибо у него не останется ни малейшей надежды, в которой он мог бы затем разочароваться.

Но, разумеется, это всего лишь надуманные фокусы, основанные на извращенно-модернистских представлениях о человеческой природе. Ни грана искреннего чувства в такой позиции нет, зато явственно выступает то самое «прелюбодеяние мысли», которое обличал Достоевский.

Все это совершенно чуждо Кёппену. В мыслях и переживаниях Зигфрида чувствуется тоска по настоящему человеку, по настоящим людям, смешанная, однако, с

мучительным недоверием к тому, что могло бы родиться из такого общения.

Страшная фашистская унификация подорвала у Кёппена доверие к возможности истинного духовного, идейного объединения. Такие умонастроения являются подлинным историческим несчастьем для поколения немецких интеллигентов, далеких от активной политической борьбы, от тех передовых представителей рабочего класса и народа Германии, которых аденауэровское правительство бросает в тюрьмы.

Мы говорим об историческом несчастье прежде всего в том смысле, что оно заставляет западногерманского писателя позабыть о великих духовных победах, одержанных передовой немецкой мыслью более ста лет назад.

Еще в «Подготовительных работах для «Святого семейства» Маркс писал: «Когда между собой объединяются коммунистические *ремесленники,* то целью для них является прежде всего учение, пропаганда и т. д. Но в то же время у них возникает и новая потребность, потребность в общении, и то, что казалось средством, становится целью. К каким блестящим результатам привело это практическое движение, можно видеть, наблюдая собрания социалистических французских рабочих. Курение, питье, еда и т. д. не служат уже больше средствами соединения, не служат уже связующими средствами. Для них достаточно общения в кружке, беседы, имеющей своей целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с загрубелых от труда лиц глядит на нас вся красота человечества» *.

Вот эту-то «красоту человечества», которой пренебрегает модернистское искусство, В. Кёппен ищет мучительно, но на ложных путях и, мало того, не узнает ее и тогда, когда оказывается лицом к лицу с ней.

Впечатления Кёппена от его поездки в СССР во многом разочаровывают. В них нет подлинной значительности. Писатель увидел даже меньше, чем многие другие туристы, посещавшие за последнее время СССР. Но для уяснения мировосприятия Кёппена они весьма поучительны.

Господствующее в этих зарисовках настроение можно было бы охарактеризовать как благожелательное непонимание или же, во всяком случае, «недопонимание».

С одной стороны, В. Кёппен находит в СССР жизненную энергию, «гуманизм, который поклоняется деятельному человеку и его технике». Он видит у советских людей «веселый нрав» и «сердечность».

С другой стороны, наша страна кажется ему «миром монотонности», где нет места яркому индивидуальному своеобразию. Люди будущего в «Клопе» Маяковского представляются ему «дураками». Он видит в этой пьесе глубокий пессимизм, вероятно, с его точки зрения, в какой-то степени подтвержденный советской действительностью нашего времени.

В СССР Кёппен тоскует по «бесцельной, бесполезной красоте», отмечая с грустью, что ее не может быть «без богов, без эроса, беспорядка, одиночества, путаницы, экстаза, отчаяния».

Кёппену, в сущности, представляется, что советский человек не знает сложности и многообразия чувств, каких-либо душевных противоречий, интенсивности эмоциональной жизни. Любопытна, но наивна его не лишенная сожаления констатация, что советские люди, которых он увидел, «не были русскими, Достоевского или Гоголя, среди них не было Обломова», они кажутся ему «слишком разумными».

Не странно ли подходить к сегодняшнему советскому человеку с «меркой» образов Достоевского и Гоголя? Традиции великих русских писателей XIX века были творчески продолжены в дальнейшем развитии нашей литературы. Нельзя узнать современного советского человека без помощи Горького, Маяковского, Шолохова, Твардовского — в первую очередь. Они не только познавали этого человека, но и формировали его в богатстве и сложности его мыслей и чувств. У Шолохова, у Твардовского мы видим советского человека наших дней с горем и бедами, противоречиями и пережитками, ошибками и жгучим стремлением исправить несправедливость, с любовью и ненавистью — и вместе с тем в его цельности и убежденности, идейной ясности, способности изменить мир.

Кёппену советский общественный порядок кажется скучным. Но еще Горький показал, если употребить выражение Ленина, что «порядок революции» является высшей ступенью «хаотических стихийных

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 1-е изд., т. III, стр. 661

народных взрывов», что «народная страсть», кипение души соединяются в человеке с передовой мыслью.

Громадные исторические и политические «экзамены», выпавшие на долю нашего человека и выдержанные им с таким всемирно-историческим успехом, выработали в наших людях сдержанность и скромность, нелюбовь к дутой демонстрации своих чувств. Выработалась даже, как бы ни показалось кое-кому странным это выражение, своеобразная «привычка» к участию в больших исторических делах, нелюбовь к афишированию своей роли в них, умение, стиснув зубы, переживать несчастья и не чваниться своими победами, хорошо сознавая, что они одержаны прежде всего общенародными усилиями. Но разве такая сдержанность не связана с глубиной эмоциональной жизни?

В чем мировоззренческие корни суждений Кёппена? Очевидно, в том, что, с его точки зрения, подлинное своеобразие и богатство человеческой индивидуальности мыслимо лишь вне какого-либо объединения, в большей или меньшей обособленности, в «свободе» от идеологии, от преданности идее, сплачивающей людей воедино.

Такая точка зрения ощущалась и в романе «Смерть в Риме», где чувство восхищения, которое вызывает у Зигфрида юная коммунистка с ее «гордым лицом», соединяется с таким обращенным к ней упреком: «Почему ты так высокомерна, ты все отрицаешь, ты отрицаешь эту старую женщину, которая приносит кошкам корм, и вообще ты отрицаешь сострадание».

Не будем спорить с Кёппеном относительно правомерности этого упрека, высказанного его героем. Скажем лишь, что в самом упреке этом содержится отрицание значения идеи, вдохновляющей человека, делающей его сильным, деятельным, сознательным и гордым участником большого коллективного общественного дела. Согласимся даже, что юность порой примешивает к этому сознанию духовной силы и долю высокомерия, которое конечно же преодолевается жизнью, но ведь не в этом главное.

Что же касается сострадания, то здесь мы непосредственно сталкиваемся с вопросом о характере гуманизма Кёппена и о понимании им гуманистической роли писателя.

Думается, что порой проявляющееся в нашей критике стремление к подчеркнуто точному, строго дифференцированному, отвлеченному делению «гуманизмов», если так будет позволено выразиться, особенно когда речь идет о художественной литературе, мало плодотворно. В литературе идейный характер гуманизма писателя вытекает прежде всего из его представления о том человеке, к которому он стремится, который ему наиболее духовно близок. Уясняя себе облик этого человека, мы тем самым определим и взгляд писателя на «красоту человечества». А оценивая того человека, который выражает лучшие стремления художника, мы должны рассматривать этого человека в движении, в развитии, в его внутренней логике, мы обязаны отдавать себе отчет в том, куда он идет.

Гуманизм Кёппена и характеризуется представлением о разностороннем, широко терпимом, сострадающем ближним и ненавидящем насилие человеке, способном любоваться переливами красок жизни, но сомневающемся в ее поступательном развитии и именно поэтому не решающемся примкнуть к идейно сплоченному объединению передовых людей, практически строящему мир в соответствии со своими идеалами.

Кёппен считает, что писатель прежде всего «защитник страдания и бедности», как он говорит в своей книге путевых впечатлений. Эта точка зрения имеет среди западногерманской интеллигенции, вероятно, немало адептов; можно для примера сослаться на статью В. Видмера о Бёле («Культур» № 147, ноябрь 1959 г.), где отмечается, что речь последнего раздается в защиту «бедных, бесправных, страдающих, беспомощных, угнетенных».

Кто же будет отрицать, что долг прогрессивного писателя — защита обездоленных и угнетенных? Но охватывает ли понятие «сострадание» гуманистические устремления прогрессивного искусства? И здесь невольно хочется сослаться на лучшие заветы именно великой немецкой литературы. Послушаем Гердера, его «Письма о поощрении гуманности»: «Мягкое сочувствие к слабым существам нашего рода, которое мы обычно называем *человечностью*, не исчерпывает всего понятия гуманности. Конечно, в надлежащее время, в надлежащем месте оно украшает человека, ибо симпатия в точном смысле

этого слова, то есть живое, быстрое проникновение в состояние больного, заблуждающегося, страдающего, замученного, является тем тончайшим цементом, который соединяет подобные друг другу существа, связывая людей самыми короткими узами. Ничто так не отталкивает, как бесчувственная, надменная суровость». Гердер прозорливо предостерегал о тех опасностях, которые для характера гуманиста-борца представляет «мягкое сочувствие к слабым существам», как некая исключительная и ставшая преобладающей черта. Он писал: «Хотя человеческая *деликатность и снисходительность* к ошибкам и страданиям наших ближних необходимы, все же, если эти чувства станут чрезмерно мягкими и исключительными, они неизбежно окажут расслабляющее влияние на характер и именно поэтому могут превратиться в самую суровую жестокость. Без правосудия не может быть терпимости. *Снисхождение* без *понимания* слабостей и ошибок является *изнеженностью,* которая, покрывая розами гнойные раны, тем самым умножает боль и опасность».

«Без правосудия не может быть терпимости» — эта гениальная формула естественно ведет к тому определению гуманности, гуманизма, которое затем дает Гердер: *«Ощущение человеческой природы в ее силе и слабости, в ее недостатках и совершенствах, не без действенности и понимания».**

Беда Кёппена и некоторых других западногерманских писателей и заключается в том, что они хотят быть терпимыми, но не решаются творить правосудие, не решаются быть подлинно действенными.

Но позвольте, скажут нам, разве эти писатели не выносят беспощадный приговор эсэсовцу Юдеяну («Смерть в Риме»), Неттлингеру — этому лощеному боннскому министерскому деятелю, которому в данной обстановке явно невыгодно, чтобы вспоминали о его нацистском прошлом, но который остался столь же жестоким и опасным («Партия в биллиард в половине десятого» Г. Бёля), разве в последнем романе Ганса Вернера Рихгера «Линус Флек, или Утеря достоинства» перед нами не разворачивается сатирическая панорама «деятельности» разного рода ничтожных людишек под эгидой американских оккупационных властей, способствующих отравлению и разложению культуры Западной Германии.

Все это так, и было бы совершенно неверно недооценивать вклад этих писателей в борьбу за мир, против разжигания новой войны, против бесчеловечных и жестоких врагов демократии и социализма, против реваншизма и милитаризма.

Правда, *первый* план внимания Кёппена и Бёля занимают все же в большей степени гниющие остатки прошлого, нежели язвы современной действительности ФРГ, становящиеся все более опасными. Но желание «рассчитаться» в первую очередь с Юдеянами, Гезелерами, Неттлингерами, с хозяевами ненавистного прошлого, конечно же естественно.

Картина современности в их произведениях несомненно обладает одним очень важным и принципиальным преимуществом по сравнению с той критикой, которую предлагает вниманию читателей большая часть публицистики «Культур».

Главное и самое ценное в том, что за упомянутыми образами, нарисованными с сарказмом, презрением, с художественной силой, пусть на втором плане, пусть порой даже в виде эпизодических фигур, бесспорно ощущается общественный строй Бонна как строй буржуазный, собственнический, покупающий, отчуждающий, искажающий человеческие чувства, готовящий новые злодеяния. В этом смысле, несмотря на различный удельный вес, функции таких персонажей, как крупные буржуа Пфаффраты у Кёппена или кондитер в романе Бёля «Дом без хозяина», в сущности равнозначны. А Неттлингер уже соединяет в себе черты Юдеяна и Пфаффратов.

И тем не менее нельзя не видеть слабых сторон той борьбы, которую ведут Кёппен, Рихтер, Бёль и другие.

Правосудие, творимое в художественных произведениях, о которых идет речь, не может нас удовлетворить. В произносимом приговоре еще слишком мало силы, твердой уверенности в том, что решение суда истории, морали и литературы будет приведено в исполнение.

Дело даже не в том, что эти западногерманские писатели не изображают представителей социальных сил, которые являются наиболее непримиримыми врагами боннского режима, реваншизма и национализма.

* Гердер. Избр. соч., Гослитиздат, 1959, стр. 286—287.

Но отсутствие веры в то, что жизнь станет иной, что вырастут люди, способные изменить ее,— отсутствие такой веры говорит о серьезной и опасной ущербности их мировоззрения.

Можно, конечно, возразить, что жизненный и политический опыт человека, живущего в ФРГ, не благоприятствует оптимистическим надеждам на лучшее будущее. Однако ведь рядом с ФРГ находится ГДР, духовная жизнь которой уже заставила, как мы видели, задуматься Ганса Вернера Рихтера.

К тому же в наше время писатель не вправе игнорировать международный опыт. Жизнью Советского Союза заинтересовался Кёппен. Правда, от серьезных сопоставлений он пытался в большей или меньшей степени «отговориться», но вместе с тем не закрыл глаза на то, что советской действительности чужд, например, дух милитаризма, столь явно накладывающий свой отпечаток на быт ФРГ.

Пессимизм Кёппена по отношению к будущему и, в частности, к роли литературы в подготовке этого будущего особенно резко проявляется в том, что самая возможность влияния художника на души людей представляется ему крайне спорной.

Именно такого рода сомнения волнуют Зигфрида. Ему кажется, например, что «музыка существует не для того, чтобы изменять людей», он допускает, однако, что музыка как «таинственное строение» находится «в некой связи с таинственной силой времени, и поэтому она когда-нибудь сможет, вероятно, способствовать большим переменам». Но Зигфрид при этом имеет в виду столетия, тысячелетие...

Если эти мысли Зигфрида сопоставить с опасением самого Кёппена относительно того, что западногерманскую литературу сейчас ожидает ночь, а не светлый день, то приходится сказать, что не только буржуазная общественность ФРГ высокомерно относится к прогрессивной литературе, требуя за свои деньги лишь развлекательного чтива, но что и сама литература эта не решается претендовать на важную общественную роль, не борется за нее.

Нельзя, вместе с тем, и в той постановке вопроса о влиянии и значении литературы, которая характерна для Кёппена, не видеть крайне важных и принципиальных отличий от опустошенно-нигилистической и эстетской трактовки этой проблемы, которая была характерна для видного поэта-католика Готфрида Бенна, например, категорически и без малейших внутренних сомнений отвергавшего самую возможность воспитательного значения литературы.

И в этом отношении Кёппен ближе к лучшим традициям немецкой литературы, отражение которых мы находим и у такого большого противоречивого поэта, как Райнер Мария Рильке. Рильке принадлежат замечательные, подхваченные Бехером слова о том, что подлинное великое художественное произведение требует от человека, чтобы он изменил себя.

Мы видим у Кёппена, как и у других, занимающих более или менее аналогичные позиции писателей ФРГ, глубокие, полные драматизма сомнения, серьезные колебания и искренние искания, исполненные, однако, неуверенности и пессимизма.

Именно поэтому литература, о которой мы говорим, еще не способна убежденно творить строгий суд над сегодняшней действительностью Федеративной республики, в которой так много от ненавистного прошлого. И вместе с тем чем дальше, тем все в большей степени для этих писателей вырисовывается необходимость, вытекающая из логики жизни и искусства, бороться не только против становящегося все более грозным возрождения — в тех или иных формах — нацизма, но и против всего господствующего общественного строя Боннской республики как строя буржуазного, человеконенавистнического, унижающего и подавляющего лучшие духовные стремления, ведущего страну к новой войне.

Но пока что прогрессивная литература ФРГ способна противопоставить этому строю по преимуществу интеллигентов-одиночек, умеющих многое видеть, понимать и презирать, но не находящих пути общественной духовной активности.

Таков и Зигфрид, чьи мечты о задачах, которые он пытается решить в своем музыкальном творчестве, крайне неопределенны, хотя в них и содержится, быть может, многозначительное, но смутное стремление внести в свое искусство ритмы, навеянные Африкой, для того чтобы связать их с традициями европейской музыкальной культуры...

Таков и литератор Вашботтель из романа Рихтера «Линус Флек, или Утеря достоин-

ства», меньше чем кто-либо другой из персонажей этого сатирического произведения унижавшийся перед американскими оккупантами, хорошо знающий им цену, но настроенный скептически, лишенный стержня, уклоняющийся от битв, да к тому же явно опасающийся и идей коммунизма.

Таков и Роберт Фемель из романа Бёля «Партия в биллиард в половине десятого», холодный, гордый, одинокий, прошедший жестокие испытания войны, решительно отвергающий нынешних хозяев ФРГ и ощущающий себя духовно близким лишь к активному в прошлом антифашисту, образ которого, однако, остается неясным.

И думается, что больше всего этим писателям недостает понимания того, что человеку нужна идейная ясность, определенность, глубокая страсть, которая объединила и возглавила бы все многообразные и индивидуально неповторимые наклонности, вкусы, воззрения, стремления.

Кёппен же и другие боятся этой «главной пружины». Вот Зигфриду кажется, что неуспех его симфонии у молодежи, заполнившей верхнюю галерею концертного зала, объясняется тем, что его музыка беспокоит, а не успокаивает, не объединяет. Но разве умное беспокойство, трезвый анализ и глубокое переживание жизненных противоречий противостоят преданности великой идее, способной воспламенить людей?

Гете как-то сказал, что «каждая великая идея, которая является миру как евангелие... представляется «много- но поверхностнообразованным»—глупостью». А в наше время таких «дилетантов»-литераторов с их скептическим неверием ожидает полный духовный крах.

Они не хотят понять того, что жить «во все стороны», как то умел наш Герцен, значит для передового человека вместе с тем искать и выстрадать верную идею, способную раскрыть, как говорил тот же Герцен, «во всех головах один ум», то есть соединиться с народом.

Советская литература особенно успешно за последние годы показывает способность человека объединить в своем духовном мире самые тонкие, интимно-индивидуальные переживания с тем глубоким удовлетворением, радостью и главное идейным ростом, к которому приводит причастность именно и только к «единению умов», если опять употребить выражение Герцена, к тому единению умов творческих, самостоятельных, которое в наше время возглавляется ленинскими идеями, перестраивающими мир. Вспомним, например, «За далью — даль» и лирику Твардовского, «Дневные звезды» Ольги Берггольц.

И хотят или не хотят того прогрессивные западногерманские писатели, о которых здесь шла речь, логика жизни такова, что их герои, особенно те из них, перед которыми еще большой жизненный путь, встают перед задачей найти идею, способную вести в будущее.

Ясно это понял Леонгард Франк еще в «Учениках Иисуса». В этом замечательном романе мы видим мальчиков-отроков, которые своей чистотой и убежденностью действительно завоевали право творить правосудие и справедливость. Самая логика жизни и духовного развития ведет их от непосредственного чувства справедливости к идеям социализма.

И аналогичный путь намечает для своего героя — Станислауса Бюднера — Эрвин Штриттматтер в романе «Чудодей», столь смелом и широком как по его социально-историческим, так и художественным масштабам.

Это путь от мечтательной, живущей иллюзиями и ограниченной мещанской обстановкой юности к мужественной духовной политической сознательности и зрелости, столкнувшейся с событиями всемирно-исторического значения.

К сожалению, такой *ясной* перспективы нет у прогрессивных западногерманских писателей младшего поколения, оставшихся в фашистской Германии и испытавших тяжкие моральные ранения.

Но вот, например, «Дом без хозяина» Г. Бёля. Куда идти Мартину и Генриху? Сам писатель определенного ответа не дает, но правда жизни и логика реалистических характеров не приведет их в лоно церкви. А куда пойдет юный Гуго из «Партии в биллиард в половине десятого»?

Такие писатели, как Кёппен, как Бёль, мечтают о том, чтобы их молодые герои шли по пути высокого благородства и моральной ясности. Но они боятся идей социализма и коммунизма. А ведь в конечном счете другого пути вперед нет.

Эти писатели к тому же склонны противопоставлять моральное и политическое развитие человека.

Но пусть они обратятся к нашему искусству, пусть посмотрят и задумаются, в частности, над «Балладой о солдате». Ведь именно в этом фильме, поставленном Г. Чухраем, они смогут увидеть, как свежесть, непосредственность, чистота чувств молодых советских людей не отступают, а торжествуют над хищничеством, рвачеством, предательством, несправедливостью, горем и ужасом. И главное в том, что эта чистота и непосредственность чувства неотрывны от преданности родине, от скромного, но несомненного героизма советского патриота. А такое соединение в высшей степени многозначительно. Оно доказывает, что наш общественный политический строй не ограничивает, не стесняет этот лирический поток кристально чистого чувства, а, наоборот, дает возможность для еще более полного и мощного его разлива и идейного обогащения.

«Баллада о солдате» — произведение трагического звучания, которое, однако, вовсе не определяет собою понимание и освещение советской действительности творцами фильма. Это — трагизм чудесной, полной обаяния молодости, имеющей неоспоримое историческое право на светлое будущее и погибшей во имя счастья своего народа в жестокой борьбе с врагом.

Правда, мы не видим гибели героя фильма, но она не только возвещается нам диктором, предчувствие ее уже заложено в мучительно тревожных сценах прощания Алеши с любимой, с матерью. Эти сцены полны невысказанного и как бы загнанного вовнутрь внешним ходом событий чувства роковой разлуки.

Как ни велика скорбь, вызванная сознанием гибели Алеши, скорбь эта просветляет. Ибо «Баллада», воплощающая «красоту человечества», звучит сейчас для советских людей, поднявшихся в наше время на новую ступень духовного идейного развития и исправивших допущенные ранее ошибки и несправедливости, как могучее требование становиться лучше и чище. И это требование связано со всей нашей общественной практикой, с трудом советских людей во всей повседневности.

Наблюдая советскую действительность, Кёппен не увидел, как много духовных и физических сил наши люди вкладывали и вкладывают в борьбу за построение новой жизни, какого накала и напряжения достигает энергия советского человека в творческом труде.

Именно потому наши литература и искусство в некоторых мощных своих творениях так многообразно воплощают многогранную поэтичность нашей жизни, что в них выступает и «трагическая прелесть», если использовать слова Горького.

А вот в тех произведениях литературы ФРГ, на которых мы останавливались выше, драматизм никогда не дорастает до подлинного трагизма. И это не случайно. Ибо не только ни один из героев Кёппена, Бёля, Рихтера не способен на трагическую борьбу, но в их произведениях чувства возмущения, обличения, протеста вообще не достигают трагической высоты. И в этом слабая и опасная сторона такого драматизма, способного, если только он станет привычным состоянием, обмелеть и потерять внутреннюю значительность. И от этого не спасет ни мастерство калейдоскопического обозрения жизни, ни выразительность деталей, ни острота иронических зарисовок.

Общественная борьба, в которой писателям ФРГ приходится, в тех или иных формах, участвовать, неизбежно будет обостряться. Л. Франк поступил в высшей степени прозорливо, еще в «Учениках Иисуса» подняв свой предостерегающий голос и показав рядом с учениками Иисуса ту молодежь, в которой гитлеровцы видят свою смену. Именно у Франка трагическая сторона действительности Западной Германии выступает — особенно благодаря образу Руфи — с большой силой.

В этой все обостряющейся борьбе на стороне передовых общественных сил могут принять участие и такие писатели ФРГ, как Рихтер, Бёль, Кёппен.

Это предположение обосновано как внутренним взволнованным и ищущим выхода драматизмом их творчества, так и органически связанными с этими поисками существенными изменениями их художественного метода.

Если, например, сопоставить «Теплицу» и «Смерть в Риме» Кёппена, «Хлеб ранних лет» и «Партию в биллиард в половине десятого» Бёля, то нетрудно определить характер этих изменений.

Для модернизма типичны представление о мире как хаосе, неверие в человека, отказ от целостности человеческого характера, не-

редко распад мира и человека в хаотически-субъективистском восприятии действительности, в захлестывающем объективные черты и явления жизни «потоке сознания». Очевидна неизбежность глубокого пессимизма, связанного с такой концепцией. Между тем именно эта концепция характерна и для «Теплицы» и для ряда ранних рассказов Бёля.

А вот в таких романах, как «Смерть в Риме», как «Дом без хозяина» или «Партия в биллиард в половине десятого», объективная картина действительности все больше занимает первый план художественных миров, созданных Кёппеном и Бёлем. Здесь столкновения различных субъективных «потоков сознания» помогают выяснить черты подлинной объективной действительности; все более укрепляется вера в человека, стремление направить его в будущее, в котором восторжествует лучшая жизнь. Более сильными и цельными становятся характеры. Ужас и безысходный пессимизм в той или иной степени сменяются исканиями, пусть еще полными глубочайших сомнений.

Это все еще хаос, но уже не сводимый к субъективному ощущению воспринимающего. Персонажи Кёппена и Бёля все еще как-то пассивно влекомы жизненным потоком, но здесь уже, пусть еще робко, ставится вопрос о познании мира, об активности человека.

Во всяком случае, такие писатели, как Кёппен, как Бёль, сейчас идут от модернизма к реализму, хотя путь их в этом направлении отнюдь не завершен.

Было бы, разумеется, наивно составлять для Кёппена, Рихтера, Бёля гороскопы, столь модные сейчас в ФРГ. Но путь прогрессивной немецкой литературы в будущее определяется не по звездам и не гороскопами, а поступательным развитием всего человечества и его художественного сознания, всемирно-историческим движением к социализму, как бы ни сложилась индивидуальная судьба того или иного писателя.

Дзюн Этó

МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ ЯПОНИИ

В середине 50-х годов в японской литературе четко выделилось новое направление, создателями которого явились писатели младшего поколения — молодые люди, немногим старше двадцати лет. Интересно отметить, что такое же обновление наметилось и в области критики: последние годы все бóльший авторитет завоевывает молодежь, духовный мир которой формировался в условиях современной, послевоенной действительности. К ее числу относится и Дзюн Это. Ему исполнилось всего двадцать восемь лет, но он уже завоевал известность в литературных кругах. В статьях Дзюна Это освещаются животрепещущие проблемы современной японской литературы. Особый интерес представляют работы, посвященные литературе «молодых»,— Дзюн Это выступает в них от лица тех, кто являются не только создателями, но и потребчтелями новой литературы, показывая, какое восприятие и оценку получает эта литература в умах современной японской молодежи.

Вплоть до лета 1955 года, когда никому не известный молодой писатель Синтаро Исихара опубликовал первый роман «Солнечный сезон», в японской литературе по-прежнему соблюдались традиции, уже достаточно обветшалые, унаследованные еще от довоенных времен. Это означает, что литературный мир по-прежнему представлял собой объединение людей, основанное на общей для всех его членов нерушимой вере в раз навсегда установленное понятие «литература», трактуемое в идеалистическом плане. Героем произведений обычно выступал сам автор, а содержание заключалось в описании повседневных его собственных будничных горестей и печалей. Писатели именовали себя словом «бунси», что, по объяснению некоторых, расшифровывается как «самурай, служащий литературе». Это был совершенно извращенный подход к творчеству. Однако так называемая «подлинная» литература в Японии создавалась именно этими людьми. Писателей, которые не разделяли убеждений «бунси», всех без исключения объявляли «вульгарными», а произведения их неукоснительно зачислялись в категорию «вульгарной» литературы, не имеющей ничего общего с «подлинной».

Синтаро Исихара не был похож на писателей прошлого. Он не поклонялся «литературе», не интересовался политикой. Этот молодой здоровый студент не верил ни во что, кроме своего крепкого молодого тела. Роман «Солнечный сезон» был его первым произведением. В 1956 году ему была присуждена за него премия Акутагава. Пресса подняла невероятный шум вокруг решения жюри. Казалось, она словно ждала появления нового кумира. Синтаро Исихара, провозгласивший несостоятельность установленных норм морали, игнорирующий даже законы правописания и стилистики, рису-

ющий в своей книге разгульную жизнь молодого поколения обеспеченных классов, и в особенности их беспорядочную половую жизнь,— такой человек, как никто другой, годился для роли этого кумира. Вскоре на улицах Токио появились молодые франты, подстриженные а là Синтаро, их можно было увидеть на всех курортах.

Старейший, уважаемый литератор Харуо Сато назвал роман «Солнечный сезон» «отвратительным произведением испорченного юнца». Лидер левого литературного лагеря Сигэхару Накано отозвался о романе Исихара как об «аморальной, антихудожественной книге». Однако следует признать, что этот роман так же, как и последовавшие за ним другие произведения Исихара — «Комната, где вершат самосуд», «Яхты и молодежь»,— не получили правильной оценки критики. А между тем они несомненно обладали для молодых читателей какой-то притягательной силой. Ведь молодежь живет в обстановке, не похожей на ту, в которой проходила юность их отцов. У всех еще свежа в памяти война в Корее. В атмосфере неуверенности и тревоги определенная часть юношей и девушек уповает только на собственную молодость и непосредственность чувств. «Солнечный сезон» явился своеобразным выражением этих настроений. Что же касается здоровой молодежи, критически относящейся к порядкам, господствующим в современной Японии, то этот роман, наглядно демонстрируя духовное убожество, мелкость представителей «солнечного племени», как бы помогает ей в еще большей степени утвердить правильность своего пути.

В последние годы Исихара много путешествовал, участвовал в съемке кинофильма и сам ставил фильм, написал ряд новых произведений — «Молодые звери», «Школа убийц» и другие. Похоже, что тенденции ниспровержения «всех и вся» усилились в его творчестве. Героем «Школы убийц» является «молодой, непорочный убийца», который сеет смерть во враждебно противостоящем ему обществе. Впрочем, культ «одиночества» и «полной свободы» подспудно всегда присутствовал в книгах Исихара.

В своих статьях Исихара провозглашает «неспособность литературы что-либо изменить» в обществе и призывает к ниспровержению существующего порядка с помощью «реальных действий». Все это, а также некоторые выступления Исихара в связи с конкретными событиями в жизни страны, невольно вызывают в памяти честных японских интеллигентов идеологию тех молодчиков, которые в свое время были участниками фашистских путчей. Поведение Исихара в последнее время еще более усиливает эти ассоциации...

Через два года после выхода в свет романа «Солнечный сезон», летом 1957 года, студент факультета французской литературы Токийского университета Кэндзабуро Оэ опубликовал новеллу «Высокомерие мертвецов». В отличие от Исихара, произведения Оэ были встречены горячим одобрением литературных кругов. Поклонник творчества и идей Жан-Поля Сартра, он искусно перенес в японский язык стиль Пьера Гаскара и создал свой особый эмоциональный мир, с юношеской живостью и восприимчивостью рисуя унижение, которое выпадает на долю молодежи, «запертой» в условиях колониального режима. «Мы все заперты»,— сказал Оэ, и эти слова нашли отклик в душах молодого поколения. Если почитателями романов Исихара была молодежь «улицы», то поклонниками таланта Оэ являются главным образом студенты. Это характеризует идейную устремленность творчества молодого писателя.

Вслед за «Высокомерием мертвецов» Оэ написал новеллы «Чужие ноги», «Фальшивое время», «В клетке», «Человек — жертвенный баран». Характерна новелла «В клетке». В ней рассказывается о том, как подростки заботятся о пленном негре, члене экипажа сбитого американского самолета. Внимание автора сосредоточено не столько на описании жизни японской деревни во время войны, сколько на раскрытии внутреннего мира подростка, от лица которого ведется повествование. Прекрасный лирический стиль и образность прозы Оэ произвели большое впечатление на читателей.

Наиболее значительным произведением Оэ остается, на мой взгляд, повесть «Загнанные зверьки», написанная в 1958 году. В основу сюжета положена история вражды между жителями деревни и эвакуированными из города воспитанниками исправительного дома для малолетних преступников. В этой повести Оэ показал жесто-

кость современной жизни, которая убивает чистоту юных существ, невинных, как молодые зверьки. Чтобы выстоять, молодежь ищет спасения во взаимной солидарности — такова концепция повести. Книга получила высокую оценку критики, в том числе и прогрессивной.

По удивительной иронии судьбы, машина прессы и журнализма буквально вцепилась в одаренного молодого писателя, безжалостно обрывая «листки и почки» его дарования, уничтожая свежесть и чистоту его духа. Под нажимом прессы ему приходится писать много и без разбора, нервничать, совершать эксцентрические поступки, к которым его вынуждают. Но самым роковым для него оказалось отсутствие твердого идейного курса в жизни. Под воздействием всех этих обстоятельств он создал новую повесть «Время, в которое мы живем». В этом произведении внутренний мир героя полон противоречий, стиль лишен той выразительности и гибкости, которыми отличались произведения Оэ еще каких-нибудь полгода назад. Разочаровавшись в жизни, герой помышляет о самоубийстве, но покончить с собой у него не достает мужества.

Повесть свидетельствует о том, что в творчестве Оэ, которое вначале, казалось, противостояло творчеству Синтаро Исихара, теперь тоже начали звучать мотивы «разрушения и отрицания», свойственные Исихара. Вскоре после выхода в свет «Времени, в которое мы живем» в Токио состоялась встреча молодых писателей и деятелей искусства. Выступавшие говорили о том, что настроения отчаяния, отразившиеся в книгах молодых литераторов, удивительно широко распространены среди современной японской молодежи. Это объясняется, в конечном итоге, глубокой неудовлетворенностью современной действительностью, гневом людей, чьи надежды на перемены к лучшему оказались обманутыми.

Вполне закономерно, пожалуй, что творчество молодых писателей и деятелей искусства встречает осуждение со стороны старшего поколения. Я тоже считаю, что из крика отчаяния, пронизывающего романы Исихара и Оэ, не могут родиться подлинно совершенные произведения искусства. Творческие поиски молодых зачастую носят характер бесплодно анархического отрицания. Ратуя за обновление и перемены, Исихара и Оэ на деле склоняются к уходу от действительности, к ее стихийному разрушению. А это опасный путь, ибо он, каких бы политических взглядов ни придерживалась писательская молодежь, в конечном итоге может привести ее к идеологии фашизма.

Токио

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

За экраном и на экране

«Свобода вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узко, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть средства воспользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за рубль серебром или еще дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых толкуют либералы»,— писал в одной из своих работ Николай Гаврилович Чернышевский.

Слова великого русского мыслителя и революционера не утратили и ныне, спустя столетие, своей беспощадной обличительной силы. Свободы, превозносимые апологетами буржуазного общества, для огромного большинства остаются лишь отвлеченным правом, отсутствием юридического запрещения, лицемерным и издевательским разрешением обедать на золотом сервизе. К «изящной идее», увы, далекой от жизни, сводится в этом «свободном мире» и пресловутая свобода творчества.

Одно из искусств, в котором эта истина проявляется с особой очевидностью,— кино. Если верно, что самая вероломная из цензур — дороговизна книги, то не менее верно, что в кино эта денежная цензура приобретает еще большее значение, чем в литературе. Создание художественного фильма требует огромных материальных затрат, а это, с одной стороны, с самого начала ставит режиссера в полную зависимость от продюсера, а с другой — заставляет продюсера руководствоваться прежде всего коммерческими соображениями и не позволяет ему идти на тот риск, который еще мог бы себе позволить издатель романа или сборника стихов. Вот почему свою статью, помещенную в специальном номере английского журнала **«Филмз энд филминг»,** посвященном итальянскому кино, создатель «Сладкой жизни» озаглавил: **«Горькая жизнь. О деньгах».**

С грустной иронией **Федерико Феллини** рассказывает о том, чего стоило поставить фильмы, которые потом принесли ему мировую славу. Он обращался к пятнадцати продюсерам, прежде чем нашел такого, который согласился финансировать съемки «Дороги», а продюсер, первоначально финансировавший «Сладкую жизнь», потребовал, чтобы роль Марчелло непременно играл американский актер, и так как Феллини, естественно, не согласился на это нелепое условие, ему пришлось, по его словам, потратить весь свой гонорар, чтобы расплатиться с этим шейлоком. Коммерческий успех — вот единственный или, во всяком случае, главный критерий, с которым подходят к художественным замыслам те, от кого зависит их воплощение. Им нет дела до правды жизни, до внутренней логики развития сюжета, до художественной цельности произведения. Публике понравился фильм? Так дайте его продолжение, даже если продолжать решительно нечего. Публика полюбила героя? Воскресите его,

даже если он погиб, а ваши творческие планы оставьте при себе, коль скоро они не сулят верной прибыли.

«Всякий раз, когда мой фильм пользовался успехом,— пишет Феллини,— эти люди хотели, чтобы я снова поставил тот же фильм. После «Маменькиных сынков» они хотели, чтобы я поставил что-нибудь вроде «Маменькиных сынков». Они готовы были заплатить мне за это любую цену (но когда я ставил «Маменькиных сынков», меня никто не решался поддержать). После «Дороги» я получил десятки предложений. Поставить «Манерку», как я тогда собирался? Нет, поставить «Джельсомину на велосипеде» или что угодно с Джельсоминой в заглавии. Они не понимали, что все, что я хотел сказать о Джельсомине, я уже сказал в «Дороге». Подай им Джельсомину, и все тут. Я мог бы заработать целое состояние, продав ее имя фабрикантам кукол или кондитерских изделий. Уолт Дисней даже собирался снимать мультфильм о Джельсомине. Я мог бы лет двадцать жить за счет Джельсомины!

Откуда такое пристрастие к продолжениям? Неужели у них такая убогая фантазия? Они, конечно, хотели и продолжения «Ночей Кабирии». Но я вас спрашиваю, какое здесь может быть продолжение? А теперь? Теперь они все требуют продолжения «Сладкой жизни». Они даже пытались сделать Тото героем типичной итальянской комедии дешевого пошиба. Я очень люблю Тото, но мне совершенно непонятно, почему «Сладкая жизнь» должна послужить поводом для дурацкой пародии».

Одна американская компания, рассказывает Феллини, предложила ему четверть миллиона долларов, чтобы он поставил фильм о скаковых лошадях с участием итальянской кинозвезды. Когда Феллини отказался подписать договор, американцы просто не поверили, что их лестное предложение отвергнуто по принципиальным мотивам, и решили, что избалованному режиссеру показалась мала даже такая баснословная сумма, а убедившись, что это не так, были в высшей степени удивлены. Но нас не должно удивлять это комическое удивление: в «свободном мире», где вдохновение художника свободно покупается и продается как обычный товар, принципиальность выглядит чудачеством. Феллини пишет, что победы, одержанные им в борьбе с денежной цензурой,— победы, которые и ему дались дорогой ценой,— исключения, которые лишь подтверждают правило.

«Я знаю,— пишет он,—что значит для молодого режиссера бороться с деспотизмом продюсеров. Сам я, быть может, выжил только потому, что окружил себя воображаемой стеной. Для других это не так легко. Не всем присущ мой фанатизм, и многие позволяют собой помыкать».

И все же несмотря на различные ухищрения цензуры, большое реалистическое искусство пробивает себе дорогу в Италии. Лучший пример — «Рокко и его братья» Лукино Висконти (по мотивам рассказов Дж. Тестори), бесспорно, одно из самых значительных и ярких произведений в современной итальянской кинематографии.

В своей статье **«Чудо, давшее людям крохи»,** опубликованной в том же номере журнала **«Филмз энд филминг»,** что и статья Феллини, **Висконти** говорит о том, какими идейными и художественными принципами руководствовался он, создавая этот фильм, как он пришел к осознанию той истины, которую хотел в нем выразить. «Рокко», как и «Земля дрожит», навеян так называемым «южным вопросом», пишет Висконти, одной из имеющих глубокие исторические корни важнейших проблем итальянской действительности. Это проблема экономической, социальной, политической и культурной отсталости Южной Италии, где и поныне господствуют самая неизбывная нищета и самая чудовищная феодальная эксплуатация.

Висконти далее рассказывает в статье о том, что к этой теме, которая стала главной в его творчестве, впервые привлекли его внимание романы **Верги,** крупнейшего представителя веризма — реалистического направления в итальянской литературе конца XIX — начала XX века.

«В рамках итальянского романа,— пишет Висконти,— единственными произведениями, в которых я мог почерпнуть вдохновение, когда начинал работать над моим первым фильмом, затрагивавшим, несмотря на условия фашистского режима, проблемы современной итальянской жизни, были романы Верги «Дон Джесуальдо» и «Семья Малаволья». Последний роман уже тогда привлекал меня как возможный сюжет фильма».

Висконти считает себя продолжателем, а не просто хранителем реалистической традиции в итальянском искусстве. Он пишет, что суровый опыт войны и Сопротивления не прошел для него даром и что, подобно

многим другим интеллигентам своего круга, он «начал осмыслять все проблемы Италии, будь то в сфере культуры, религии или морали, как проблемы общественного строя». Это и привело Висконти к изучению марксистской теории, которую он признает источником своей идейной и творческой зрелости.

> «Мифологическое миросозерцание, которым проникнуты романы Верги, уже не удовлетворяло меня,— пишет Висконти, как бы оглядываясь на пройденный путь.— Я испытывал настоятельную потребность выяснить, каковы исторические, экономические и социальные корни трагедии, которую переживает наш Юг. Читая Грамши, я понял истинную сущность того противоречия, которое лежит в самой основе этой трагедии и еще ждет своего разрешения. Грамши поразил меня остротой своего исторического и политического анализа, и в его работах я нашел объяснение характерных особенностей Южной Италии как следствия глубокого социального разрыва между Югом и Севером, разрыва, превратившего Юг в рынок колониального типа для господствующих классов Севера. Я нашел в работах Грамши, основателя Итальянской коммунистической партии, то, чего нет ни в одном другом исследовании, посвященном проблемам Юга: указание на реальное практическое решение этих проблем в свете общей проблемы единства нашей страны — решение, которое даст союз между рабочими Севера и крестьянами Юга в борьбе против власти аграрно-индустриального капиталистического блока».

Марксистская теория, говорит Висконти, помогла ему не поддаться обману «экономического чуда», якобы содеянного демохристианами, которые

> «утверждают, что Юг преображен, потому что там появилось еще несколько асфальтированных дорог и незначительная часть пустовавших земель поделена между крестьянами».

Режиссер подчеркивает, что все это лишь жалкие крохи, которыми нельзя накормить голодающего, что Юг по-прежнему подвергается невыносимому экономическому угнетению и что об условиях жизни, которые господствуют там, красноречиво говорит непрекращающаяся внутренняя эмиграция. Висконти далее пишет, что как раз это явление он и положил в основу сюжета своего нового фильма «Рокко и его братья», где рисует судьбу крестьянской семьи, которая, спасаясь от голода и нищеты, переселяется из родной деревни в Милан и приобщается к современной цивилизации ценой моральной гибели одного из братьев и самоотречения другого.

По словам Висконти, марксизм не только помог ему с единственно верных позиций подойти к проблеме Юга, но и оказал глубокое и в высшей степени плодотворное влияние на его художественные принципы, приведя его к той истине, что «ключ к пониманию духовных и психологических конфликтов всегда надо искать в социальной действительности». Именно в этом видит Висконти и противоположность своего творческого метода поэтике реакционного романтизма, и важнейший шаг вперед по сравнению с веризмом.

> «Можно по-разному трактовать тему личности, которая становится жертвой общества. Можно идти по антисоциальному, чисто эстетскому пути. А можно встать на путь тщательного анализа общественных условий, которые привели личность к краху. Верга не сумел встать на этот последний путь, хотя и вплотную подошел к нему...
>
> Мой фильм,— продолжает Висконти,— хотя он и посвящен психологии человеческих отношений, приводит зрителя к общественно значимым и даже к политическим выводам... Финал «Рокко» символичен и выражает мои взгляды на судьбы Южной Италии. Чиро, один из героев фильма, говорит младшему из братьев о будущем родного края, и это будущее рисуется по существу таким, как его провидит Грамши».

Так определяет сам Висконти свои творческие позиции, безусловно выходящие за рамки неореализма в узком смысле слова. Так он объясняет свой «исторический оптимизм», не имеющий ничего общего с прекраснодушием и самообманом,— оптимизм, который зиждется не на забвении трагических противоречий действительности, а на воле к их преодолению. Характеризуя свое последнее произведение, он пишет:

> «Пессимистичен ли мой фильм? Нет, он не пессимистичен, ибо мой пессимизм — это пессимизм ума, а не пессимизм воли. Когда пессимизм служит более глубокому проникновению в реальную жизнь, воля черпает в нем силу и оптимистический тонус».

Если вопреки всему тому, что происходит за экраном — вопреки цензуре официальной и неофициальной,— на экране снова и снова появляются правдивые, глубокие и волнующие произведения итальянской кинодраматургии, то мы обязаны этим художникам, разделяющим то понимание обществен-

ного назначения искусства, которое выразил Висконти в своей статье:

> «Дрожжи истории, ее горячая кровь — это гражданский пафос и общественная мысль. Это вдохновляло меня и в работе над «Рокко». Я поставил в центр своего фильма эту семью не потому, что она представляет колоритный материал, а потому, что стремлюсь не только взволновать зрителя, но и помочь ему осмыслить социальную действительность... И я убежден, что дал в «Рокко» не какой-нибудь один аспект, а целую картину, на какую не могут не отозваться все люди доброй воли, осудив то, что заслуживает осуждения, и проникнувшись надеждами и стремлениями, от которых свободный человек не может отречься».

Фашист в мученическом венце

Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Даже если бы о **Винтила Хориа** только и было известно, что с ним лобызаются франкисты, можно было бы безошибочно заключить, что это по меньшей мере темная личность. Но о Винтила Хориа известно и еще кое-что. Хотя с недавних пор он подвизается на поприще художественной литературы, известность ему принесли такие художества, за которые суд народной Румынии еще в 1946 году заочно приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Хориа начал свою карьеру как журналист и, по его собственному признанию, в свое время написал сотни статей, основные идеи которых сводились к следующему: «Не Наполеон, а Адольф Гитлер первый политический деятель нового времени, заслуживающий звания великого европейца»; «Гитлер спасет запад; новый порядок несет человечеству одни благодеяния»; «мы можем стать настоящими румынами, только порвав с демократией».

Получал ли Хориа за эти писания, помимо гонораров, вспомоществования от геббельсовского ведомства, точно не выяснено, но уж наверняка своим усердием он снискал доверие рейха. Поскольку, однако, его пророчества не сбылись, он, помолившись на портрет Антонеску, предусмотрительно бежал под крылышко Перона, как и многие другие подонки, не чувствовавшие себя в безопасности в нашем полушарии, после того как «великий европеец» отравился крысиным ядом. Но вот Винтила Хориа, видимо уловивший знакомые мотивы в западногерманской пропаганде и решивший, что уж во всяком случае он не хуже Шпейделя, оправился от испуга и напомнил миру о своем существовании написанным на французском языке романом с многозначительным названием **«Бог родился в изгнании»** в форме апокрифического дневника Овидия. И хотя в свое время Хориа писал, что «только поражение Франции в 1940 году могло возродить деградирующую французскую нацию», именно во Франции нашлись люди, которые причислили его к французским писателям. И не просто к писателям, а чуть ли не к корифеям. И не просто причислили, а увенчали лаврами. Хотя его претенциозный опус, по единодушному мнению французских литераторов от Андре Стиля до Андре Руссо, уже не говоря о политическом лице автора, к тому же отнюдь не блещет литературными достоинствами, ему была присуждена премия Гонкуров за 1960 год.

Как бы плохо ни были осведомлены члены Гонкуровской академии о заслугах Хориа перед «новым порядком», они не могли не знать, что этот фашист не «родился в изгнании», а бежал от справедливого возмездия. Чем же было вызвано их чудовищное решение? Напрашивается мысль, что Гонкуровская академия, всячески афиширующая свою аполитичность, на деле прибегла к недостойному политическому маневру, чтобы реабилитировать себя в глазах реакционеров. Именно этих реакционеров имел в виду **Андре Вюрмсер,** когда писал в **«Леттр франсез».**

> «Присуждение премии Гонкуров в 1959 году Шварц-Барту не всем пришлось по душе. Кое-кому не понравилось разоблачение расизма и напоминание о его преступлениях в книге «Последний из праведников». Не из стремления ли к гармоническому равновесию Гонкуровская академия на этот раз удостоила премии роман Хориа?»

К чести французов, они не позволили оскорблять свои национальные чувства и

сорвали этот позорный маневр, которым Гонкуровская академия, давно уже утратившая престиж, окончательно дискредитировала себя. Французская печать от **«Юманите»** до **«Пари-суар»** и **«Фигаро литтерер»** с возмущением выступила против ее решения. Хориа, пробормотав с присущей ему наглостью, что «даже святые в молодости совершали ошибки», но, не встретив даже со стороны буржуазной печати согласия признать его святым, был вынужден под давлением общественного мнения отказаться от премии, которую после этого Гонкуровская академия решила на сей раз не присуждать никому. «Sic transit gloria Horia» — так проходит слава Хориа,— перефразируя латинскую поговорку, пишет по этому поводу «Франс-обсерватер».

Отмену Гонкуровской премии надо расценивать как еще одну победу общественного мнения. Скандальная попытка использовать Гонкуровскую премию, для того чтобы поддержать фашистского преступника и врага Франции, потерпела плачевный провал.

С большим удовлетворением приняла этот провал демократическая печать многих стран.

Но история эта получила поистине удивительное и в то же время весьма логическое завершение. Как уже сказано, Хориа раскрыли свои объятия франкисты. Само по себе это, конечно, никого не может удивить — рыбак рыбака видит издалека. Но, не желая того, франкисты достигли редкого комического эффекта, не просто встав на защиту фашиста, а объявив его ни более, ни менее как «мучеником свободы». Да, да, именно так и сказано в редакционной статье мадридского еженедельника **«Эстафета литерариа».** Под знаменем «свободы» тюремщики Испании выступают не только против журналистов, опубликовавших документы, разоблачающие Хориа, но и против всех тех, кто вместе с ними осудили беспрецедентный выбор академии Гонкуров.

> «Мы до глубины души потрясены тем,— пишут мадридские «свободолюбцы»,— что перед лицом «Юманите» и всего того, что она представляет, силы, на которые во Франции историей и людьми доброй воли возложена миссия защищать западную, христианскую цивилизацию, не возмутились, а напротив, присоединились к выкормышам материализма».

В этой же статье «Эстафета литерариа», озаглавленной, кстати сказать, «Подлость жюри Гонкуров», досталось и Гонкуровской академии. Но за что? За то, что она не осмелилась настаивать на своем решении. Досталось и Франции, где, по авторитетному мнению франкистов, «дело свободы потерпело серьезный урон».

Что на все это можно сказать? Если бы смех убивал в буквальном смысле слова, редакция «Эстафета литерариа» не пережила бы своей статьи.

«Нувель критик» о проблеме «негритюда»

Что такое «негритюд»? Существует ли особое единство между произведениями, написанными африканцем, антильцем, гаитянином, мальгашем? Возможно ли создание всеобщей негро-африканской культуры, не имеющей контактов с современной европейской цивилизацией? Какие задачи стоят, какие специфические трудности возникают перед писателями неграми?

Этим и другим проблемам, связанным с развитием самобытной литературы «черного континента», посвящена статья французского литературоведа-марксиста **Моники Лафон,** опубликованная в одном из номеров журнала **«Нувель критик».** Автор статьи дает краткий обзор наиболее интересных произведений камерунских, сенегальских, мартиникских, гаитянских и других писателей негров, отмечая, однако, что нельзя всерьез говорить о единстве этих литератур на том лишь основании, что все авторы — негры. Жизнь камерунцев, описываемая Ф. Ойоно и М. Бети, не имеет ничего общего с жизнью негров в США или на Антильских островах. «Было бы, разумеется, неестественно ставить рядом представителей столь отличающихся друг от друга миров».

М. Лафон настойчиво спорит с весьма распространенной ныне концепцией единой «негро-африканской» культуры. Она не может согласиться, в частности, с сенегаль-

ским поэтом Л. Сенгором, утверждавшим, что «дух всеобщей негро-африканской цивилизации вдохновляет каждого негритянского писателя или художника... будь он из Америки или Африки».

> «Соблазнительный для негров и трагический дух так называемого «негритюда»,— пишет Лафон,— был определен как «негритянский гений и одновременно желание открыть достоинства негритянской личности»...

Эта концепция, сыгравшая в свое время известную положительную роль, содействуя росту национального самосознания и гордости, не соответствует, однако, по мнению Лафон, современной исторической обстановке, так как обращена не к будущему, а к прошлому.

> «Уже сейчас,— продолжает Лафон,— мы являемся свидетелями распространения идей мирного сосуществования, освобождения колониальных стран и роста сил мировой социалистической системы. Победоносное будущее ждет тех, кого называли «неграми»... Однако есть основания думать, что грядущее не будет знать ни белых, ни желтых, ни черных — а только людей, равных в правах».

Критикуя далее некоторые аспекты работы Второго конгресса негритянских деятелей культуры, проходившего в Риме год назад, Лафон пишет, что отдельные деятели культуры Африки, Мадагаскара и Антильских островов под влиянием церкви и капиталистической пропаганды внесли предложение создать новый блок, нечто вроде «бунда», объединяющего всех представителей негритянской интеллигенции во всем мире на базе духовной общности негритянской расы. Лафон критикует эту точку зрения.

Справедливо восставая против политики насильственной ассимиляции, проводимой колонизаторами, пишет Лафон, сторонники «негритюда», однако, совершенно напрасно утверждают, что общенегритянская культура необходима, ибо «на развалинах местных культур» может якобы родиться лишь... «нечто вроде низшей культуры».

Несостоятельность этих суждений, возражает Лафон, очевидна. Уже сейчас в борющихся за свое освобождение странах можно назвать десятки имен своеобразных талантливых художников негров, таких как Ж. С. Алексис, К. Лэй, Ф. Ойоно, М. Бети, Ж. Зобель и другие, в чьем творчестве национальные традиции обогащены влиянием мировой культуры.

Анализируя различные по стилю произведения писателей негров, Лафон совершенно правильно подчеркивает, что объединяющим началом является не какая-то негро-африканская цивилизация и не тот «темный и загадочный дух», который, по словам поэта Рабеманжара, всегда будет отличать негров, где бы они ни жили, а борьба за свободу, которую ведут их народы, и сходные условия, вытекающие из зависимого положения их стран. Иными словами, объединяющими являются не расовые признаки, а социальные факторы. Несомненно, что по мере развития национальной борьбы в народных массах растет классовое самосознание, понимание — или пока еще ощущение — единства классовых интересов трудящихся всех стран. Характерен в этом отношении приведенный в статье Моники Лафон эпизод из романа камерунского писателя Бети «Законченная миссия». Крестьяне равнодушно слушают рассказ молодого героя о том, чему его учили в лицее, о жизни Америки, но, когда речь заходит о Советском Союзе, о колхозах, толпа оживляется: «Русские удивительно похожи на нас. Если бы нашему племени дали трактор, мы бы тоже смогли неплохо поработать... Да, это такие же люди, как мы, они любят друг друга и помогают друг другу, как мы».

Лафон отмечает, что на Первом и Втором конгрессах негритянских писателей и художников те из них, кто мыслят материалистически (пусть стихийно материалистически), выступили против идеалистической теории «негритюда».

> «Мы никогда не будем сторонниками узкого сепаратизма, разделившего мир на расы и антагонистические категории»,—

заявил **С. Алексис,** представлявший гаитянскую интеллигенцию. Его поддержал американец Р. Райт. А в романе сенегальца Сембена Усмана «Страна моя, прекрасный мой народ» утверждается та же мысль о возможности установления связи и взаимопонимания между представителями двух разных цивилизаций. Характерно, что герой этого романа, направленного против грабительской политики колонизаторов, вместе с тем осуждает своих братьев по расе за их кастовую замкнутость и религиозно-национальные предрассудки. Лафон подчеркивает, что

Усман не пишет о ненависти к белым *вообще*, это чувство ему совершенно чуждо.

Абстрактно-мистическим теориям расового единства самые авторитетные общественные деятели и литераторы Африки противопоставляют программу активного участия писателей в национально-освободительной борьбе.

В своем послании Второму конгрессу деятелей негритянской культуры президент Гвинейской республики Секу Туре призвал художников стать «частью народной энергии, целиком мобилизованной для освобождения».

Резолюции этого конгресса, подчеркивающие ответственность писателей перед своими народами, показывают, что большинство деятелей негритянской культуры разделяют эту точку зрения.

Разговор о поэзии

Лживая реакционная пропаганда неизменно изображает коммунистов как сухих и узких доктринеров, не желающих якобы ничего знать, кроме «материальных факторов» и «социальных условий», безразличных к духовному миру человека, чуждых поэзии. Но в действительности нет другой партии в мире, которая с такой любовью взращивала бы семена новой, подлинно гуманистической культуры, придавала бы такое значение вопросам искусства и литературы, окружала бы таким вниманием художников и поэтов, как партия коммунистов, о какой бы стране ни шла речь. Свидетельства этого дает повседневная деятельность коммунистических партий мира. Одно из них — проходившее недавно в Буэнос-Айресе собрание, созванное Национальной комиссией по вопросам культуры Коммунистической партии Аргентины. В нем приняли участие поэты-коммунисты и партийный актив. Журнал **«Куадернос де культура»** опубликовал подробный отчет об этом собрании.

Выступая в прениях от имени комиссии по вопросам культуры, поэт **Хуан Хельман** отметил, что ход событий требует от интеллигентов и художников, являющихся членами компартии, все более ясного понимания действительности, все более умелого применения марксистско-ленинской теории, все более существенной помощи своими произведениями делу партии и народа. Хельман подчеркнул, что собрания, подобные созванному, должны помочь поэтам-коммунистам в достижении этих целей.

> «Может показаться нелепым,— сказал он,— что поэты-коммунисты собрались здесь сегодня, чтобы дискутировать о проблемах, на первый взгляд, столь далеких от нашей бурной действительности. Однако и эти проблемы нам близки, мы и такими путями будем бороться за ниспровержение того мира, который по самому существу своему враждебен поэзии, мы и таким образом будем противопоставлять ему другой мир — мир свободы и поэзии».

Указав, что единство направления или тенденции является общим исходным пунктом для всех творческих работников — коммунистов, Хельман заметил далее, что, если, с одной стороны, враги, как правило, стремятся клеветнически изобразить это единство как предписанное партией однообразие творческого стиля, то, с другой стороны, в некоторых случаях сами писатели-коммунисты, впадая в схематизм, дают повод для такой клеветы.

В действительности, сказал он,

> «идеология не заменяет творческой работы и не предопределяет собою форм выражения или стиля, непосредственно связанных с индивидуальными способностями каждого художника. Это не означает, что творческая деятельность — чисто интуитивный или иррациональный процесс. Поэзия — это также акт познания... И ясно, что в этом процессе мировоззрение художника играет важнейшую роль. Однако было бы неправильно думать, что оно механически определяет его».

Выступление Хельмана вызвало на собрании оживленную товарищескую дискуссию. С ним не соглашался, в частности, **Карлос Альберто Брокато**, которому кажется ошибочным утверждать, что для поэтов-коммунистов возможно разнообразие стилей и эстетических концепций. Подобное разнообразие, по его мнению, может свидетельствовать лишь о том, что не все писатели-коммунисты в своем твор-

честве последовательно исходят из положений марксизма-ленинизма. Только этим и можно объяснить, полагает Брокато, появление таких произведений, как роман Маргариты Агирре «Гость», читая который трудно поверить, что он написан коммунисткой. С точки зрения Брокато, нельзя безоговорочно согласиться и с тем, что тема произведения еще не обеспечивает его литературных достоинств: в принятии этого тезиса он усматривает опасную возможность соскользнуть к отрицанию какой бы то ни было связи между качествами художественного произведения и его проблематикой. С этих позиций Брокато подверг резкой критике произведения ряда прогрессивных поэтов.

При всей ценности и справедливости некоторых критических замечаний Брокато, нетрудно видеть, что его точка зрения страдает известной упрощенностью и односторонностью. Возражая Брокато, поэт **Сантъяго Бульрих** не без оснований заметил, что воплощение передовой идеологии в поэтических формах — процесс гораздо более сложный, чем кажется его оппоненту, и что нельзя предъявлять одинаковые требования ко всем поэтам-коммунистам:

> «среди них есть такие, как Неруда,— поэты огромных перспектив, охватывающие своим мощным творчеством все человеческие конфликты, и есть поэты с более ограниченными возможностями, которые, однако, тоже стремятся эстетически отразить главные жизнеутверждающие явления в нашей действительности».

Выдающийся аргентинский поэт **Рауль Гонсалес Туньон** также горячо поддержал выдвинутое комиссией по вопросам культуры положение о том, что единство взглядов не подавляет художественной индивидуальности и не декретирует обязательного единообразия форм выражения.

> «Я думаю,— заявил Гонсалес Туньон,— что нельзя обязать поэта писать определенным стилем или в соответствии с определенными инструкциями... Мы не должны относиться с пренебрежением к формальным новшествам и к течениям, которые ими порождаются, как это делают, например, товарищи, стремящиеся вновь опорочить группу «Боэдо» (левое течение в аргентинской литературе 20-х годов), утверждая, что формы не вносят ничего нового, что новое можно искать лишь в содержании... Было бы детской наивностью игнорировать школы, которые возникли в новое время и которые внесли свой вклад в дело обогащения настоящего реализма, понимаемого не как нечто раз навсегда данное, а как нечто непрерывно развивающееся... Школы исчезают, исчезает все то, что имело преходящий характер, но от новаторства (в широком и чистом смысле слова) остается то, что было подлинным достижением, и не только остается, но и становится классическим. Остаются индивидуальности — пример Пикассо».

Слова Гонсалеса Туньона, разумеется, не следует понимать в том смысле, что все по-своему хорошо и все в равной мере правомерно — и символизм, и сюрреализм, и модернизм. Он лишь подчеркивает, что нельзя доводить критику формалистических завихрений до полного отрицания культурного наследия и безоговорочного осуждения всяких формальных исканий.

Выступив с заключительным словом, председательствовавший на собрании член центрального комитета Коммунистической партии Аргентины, главный редактор журнала «Куадернос де культура» **Эктор Агости** остановился на некоторых вопросах, затронутых в ходе дискуссии.

Касаясь проблемы «единства направления», Агости подчеркнул, что под ним надо понимать, конечно, не общий стиль, а общую идеологию:

> «Партия базируется на учении марксизма-ленинизма, и это учение включает в себя эстетику — эстетику реализма, в этом и должно состоять для нас единство направления».

Необходимо, однако, замечает Агости, уточнить характер и сущность этого реализма, который многие смешивают с «кущым натурализмом», а также выяснить его связи с так называемыми авангардистскими течениями — проблема нелегкая как с точки зрения теоретической, так и, в еще большей степени, с точки зрения практической.

> «Несомненно, что отрицательное отношение ко всем течениям так называемого новейшего искусства (Arte moderno),— сказал Агости,— сваливание их в одну кучу и наклеивание на них общей этикетки «декадентство» чревато по меньшей мере ошибкой упрощения, которое не способствует пониманию природы многих явлений культуры».

Однако вместе с тем Агости предостерегает против некритического отношения к этим авангардистским течениям, против наивного преклонения перед их формальным «новаторством».

«Иногда создается впечатление, что некоторые товарищи страдают своего рода комплексом неполноценности: им кажется, что они недостаточно передовые, что они не идут в ногу с новаторами, что, принадлежа к политическому авангарду, они не принадлежат к авангарду эстетическому... Но самое большое новаторство — это то, которое мы осуществляем благодаря нашей теории и практической деятельности и целью которого является ни больше, ни меньше как создание нового человека. Это не означает, что мы должны вести себя по-сектантски и отталкивать все, что не согласуется с марксизмом-ленинизмом, это просто значит, что нужно представлять себе подлинные масштабы проблемы».

В связи с затронутым в споре между Брокато и Туньоном вопросом об оценке творчества Рубена Дарио, прославленного латиноамериканского поэта конца XIX — начала XX века, испытавшего сильное влияние европейского модернизма, Эктор Агости подчеркивает, что критик-коммунист обязан конкретно-исторически подходить к литературному наследию.

Было бы глубоко ошибочно, говорит он, видеть в Рубене Дарио лишь поэта, воспевавшего принцесс и лебедей, и забывать при этом о другом Дарио, провозгласившем анафему Теодору Рузвельту и предсказавшем вторжение янки в Латинскую Америку, а также — и прежде всего — о Дарио, который был зачинателем движения за глубокое обновление испанской поэзии, движения, возникшего в Америке, но распространившегося и на Испанию. Было бы нелепо требовать от Дарио таких же ответов на «проклятые вопросы», которые может дать поэт-коммунист в наши дни.

С тем же конкретно-историческим мерилом, указывает Агости, надо подходить и к современным поэтическим течениям, решая вопрос о нашем отношении к ним.

«Разумеется,— отмечает он,— мы не можем встать на эклектическую позицию. Но разве можем мы игнорировать тот факт, что во многих из этих течений проявляются признаки осознания современных событий под влиянием общей ситуации, в которой далеко не последнюю роль играет пропаганда нашей партии? Когда, например, поэты группы «Поэзия Буэнос-Айреса» почувствовали необходимость сказать свое слово и обсудить недавнее вторжение в Гватемалу (так же точно, как сегодня некоторые поэты чувствуют потребность выразить свою солидарность с Кубой), разве вместо того, чтобы поддержать это движение, мы должны были насмехаться над ними? Разве они наши злейшие враги, только потому, что их стихотворения не всегда достаточно понятны? Мы как коммунисты ясно определяем наши принципы; исходя из них, мы должны поддерживать движение всех тех, кто идут в политически прогрессивном направлении,— разумеется, без эклектических уступок, но и не мешая этому процессу чрезмерными требованиями, обращенными к людям, чьи пути не во всем совпадают с нашими».

В заключение Агости отметил, что состоявшаяся дискуссия показала, с какой свободой и откровенностью могут обсуждать коммунисты насущные проблемы художественного творчества. Сам факт этой дискуссии, по его мнению, весьма значителен.

«Мы являемся,— сказал Агости,— единственной политической партией Аргентины, которая в условиях хаоса, господствующего в стране, находит силы для того, чтобы уделять внимание проблемам такого рода. Это не означает отхода от действительности, как можно было бы подумать,— наоборот, это является самым активным и трезвым вторжением в действительность, свидетельствующим о вечной молодости коммунистического учения».

Полемика

ОБ «ОПАСНЫХ» ШКОЛЬНИКАХ И ТЕНДЕНЦИОЗНЫХ КРИТИКАХ

Тринадцать лет назад я написала книгу «Мой класс». Она посвящена первым шагам молодой учительницы, ее первым радостям и тревогам. Недавно эта моя повесть была издана в США под названием «Дневник русской учительницы». Читатели, а также некоторые журналы и газеты отозвались на нее.

Передо мной рецензия Х. Френер, опубликованная в октябрьском выпуске «Book of the Month-Club News». «В деталях вымышленная, но по сути своей близкая фактической правде,— пишет рецензент,— эта книга рассказывает о переживаниях московской школьной учительницы... Учебная программа напоминает наши программы давно прошедших времен. Особое внимание обращено на то, чтобы в тетрадях писали чернилами и без клякс. Хотя сама преподавательница удовлетворена учебниками, ясно, что ее пособия недалеко ушли от тех, которыми пользовался Линкольн...»

Я оставляю в стороне поразительное замечание, будто книга проповедует «главное, чтоб писали без клякс». В повести есть глава, прямо опровергающая утверждение Х. Френер: сочинение без ошибок и безукоризненно чисто написанное сочтено учительницей и детьми плохим. Сочинение с ошибками и кляксами признано живым и хорошим.

Я никак не могу понять, что позволяет Х. Френер судить о программах нашей школы. Моя книга — не методическое пособие, на ее страницах иногда бегло упоминается тот или иной раздел программы по русскому языку («в тот день мы проходили глаголы»,— мимоходом сообщает моя героиня), но, конечно, никакой, даже относительно полной картины нет.

Однако эти «кляксы» — пустяк по сравнению с последним абзацем рецензии: «Но, боже, помоги нам, когда учительница и ее ученики, которые радуются, если у них в классе тепло и светло, овладеют более современной системой обучения! Такие учителя и орды их любознательных учеников внушают, мне кажется, больше опасений, чем все спутники, запущенные русскими в небо. Справятся ли с ними американские учителя и американские дети?»

Мне кажется, что если опасность и существует (а она конечно существует), то именно в распространении столь диких взглядов и представлений! Почему любознательность советских школьников способна внушить опасение? Почему можно позволить себе называть их «ордой»? И не верх ли цинизма — полупрезрительно говорить о том, что русские дети радовались, когда у них в классе было тепло и светло? Напомню: действие моей книги происходит в первый послевоенный год. К счастью, Америка не знает сметенных с лица земли деревень и разрушенных зданий, но нашим союзникам все-таки не стоило бы забывать о том, как велики были потери, понесенные Россией, и да! — наши дети радовались возвращению тепла и света...

Иногда, читая подобного рода американскую критику, я думаю, что дело здесь даже не только в незнании нашей жизни, а в тенденции, в отсутствии объективности,

в глубокой, нерассуждающей недоброжелательности — словом, в той предубежденной пропаганде, которая ничего общего не имеет с правдой, ни даже со стремлением к правде.

Вот передо мной еще одна рецензия — она напечатана в «Сэтердей ревью»... Автор статьи Мириам Гольдберг начинает свой разговор о книге с упрека. «Самое сходство обстановки советской школы с американской,— пишет она,— заставляет американского читателя отнестись несколько скептически к неизменному «хэппи-энду», который завершает каждый инцидент «Дневника». Ни одной неудачи. Из каждой проблемы — будь то кража или тщеславие, лень или озорство — есть выход. Хотя учительница и ошибается и иногда путается в поисках «ключа», но она неизменно его находит... Хотелось бы, чтобы учительница хоть вскользь упомянула о тех случаях, когда «ключ» был закопан глубоко...»

Ну что ж, здесь мой критик совершенно прав. Если бы я сейчас вернулась к этой книге, я, видимо, написала бы ее иначе, потому что работа учителя действительно труднее и сложнее, чем это представляется героине моей первой повести. Я поняла это давно и в следующих книгах пыталась рассказать и о минутах отчаяния и неверия, которые посещают учителя, и о таких его питомцах, к которым он не сумел подобрать ключа.

Итак, я не стану возражать против справедливых упреков Мириам Гольдберг. Вообще я считаю, что автору с читателем, с критиком нельзя спорить по существу их собственно литературных оценок. К ним надо прислушиваться, над ними надо думать. Однако в статье, о которой идет речь, есть мысли, далеко выходящие за пределы оценок, чисто эстетических.

Я не нахожу нужным анализировать рассуждения г-жи Гольдберг по поводу «советского тоталитаризма» — ничего, кроме дежурных клише антисоциалистической пропаганды, эти рассуждения не содержат. Приведу лишь одну выдержку из заключения.

«Несмотря на все недостатки,— пишет Мириам Гольдберг,— книга представляет нам живой отчет о признанных социально-моральных целях русского образования, которые, надо признаться, есть по существу и наши цели.

Больше всего поразят американского читателя заботы о личности ребенка, неустанное стремление учителя знать, уважать, изучить каждого ребенка, находящегося в его ведении...»

В сущности, труднее всего бороться с призраками. Если бы автор статьи, вместо того чтобы повторять штампованные фразы о «тоталитаризме», дал себе труд вникнуть в основные принципы советской педагогики, он знал бы, что для советского учительства задача индивидуального, бережного подхода к ребенку всегда была первоочередной.

«Достойной нашей эпохи... задачей,— говорил замечательный советский педагог Антон Семенович Макаренко,— может быть только создание метода, который дал бы возможность каждой отдельной личности развивать свои особенности, сохранять свою индивидуальность». В своих книгах Макаренко с негодованием и отвращением говорит о тех учителях, которые стремятся всех остричь под одну гребенку, втиснуть человека в стандартный шаблон, воспитать узкую серию человеческих типов.

Несколько лет назад я пыталась послать свою повесть «Дорога в жизнь» одной американке, знающей русский язык. Но моя читательница и корреспондентка не получила этой книги: ее не пропустили через американскую границу, так как в ней... упоминалось имя Макаренко.

Если бы имя замечательного педагога не было под запретом в Америке, там, несомненно, давно знали бы, что индивидуальный подход к учащимся — один из краеугольных камней русской классической и современной нашей педагогики.

Один мой знакомый рассказывал мне, как в Норвегии — это было в начале двадцатых годов — мальчишки спрашивали его: «А правда, что русские даже у себя дома ходят в шубах и едят сырое мясо?» К сожалению, некоторые высказывания моих рецензентов построены на ничуть не меньшем заблуждении. Только относится оно к внутреннему миру наших людей. Может быть, не стоило бы и писать обо всем этом. Но, к сожалению, мне не раз приходилось сталкиваться с теми же призраками. Всего несколько лет назад в Москву приезжала из Америки миссис Мейз. Она была у меня

в гостях, когда праздновался день рождения моей младшей дочери. Вернувшись на родину, она написала нам: «Мои дочки с большим интересом и увлечением слушают мои рассказы о поездке в Москву и каждого приходящего к нам гостя встречают восклицанием: — А знаете, московские девочки празднуют день своего рождения совсем как мы! Как странно!»

Да, поистине надо очень мало знать друг о друге, чтобы удивляться тому, что советские дети празднуют день своего рождения! Поистине надо ничего не знать о России, чтоб удивляться, что наш учитель хочет учить детей добру и чести.

Все, о чем я здесь рассказала, оставило бы у меня чувство глубокой горечи, создало бы ощущение, что обращаешься к людям, которые имеют уши, но не слышат, имеют глаза, но не видят, если бы не письма американских читателей.

«Мне хочется поблагодарить Вас,— пишет о повести учительница Элизабет Х.,— за возможность заглянуть в Ваше сердце и в сердца Ваших учеников — вот что дает мне чувство близости с Вами и школьниками Вашей страны. У Вас те же задачи, что и у нас, а у нас те же, что и у Вас. Наши дети по-разному одеты, но, в сущности, все они похожи. Наши дорогие, маленькие, упрямые, умные дети, которым мы хотим и стараемся помочь в их занятиях и понимании мира».

Эти и другие такие же письма лишний раз убеждают, что у героини моей книги и у ее учеников есть двойники в Америке и любой другой стране и что сходства между людьми разных стран и национальностей гораздо больше, нежели различий.

Больше знать друг о друге — вот что необходимо, чтоб лучше друг друга понимать, только тогда возможны взаимное уважение и взаимное доверие. Если бы в Америке печатались не только книги о нас (подчас очень далекие от действительности, от нашей жизни), а наши книги, тогда невозможно было бы увидеть в двенадцатилетних русских детях будущих врагов Америки и американский критик, прочитав случайно переведенную повесть о советской школе, не восклицал бы с изумлением: больше всего нас поражают заботы советского учителя о личности ребенка.

На моей полке — книги русских, советских писателей, посвятивших свою жизнь литературе для детей.

Что такое добро? Что такое зло? Что такое дружба? Что любовь и что ненависть? Что свет, а что тьма? Обо всем этом свободно, поэтично и талантливо рассказывают книги Гайдара. Как было бы хорошо, если бы американский школьник познакомился с Борисом Голиковым и Тимуром, с Чуком и Геком. Как важно было бы знакомство с героями замечательного советского писателя Пантелеева, с книгами Житкова, Кассиля, Георгиевской. Эти писатели открывают детям мир, они стоят рядом с растущим человеком, воспитывают его характер, помогают развиться всему, что в человеке богато и причудливо, а отнюдь не пытаются всех остричь под одну гребенку. В повести «Отрочество» Георгиевской американские дети прочли бы о мальчиках-подростках, о нежности к другу, об уважении к человеку. в «Раннем восходе» Кассиля полюбили бы своего сверстника, мальчика, одаренного добрым и светлым талантом...

Одна американская учительница, которой пришлось увидеть как-то фотографии из жизни советских детей, пишет мне: «Они были настолько похожи на моих собственных ребят, что я испытала чувство горечи и сожаления о том, как иногда в наших странах не понимают и не ценят друг друга. Может быть, наши дети будут умнее нас. Я на это надеюсь».

Я тоже очень хочу на это надеяться.

Ф. Вигдорова

ЗАГЛЯНЕМ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ...

Величайшие достижения советской науки, смело овладевающей космосом, находят широкий отклик на нашей планете. О дерзновенных подвигах советских ученых, инженеров, рабочих думают, говорят, пишут во всех странах. И многие пытаются представить себе завтрашний день, новый день мира — мира, в самом полном и широком понимании этого слова. Своими выводами и размышлениями на эту тему поделятся с нашими читателями французский ученый Альбер Дюкрок, голландский писатель Тойн де Фрис и польский художник Игнацы Виц. И если выводы ученого, как всегда, являются четкими и строгими, то в размышлениях писателя и фантазиях художника читатель найдет и лирику, и юмор, и серьезные раздумья о будущем.

Альбер Дюкрок

На пороге великих открытий

ВЫВОДЫ УЧЕНОГО

Научным событием «номер один» в 1960 году был, без сомнения, блестяще проведенный запуск и возвращение на Землю второго советского космического корабля. Возвращение на Землю собак Белки и Стрелки *, совершивших полет в кабине космического корабля, означает, что проблема полета человека в космос практически решена.

Запуск второго советского космического корабля-спутника открыл чрезвычайно широкие перспективы и с точки зрения технической. Еще большее восхищение, чем сам факт возвращения спутника на Землю, вызывает высокая точность, с которой была проведена вся операция. Ученые всего мира единодушно отмечали, что траектория его спуска на Землю была рассчитана так, что она обеспечивала максимальную экономию топлива и, следовательно, позволяла увеличить за этот счет вес полезной нагрузки ракеты-носителя.

Действительно, космический корабль-спутник был выведен на сравнительно

* Автор писал эту статью, когда Чернушка и Звездочка еще не летали в космос.

низкую орбиту с непревзойденной доселе точностью.

Как только с Земли была подана команда на спуск, тормозной установке, расположенной на борту корабля-спутника, достаточно было создать импульс торможения, равный всего лишь 0,1 км/сек. На это требовалось только несколько сот килограммов дополнительного топлива, в то время как по американскому проекту «Дискавереру», предусматривающему более крутое вхождение в плотные слои атмосферы, необходимо замедление. равное 0,7 км/сек. Именно поэтому советский проект был признан «экономичным», ибо он позволил спустить в нижние слои атмосферы почти всю массу спутника.

Такой экономический эффект был немыслим без высокой точности всех расчетов. По общему мнению, на всем протяжении движения космического корабля по вторичной орбите в его траекторию вносились поправки, позволявшие ему двигаться точно по заранее рассчитанной теоретической кривой, которая должна была привести его в пункт приземления.

Таким образом, впервые в истории космических полетов мы были свидетелями настоящего «маневрирования», позволяющего лучше понять глубокий смысл, заложенный в самом понятии «космический корабль».

Запуски космических кораблей знаменовали начало нового этапа в истории астронавтики — этапа, характеризующегося возможностью «маневрировать». Действительно, само название «космический корабль» предполагает, что в качестве полезной нагрузки в обычную ракету помещается настоящий летательный аппарат со своей собственной навигационной аппаратурой и системой ориентации, с двигателем и запасом топлива, рассчитанным в зависимости от сложности маневра, и конечно, в свою очередь, со своей полезной нагрузкой.

Первым маневром космической эры явилось возвращение космического корабля на Землю. Однако это не единственный возможный вид маневра, и в самом ближайшем будущем космические корабли смогут производить различные другие маневры...

Если мы говорим сегодня о навигации в безвоздушном пространстве, то этот термин не должен вводить нас в заблуждение. Каждый маневр требует дополнительного запаса топлива, масса которого соответственно уменьшает вес полезной нагрузки на борту космической ракеты. Следовательно, прежде чем осуществлять тот или иной опыт, необходимо тщательно разработать его программу, с тем чтобы заданный дополнительный импульс был минимальным. Разумеется, в крейсерском полете летательные аппараты должны будут следовать по баллистической траектории, что не требует дополнительных затрат энергии: любой маневр в космическом пространстве будет сводиться лишь к тому, чтобы «перескочить» с одной орбиты на другую...

Надо стремиться к тому, чтобы во время полета вносить как можно меньше поправок. Это предполагает, прежде всего, чрезвычайную точность запуска. Необходимо подчеркнуть, что, создав в 1959 году устройства, обеспечивающие очень высокую точность запуска ракет, советские ученые стремились одновременно создать для своих будущих космических кораблей механизмы, которые дали бы возможность этим кораблям продолжать полет даже в самых неблагоприятных условиях.

Сейчас практически больше нет неясностей относительно траектории полета тела в районе Земли в первые часы после старта. Ибо с помощью специального механизма, регулирующего точность полета, космический корабль будет двигаться по определенной, заранее заданной баллистической траектории.

Наряду с огромным техническим успехом, ознаменовавшимся заменой вчерашних «ядер» современными космическими кораблями, 1960 год явился годом нового скачка советской науки и техники в области увеличения веса запускаемых в космос летательных аппаратов.

Специалисты справедливо считают, что только значительное увеличение полезной нагрузки ракет может открыть эру космических полетов.

Однако если теперь оставить вопрос об искусственных спутниках Земли и перейти к вопросу о преодолении земного притяжения, то нужно отметить, что с помощью сверхмощных ракет, по крайней мере тех, которые нам известны в настоящее время, можно будет запускать космические корабли весом не более 1500 килограммов. Сейчас проблема заключается в том, чтобы разработать средства, позволяющие таким кораблям весом в 1500 килограммов приблизиться к Луне, Марсу или Венере.

Известно, что астронавтика развивается в трех различных областях: запуск искусственных спутников Земли, запуск ракет на Луну и осуществление межпланетных полетов.

В первой области ученые находятся в наиболее выгодном положении: уже сегодня созданы все условия для запуска и возвращения на Землю спутников весом в четыре-пять тонн. Близость таких спутников к Земле и легкость обеспече-

ния связи с ними открывает широкие возможности для осуществления далеко идущих программ запуска обитаемых и необитаемых спутников. В области полетов на Луну и особенно на другие планеты ученые пока ограничены в своих действиях.

Первым шагом в этом направлении может быть создание искусственных спутников Луны. Для этого будет достаточно так рассчитать траекторию полета космического корабля, чтобы она прошла в нескольких стах километров от Луны. В нужный момент сработает тормозная установка, и ракета выйдет на орбиту спутника Луны.

Что касается высадки на Луне научной станции, то это исключительно сложная проблема прежде всего потому, что в целях уменьшения веса горючего торможение должно произойти в чрезвычайно короткий промежуток времени — порядка нескольких десятых долей секунды. В этом случае станция будет «падать» на Луну с высоты 30 тысяч километров, причем тормозная установка должна обладать очень высокой точностью и мощностью, чтобы на высоте 0 м. скорость падения тоже равнялась нулю.

В области осуществления полетов на другие планеты ученые, как известно, связаны со строго определенными датами.

Ближайшие десять лет сулят нам великие открытия в области астронавтики. Есть все основания полагать, что это десятилетие явится периодом самого бурного развития науки за всю историю человеческого общества!

* * *

После того, как я уже отправил эту статью в редакцию, радио оповестило мир о запуске автоматической межпланетной станции в направлении Венеры. В этой связи хочу добавить к написанному мною еще несколько слов.

Было известно, что 15 января 1961 года — наиболее благоприятная дата для того, чтобы самым «экономичным» образом запустить космический корабль в направлении Венеры. Однако в Советском Союзе это было осуществлено лишь 12 февраля. Такое «опоздание», по-видимому, объясняется следующим:

Недостаток всех элементарных работ по астронавтике состоит в предположении, что Земля и Венера вращаются вокруг Солнца в одной плоскости. В действительности плоскость движения Венеры образует с эклиптикой угол в 3°27′, а это относительно большая величина.

Таким образом при баллистическом запуске снаряда по формуле наиболее экономичной траектории он в конце полета (совершив половину оборота вокруг Солнца) неизбежно окажется в эклиптике, если только не создать тем временем составляющую скорости, направленную перпендикулярно к эклиптике, что все же предполагает сложный маневр в пути. Советские ученые предпочли ограничиться простым баллистическим запуском, но осуществить его не в тот период, когда можно дать снаряду наиболее экономичную траекторию. В этих условиях автоматическая межпланетная станция, описывая орбиту искусственной планеты, должна совершить лишь около трети оборота вокруг Солнца, чтобы достигнуть области Венеры, и становится возможным направить ее в цель, находящуюся вне эклиптики.

Эта операция была, очевидно, разработана в результате чрезвычайно сложных расчетов, невозможных без помощи электронных машин, и выход младшего брата лунника, посланца на Венеру, из сферы действия Земли потребовал величайшей точности расчетов составляющих скоростей по трем осям (касательная к орбите Земли, ось Земля—Солнце и перпендикуляр в эклиптике). Но все эти составляющие не могли быть созданы при запуске станции непосредственно с советской территории, чем и объясняется то обстоятельство, что операция была проведена в два этапа: сама станция стартовала с борта спутника после того, как он был выведен на круговую орбиту.

Сам замысел операции и необычайная точность, с которой она была осуществлена, не могли не вызвать во всем мире беспримерного восхищения.

Тойн де Фрис

По ту сторону Луны...

РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕПОСВЯЩЕННОГО

Не так давно один голландский поэт-лирик опубликовал томик стихов под странным, на первый взгляд, названием. «На темной стороне луны». Однако мысль, которую он хотел выразить, в сущности проста: нам, людям, никогда не познать, что таится за поверхностью вещей и явлений, которые мы наблюдаем. Есть и в человеческой душе темные глубины, которых нам никогда не измерить. Короче говоря, автор утверждал этим, что жизнь непознаваема.

Нет ничего удивительного в том, что поэт западной, капиталистической страны — в данном случае Голландии — рассуждает таким образом. В окружающем его обществе так много непонятного и горького, что он невольно приходит к мрачному выводу — жизнь непознаваема, а разум человеческий погружен в вечный полумрак. Нет нужды пояснять, что вскоре после опубликования этих стихов космические взгляды нашего поэта (а сам он, кстати, говоря, славный малый) были начисто опровергнуты в результате блестящих достижений советских ученых и инженеров: они запустили в межпланетное пространство космическую лабораторию, которая облетела вокруг старой, бледной, романтической Луны, весьма бесцеремонно и деловито сфотографировав со спины эту милую даму. С тех самых пор нам стало известно, что же в действительности происходит по ту сторону Луны. Вселенная, планеты, земная атмосфера и стратосфера не могут хранить своих тайн вечно. Придется им раскрыть свои загадки. Так что поэты уже не вправе считать их таинственными символами тьмы.

На мой взгляд, история этого томика стихов удачно характеризует нынешний поворотный пункт в жизни человека и общества на нашей маленькой планете...

В школе мне очень трудно давались точные науки — математика и физика; откровенно говоря, по этим предметам я не вылезал из двоек. В молодости, уже став писателем, я остался равнодушным к науке и технике. Разумеется, мне было ясно, что они приносят человеку пользу, например, не так уж плохо прокатиться в автомобиле или писать стихи при свете электрической лампы; однако в глубине души я считал, что наука — олицетворение некоего «дешевого материализма», и был уверен, что литература и творчество — единственное, ради чего стоит жить.

С тех пор мнение мое изменилось. Признаюсь, однако, что мои познания в науке и технике за это время не особенно расширились. Но я льщу себя мыслью, что мое отношение к ним стало более разумным. Порой я даже горюю, что на моем черепе не оказалось «технической шишки», ибо в наше время всего важнее созидательная деятельность человека и перестройка жизни на земле. Ученый, исследователь, изобретатель приносят человечеству куда больше пользы, чем писатель, который всего-навсего описывает то, что уже создано людьми производительного труда.

* * *

Быть социалистом, марксистом-ленинцем — значит не просто принадлежать к определенной политической партии и вместе с другими стремиться к политическим и экономическим преобразованиям. Это значит — стремиться к коренной перестройке жизни. Неизбежным результатом социалистической революции 1917 года было превращение молодого советского государства в самую современную страну с высокоразвитой наукой и техникой — притом превращение это совершилось самыми быстрыми темпами. Советский Союз прошел через множество трудностей и испытаний, понес огромные человеческие жертвы и колоссальный материальный урон, однако сумел достичь всего за несколько десятилетий грандиозного успеха в своем развитии (я делаю упор на слове «р а з в и т и е», ибо ваша страна никогда не останавливается в своем стремительном движении вперед) благодаря социалистическим, воистину ленинским жизненным принципам своих граждан. Его развитие достигло сейчас решающего этапа, который носит весьма прозаическое, сугубо деловое название — Семилетний план.

Семилетка представляет собой вызов старому, капиталистическому строю, все еще существующему в ряде крупных стран, вызов на соревнование во всех областях жизни, экономики, науки и культуры. В этом соревновании есть спортивный дух, и оно носит мирный характер, но это не просто спорт: его цель, прежде всего, заключается в том, чтобы ускорить переход миллионов людей к такой жизни, в которой не будет войн,

не будет нужды, не будет страха за завтрашний день, как сказано в Уставе Организации Объединенных Наций.

В чем же заключается та поразительная, новая особенность, которой отмечены все достижения Советского Союза?

Успехи СССР достигнуты благодаря умелому сочетанию интересов науки и жизни. В плановом социалистическом обществе наука, экономика и техника развиваются так согласованно и гармонично, что гарантируют быстрый подъем всего общества

Весьма примечательно, что капиталистическому миру, создавшему так много материальных благ и столь развитую науку, все же не удалось избавить половину рода людского от рабства, голода и нищеты — да он и не ставил это своей целью.

Уже по одной этой причине капиталистическая система должна понести в наши дни моральное и политическое поражение — она его заслужила; уже по одной этой причине наука должна еще в нашем столетии приобрести социалистический характер, то есть стать общим достоянием всех людей, всех народов, всех рас.

Это один из важнейших критериев, который может помочь нам разобраться в том что происходит «по ту сторону луны». Мы видим теперь, что советская наука отличается от буржуазной не только своим размахом, но и своим качеством. Наиболее ярким примером быстрого роста мощи советской техники служит запуск в космос снарядов нового типа: космических ракет, космических кораблей, летающих лабораторий — и все это на протяжении всего лишь нескольких лет. Весь мир был поражен, пожалуй, даже охвачен завистью, узнав о новых замечательных спутниках земли и искусственных планетах, вмещавших все больше и больше аппаратуры и оборудования, благодаря которым мы уже сейчас смогли получить представление о части окружающего нас космического пространства.

После славного 1957 года люди наконец-то поняли, что запуск космических снарядов стал возможным лишь в результате мощного и всестороннего развития в Советском Союзе науки и техники. Полет второго космического корабля в 1960 году, из которого живыми и невредимыми вернулись подопытные животные, вероятно, был страшным ударом для многих правителей Запада, отличающихся чрезмерной самонадеянностью и не способных видеть дальше своего носа. Я полагаю, что три собачки, летавшие в космос, приобрели у миллионов людей куда бо́льшую популярность, чем многие из вышеупомянутых государственных деятелей.

Вовсе не надо быть пророком — достаточно быть человеком, получавшим в школе сплошные двойки по физике и математике, — чтобы предсказать, что в ближайшем будущем советские инженеры добьются новых поразительных достижений в покорении космоса. И хотя все мы ждем сюрпризов, действительные события могут превзойти все наши ожидания и снова явиться для нас подлинной неожиданностью.

* * *

И еще в одной очень важной области, а именно в использовании атомной энергии для мирных целей, Советский Союз добился замечательных успехов — не так давно советский атомный корабль отправился во льды Арктики. Я говорю о ледоколе «Ленин». Этот шедевр научной и конструкторской мысли открывает новую главу в истории техники, убедительно доказывающую превосходство советской, социалистической науки. Мы вступаем в эпоху ядерной энергии, которая, как всякая стихия, может сыграть и разрушительную роль и созидательную.

В миролюбивых странах, в странах социализма, атомная энергия становится источником благ для великого множества людей. Это сознают решительно все. Любой человек, даже если он ровно ничего не смыслит в загадочных электронах, протонах и нейтронах, понимает, что, овладев скрытыми силами природы, люди получили неисчерпаемый источник энергии, который облегчит их труд. Даже для непосвященных, к числу которых я имею сомнительную честь принадлежать, слово «Дубна» стало символом системы сложнейших научных исследований, величайшей технической точности и решительного овладения новой могучей созидательной силой.

Покорение атомной энергии и ее использование стало насущной необходимостью как для социалистических стран, так и для капиталистических. Однако перед капиталистическими странами в связи с этим встает серьезная дилемма. Капитализм вступил в такую фазу, когда он опасается всякого резкого сдвига как в науке, так и в общественной жизни, понимая, что этот сдвиг может привести к изменению способа производства в целом Тот же самый закон, который заставляет капиталистические предприятия гнаться за максимальной прибылью, определяет характер работы атомных станций и других предприятий, использующих атомную энергию — этот новый дар Прометея. В то же время в связи с использованием нового вида энергии возникает такой вопрос: кому она принесет прибыль? Класс капиталистов,

эксплуататоров, считает вполне логичным и разумным, чтобы величайшие экономические блага, которые сулит атомная энергия, достались именно ему. Но применение атомной энергии может завести буржуазное общество в неведомые дали, для него это — «темная сторона луны», и она навсегда останется темной.

Капиталистическая экономика, насколько я ее знаю, сумеет выдержать перестройку промышленности (в связи с переходом на атомную энергию) лишь на самом первом, сравнительно спокойном ее этапе. Однако как только отрасли промышленности, работающие на атомной энергии, приобретут гигантский размах и потребуют огромных капиталовложений, частная собственность станет помехой для дальнейшего развития самого капитализма, ибо тогда всплывает второй зловещий вопрос: как сдержать гнев массы пролетариев, которые окажутся без работы и без средств к существованию?..

Применение атомной энергии, так же как автоматизация и механизация труда, представляет собой для капитализма с его монополистическим производством суровую необходимость, чреватую страшными последствиями.

Именно страшными, ибо, с одной стороны, внедрение автоматики неизбежно, а, с другой стороны, в условиях капиталистической системы оно может привести к катастрофе!

Автоматизация сулит капиталистическому обществу, так же как и социалистическому, ряд преимуществ: увеличение объема производства, улучшение качества продукции (что делает капиталиста более конкурентоспособным на мировом рынке), снижение себестоимости.

Но процесс автоматизации имеет в социалистических странах и другую сторону: он избавляет рабочего от тяжелого физического труда, обеспечивает ему больше досуга — то есть возможность пользоваться жизнью, учиться, повышать свою производственную квалификацию и расти духовно.

Именно эти блага и несет автоматизация советскому человеку. Повышается не только качество продукции, но и квалификация работника.

Однако для капиталистов это неприемлемо, в лучшем случае им требуется квалифицированный труд, но им вовсе не нужен в рабочем развитый интеллект, умение углубленно анализировать события общественной и личной жизни. Капиталисты охотно разделили бы каждого трудового человека на две половины: чисто биологическую (в механистическом понимании), которую они могли бы эксплуатировать в своих целях, и чисто человеческую, которую они могли бы полностью игнорировать. Они хотят, чтобы к вечеру, после восьми или более часов тяжкого потогонного труда, рабочий был совершенно измотан и ему хотелось бы лишь самых примитивных и дешевых развлечений, подавляющих в человеке всякое сознание, в особенности классовое.

В капиталистическом мире возникает и такая страшная проблема: что делать с армией пролетариев, которые в результате автоматизации окажутся без работы и будут предоставлены самим себе?

Капитализм может использовать автоматику лишь до определенных пределов, но вовсе не бесконечно и не беспрепятственно, как это имеет место при социализме. В Советском Союзе автоматизация проводится все шире и шире; она будет расширяться и в дальнейшем, наряду с созданием нового машинного оборудования и разработкой новых технологических процессов, которые ускорят полную победу человека над производством.

Но, пожалуй, мне лучше прекратить свои рассуждения о советской науке и ее перспективах, ибо если я стану углубляться в детали, то могу залезть в такую область, откуда настоящие специалисты поспешат меня выдворить, снова наставив мне плохих отметок.

* * *

Однажды мне оказали высокую честь, разрешив ассистировать при сборке совершенно новых удивительных «мыслящих» машин, именуемых электронными вычислителями. Мне было вполне ясно все научное и практическое значение этого «сверхбыстрого мозга», абсолютно необходимого при решении сложных математических задач, выдвигаемых современной наукой и промышленностью. Мне думается, что человечество стоит на пороге колоссальных изменений — поистине это будет второй промышленный переворот.

Признаться, меня радует эта перспектива, но в то же время несколько пугает мысль о том, что, поскольку я всего-навсего писатель, придется мне на старости лет «учиться на инженера», чтобы следить за новейшими достижениями науки... Но, кроме шуток, желание «учиться на инженера» вовсе не абстракция, а реальная возможность, во всяком случае для подрастающего поколения советских граждан.

Только люди новой формации, умеющие строить и перестраивать жизнь, могут по-настоящему властвовать над техникой и природой. Такие кадры готовятся сейчас в Советском Союзе, благодаря

мудрой перестройке школы, предусматривающей политехническое обучение как для мальчиков, так и для девочек. И это — подлинное знамение времени. Ни одной капиталистической стране это не под силу, и скоро мы увидим, что социализм превзойдет конкурирующую с ним капиталистическую систему также и в этом отношении, создав могучий резерв молодых, всесторонне подготовленных специалистов, которые сумеют обеспечить своему народу мирную жизнь, основанную на научных принципах. Пусть советские читатели извинят меня за то, что, делясь с ними своими мыслями о советской науке и технике сегодняшнего и завтрашнего дня, я то и дело провожу параллель между социалистическим обществом и капиталистическим. Такое сравнение вполне естественно для человека, который живет в условиях капиталистического строя, но сознает, что значение этого строя неизменно падает и его конкурентоспособность — тоже.

Решающее соревнование между двумя основными социальными системами на нашей планете развернулось по-настоящему, как я уже отмечал, с советского Семилетнего плана. В этом соревновании капитализм и социализм представлены, по существу, двумя мировыми державами: США и СССР. Они стоят друг против друга, словно два борца на арене, и на них взирают миллионы людей, участь которых зависит от исхода этого состязания.

Важное различие между наукой советской и наукой капиталистической состоит в том, что первая уже сейчас развивается свободно, являясь творческой силой в обществе, тогда как в США наука используется эксплуататорами, которые видят в ней всего лишь одно из средств для получения крупных прибылей.

Разумеется, в США есть много талантливых, одаренных и гуманно мыслящих людей, не согласных с таким положением дел. Однако каждый из них живет и мыслит в отрыве от других, действует в одиночку и пока еще не в силах влиять на ход развития американского общества.

Всем известно, что партия Ленина воспитала советский народ, сплотила его в подлинно монолитном единстве, спаянном общей целью, и единство это принесло свои плоды как в военное время, так и в мирное.

Капиталистическому обществу Америки не хватает внутреннего единства, создаваемого общностью цели. Но что еще хуже, многие американцы заражены пороками, жадностью и эгоизмом своего правящего класса. Инфекция эта, распространяясь на низшие слои общества, порождает преступность, гангстерство, коррупцию Ни в одной стране нет такого количества психических заболеваний, как в США; нигде нет стольких наркоманов среди молодежи и нигде детская преступность не достигла такого страшного уровня.

Разумеется, можно сказать, что все это — факторы второстепенные, не все американцы испорчены или развращены. Больше того, широкие слои народа — рабочие, фермеры, население мелких городов — к счастью, составляют здоровый костяк нации.

И все же преступность, наркомания, упадок нравов — это гнойные язвы на теле американского народа, поглощающие немало его жизненных сил.

Я упомянул о Соединенных Штатах, но то же самое относится и к другим капиталистическим странам.

Анализируя все эти явления, нельзя не задуматься о печальных последствиях развития науки для капиталистического государства, экономика которого носит монополистический характер.

* * *

После запуска первого спутника один писатель сказал мне: «Теперь я вижу, что капитализм будет уничтожен с воздуха». Я сразу его понял: он имел в виду вовсе не новые бомбы и ракеты. Мысль его заключалась в том, что спутник являет собой символ превосходства мирной науки, расцветающей в условиях социалистической системы.

Я полагаю, что в самом скором времени мы познакомимся с другими небесными телами, узнаем много нового о других планетах. Покорение космоса еще находится в зачаточной стадии. Каждому ясно, что именно «русские» обеспечат благополучное появление этого младенца на свет и превращение его в гиганта, а прочим исследователям останется лишь идти по их стопам.

Однако у Советского Союза есть не только космические ракеты, он обладает и «наземными ракетами». Неуклонный рост производства и выпуска продукции в Советском Союзе — вот те мощные батареи, от которых содрогнутся стены Уолл-стрита.

Планирование, повседневное внедрение научных открытий в экономику, а также всесторонняя техническая подготовка, которую получат все советские граждане в ближайшем будущем,— все это поможет советскому обществу освоить «темную сторону луны» как в социальном плане, так и в смысле познания глубин человеческой души. А это не может не оказать влияния на наш современный мир, который под воздействием такой благотворной и все возрастающей силы обязательно изменится к лучшему.

Игнацы Виц

Приметы будущего мира

ФАНТАЗИИ ХУДОЖНИКА

Мысли о будущих формах и границах мира — того мира, который и впрямь почувствует себя частицей космоса, используя все то, что может ему предложить сегодняшняя и завтрашняя наука, — мысли о героизме, вдохновении и стремительном движении вперед являются для меня своего рода отрывом от тех будничных и прозаических раздумий, которые столь свойственны моей натуре.

Мир будущего тревожит и волнует меня. О нем все время напоминает наш сегодняшний день, и не только сегодняшний. Мне напоминает о нем Луна — вечный небесный странник, который перестал уже быть романтическим союзником влюбленных и всерьез готовится к встрече самых первых и самых отважных покорителей космоса. Мне напоминают о нем причудливые созвездия и архипелаги планет, которые теперь перестали быть недосягаемыми, как еще совсем недавно, всего пять лет назад. Мне напоминают о нем и красный свет Марса, и мерцающие огоньки Волос Вероники, и холодный пронзительный блеск полярных звезд.

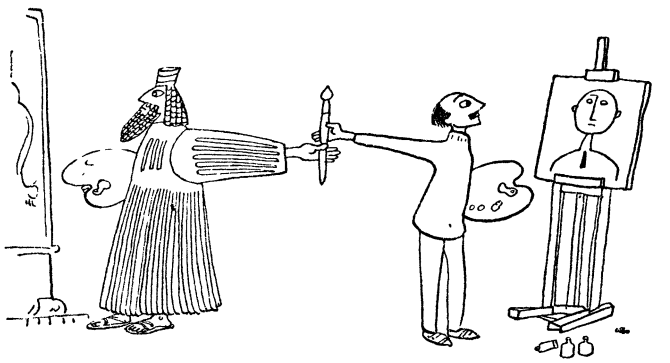
И все же не по звездам судим мы о будущем мире. Нет, не движение звезд определяет наши гороскопы. Мы ведь вовсе не маги, которые изучали движение планет и формы внутренних органов животных для того, чтобы переступить порог вечной тайны. Ничего не осталось в нас от астрологов средневековья, хотя именно со звездами мы, величайшие из рационалистов, связываем свои будущие судьбы.

О мире, каким он будет через пятьдесят или сто лет, мне постоянно напоминают наши земные дела и люди, создающие космические корабли и посылающие их в звездные странствия. Мне напоминают о нем и те, кто строят и приводят в движение атомные реакторы и циклотроны. Итак, нас заставляют думать о будущем мире, формы и границы которого, как я уже говорил, определяет современная наука и техника и машины и аппараты, удивительные по своей точности и полному подчинению воле человека. Один поворот рычага заменяет труд сотен людей! А чудесный электронный мозг, который уже не только производит сложнейшие вычисления и расчеты, но и все более приближается к тому (как это ни прискорбно!), чтобы переводить строки поэтов с одного языка на другой.

Эти мысли, набегая как волны, пробуждают мою фантазию и вызывают в моем воображении картину жизни наших потомков. И хотя картину эту я создаю сам, она меня опьяняет.

Но, думая о будущем, я всегда остаюсь человеком, чья профессия является одной из старейших в мире. В этом, собственно, нет ничего особенного, так как подобных профессий множество. Ведь и профессии врача и бухгалтера, а быть может, и редактора толстого журнала существуют испокон веков. Вся разница заключается лишь в том, что мое ремесло не привыкло пользоваться благами техники и не изменилось ни на йоту с самых незапамятных времен. Моя профессия — профессия формирования чувств и восторгов, профессия определения линией или цветом тех или иных переживаний как бы игнорируется наукой, которая отлич-

но знает, что не может ничего добавить к ее величию. Вот почему нет сегодня для людей моего ремесла никаких аппаратов и приборов, которых бы не знали уже много веков назад. Ни одного нового цвета не прибавилось и на нашей палитре. Так же, как в пещерах Альтамиры, в древней Греции, далеком Файюме, Византии, Риме, Новгороде или оазисах Сахары, рука художника вооружена самым примитивным приспособлением — пучком волос, прикрепленным к гладко оструганной палочке.

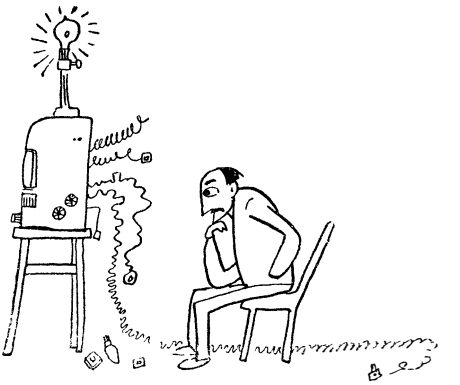


Что же принесла нам, художникам, цивилизация или наука? У писателя, например, еще имеется иллюзия технического прогресса, так как девяносто девять из ста писателей выстукивают свои произведения на пишущей машинке. Пользуясь дарами теле-, радиосвязи, это дело можно довести и до такого совершенства, что писатель будет выстукивать свой текст дома в Варшаве, а буквы станут отбиваться на чистом листе бумаги на улице Горького в Москве. Впрочем, это не будет оказывать никакого влияния ни на смысл, ни на стиль, ни даже на орфографию. Так и композитор от имени людей своей профессии может выражать благодарность цивилизации, но вовсе не потому, что открыты способы записи и передачи на расстояние голоса — ведь и нам, художникам, предоставлены средства механического воспроизведения наших картин,— а потому, что время от времени конструктор изобретает новый музыкальный инструмент, обладающий неизвестным до сих пор регистром или окраской звука. Вибрирующий, металлический голос электронных органов, резкие и хохочущие звуки саксофонов — все это, быть может, позволяет музыкантам, несколько иначе, чем художникам, верить в будущее и в собственную роль в этом будущем.

И все же самое удивительное и чудесное то, что художники и скульпторы — именно художники и скульпторы — отлично знают: и в будущей эпохе, независимо от открытия новых синтетических материалов, они будут все той же старой кисточкой (в крайнем случае — полихлорвиниловой) и стальным резцом, по которому ударяют обязательно деревянным молотком, создавать самые прекрасные произведения из тех, какие только открывались человеческому взору. Самые прекрасные потому, что они самым неизмеримым и непредвиденным образом расширят границы нашего познания и восприятия, а глаз художника откроет новый арсенал форм, новые взаимосвязи и пропорции вещей и ритмов, новые темы и новые функции произведения искусства, определяемые еще неизвестной сегодня силой воображения.

ПОЭЗИЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Я уже говорил, что думаю о приметах будущего мира, а также о том, что мысль эта, отличаясь необыкновенным упорством, стала у меня почти повседневной. Однако возникла она сравнительно недавно и как бы мимоходом, точно заметки на полях технической энциклопедии, с которой мне хочется сравнить наш век. На полях потому, что я ничего не смыслю во всей этой технике, не понимаю законов, которые управляют современной механикой. Я способен уловить ее поэзию, но законы, управляющие ею, совершенно чужды мне. Восторгаясь кибернетикой, я не умею объяснить себе всей ее сложной механики; так же обстоит дело и с проблемами ядерной физики и других родственных отраслей знаний. На меня больше воздействуют гуманитарные аспекты этих явлений или их следствия в сфере этической.

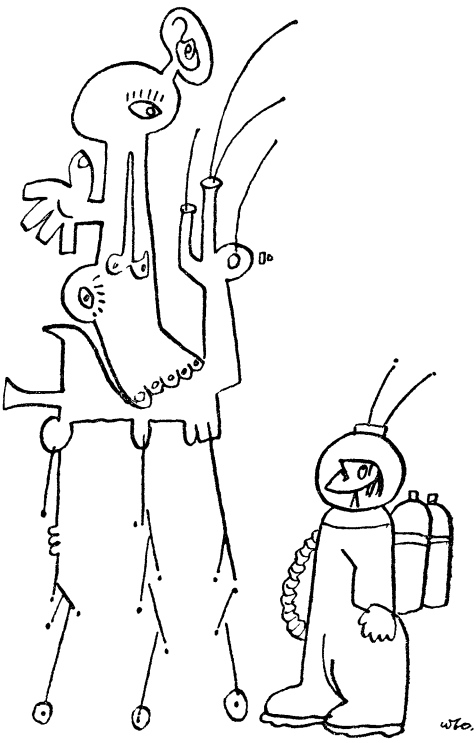


И все же независимо от этого мое воображение оплодотворяют реальные факты работы чудесных машин, так же как поистине фантастические полеты спутников и лунников, вычерчивающих великолепные эллипсы установленных человеком орбит. Точно так же пробуждают мысль художника первые корабли и ледоколы, движимые атомной энергией, и ступени ракет, отделяющиеся от корпуса по сигналу, переданному с земли, и черная магия изотопов. Да, в своем понимании техники я отстал по крайней мере на целую сотню лет (надеюсь, что в этом я вовсе не одинок), хотя связываю с ней все мои надежды и все опасения. Но при всех своих недостатках я все же имею смелость называть себя человеком XX века и даже присваивать себе право фантазировать на темы будущего — XXI столетия.

Новая поэзия, поэзия до сих пор не высказанная, будет порождением фактов — ведь дело заключается вовсе не в том, чтобы найти гладкую рифму к слову «спутник»,— поэзией межпланетных пространств, среди которых будет парить человек, поэзией новых открытий, по сравнению с которыми покажутся бледными все путешествия Магеллана, Колумба и Писарро, являющиеся не больше чем детской игрой рядом с полетом в космическом безвоздушном пространстве. Это будет поэзия познанного голубого лунного света и таких форм жизни, которые я предчувствую, но, к великому моему сожалению, совершенно не умею представить в их реальных очертаниях.

Ведь формы жизни, столь разнородные даже на нашей планете, готовят нам самые непредвиденные сопоставления, когда человек окажется на других планетах вселенной. Эти сопоставления будут особенно непредвиденными и необычными, поскольку каждый человек теоретически, хотя и без каких-либо научных оснований, представляет себе, что если где-нибудь еще существует жизнь — а существует она обязательно,— то она вовсе не должна и, возможно, даже и не может быть похожей на нашу жизнь. Открытие других измерений в рамках все той же управляющей всем гармонии — в том числе, быть может, и пресловутого «четвертого измерения» — возможно, опрокинет все новые существующие понятия, особенно же по вопросу о том, что мы видим и как мы видим. Быть может, там мы, вечные дети, найдем и сказочную шапку-невидимку, и скатерть-самобранку, и чудесные деревья, на которых растут пироги с ананасами или капустой, в зависимости от нашего вкуса.

Развитие науки, как мы это отлично знаем,—процесс бесконечный, и именно благодаря этому всегда будет жить величайшая из страстей человека — страсть познания. Результатом этой страсти может быть открытие и новых источников энергии, и новых средств питания, вплоть до посадки чудо-деревьев с их плодами-пирогами.



— Вы, наверно, творение Пикассо?
— Нет, мыслящее существо с другой планеты

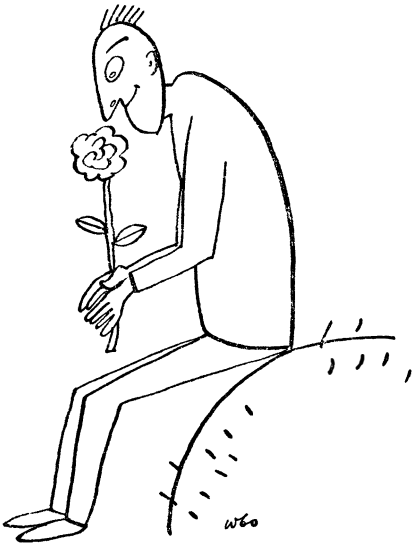
Ведь каждый мечтает о будущем по-своему, в соответствии со своими потребностями. Я, например, мечтаю о картинах, о неизвестных еще цветовых сочетаниях, другой — о полной автоматизации жизни, а третий — о пирогах. И, пожа-

луй, самое смешное, что каждое из этих желаний, с точки зрения нашей науки, является одинаково реальным.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЛАГОУХАНИЕ ЦВЕТОВ

Вы видите, я доказываю, что каждый из нас, исходя из собственных наклонностей, носит в себе образ будущего мира. И чем более развита фантазия человеческой особи, тем полнее идеи и формы ее видения будущего. Для меня оно равнозначно с эпохой, когда человечество будет окончательно освобождено, когда не будет больше классовых, национальных и религиозных различий, когда исчезнет все, что являлось причиной большинства конфликтов. Будущее для меня — это золотой век искусства и — чтобы уж все было ясно — искусства, ищущего вовсе не каких-то подпорок в развитии техники, а наиболее индивидуального, наиболее гуманного и совершенно неповторимого. Итак, оно будет чем-то напоминать письмо, адресованное самым близким людям. Это будет для искусства самая индивидуалистическая из всех индивидуалистических эпох в самой коллективной из всех коллективных форм общественной жизни.

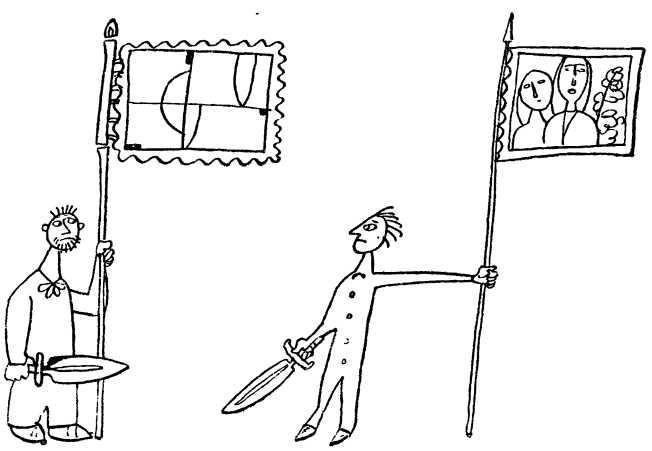
Вот почему я так уверен, что, несмотря на угрюмые пророчества некоторых скептиков, никогда не исчезнет веселое племя художников, так же как не исчезнут и поэты. Люди останутся людьми, несмотря на то, что нам, быть может, суждено познакомиться с другими, совершенно на нас не похожими разумными и интеллигентными существами, которых мы уже разыскиваем при помощи наших гигантских телескопов; раньше или позже они подадут нам знак при помощи понятных



для всех символов или значений, вернее всего математических. Люди останутся людьми, и постоянно напоминать им об этом будет искусство, так как оно глубже всего хранится в тайниках души.

Я лично не верю в это, но шутя мог бы предположить, что искусство способно поставить человечество даже перед серьезными конфликтами. Ведь чем больше в нем заложено страсти и душевного жара, тем меньше можно будет гарантировать, что по его поводу не будут вестись ожесточенные баталии, подобные войнам иконокластов с иконодулами. Как видите, это довольно грозная мысль, но высказанная лишь ради шутки.

Что же касается сферы влияния будущего «уникального» искусства, то в зародыше оно видно уже и сейчас. Сегодня, в век печатного слова, репродуцированных картин и механически записанной музыки, число художников не только не уменьшается, а растет с невиданной быстротой.



Пусть же электронный мозг сочиняет стройные сонеты, пишет музыку и добивается безошибочного распределения цветовых пятен — все это будет лишь условностью, так как подлинная правда жизни останется в области чувств человека, так же как это происходит сегодня и как это было всегда.

Быть может, именно поэтому я не люблю и не читаю столь модной сегодня «фантастики». В большинстве подобных произведений образ будущего

мира чрезвычайно сужен и лишен человечности. Фантасты рисуют его доведенным до абсолютного порядка, но пустым и холодным. Я же верю, что в наш будущий мир мы внесем с собой немного беспорядка и старых привычек, таких, например, как привычку нюхать живые цветы, а не их нейлоновые, пропитанные запахом духов заменители. Я верю, что известная толика этого беспорядка позволит нам, усыновляющим для своих нужд иные планеты вселенной, не растерять своей натуры. Я мечтаю, что нам удастся создать нечто подобное эллинским Садам академии, продолжить ее традиции и сохранить достижения нашей цивилизации. Ведь в основе ее в числе прочих лежит принцип, сформулированный еще древними греками: человек должен быть «калос кай агатос», то есть прекрасным душой и телом.

Искусство позволит нам сохранить также и то, о чем говорит, называя это поэзией, старый и мудрый (а такими обычно бывают сказочники) Корней Чуковский. Он рассказывает о том, как ребенок впервые открывает рифму и ритм, ударяя камнем о камень и вслушиваясь в тот отзвук, который приобретает для него особое значение и смысл.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ И ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

Это было в Париже осенью 1959 года. До краев наполненный живописью, я не интересовался тогда ничем, проводя целые дни в скитаниях по музеям, преодолевая километры залов Лувра, посещая выставки, галереи и галерейки. Мир красок, ошеломляющий, единственный и неповторимый, поглотил меня без остатка, поглотил настолько, что даже на чудесный Париж я смотрел сквозь какую-то особую непокорную призму. Непрерывная экскурсия, во время которой я метался от керамических львов Ассирии к «Лилиям» Клода Моне, как бы сотканным из тончайших туманов, пресыщение яркостью красок или их бесконечной нежностью требовало минут полнейшего спокойствия. В такие минуты я садился обычно на террасе какого-нибудь маленького кафе, с наслаждением отпивал небольшими глотками кофе, затягивался дымом сигарет «Голуа» и всматривался в проплывавшую перед моими глазами толпу парижан, на которую можно глазеть целыми часами хотя бы только из-за одних девушек, которые вовсе не нуждаются в моей рекламе.

В тот день я сидел на террасе кафе «Селект» в самом сердце Монпарнаса, где он сливается с бульваром Распай, в треугольнике, образованном «Ротондой» и «Кафе дю дом». Там в начале нашего века любили посидеть молодой Пикассо, молодой Аполлинер, молодой Макс Жакоб, там рисовал свои грустные и покоряющие портреты с длинными шеями и овальными лицами божественный Модильяни. Здесь происходили все крупные художественные скандалы, здесь Тристан Тзара читал свои дадаистские поэмы, здесь провозглашались сюрреалистические манифесты и здесь же, дымя своей неизменной трубкой, писал удивительные повести Илья Эренбург, а также сидели Элюар, Арагон и сотни других, кого я любил или люблю.

В конце этой улицы окруженный листвою деревьев и освещенный бликами лунного света проплывал роденовский памятник Бальзаку.

Здесь вызывал я, словно духов, тени эпохи, живописной, но сегодня уже музейной. Ко всему остальному я был равнодушен. Вот уже десять дней я совсем не читал газет, выключился из хода событий и до конца погрузился в свое созерцание. Но меня удивило вдруг, что все вокруг меня держат в руках не такие, как обычно, листы газет. На первой их странице чернел огромный снимок с белым кругом посередине.

Я купил «Франс суар». Это была фотография Луны, но Луны с другой, никогда не виденной стороны. Фотография была сделана советским лунником. Побледнели, поблекли краски моих воспо-

минаний. Разбуженная мысль направила свой полет в другую область, в область фантастики. Я проникся признательностью к людям, которые окрыляют мечту, покоряют космос и подчиняют себе материю.

Я думал об этом огромном, невероятном подвиге и его значении для будущего. Потом возвращался мыслью к тому, что произошло в мире. Я представил себе тот путь, который надо было пройти, чтобы так приблизить к нам небо. Я посмотрел на луну, она была такой же, как семнадцать лет назад, когда освещала своим мертвенным блеском заснеженные степи под Сталинградом. Мне вспомнилось, как ожидали мы ее появления, чтобы совершать наши ночные фронтовые марши. Я видел луну — нашего солдатского друга, который вел нас вперед, к родимой Висле.

Это была все та же луна, но уже и не та, так как она позволила луннику с выгравированным на его борту серпом и молотом открыть одну из основных своих тайн, которая была так долго скрыта от человека.

И ЛУНА НЕ ТА, И ЗЕМЛЯ НЕ ТА

И вот, как бы вопреки моей воле, Луна стала лейтмотивом очерка, который я пишу, вернее, не очерка, а некоторых высказываний и наблюдений. Но все же я прощаюсь с ней — моим «солдатским другом» и «бледноликим Нико» из бульварных романсов. Луна вошла теперь в разряд повседневных понятий, и ее круглый сверкающий щит символизирует сегодня новый этап процесса познания.

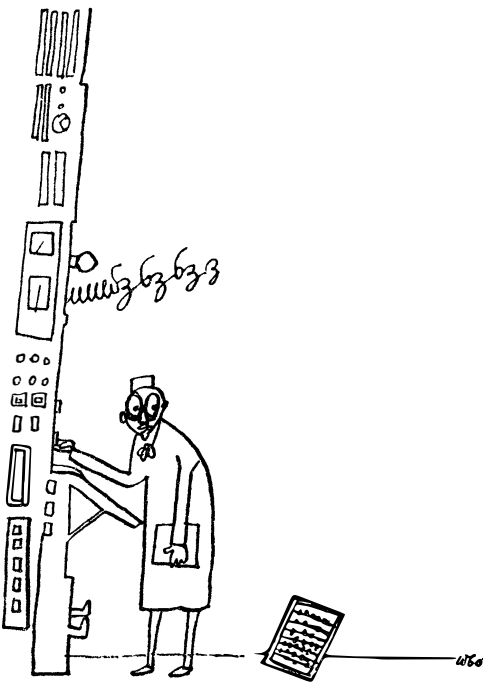
Процесс познания... Достижения науки... Победы советских ученых, срывающих одну за другой завесы непознаваемого,— все это, как я уже говорил, этапы величайшего и неизбежного общественного переустройства мира. В то же время это конкретная форма защиты от разлагающего влияния пессимизма, который присущ тем, кто не понимают революционных перспектив. Это защита от мрачного образа будущего мира. Это защита от апокалиптического видения Земли со все возрастающим числом ее жителей, которым для того, чтобы поместиться на ее континентах, придется через шестьсот лет стоять плечом к плечу, не имея возможности даже присесть. Это защита от призрака голода, полного исчерпания энергетических ресурсов и лишенной жизненных сил почвы, то есть призрака той Земли, которая будет не в состоянии прокормить разросшееся человеческое племя. Это защита от такого образа будущего мира, который мог возникнуть только в воображении людей, совершенно лишенных фантазии и веры в творческие силы человека.

Этим малодушным умам не хватает фантазии, свойственной современной науке, особенно той, которая базируется на коммунистической основе,— науке советской.

Быть может, в современных условиях это идет порой в ущерб достижению наших некоторых временных целей. Но, так же как в период первых пятилеток, в период индустриализации и электрификации необходимо было ценою огромного напряжения и серьезных жертв построить могучую промышленность, чтобы не быть побежденным, так и теперь, когда в каких-то бытовых вопросах мы немного отстаем от некоторых богатых капиталистических стран, мы сознательно и самоотверженно направляем свой труд на благо наших потомков.

Высокоразвитая система научной работы, сотрудничество науки и производства, централизация научно-технических исследований, направленных к единой цели,— все это почти неизвестно капиталистическому обществу и к тому же не может быть там осуществлено. И, как мне кажется — а я не ученый и не эко-

— Все-таки итог надо будет проверить на счетах



номист,— система «свободной конкуренции», несмотря на любые усилия, не в состоянии добиться большего. А социалистический лагерь дает гарантии осуществления нашего идеала, все более близкого каждому из нас,— создания счастливой жизни для потомков.

Современная наука строит фундамент этой будущей жизни, и для нас вовсе не безразлично, на каких научных принципах он будет покоиться.

Порой наша натура сопротивляется сознательному самоограничению ради достижения общих целей. И вовсе не из чувства противоречия, а благодаря укоренившейся на протяжении веков привычке мы предпочитаем иногда превозносить ученого, который в своем изолированном от мира кабинете, напоминающем монашескую келью, склоняет голову над абстрактными проблемами науки. Но таких ученых больше не существует. Сегодня их творческим поприщем стали огромные лаборатории и целые города науки. Одной из научных целей является мирное использование атомной энергии, той энергии, которая может либо ввергнуть мир в катастрофу, либо направить его по пути бурного развития. Итак, здесь перед нами альтернатива. Задача заключается в том, чтобы победило то, что предотвратит смерть и разрушение.

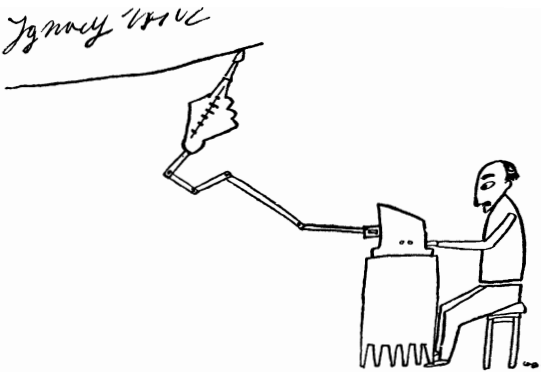
* * *

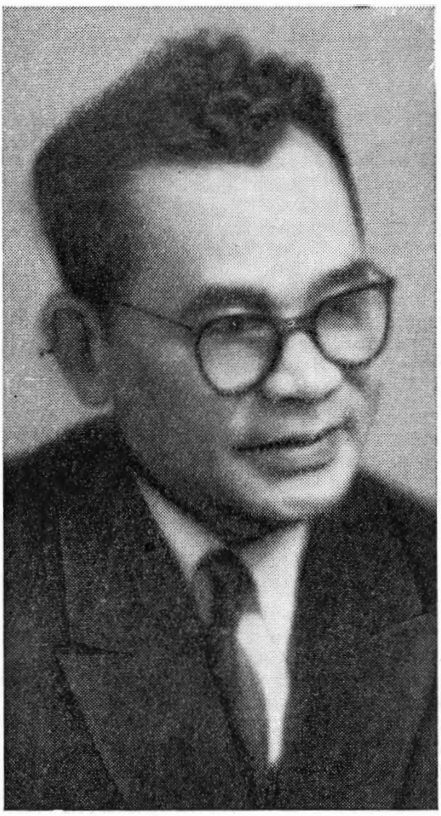
Эти странички написаны в стиле, не совсем обычном для меня. Ведь чаще всего я пишу о художниках и их картинах. А тут перемешано все: немного улыбки, немного серьезного, немного воспоминаний, надежд и неумелой литературной фантазии.

Эти странички, где перемешано все, я, признаюсь, писал с трудом. В них нет ни порядка, ни системы. Но они искренни. Вот почему, желая говорить о науке и будущем мире, я начал с искусства, как та девица, которая умеет танцевать только от печки.

Основными для меня были размышления над проблемами науки, подчиненными идеалам, над фантазией и действительностью, берущими свое начало в социалистическом понимании окружающих нас явлений.

Как ни старался я избежать излишнего пафоса, мне все же не удалось это сделать. Я не терплю сусальности и поэтому позволил себе разбавить некоторые свои лирико-публицистические пассажи юмористическими рисунками. Это, быть может, как-то дополнит то, о чем я здесь размышлял.





НАШИ ГОСТИ

НГУЕН КОНГ ХОАН РАССКАЗЫВАЕТ...

Редакцию журнала «Иностранная литература» посетил известный вьетнамский писатель, секретарь правления Союза писателей ДРВ Нгуен Конг Хоан. По нашей просьбе Нгуен Конг Хоан рассказал о важнейших событиях современной литературной жизни Вьетнама.

В 1960 году в нашей стране отмечались знаменательные даты — тридцатилетие со дня основания Партии трудящихся Вьетнама, пятнадцатилетие Демократической республики, семидесятилетие товарища Хо Ши Мина. В этом же году состоялся Третий съезд партии трудящихся. Мы подвели итоги выполнения трехлетнего плана и перешли к новому, пятилетнему экономическому плану.

Естественно, что эти события вызвали творческий подъем у писателей Вьетнама и нашли свое отражение в литературе. Юбилею нашей партии посвящен сборник «Свет весны», в котором особенно интересны произведения То Хыу, Хоанг Чунг Тхонга, Нгуен Хонга, Тхеп Моя и других. В этой же связи можно упомянуть книгу «Наш героический народ» — в ней собраны воспоминания видных деятелей партии и государства, записанные и обработанные писателями, пьесу «Член партии» драматурга Хаук Фи, сборник «Дни Августа», в который вошли рассказы и очерки, посвященные Августовской революции 1945 года.

Знаменательное явление литературной жизни страны — выход в свет книги стихов Хо Ши Мина «Тюремный дневник», которая, как я узнал, переведена на русский язык Павлом Антокольским.

Среди изданий 1960 года справедливо высокую оценку читателей и критики получили роман Дао Ву «Двор, мощенный кирпичом», повесть писательницы Ву Тхи Тхыонг «Верша» (в них рассказывается о новых процессах в жизни вьетнамской деревни), книги стихов То Хыу «С тех пор», Хюи Кана «Небо с каждым днем все светлее». Вызвали интерес и «Рассказы женщин-писательниц», и талантливые произведения молодых прозаиков Нгуен Кхая, Буй Дык Ая, и новые стихи о современности Хоанг Чунг Тхонга.

Строительство социализма и борьба за объединение страны — ведущие темы вьетнамской литературы последних лет. Многие писатели из Южного Вьетнама, живущие в настоящее время на Севере, например прозаик Доан Зиой, поэт Те Хань, также пишут о жизни демократического Вьетнама. Надо сказать, что большинство новых

книг посвящено деревне, вопросам коллективизации, тогда как созидательный труд рабочих, их быт, проблемы развития промышленности освещаются нашей литературой недостаточно. Правда, и об этом за последнее время написаны талантливые произведения молодым писателем Нгуен Нгоком, писательницей Ле Минь и некоторыми другими.

Если говорить о литературных жанрах, то мне кажется, что наибольшие успехи достигнуты нашими писателями в жанре «малой прозы», главным образом рассказа. Развивается и совершенно новая для вьетнамской литературы область — жанр кинодраматургии. Об этом свидетельствуют интересные сценарии То Хоая «Супруги А Фу» и Нгуен Хюи Тыонга «Живая изгородь».

Для развития литературы большое значение имеют различные конкурсы, периодически проводимые нашими газетами, журналами и издательствами. Так, во время конкурса, организованного газетой «Ван хаук» («Литература») жюри рассмотрело свыше 1500 рассказов, присланных из разных городов страны. Конечно, среди них было немало слабых вещей. Тем не менее нашей целью было поощрить наиболее талантливых начинающих писателей.

В стенных газетах, которые очень популярны на предприятиях, в кооперативах, в цехах, появляется много стихов, очерков, иногда представляющих в художественном отношении известный интерес. Союз писателей с большим вниманием относится к этому виду творчества. Мы следим за стенными газетами, и у нас есть намерение собрать, обработать и издать отдельными книгами лучшее из помещенного в них.

* * *

В период войны 1946—1954 годов наш народ все свои силы направлял на то, чтобы добиться победы над врагом, поэтому книгоиздательское дело почти не развивалось, отсутствовало необходимое типографское оборудование. За это время было выпущено всего 60 значительных произведений вьетнамских писателей и 19 переводных книг.

С 1955 года по май 1960 года вышло в свет 514 названий вьетнамских книг и 152 названия переводной литературы. К концу 1960 года количество книг возросло до 24 миллионов экземпляров. Уместно напомнить, что за время французского колониального господства во всем Вьетнаме было издано лишь 1270 тысяч книг.

Средний тираж художественной книги составляет сейчас 8 тысяч экземпляров, а некоторые издания выходят тиражом более чем 10 тысяч. Так, сборник стихов крупнейшего вьетнамского поэта То Хыу «С тех пор» имел тираж 60 тысяч, стихи товарища Хо Ши Мина — 460 тысяч экземпляров.

Увеличение спроса на книгу нельзя не связать с ликвидацией неграмотности в нашей стране. В годы французского господства около 95% населения страны было неграмотно. Сейчас с неграмотностью практически покончено.

Все успехи вьетнамской литературы достигнуты в результате руководства со стороны партии трудящихся. В нашей стране нет такого человека, нет такого писателя, который бы не ощущал на себе повседневной заботы партии. Отмечу, в частности, что недавно созданы курсы, на которых писатели могут изучать различные политические проблемы, философию, историю. В 1960 году в Ханое и Хайфоне были организованы творческие семинары для молодых писателей. Занятия проводили виднейшие литераторы страны.

Платформу партии в области литературы можно выразить общеизвестной формулой: искусство национальное по форме, социалистическое по содержанию. Партия способствует укреплению связей писателей с жизнью, помогает им выезжать в сельские районы, на новостройки, в воинские части, чтобы они могли своими глазами увидеть новое в жизни.

С целью повышения литературного мастерства писателей у нас систематически организуются обсуждения новинок. Партия все время призывает творческих работников развивать национальные традиции вьетнамской культуры и учиться на лучших образцах зарубежной литературы.

* * *

У нашего народа богатая литературная традиция, уходящая корнями в древность. Правда, поскольку в прошлом значительная часть народа была неграмотна, эта традиция существовала, прежде всего, как устная.

Наибольшее распространение имеют у нас своего рода частушки — казао. Они очень глубоко вошли в быт. Стихотворные казао имеют не только историко-литературную ценность. Они живут и сегодня, наполняясь новым содержанием. Так же как легенды, сказки, юмористические народные притчи, казао являются сокровищницей нашей литературы. Однако колонизаторы не обращали никакого внимания на литературное наследие народа. Образцы устного народного творчества собирались и сохранялись лишь усилиями немногочисленных энтузиастов. Нужно сказать, что писатели, пишущие на самые насущные темы современной жизни, широко используют фольклорный материал. Он обогащает, делает их произведения доступными самым широким читательским кругам, вызывает к ним живейший интерес народа. Ведь в любой деревне Вьетнама можно услышать речь крестьян, напоминающую рифмованные казао.

В начале 1960 года был создан Институт изучения литературы, который должен собирать и издавать произведения народного творчества. Очень большим достижением на пути усвоения и популяризации классической литературы является отыскание прежде неизвестных стихов поэта XIV века Нгуен Чая, написанных на вьетнамском языке.

Мы прилагаем большие усилия для перевода на современный разговорный язык классических произведений, которые были написаны иероглифами. Мы собираем также литературные произведения и не очень отдаленного прошлого, в которых звучат антифеодальные и антиколониальные мотивы, произведения, которые ранее не могли существовать в печатном виде.

Богатые традиции нашего классического театра, который при колониальном строе переживал глубокий упадок, ныне успешно возрождаются. Тексты классических пьес, передававшиеся раньше изустно от актера к актеру, теперь тщательно собираются и изучаются. На их основе создаются наиболее достоверные и интересные в художественном отношении варианты. Успех, которым пользуются такие пьесы у современного зрителя, доказывает, что они имеют отнюдь не академическое значение. Эти пьесы любимы народом, потому что в них он видит самого себя, в них он ощущает свой национальный характер.

У нас проводится также большая работа по собиранию фольклора национальных меньшинств. Сказки и легенды различных народов переводятся на вьетнамский язык, с тем чтобы они могли стать достоянием всей страны.

Благодаря политике партии, которая всемерно способствует культурному, экономическому и политическому росту трудящихся Вьетнама, эти народности добились больших успехов в различных областях. Появилась своя письменная литература; известностью пользуются стихи поэтов Нонг Куок Тяня (народность тхо), Бан Тай Доана (народность ман) и другие.

* * *

Естественно, что литература Северного и Южного Вьетнама — одна, двух вьетнамских литератур нет. Но в последние годы, когда наша страна оказалась разорванной на две части, литературы в Южном Вьетнаме как подлинной, большой литературы не существует. Мы уже отмечали, что многие талантливые представители поэзии и прозы находятся сейчас на Севере, так как режим Нго Дин Дьема—режим политического террора. Тот, кто в Южном Вьетнаме хочет творить как настоящий художник и отображать правду жизни, рискует попасть в тюрьму. Мы знаем имена многих писателей, которые в Южном Вьетнаме были вынуждены переменить профессию, чтобы иметь возможность хоть как-то прожить.

Писатели, живущие в Южном Вьетнаме, изыскивают способы передать свои произведения на Север. Мы печатаем некоторые из этих произведений, но подписываем их другими именами. Эти произведения играют заметную роль в общенациональной литературе. Назову хотя бы вышедший в Ханое «Сборник стихов Юга», целиком составленный из произведений, пересланных из-за 17-й параллели.

То, что печатается в Южном Вьетнаме, основывается на шпаргалках, которые ведомство культуры Нго Дин Дьема подсовывает писателям и редакторам. Содержание этих шпаргалок — клевета на Северный Вьетнам, злобная пропаганда, направленная против объединения страны.

* * *

Новой вьетнамской литературе пятнадцать лет. И именно в силу своей моло-

дости она должна многому учиться и перенимать опыт дружественных литератур. Писатели с большим вниманием относятся к творческому опыту прежде всего литератур социалистических стран и прогрессивных художников стран буржуазного Запада. Мы высоко ценим советскую литературу, литературу революционную, имеющую более чем сорокалетний опыт и опирающуюся на традиции русской классики, которые для нас очень важны.

Глубок наш интерес к китайской литературе, тем более что в некоторых отношениях она близка вьетнамской литературе с точки зрения художественной формы.

Я уже говорил, что за годы войны было издано всего 19 переводных произведений. В то время с большим трудом можно было наладить дело перевода и издания книг. Только после установления мира творческие связи и контакты стали расширяться. Теперь ведется большая работа по переводу и популяризации зарубежной литературы. Я назову некоторые имена писателей разных стран и эпох, произведения которых в ближайшие годы должны выйти на вьетнамском языке: Гомер, Данте, Рабле, Шекспир, Мольер, Гете, Франс, Лондон, Хемингуэй, Пушкин, Лермонтов, Алексей Толстой, Мицкевич, Тагор, Скотт, Гюго и многие другие.

У нас есть специалисты по иностранным языкам, однако художественный перевод мы осуществляем главным образом с четырех языков: китайского, русского, английского и французского. Наши специалисты-переводчики по остальным языкам сравнительно слабо владеют своим искусством, поэтому мы часто прибегаем к переводу через другой язык. Институт по изучению литературы поставил перед собой задачу с будущего года наладить выпуск журнала переводной литературы, близкого по профилю к советской «Иностранной литературе».

Наш журнал, который называется «Изучение литературы», систематически помещает статьи по различным проблемам отечественной и зарубежной литературы, в том числе советской. Недавно в журнале начала публиковаться подборка статей о принципах художественного перевода.

* * *

В заключение хочу еще раз сказать, что истекший год был годом успехов в развитии нашей литературы. Эти успехи — результат больших исторических сдвигов и перемен в жизни нашего народа, победы революции. Все наши достижения особенно видны при сопоставлении с тем униженным положением, в каком находилась литература в стране до революции и в каком она сейчас находится в Южном Вьетнаме.

До победы Августовской революции в нашей стране революционная литература существовала подпольно, и только после 1945 года она стала литературой общепризнанной. Ее судьбы и интересы тесно переплетены с судьбами и интересами нашего народа, с его борьбой, и основные этапы ее развития совпадают с этапами нашей революции.

Вьетнамская литература носит народный, реалистический характер, и она коренным образом отличается от официальной дореволюционной литературы не только по тематике, по своему отношению к жизни, но также и с точки зрения формы, стиля и языка. Мне кажется, что вьетнамский литературный язык заметно обогатился после революции. В итоге нашим писателям удается более полно и разносторонне отображать жизнь.

Главная причина успеха нашей литературы несомненно заключается в том, что партия указала ей путь сближения с народом, путь пристального изучения и правильного отображения народной жизни. Революционная действительность — неисчерпаемый источник тем для литературного творчества, а марксистско-ленинское мировоззрение освещает писателю верный путь к социалистическому реализму, который, по нашему мнению, является лучшим творческим методом.

«Дайте слово!»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Виталий Горяев

ФРЕД ЭЛЛИС

Замечательный американский художник Фред Эллис издавна привлекает внимание советских рисовальщиков. Еще в тридцатые-сороковые годы его рисунки часто публиковались в советской прессе. Часть из них экспонировалась в Москве на выставке американского изобразительного искусства в музее имени Пушкина.

Фред Эллис — яркий представитель реалистического направления в современном американском искусстве. Он называет себя карикатуристом и действительно является таковым; но его стиль изображения выходит за эти рамки. Эллис не просто художник-карикатурист, изображающий только отрицательные стороны жизни и вызывающий желание посмеяться над их уродством. Его карикатуры прежде всего драматичны и монументальны. Следуя традициям гениального Домье, он, в свою очередь, оказал в 30-х годах влияние на таких советских художников, как Аввакумов и Пророков. Черты трагически-монументального в работах Пророкова, которые переросли рамки журнального рисунка и стали плакатами-символами, безусловно родственны творчеству Фреда Эллиса.

Богатый жизненный опыт, постоянное общение с рабочим классом, ведущим напряженную борьбу с капитализмом, дали художнику огромный материал для творчества. Жизненная правда Эллиса никогда не мельчает до частного события, а каждый раз выражает большие чувства.

Борьба двух социально противоположных начал фиксируется Эллисом в тот момент, когда силы противников как бы равны и вера в победу заключается в очевидном сочувствии художника правому делу. Рисунок же адресован к читателю, чтобы он не оставался равнодушным и сам включился в борьбу.

Эллису не свойственно преуменьшать силы зла, а это и есть подлинная правда, иначе не было бы борьбы.

Рисование итальянским карандашом по грубой фактурной бумаге и модулировка сильной светотенью сообщают работам Эллиса объемность и материальность, а единственный черный цвет, из которого он извлекает широкую гамму полутонов, позволяет вносить психологичность в изображение не только через форму, но и через цвет.

Наверно, этих строк не достаточно для характеристики творчества Эллиса. Но я не берусь описывать содержание рисунков: с одной стороны, потому, что они и без того ясны, с другой — потому, что сам Эллис враг многословия там, где место предоставлено изображению.

Встреча с Эллисом в США два года назад произвела на меня большое впечатление. Пятнадцать художников, почти не зная языка друг друга и основывая свои отношения лишь на взаимной симпатии, сумели сразу подружиться. Среди них выделялся невысокий коренастый человек с седой коротко остриженной головой. Благодаря давнему знакомству с советскими художниками, он выполнял роль связующего звена. Это был Фред Эллис.

Нам захотелось познакомить советских читателей с работами этого замечательного художника. Я попросил Эллиса прислать несколько рисунков для того, чтобы показать их в Москве. Вот его ответ:

«Дорогой друг,

Посылаю Вам свои рисунки и карикатуры. Надеюсь, они подойдут для публикации в журнале «Иностранная литература».

Вы знаете, как трудно отобрать несколько рисунков из того, что сделано за многие годы. Смотришь на них, перебираешь: этот — не нравится, другой — можно было бы сделать лучше, и в то же время каждый имеет для тебя свой глубокий смысл, отмечая какой-то этап в творческом развитии.

Процесс отбора, как я уже сказал, был трудным и, возможно, выбор получился не совсем удачным Однако я думаю, что эти фотографии все же дают довольно полное представление о моей работе как графика.

Вы просили меня написать несколько слов в качестве подписей к рисункам. Я начну, пожалуй, с изложения некоторых своих мыслей о рисунке. Как-то один журналист спросил меня: «Откуда вы черпаете сюжеты для своих рисунков?» Я, не задумываясь, ответил: «Из необъятных кладовых жизненного опыта». Даже теперь, после долгих раздумий, я не могу найти более точного ответа на этот вопрос. Каждый художник имеет свои средства выражения, и, мне кажется, художник-реалист всегда должен питать свое искусство соками познания действительности...

В карикатурах я стараюсь, по возможности, избегать подписей и слов внутри рисунка, если в них нет абсолютной необходимости. На длительном опыте я убедился, что эффектнее всего те карикатуры, в которых рисунок говорит сам за себя.

Разрешите в качестве примера сослаться на один из посланных Вам рисунков, где смерть бьет в барабан войны. Этот рисунок, по-моему, не нуждается ни в каком сопроводительном тексте, который только ослабил бы силу идеи.

Что касается «необъятных кладовых жизненного опыта», то Вы, наверно, хотите знать основные сведения из моей биографии? Расскажу вкратце: родился в Чикаго 5 июля 1885 года, семьдесят пять лет назад. Родители мои были бедняками, и четырнадцати лет мне пришлось бросить школу Работал посыльным, рабочим на ковровой фабрике, грузчиком на чикагских бойнях. Время, проведенное на бойнях (1905—1908), имело колоссальное значение для моего классового воспитания Это были годы, описанные в романе Эптона Синклера «Джунгли». Мы работали по двенадцать часов в день и получали мизерную зарплату — девять долларов в неделю Рядом со мной работали поляки и чехи, и мы все вместе учились классовой и интернациональной солидарности.

В этот период я получил возможность немного поучиться рисованию, влечение к которому испытывал с раннего детства. Во время забастовки 1905 года я несколько месяцев посещал художественную школу. В 1908 году бросил работу на бойнях и поступил учеником в мастерскую, делавшую вывески. Двадцать лет рисовал вывески. Некоторое время был выборным активистом профсоюза маляров, а потом членом исполкома Чикагской федерации труда.

В начале двадцатых годов я начал рисовать карикатуры для рабочих газет, а в 1924 году, когда была создана газета «Дейли уоркер», стал ее художником-карикатуристом. Я работал в ней до последних лет, пока мне не стало трудно каждый день давать новую карикатуру.

В работе для «Дейли уоркер» у меня однажды был большой перерыв: шесть лет — с 1930 по 1936 год — я жил в Советском Союзе и рисовал для «Правды» и «Труда». Это были годы самых богатых впечатлений. Я многое узнал, общаясь с радушными советскими людьми, наблюдая, как вопреки всем трудностям закладывался прочный фундамент социализма в СССР.

С тех пор прошло четверть века За эти двадцать пять лет мне почти не приходилось встречаться с советскими художниками и видеть их работы. Поэтому можете себе представить, какое удовольствие доставила мне встреча с Вами и с Семеновым в Ваш недавний приезд в США и как я был счастлив возобновить связи с художниками страны, освещающей человечеству путь в новую эру.

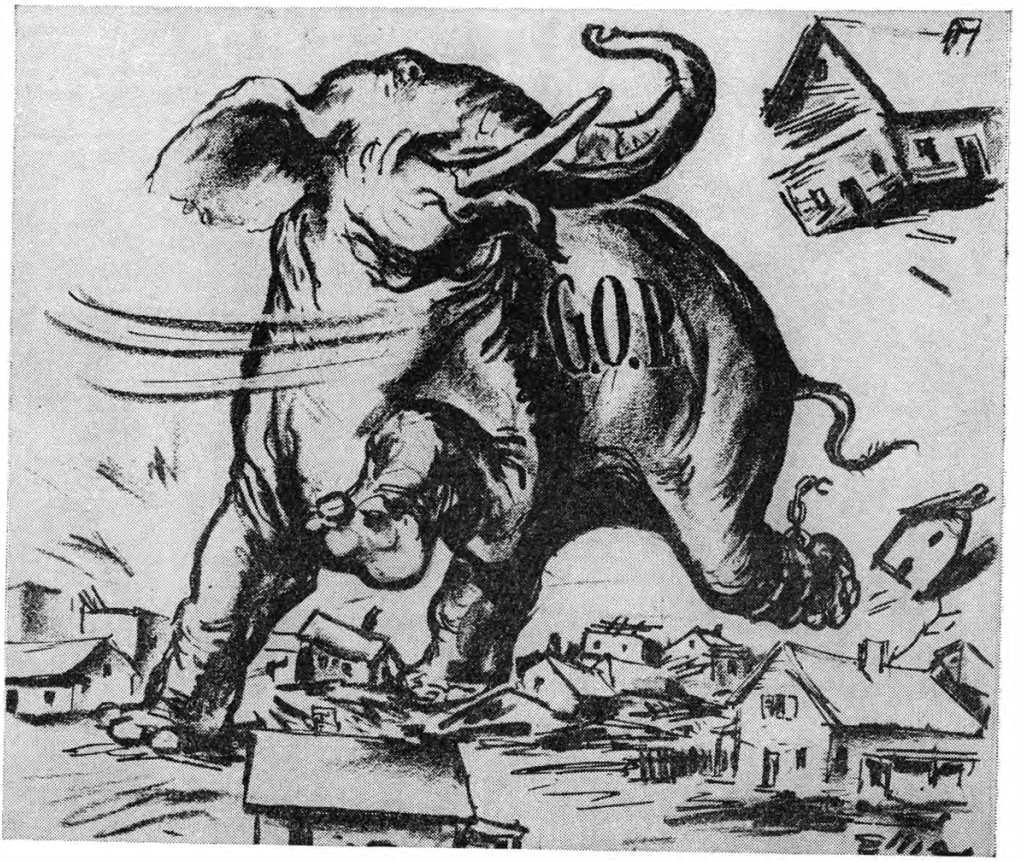
Приветствую Вас и Ваших товарищей — советских художников и заканчиваю дорогими для всех нас словами: мир и дружба.

Фред Эллис.»

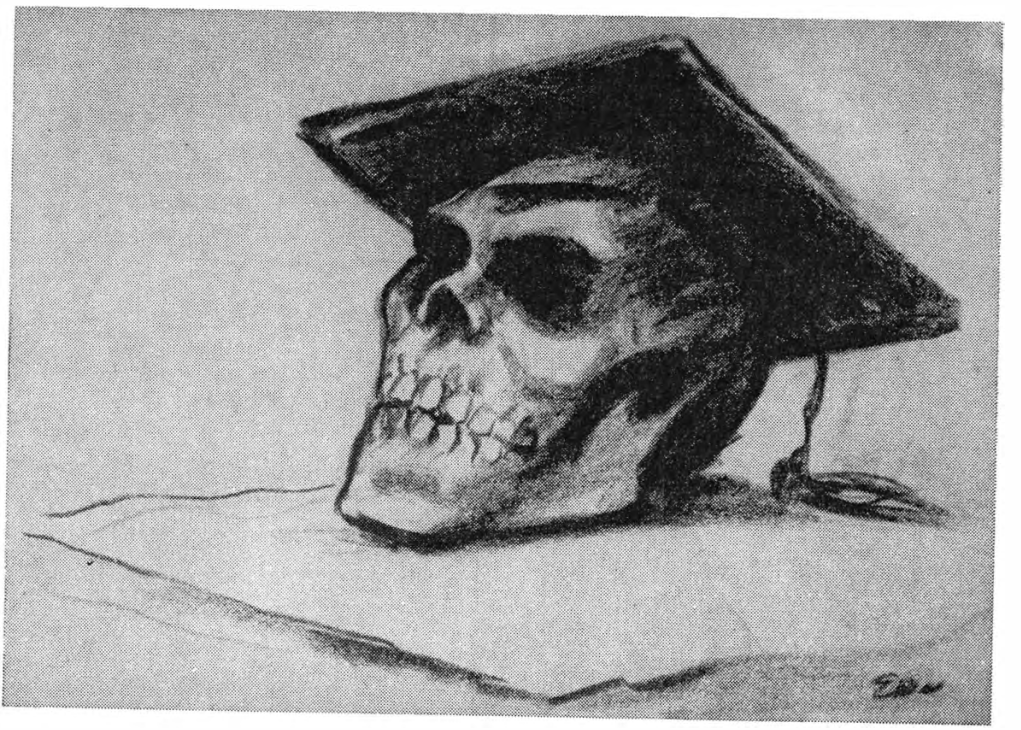
Надпись: «Антисемитские законы нацистов»

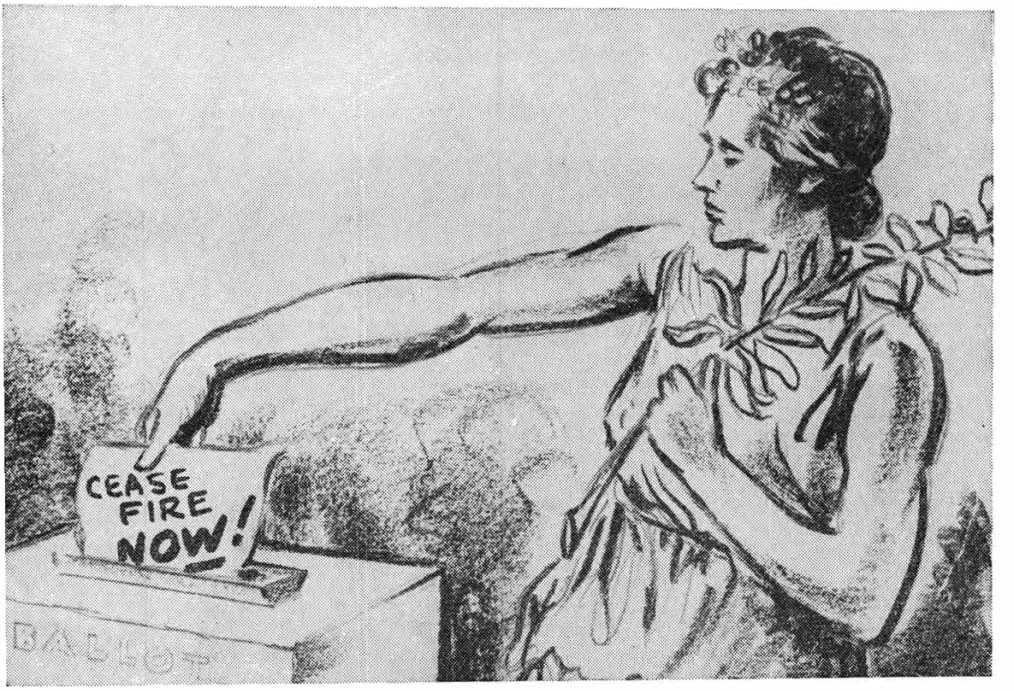
С натуры

С натуры



Слон — символ республиканской партии США





Надпись: «Немедленное прекращение огня!»

С натуры

С натуры

Издано в СССР

В огне испытаний

Юн Се Дюн. Испытание. Перевод с корейского Д. Усатова. Москва, «Молодая гвардия», 1960. 287 стр.

До недавнего времени литературная критика Корейской Народно-Демократической Республики много писала о недостаточном внимании корейских писателей-романистов к сегодняшнему творческому труду рабочих и крестьян. Роман «Испытание» в известной мере восполняет этот пробел. Книга Юн Се Дюна — одно из наиболее значительных произведений в послевоенной литературе о жизни и борьбе рабочего класса современной Кореи.

Действие романа развертывается в первые годы после заключения перемирия в Корее в 1953 году. Отгремели залпы войны, оставившей повсюду свои горькие меты. Жизнь постепенно возвращается в разрушенные города и села. Но в землянках на склонах сопок еще ютятся беженцы, еще непривычен свет фонарей, недавно поставленных на улицах города.

В гигантскую груду искареженного металла и битого кирпича превращен мощный металлургический комбинат. Восстановить мартен, наладить в кратчайший срок производство стали — такова задача, стоящая перед коллективом завода. Забывая о голоде и холоде, сутками не уходят герои романа со строительства. Но не эти трудности составляют их главное испытание. В борьбе с консерватизмом, косностью, феодальными пережитками в сознании людей — проклятым наследием колониального прошлого — мужают герои Юн Се Дюна.

В центре романа образ молодого инженера Рим Тхэ Уна, человека инициативного, мечтающего о революции в отечественной металлургии. Рим Тхэ Ун недавно окончил вуз в Советском Союзе, но ему еще не хватает практического опыта работы на производстве. Чувствуя это, кадровые сталевары, а порой и руководство завода, отмахиваются от его новаторских предложений как от прожектерских. Многое приходится пережить герою в борьбе за осуществление своих проектов: неудачи в работе, вызванные собственными ошибками, откровенно пренебрежительное отношение подчиненных, холодную отчужденность рабочих, подозрительно относящихся к внедрению новой технологии и новых норм производства.

Больше всего неприятностей и волнений Рим Тхэ Уну доставляет Ким Дэ Чун, инженер, своим происхождением и воспитанием связанный с господствовавшими классами колониальной Кореи. Разногласия этих двух людей, составляющие узловой конфликт романа, в конечном счете перерастают в столкновение двух мировоззрений, буржуазного и социалистического. Ким Дэ Чун привык к исключительности своего положения корейца, которому удалось получить высшее образование еще в период японской оккупации. Молодой талантливый специалист ненавистен ему прежде всего как опасный соперник, а творческое горе-

ние Рим Тхэ Уна ему, человеку, глубоко равнодушному к происходящим в стране переменам, непонятно. Ким Дэ Чун искусственно подогревает атмосферу недоверия к Рим Тхэ Уну и, чтобы окончательно опорочить его, идет на прямую диверсию: губит две плавки, которые тот ведет. Разоблаченный заведующей лабораторией Юн Сон Дю и рабочими завода, Ким Дэ Чун несет заслуженную кару.

В разрешении конфликта между двумя инженерами участвует много людей, кипят страсти, сталкиваются разные побуждения и интересы, идет борьба, в которой раскрываются характеры героев.

Юн Се Дюну удалось создать полнокровные образы людей новой Кореи. Не вызывает сомнений реалистическая верность характера главного положительного героя—Рим Тхэ Уна. Это правдивый портрет нашего современника, воплотившего черты своего поколения и социального круга. Как-то по-особому человечески тепло нарисован сталевар Ким Ю Сан, человек трудной жизни, работавший на заводе еще при японцах и за богатырскую силу получивший прозвище Вол. Если до освобождения Кореи Ким Ю Сан старался держать знания и опыт в секрете, то теперь, когда хозяевами завода стали рабочие, он считает долгом научить молодежь своему мастерству. Сила и жизненность нового строя, говорит писатель, в таких людях, как Ким Ю Сан и его ученик Ю Гап Сок — на наш взгляд, самый жизненный образ романа. Этот добродушный паренек с нежным, девичьим овалом лица появляется на самых трудных участках работы. Он с риском для жизни берется обезвредить неразорвавшуюся бомбу, в лютый мороз отправляется раскапывать развалины кузнечного цеха, чтобы добыть нужные детали.

Роман полон веры в добрую природу человека, в его духовную красоту. С этой точки зрения интересен образ рабочего Со Ман Дока. В прошлом он был неплохим сталеваром. Во время войны стал инвалидом — потерял руку. Некоторое время находился на территории, оккупированной врагом. Теперь Со Ман Док вернулся на завод, но не может работать так же хорошо, как прежде. Ему кажется, что руководство завода считает его «человеком с изъяном». Со временем чувство обиды перерастает в брюзгливое недовольство всем окружающим. Но стоит только врагу попробовать воспользоваться его настроением, и Со Ман Док дает решительный отпор... «Я простой корейский рабочий, человек необразованный, — говорит он Ким Дэ Чуну, пытающемуся уговорить его испортить плавку.— Вы хотите толкнуть меня на худое дело... это вам не удастся».

Другие характеры разработаны с меньшим проникновением в мир их чувств. А образ Ким Дэ Чуна, на наш взгляд, весьма близок к литературному штампу. Ким Дэ Чун существует в романе лишь как антипод положительного героя. Желая подчеркнуть достоинства Рим Тхэ Уна, автор наделил Ким Дэ Чуна сасыми разнообразными пороками: он эгоист и лжец, циник и пьяница, карьерист и трус. Не вполне логичным оказался и образ героини романа — Сон Дю. В начале книги Сон Дю — аспирантка Политехнического института, милая, обаятельная девушка. Сон Дю любит Рим Тхэ Уна. Ей неприятен ухаживающий за нею Ким Дэ Чун, но, сама не зная как, она становится его невестой. «Как утлое маленькое суденышко, несло ее по течению». Это «течение» приносит героиню на завод, где работают Рим Тхэ Ун и Ким Дэ Чун. И тут автор поручает ей разоблачать вредителей, делать то, мимо чего прошел большой коллектив.

Много неоправданного и в изображении жизни коллектива Политехнического института. Слухи и сплетни, злопыхательство и клевета — эти характерные для обывательского быта черты заслонили здесь общественное мнение.

Повествованию, особенно в первой его части, не хватает динамичности.

И все же, несмотря на отмеченные недостатки, книга производит хорошее впечатление. Роман Юн Се Дюна «Испытание» справедливо получил высокую оценку литературной критики в Корейской Народно-Демократической Республике и пользуется заслуженным успехом у читателей.

В. Иванова

Первая заповедь

Ганс Вернер Рихтер. Не убий. Роман. Перевод с немецкого И. Каринцевой и В. Станевич. Послесловие Л. Черной. Редактор В. Девекин. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 364 стр.

В этом романе нет героев По крайней мере ни один из его персонажей не вызывает чувства восхищения, благодарности, преданности. Иногда—гнев. Чаще — презрение. Еще чаще — жалость. У автора. И у читателей, особенно у тех читателей, которые в военные годы были по другую сторону фронта.

В этом романе нет и действующих лиц. По крайней мере, если понимать действие как личную активность, как попытку человека ковать свою судьбу. Щепки в водовороте, проклинающие или благословляющие события, обозначают направление истории, но никак не влияют на ее ход.

Если книга Рихтера все-таки хорошая книга, то только потому, что в ней есть неназванный герой, необозначенное действующее лицо — история.

Были долгие годы, когда в Германии заповедь «Не убий» была предана почти всеобщему забвению. Кстати говоря, как и все другие заповеди. Персонажи Рихтера, в соответствии с жизненной правдой, крадут, злословят, прелюбодействуют, убивают. В эти годы, в эпоху третьей империи, Ганс Вернер Рихтер избрал трудную позицию: на стороне истории. Это и дало ему право написать книгу такой силы отрицания, как «Не убий».

Века изменили порядковые номера заповедей в сознании людей. Сегодня «Не убий», а еще точнее — не затевай захватнических империалистических войн, стало первой заповедью на моральных скрижалях человечества.

Рихтер избрал традиционнейшую из романных форм: историю одной семьи. Братья Лоренцы — Вальтер, Герхард, Петер. Их сестра Елена. Их друг детства Юрген Шиман. Даже не семья, а только одно поколение семьи, потому что и самых старых, и самых малых Лоренцев Рихтер тщательно выводит за рамки повествования.

Но форма семейного романа — только экран, на котором демонстрируется главная тема автора — массовое распадение морали. Потому что семья Лоренцев — не семья. У Лоренцев — ничего общего, кроме происхождения. Разные, взаимовраждебные идеологии. Разные судьбы. Штурмовик Вальтер, шкурник Герхард, вялый, истерический и пассивный «нелюбитель» фашизма—Петер. Что у них общего, кроме детских воспоминаний? Не только дружественности, даже простой порядочности подчас не обнаружишь в этих родственных отношениях. Сколько клятв верности принес немецкий фашизм семье! Быть может, только отечеству он клялся чаще. И Ганс Вернер Рихтер убедительно, с унылой логичностью доказывает, как фашизм разрушает немецкую семью, впрочем, как и немецкое отечество.

Еще одна проблема, поставленная Рихтером,— о хороших людях. Точнее, о том, как поступать хорошему человеку в плохое время. Ведь подлецы — в меньшинстве. Порядочных людей куда больше — и в романе, и в Германии того времени. Почему же задают тон все-таки подлецы? Почему хорошие люди только молчат и молча подставляют головы под пули? Почему они стреляют в других хороших людей? Почему так плохо, так безнадежно плохо обстоят дела в романе?

Ганс Рихтер перечернил черное. Сквозь военный грохот он не расслышал шороха подпольных ротаторов. То, что было бы справедливо для одной несчастной семьи Лоренцев, кажется несправедливым в романе такого значения, где сквозь слово «Лоренцы» отчетливо читается слово «немцы», а семья становится псевдонимом нации.

С позиций совести нельзя замалчивать немецкое Сопротивление. Сейчас, в 1961 году, скажем, что его нельзя замалчивать и с позиций истории.

«Не убий» назвал свою книгу Рихтер. Он мог бы назвать ее и другим библеизмом: «Измерено, взвешено, осуждено». Осудив, он вынес приговор и привел его в исполнение — все герои его романа до единого не доживают до последней страницы. По этой странице движется тачка с остатками семейного скарба Лоренцев. Ее толкает старуха, мать всех этих мертвецов. Внук— единственный отпрыск Лоренцев — бежит впереди.

Мы привыкли ценить любые проявления исторического оптимизма. Так что спасибо Гансу Вернеру Рихтеру хоть за последнюю страницу.

Борис Слуцкий

Леконт де Лиль в новом переводе

Леконт де Лиль. Из четырех книг. Стихи. Перевод с французского Игоря Поступальского. Под редакцией Д. Бродского. Вступительная статья Н. И. Балашова. Москва, Гослитиздат, 1960. 215 стр.

Творчество Леконт де Лиля издавна привлекает внимание литературоведов и поэтов не только в самой Франции, но и за ее пределами. Многообразная литературная деятельность этого поэта-романтика, фурьериста, участника революции 1848 года, антибонапартиста и борца против католического мракобесия вызывала противоречивые оценки. У Леконт де Лиля были рьяные противники и горячие поклонники.

В России его переводили много, в том числе и первоклассные мастера. Однако до сих пор не появилось книги, в которой был бы показан творческий облик Леконт де Лиля, было бы раскрыто его мировоззрение и своеобразие изобразительных средств.

Этот пробел в значительной мере восполняет недав-

но вышедшая книга избранных произведений Леконт де Лиля в переводах Игоря Поступальского, которой предпослана содержательная статья Н. И. Балашова. Задача, стоявшая перед создателями книги, была не из легких. Поэтическое наследие Леконт де Лиля далеко не полностью изучено даже на родине поэта, не все его архивы должным образом исследованы.

Во Франции о Леконт де Лиле написано немало работ, в том числе и несколько капитальных трудов, существуют многочисленные высказывания французских поэтов о своем знаменитом собрате. Однако, кроме того, что в этих материалах есть противоречия и путаница, следует учесть, что буржуазная критика сделала все возможное, чтобы исказить облик выдающегося поэта, обойдя все самое живое в его творчестве: «настойчивые искания справедливого гармонического общественного устройства, негодующие обвинения варварства эпохи, беспощадное изображение ее трагизма». «В результате всего этого,— как пишет далее во вступительной статье Н. И. Балашов,— был изображен бесстрастным поэт, мучительно переживавший каждое новое национальное несчастье Франции». Исследований русских авторов, освещающих творчество Леконт де Лиля, относительно немного, хотя среди них есть очень интересные статьи А. Луначарского и В. Брюсова.

Поэтическое наследие Леконт де Лиля, в основном, сосредоточено в четырех книгах: «Античные стихотворения», «Варварские стихотворения», «Трагические стихотворения», «Последние стихотворения». В соответствии с этим работа Поступальского и делится на четыре части. Такой метод построения следует признать вполне правильным, ибо каждая книга Леконт де Лиля имеет свое лицо, свою индивидуальность. Это обязывало составителя-переводчика с особой тщательностью отбирать материал.

Из 44 произведений, образующих «Античные стихотворения», в которых Леконт де Лиль обращается к древней Элладе, видя в ней идеал гармонически развитого общества, Поступальский взял только восемь. Он сохранил двуединость книги (Леконт де Лиль ввел в нее стихотворения на древнеиндийские тексты), переведя «Сурию» и «Смерть Валмики». И все же характер этой книги, на наш взгляд, раскрыт недостаточно: уж слишком урезан ее состав. Включение таких произведений, как «Пробуждение Гелиоса» («Le Reveil d'Hèlios»), «Источник» («La source»), хотя бы нескольких стихотворений из «Анакреонтических од» («Odes anacréontiques»), извлечений из «Ниобеи» («Niobé»), сильно помогло бы нашему читателю проникнуть в сущность «Античных стихотворений». Один из лучших переводов этой части — «Гипатия». Как известно, Гипатия была ученой женщиной IV—V вв., погибшей от рук христианских фанатиков. Следуя лексике подлинника, его интонации, Поступальскому удалось передать огромный пафос автора, пафос борца, утверждающего мысль о бессмертии красоты и неугасимости духа.

«Варварские стихотворения», наиболее известная книга Леконт де Лиля,— подлинно боевое оружие против буржуазного мира, где властвует золото, против католицизма, который, как показывает поэт, есть жестокое, свирепое варварство, плохо подкрашенное лжехристианским лицемерием. Многие произведения из нее переводились на русский язык. И. Поступальский, в основном, с честью выдерживает соревнование со своими предшественниками. Из 80 с лишним стихотворений книги он перевел 33. Особо следует выделить перевод «Каина», атеистической поэмы, воссоздающей, по правильной констатации Н. Балашова, революционные идеалы, за которые поэт боролся в 1848—1849 гг. «Каин» впервые переведен на русский язык. Радует и перевод стихотворения «Слоны». Великолепный пейзаж, картина стада слонов, шествующих «не медля, не спеша, уверенно и чинно» «старейшему во след», воспроизведены с большой эмоциональной силой. Цикл «Малайские пантуны» до Поступальского переводил И. Бунин. Однако сегодня работа замечательного русского писателя вряд ли может быть причислена к жанру переводов. Это скорее стихотворение самого Бунина на тему Леконт де Лиля. Таким образом, перевод Поступальского по существу первый перевод этого интересного цикла стихотворений.

«Трагические стихотворения» (1884) и вышедшие посмертно в 1895 году «Последние стихотворения» — произведения, отражающие мучительные противоречия Леконт де Лиля последних лет жизни. Утратив перспективу в борьбе, поэт не видел путей уничтожения варварства, которое ненавидел до конца дней своих. И. Поступальский удачно отобрал и по большей части выразительно перевел произведения из этих книг.

Однако есть досадная неудача. В «Последние стихотворения» включена большая философская поэма «Успокоение богов» («La paix des dieux»). Поступальский перевел лишь последние 16 строк, не дающие представления о замысле поэта. «Успокоение богов» нужно было перевести полностью (или хотя бы в обширных извлечениях) либо не переводить вовсе.

Однако, невзирая на отдельные недостатки, книга раскрывает творческий облик Леконт де Лиля, показывает, сколь широк горизонт замечательного французского поэта, как настойчиво обращался он к разным эпохам и странам, стремясь понять смысл исторического движения человечества.

Эзра Левонтин

Он отдал сердце своему народу

Вэнь И-до. Избранное. Переводы с китайского В. Ульянова и Г. Ярославцева. Составление и предисловие В. Ульянова. Москва, Гослитиздат, 1960. 223 стр.

У большого китайского поэта Вэнь И-до (1899—1946) есть образ, который как-то по-особому звучит в его творчестве. Это образ безжалостного всадника Времени.

Всю жизнь Вэнь И-до боялся, что не сумеет, не успеет сказать людям всего. И вот уже рука наемного убийцы — агента гоминьдановской охранки — нажимает курок. Выстрел из бесшумного пистолета навсегда прерывает полный сил поэтический голос. Остаются стихи, статьи о любимой литературе, часть которых и печатается в этом сборнике.

Вэнь И-до любил жизнь. Творческое воображение населяло ее чудесными поэтическими образами. Здесь и весна — веселая певчая птица, вырвавшаяся из черной пасти зимы, и сумрак—«старый черный вол, к вечеру спускающийся с гор». Образ великого поэта древности Ли Бо, который, как гласит предание, погибает, спасая тонущую луну,— это во многом и образ самого Вэнь И-до, готового пожертвовать всем ради торжества прекрасного. Да, он замечал и грязь, и вопиющие противоречия гоминьдановского Китая, но первое время взирал на мир с высоты «башни из слоновой кости». Эти нотки слышатся и в сборнике «Мертвая вода» (1928). «Здесь лишь мерзость — от поверхности до дна,— писал тогда Вэнь И-до.— Что ж, посмотрим, что за мир создаст она!»

Но жизнь учила поэта, направляла на правильный путь. В творчество Вэнь И-до постепенно входят простые люди Китая: китаец-прачка, которому богатые американцы милостиво позволяют потеть над грязным бельем; старик, подбирающий просыпанную вишню — единственное свое достояние; не знающий отдыха рикша... Поэт скорбит об опустевших деревнях, о людях, полумертвых от голода. Доведенные до отчаяния, одни из них выходят на площади и погибают под пулями, другие идут в солдаты, чтобы расстреливать демонстрантов. Но пусть невежественный, забитый рикша еще не осознает, что трупы на мостовой — это трупы его братьев, он когда-нибудь тоже встанет в ряды борцов. «Китай принадлежит народу!» — вот слова, которые, верил поэт, прозвучат в устах победителей по всей стране.

Вэнь И-до не был коммунистом, но после нелегких поисков и сомнений он пришел к народу. Ценой жизни заплатил он за свои смелые выступления против режима Чан Кай-ши. И Китай помнит и ценит поэта.

Вэнь И-до был также литературоведом. Правда, некоторые положения его статей устарели, однако эти работы до сих пор представляют значительный интерес и помогают лучше понять не только творчество поэта, но и некоторые вопросы китайской литературы.

Переводы стихотворений, вошедших в «Избранное», хорошо передают содержание и дух оригинала, хотелось бы только иногда видеть более свободные формы стиха, более резкие ритмы, столь характерные для китайской поэзии 20-х годов, периода, когда создавал свои стихи Вэнь И-до. К сожалению, не всегда точен комментарий. В целом же книга радует удачными переводами.

И. Лисевич

Вышли в свет

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Серия «Современная зарубежная драматургия»

Альберти, Р. Ночь войны в музее Прадо. Одноактный офорт с прологом. Перевод с испанского П. Грушко. Предисловие Ф. Кельина. 74 стр.

Каллегари, Д. П. Опаленные жизнью. Пьеса. Авторизованный перевод с итальянского Г. А. Калугина. Редактор К. Северова. 135 стр.

Паньоль, М. Мариус. Фанни. Пьесы. Перевод с французского Г. Велле. 308 стр.

Пристли, Д. Б. Ракитовая аллея. Комедия. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова. 110 стр.

Хонольд, Р. Эскадрилья «Летучая мышь». Пьеса. Перевод с немецкого Л. Черной. 134 стр.

Серия «Современная зарубежная новелла»

Григореску, И. Кинематограф «Мадагаскар». Рассказы. Авторизованный перевод с румынского и предисловие Т. Хаис. 119 стр.

Петерсен, Я. Ивонна. Рассказ. Перевод с немецкого З. Власовой и А. Чернецкого. 50 стр.

Причард, К. С. Рождество в Иенде. Рассказы. Перевод с английского Н. Ветошкиной и Э. Питерской. 68 стр.

Хаяси, Ф. Шесть рассказов. Перевод с японского. Предисловие И. Эренбурга Составитель и редактор П. Петров. 135 стр.

Серия «Современная зарубежная поэзия»

Антеос, П. Улыбка Греции Стихи. Перевод с новогреческого. 153 стр.

Жале. Стихи. Авторизованный перевод с персидского Под редакцией Б. Слуцкого 96 стр.

Сингх, М. Избранное Перевод с пенджабского Составление, примечания и подстрочный перевод Н. Толстой. 104 стр.

Хьюз, Л. Избранные стихи Перевод с английского. Составление, предисловие и примечания М. И. Беккер. 167 стр.

Явуухулан, Б. Лирика Перевод с монгольского. Под редакцией и с предисловием Л. Ошанина. 82 стр.

Издано за рубежом

Самое дорогое имя

Ленин. Стихове, разкази и очерци от български писатели. Редакционна колегия: Крум Григоров, Младен Исаев, Стоян Каролев. София, Български писател, 1960.

Нам, советским людям, особенно дорого все, что связано с именем Владимира Ильича Ленина. И потому с таким волнением берешь в руки книгу стихов, рассказов и очерков болгарских писателей, посвященную Ильичу.

Среди авторов произведений, вошедших в сборник,— и патриархи болгарской литературы и ее молодая поросль. В эпическом стихотворении «Ленин» академик Людмил Стоянов воскрешает в памяти пережитую человечеством трагедию первой мировой войны, когда многие люди мучительно искали ответа на вопрос: «Как жить?». «Что было в прошлом? — спрашивали они.— Извечный мрак. Что ждет нас в будущем? Ледяное безмолвие». Но вот в Болгарии узнают имя Ленина. Оно становится символом «мудрости, мужества и любви», становится «надеждой будущих дней».

В очерке «Кафе «Варвара» Ангел Каралийчев описывает волнующую встречу Георгия Димитрова с болгарскими фронтовиками, которые впервые узнают от него о Ленине, об историческом значении дела, начатого им в России.

Не может оставить читателя равнодушным и рассказ Петра Стыпова о старом болгарском учителе, дедушке Златане, встречавшемся с Владимиром Ильичем в 1918 году. На склоне лет дедушка Златан снова побывал в Смольном в кабинете вождя революции. Он садится за стол Ленина и вспоминает встречу с Ильичем, которая врезалась ему в память...

Казалось бы, очень далеко от Смольного до Болгарии. Еще более далеким это расстояние было в годы первой мировой войны, когда революционную Россию и монархическую Болгарию разделяла не только королевско-боярская Румыния, но и ощетинившаяся линия фронта. Болгарская армия, посланная царем Фердинандом на захват чужой земли, находилась еще дальше — за пределами Болгарии. И все же имя Ленина, его мысли, его дела моментально становились известными и там, в далекой Болгарии, и в рядах ее армии, ибо правда не знает границ, она всегда путешествовала и будет путешествовать без виз.

Димитр Талев, ныне крупный писатель, был тогда, по его словам, простым, далеким от политики парнем, одетым в солдатскую шинель. «Вы хотите,— пишет он в своих воспоминаниях,— чтобы я рассказал что-нибудь о Ленине? Но жизнь великого человека уже хорошо описана близко знавшими его людьми. Может быть, вам любопытнее будет послушать рассказ человека о том, когда он впервые услышал это имя и как оно отразилось в его сознании?»

Октябрьские волны титанического взрыва в России докатились и до Болгарии. Армия, повернувшись спиной к фронту, двинулась на Софию, чтобы последовать примеру своих русских братьев. Вооруженные солдаты были остановлены в двух шагах от столицы — в Радомире и Владае. Солдаты провозгласили Радомирскую республику, но ей не удалось удержаться. Восстание, во главе которого не оказалось крепко сколоченного штаба, было подавлено. Фронтовики, уцелевшие после разгрома, стали разбредаться по домам.

Охраняя интендантские склады, солдат Димитр Талев стоял на посту. «Вдруг... на улице показались три солдата. Издали узнал в них фронтовиков — по грязному, истрепанному обмундированию, по лицам, заросшим щетиной... Медленно, не говоря ни слова, приближались они к складам У одного, как и у меня,— вспоминает Талев,— за плечом висела винтовка. Я никого не имел права подпускать к складам и, стоя в нескольких шагах от входа, вскинул винтовку. Сердце рвалось к горлу... Вызвать товарищей по караулу?.. Нет, нет! Не за себя я боялся, с винтовкой я умел обращаться. А внутренний голос не давал мне покоя:

«Ты будешь стрелять в них? Это — болгарские солдаты. Идут с фронта. Они там воевали три года. Сейчас их, как и русских солдат, ведет Ленин! Ленин... Народы станут братьями. Править будут рабочие, а не цари. Ты будешь стре-

лять в этих болгарских солдат?.. Будешь стрелять в тех, кого ведет Ленин?»

Я опустил к ноге винтовку, обеими руками стиснул ее длинный ствол и с миролюбивым видом оперся на нее... В момент этой встречи я впервые почувствовал неотразимую силу имени Ленина...»

Его имя! Оно было и осталось боевым знаменем, которого никогда, ни при каких обстоятельствах не должна, не имеет права коснуться вражья рука. О гибели одного из таких знаменосцев с сердечной горечью рассказал в своем очерке «В подвале» другой известный болгарский писатель — Камен Калчев.

Как и Димитр Талев, он был в ту пору юношей. Увлекался стихами. Случайно подружился с хорошим человеком — с дядюшкой Стояном Мариновым. Оба зачитывались Владимиром Маяковским, Христо Смирненским. На этой почве они и сошлись. Студент Камен Калчев жил в мансарде, дядюшка Стоян, исполнявший обязанности привратника и истопника,— в полутемном подвале. Студент не подозревал поначалу, что этот подвал был не только жильем, но и явкой...

Однажды, спустившись к своему другу, Камен Калчев обратил внимание на появившуюся на стене детскую фотографию.

«— Это чей ребенок?:.

— Братнин,— равнодушно ответил дядюшка Стоян.— Вчера вот получил по почте... Хорош, а? Видишь, как он на меня смотрит?..

Издали взглянув на фотографию, дядюшка Стоян улыбнулся.

Два-три дня спустя после этого разговора ко мне на чердак поднялся взволнованный дядюшка Стоян:

— Обыск у меня был,— говорит.

— Обыск?.. Какой обыск?..

— Обыкновенный, полицейский...

Мы оба помолчали. Потом дядюшка Стоян подмигнул мне:

— Ничего не нашли.— И добавил: — К портретику моему тоже было прицепились, но я и дотронуться до него не дал... Они ведь варвары!.. Нашли кого обыскивать!..»

Вскоре друга Камена Калчева все-таки арестовали. Жандармы налетели и взяли его так быстро, что дядюшка Стоян даже не успел и пальто надеть, но детскую фотографию незаметно сунул за пазуху. В тюрьме, не выдержав пыток, он погиб. Жене вернули одежду подпольщика. Убитая горем вдова позвала к себе студента.

«— Письмишко для тебя нашла в кармане у Стояна...

Я вздрогнул. С удивлением взял видавший виды конверт, вскрыл его, и сердце мое забилось от волнения. В конверте оказалась знакомая детская фотография, но с надписью на обороте: «Владимир Ильич Ленин».

Оцепенев от неожиданности, я стоял посреди подвала и не мог оторваться от лица ребенка. Потом повернулся и молча пошел к себе.

Снимок и сегодня напоминает мне о дядюшке Стояне, отгоняя прочь печаль и старость, которые порой подступают к порогу».

Как и подобает знаменосцу, дядюшка Стоян с честью пронес дорогую для него фотографию сквозь тюремные решетки и застенки, не позволив врагу даже прикоснуться к ней. Погибая, он передал ее из рук в руки...

Читаешь ли «Светлую годовщину» Елисаветы Багряны, «Песню о дне рождения» Божидара Божилова, «Ленинское слово» Христо Радевского, «Великую мысль» Валерия Петрова, «Расстрел» Спаса Кралевского или «Ленин в Октябре» Светослава Минкова — испытываешь чувство благодарности. Все они люди с разным житейским опытом, одни — поэты, другие — прозаики. Но, может быть, потому, что каждый из них вложил в найденное слово частицу своего сердца, своей мысли, может быть, именно потому с созданного ими портрета смотрит на нас с вами живой Ильич. И, всматриваясь в его портрет, невольно вспоминаешь слова народной мудрости:

«— Скажи, кто твой лучший друг?

— Мой лучший друг тот, кто лучший друг моего народа».

Таким другом для всех народов был и навсегда останется Владимир Ильич Ленин.

Б. Диденко

Размышления у бронзовых врат

Tadeusz Breza. Spiżowa brama. Warszawa, Czytelnik. 1960.

Когда Леона Кручковского, гостившего недавно в Советском Союзе, спросили в одной из московских редакций, какая книга наиболее популярна сегодня в Польше, он не колеблясь назвал «Бронзовые врата» Тадеуша Брезы.

Действительно, за короткий срок это произведение приобрело популярность в самых широких читательских кругах. Например, газета «Политика» распространила среди польских писателей анкету с вопросом о лучшей книге минувшего года, и большинство назвало «Бронзовые врата». Подводя итоги этого плебисцита, газета подчеркнула, что «за последние годы это первый случай, когда литературная общественность с таким единодушием «голосует» за одну и ту же книгу». Впрочем, общественность не только литературная: почти единогласно «проголосовали» за нее и читатели журнала «Столица» — люди самых

различных профессий. Но самое красноречивое свидетельство ее популярности то, что оба издания ее разошлись без остатка за несколько месяцев.

Что же это за книга и чем вызван столь широкий интерес к ней в сегодняшней Польше?

Автор дал ей подзаголовок «Римский дневник». Это действительно писательский дневник — результат трехлетнего пребывания Брезы в Италии. Тадеуш Бреза как бы подводит в ней итог итальянским «беседам, встречам, историям, событиям». Но по преимуществу это дневник размышлений, раздумий, в котором внимание автора сосредоточено вокруг одного главного объекта — Ватикана, на что указывает даже само заглавие: Бронзовые врата — парадный вход в апостольскую столицу.

Философский склад книги определил тональность, своеобразие ее. Произведение Брезы не памфлет публициста, который, проникнув за бронзовые ватиканские врата, гневно клеймит католицизм, беспощадно совлекая «с мертвых идолов одежды». Бреза смотрит на Ватикан иронически, словно бы несколько со стороны, или, как говорят поляки, «с езем», то есть вприщур.

Для Брезы Ватикан не просто любопытный исторический феномен — средневековый город-государство, уцелевший каким-то чудом до наших дней. Он стремится глубже постигнуть всю хитрую суть этого сложного механизма. Ведь Ватикан интересует писателя прежде всего как активный политический центр, пытающийся возможно шире распространить свое влияние по всему миру.

Разумеется, особенно сильна власть католицизма в самой Италии. Недаром Бреза подчеркивает в предисловии, что, внимательно приглядываясь к деятельности Ватикана, он видел, как от «святого» престола «падает тень на все», как глубоко проникает церковь в самые различные сферы жизни современной Италии.

Вот, например, Бреза рассказывает, как в одной из итальянских школ ученики 2-го класса, расшалившись на перемене, нечаянно повредили распятие. Местные церковники раздули этот эпизод в настоящее «дело». Католические газеты забили тревогу, закричали о... «материалистических фанатиках», обнаживших «иконоборческий меч», и потребовали сурового наказания виновных. При попустительстве школьных властей современные инквизиторы устроили поистине средневековое судилище: запугиванием, долгими изнурительными допросами детей заставляли признаться в том, будто они организовали тайный «клуб безбожников»... Рассматривая Ватикан в его отношениях к людям, к обществу, Бреза каждый раз находит какой-то новый аспект, новый ракурс, чтобы приоткрыть Ватикан с другой, еще неизвестной нам стороны. На живые беседы с людьми наслаиваются экскурсы в прошлое, в историю католицизма, а разговор с «рядовым» священником помогает Брезе контрастнее оттенить духовный цинизм ватиканских «верхов», для которых религия — лишь средство получения «мирских» благ.

Писатель вспоминает, как однажды ватиканские газеты принесли известие о том, что Пий XII, который был болен, вдруг стал поправляться. Сообщалось при этом, что папе было «видение»: сам Спаситель явился облегчить его страдания. Оказывается, один из папских приближенных написал нечто вроде «Жития Пия XII», которое запродал американскому издательству. Отрывок же о «чудесном исцелении» был опубликован им в газетах для того, чтобы определить «рыночную стоимость вещи в целом». Подобное «чудо» заинтересовало Брезу в чисто психологическом аспекте. У него завязывается любопытная беседа с провинциальным священником Джанлоренцо, который, приняв собеседника за поляка эмигранта, восторженно говорит о Пии XII, его чудесном исцелении и даже дарит новому знакомцу портрет папы. Кажется, лишь скептическая улыбка автора, с какой он принимает этот дар, несколько охлаждает Джанлоренцо. Он понимает, что ошибся: перед ним представитель другой — новой Польши. Человек из незнакомого ему мира... Но проходит несколько дней, и Джанлоренцо сам ищет встреч с Брезой: видимо, в душе молодого священника происходили какие-то сдвиги. Недаром при их последнем свидании ничто в поведении Джанлоренцо не напоминало о его былой религиозной экзальтации.

Любопытно сопоставить Джанлоренцо и Пия XII. Оба — и простой сельский священник и глава Ватикана — проходят через всю книгу. Но если Джанлоренцо непосредственно присутствует в ней, если он показан в каких-то внутренних изменениях, то Пий XII всегда остается «за кадром». Из разговоров других лиц мы узнаем о его делах, суждениях. Его же самого видим только однажды — на смертном одре, в тот момент, когда перед нами уже не «всесильный святой отец», а немощный старик, умирающий тяжело и одиноко. Вокруг него разгорается борьба за власть среди «верных» кардиналов (впав в забытье, папа не успел назначить преемника), неистовствуют газетные репортеры, идет откровенная подготовка к пышным похоронам.

Для Брезы сегодняшний Ватикан, его умирание, сумерки, как в фокусе, сосредоточиваются именно в этом эпизоде, написанном с подлинным блеском и силой. Своеобразную символику эпизода автор усиливает прямым «наложением» на него сцены с Джанлоренцо. С одной стороны, глава Ватикана на смертном ложе, чья слабеющая рука не в силах подняться и выразить последнюю волю, с другой — рядовой священник с осла-

бевшей, пошатнувшейся верой.

Одна из особенностей этой книги в том, что ее автор не торопится проникнуть в потаенный, скрытый от посторонних глаз закулисный мир Ватикана Он больше сосредоточивает внимание на людях современной католической церкви, что помогает ему еще отчетливее передать ощущения сумерек, угасания ее.

Поначалу Бреза рисует как бы внешнюю сторону деятельности Ватикана, стремящегося быть «с веком наравне». Это католицизм — покровитель искусств, венчающий наградой, хотя и с кислой миной, фильмы Феллини, друг науки, бойко рассуждающий в своих газетах о квантовой теории, о том, что первые астронавты к космическим мирам будут непременно католиками и т. п Но иной раз, словно случайно, спадает эта маска. И тогда читатель видит мракобесов, расправляющихся с детьми, предающих анафеме молодую итальянскую чету, которая осмелилась пожениться, не исполнив церковного обряда. Видит истинный Ватикан, яростно выступающий против коммунизма, против новых, справедливых порядков в странах социалистического лагеря, против всего передового и прогрессивного, что несет с собой нынешний XX век.

И Бреза показывает, что это — свидетельство слабости нынешнего Ватикана. Даже прибегая к крайним средствам, католицизм не в состоянии вернуть былое господство. Недаром даже в провинциальном городке, где школу превратили в судилище, родители-католики, возмущенные издевательствами «духовных пастырей», подают на них в суд.

Конечно, Ватикан обладает еще немалым могуществом. Он может отлучить от церкви провинившегося католика, может нанести коварный удар из-за угла, но все труднее католицизму подчинять своей воле человеческое сознание ..

Брезе удалось подметить многие характерные черты современного католицизма. Поэтому значение его книги, в частности в условиях сегодняшней Польши, где влияние костела еще весьма ощутимо, особенно велико. Недаром эта талантливая книга, в которой Бреза, по его словам, показывает «умирание одной из поверженных и абсолютно разложившихся формаций», была удостоена премии «Аргументов» — еженедельника Общества атеистов и вольнодумцев. Присуждение этой премии, по остроумному замечанию газеты «Нова культура», — «самый сильный аргумент» в пользу книги, активно выступающей против католицизма.

Примечательно, что появление «Бронзовых врат» нервозно восприняла католическая газета «Тыгодник повшехны», на страницах которой появилась статья о книге Брезы, под весьма выразительным названием «Действительно ли это Бронзовые врата?». Автор статьи обвинил Брезу в «фальшивости самой позиции, избранной им», в односторонем, искаженном изображении папской столицы. Итак, писательский удар попал в цель. Католический рецензент верно почувствовал разящую силу книги Брезы. Ее разоблачительный пафос — в огромном фактическом материале, в умелом литературном преломлении его. Бреза как бы широко распахнул бронзовые ватиканские врата, чтобы читатель увидел Ватикан крупным планом, увидел — и сам сделал верные выводы.

С. Ларин

«Четырехпалубный корабль» в стоячих водах

Lawrence Durrell. «Alexandria Quartet» ("Justine", "Balthazar", "Mountolive", "Clea"). London, Faber and Faber, 1957—1960.

Еще не так давно английский поэт, автор нескольких романов и книг путевых очерков Лоренс Дарелл (род. в 1912 г.) был известен лишь довольно узкому кругу людей. Сейчас же утверждение, что Дарелл — выдающийся писатель последнего десятилетия, встречается в буржуазной прессе Запада довольно часто и даже не сопровождается какими-либо аргументами. Этим Дарелл обязан своей тетралогии «Александрийский квартет», в которую входят романы «Жюстин» (1957), «Балтазар» (1958), «Маунтолив» (1958) и «Кли» (1960).

В канун второй мировой войны, рассказывает нам автор в романе «Жюстин», в Александрии и ее окрестностях обитала группа людей, связанных крайне сложными, неустойчивыми и подчас загадочными отношениями. Это богатая помещица, европейски образованная египтянка Леила, ее сыновья — Наруз, хозяйничающий в имении, и банкир Нессим, жена Нессима — еврейка Жюстин, танцовщица из варьете — гречанка Мелисса, молодой учитель ирландец Дарли, врач египтянин Балтазар, египетский делец богач Каподистриа; англичане: писатель Персуорден, дипломат Маунтолив, художница Кли, полицейский Скоби. Именно вокруг этой космополитической дюжины и сплетаются замысловатые интриги тетралогии.

Во второй и третьей книгах происходят те же события, что и в первой, но рассказаны они с точки зрения Балтазара и Маунтолива. Поступки героев получают иные мотивировки, характеры приоткрываются с новой стороны. И только в «Кли» действие происходит несколько лет спустя.

Автор с первых же строк сообщает, что книга его —

«исследование современной любви». В самом деле, любовь в ее многообразнейших формах и вариациях заполняет собой тетралогию. Персонажи ее словно ведут нескончаемый многофигурный танец, главное в котором — обмен партнерами. Во всех романах серии, кроме «Маунтолива», рассказчиком событий и лирическим героем является Дарли — начинающий писатель, бедняк, человек застенчивый, склонный к фантазиям. Случайно возникшая дружба с Нессимом и Жюстин, которая, к изумлению и восторгу Дарли становится его любовницей, вводит этого скромного маленького человека в мир блеска и теней — мир светских львиц, влиятельных дельцов, писателей, художников, дипломатов.

Исчезновения, загадочные убийства на охоте и балах, преследования, зловещие интриги, авантюрные политические заговоры, кровосмешение, сексуальные отклонения, черная магия. Выглядит это набором ингредиентов классического бульварного чтива. Дело тут, однако, обстоит сложнее, ибо Дарелл — человек несомненно очень одаренный.

Тетралогия стала бестселлером, и этому есть причины, помимо издательской рекламы. Дарелла называют романтиком, ибо он ищет если не исключительных, то, во всяком случае, необычных героев и ситуаций. Умело разворачивает он не слишком правдоподобную фабулу. В рассуждениях о человеческой натуре, о секретах литературной профессии Дарелл бывает тонок, остроумен, афористичен. Он описывает людей как художник-моменталист, не отрывая карандаша от бумаги, одной линией.

Но все, что открывается пяти чувствам писателя, служит для него источником эстетического наслаждения, вплоть до самых непривлекательных и даже мерзостных подробностей. Эстетическая, чувственная всеядность — отличительная черта Дарелла, но именно она-то и не дает ему стать романтиком в подлинном понимании этого слова.

Под радужным павлиньим оперением, под увлекательным поначалу рассказом о великолепии и грязи, о красках, запахах, о притонах, базарах, кофейнях, особняках древней, знойной и откровенно порочной Александрии неумолимо проступает нечто мелкое, небогатое и, на поверку, просто скучное... Именно ощущение скуки, томительного однообразия возникает уже с первых страниц «Кли», когда после на редкость выразительного описания воздушной тревоги в александрийском порту автор переходит к заключительному туру обмена партнерами.

И все же многим английским читателям, привыкшим в последнее время к книгам, атмосфера которых подчас тусклее лондонского тумана, к писателям, вытряхивающим на всеобщее обозрение мельчайшие подробности повседневного, до тошноты знакомого быта, Дарелл показался какой-то яркой и экзотичной птицей, залетевшей из тропических краев в серую слякоть английской зимы.

В дружном хоре критических похвал Дареллу звучат, однако, голоса иного тембра. Памела Хэнсфорд-Джонсон в Англии и Ч. Ролло в США без обиняков заявляют, что романы тетралогии крайне претенциозны, насыщены дешевыми эффектами, что Александрия предвоенных лет, изображенная Дареллом, не имеет ничего общего с действительностью... Один из виднейших писателей Англии, будучи в Москве и рассказывая советским критикам о новинках, так выразился об этом произведении: «Когда прочтешь все эти книги, возникает ощущение, будто съел слишком много сладкого». Сам Дарелл, говоря о присущем ему как поэту и прозаику напряженном интересе к форме, делает такой самокритичный вывод: «Мой интерес к форме может означать — я не скромничаю, а говорю серьезно,— что у меня второразрядный талант». Слова эти не прошли незамеченными. Одна из статей о Дарелле в печати ФРГ так и называется: «Гений второго разряда».

Казалось бы, талантом Дарелл не обижен. Но есть глубокий изъян в духовном мире, интеллектуальном строе писателя, в его представлениях о человеке. Смелость, упругость, оригинальность зрительных и чувственных образов в его книгах самым горестным манером контрастируют с удивительной человеческой неинтересностью его персонажей, несмотря на их сознательную психологическую усложненность. В итоге красочность оборачивается красивостью, эмоциональность — пошловатостью, «раблезианское жизнелюбие» — болезненной скабрезностью. Как ни современны, казалось бы, изобразительные средства, диалог Дарелла, от «Квартета» тянет не только смесью парижских духов, знойной пыли и тления, но и чем-то очень стареньким: «жутким любовным романом» какой-нибудь Э. Глин или блиставшей в прошлом веке Уйды... Несостоятельность основной идеи Дарелла — идеи человеческого характера как серии масок, то есть, по сути, отрицания объективного существования характера, вряд ли требует доказательств. Человеческий характер может быть и «многослойным», и противоречивым, и неожиданным в своих проявлениях, но он всегда существует и существует в главном, под каким-то определенным, положительным или отрицательным знаком.

Тетралогия Дарелла получила ходовое название «четырехпалубного романа». Автор же считает его попыткой создания «словесного континуума (непрерывности), некоего стереоскопического целого, три стороны которого образуют пространство, а четвертая — время».

По словам самого Дарелла, в этих четырех романах (которые «в идеале» надо бы читать одновременно) он хотел использовать в художественном творчестве эйнштейновскую теорию относительности и положение Фрейда о расщепленности человеческого «я». Делясь с интервьюерами соображениями на этот счет, он, в частности, откровенно сообщает, что приятель-математик нашел его аналогию с Эйнштейном «сумасшедшей». Не уточняя эпитетов, можно все же с уверенностью сказать: к выводу гениального ученого об относительности категорий пространства и времени тетралогия Дарелла имеет столько же отношения, сколько, скажем, заяц к сараю в сочинении анекдотической институтки. Правда, все, происходящее с его героями, все, что составляет их моральную подоплеку, существо их взаимоотношений, носит крайне относительный характер. Истинные мотивы поступков, новые стороны характеров выявляются не сразу и предстают в резко противоречивом освещении. Здесь уместно вспомнить Пристли с его «Опасным поворотом», но Альберт Эйнштейн тут, право же, ни при чем!

Эта игра с научными концепциями отнюдь не является украшением «Квартета».

Что же касается Фрейда, то его главными гипотезами, конечно, вульгаризированными, Дарелл оперирует с несколько большими основаниями. Но и это весьма не ново.

...Что ж, Дарелл выстроил на верфях своего воображения «четырехпалубный корабль», ярко раскрасил его, заселил множеством диковинных пассажиров, развел огонь в топках и даже для вящего эффекта и быстроты поднял над ним философские паруса. Но вот беда: корабль его — в стоячих водах...

И. Левидова

Русская и советская поэзия на немецком языке

Maximilian Schick. Nachdichtungen. Vorwort von Franz Leschnitzer. Berlin, Verlag Kultur und Fortschritt, 1960.

Мастера художественного перевода, воссоздающие на родном языке лучшие творения поэтов и писателей других стран, непосредственно помогают народам сближаться между собой и преодолевать вековые предрассудки национальной вражды.

Максимилиан Шик — один из давних и верных друзей русской литературы. Уже более полувека переводит он на немецкий язык русских поэтов и писателей. М. Шик не только любит, но и хорошо знает русскую классическую и советскую поэзию, глубоко изучил ее историю и особенности современного развития. М. Шик автор замечательных переводов из Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Блока, Ахматовой, Брюсова, Асеева, Маршака, Исаковского и многих других русских, украинских и белорусских поэтов.

Благодаря М. Шику немецкие читатели познакомились с романами «Петр Первый» и «Хождение по мукам» А. Толстого, с рассказами и новеллами советских писателей. Но все же наиболее увлеченно и плодотворно работает он, стремясь приобщать своих соотечественников к многообразным сокровищам русской и советской лирики.

Максимилиан Шик умеет не только отлично передавать основную поэтическую мысль, образный и ритмический строй стихотворения, он всегда бережно и любовно воспроизводит тончайшие оттенки музыкального лада, настроения, неповторимые, индивидуальные интонации, присущие именно этому автору.

Издательство «Культур унд фортшритт» (Берлин, ГДР) выпустило первый сборник избранных переводов Максимилиана Шика.

Немецкий читатель может познакомиться с образцами творчества самых разных поэтов нашей страны, от Блока, Ахматовой, Брюсова и до авторов стихотворений самых недавних лет. Кроме русской советской поэзии в сборнике представлены стихотворения С. Капутикян, Зульфии, А. Ерикеева.

Несмотря на небольшой объем книги, собранные вместе стихотворные переводы, ранее публиковавшиеся на страницах газет и журналов, позволяют составить представление о живом и многоцветном характере советской поэзии.

К сожалению, трудно понять, чем определяется выбор и порядок расположения переводов.

Открывая книгу отлично переведенным стихотворением А. Ахматовой «Муза» и завершая тремя довольно неровно переведенными детскими стихами С. Михалкова, составитель расположил между ними стихотворения двадцати авторов в порядке, не соответствующем ни алфавитной, ни хронологической, ни тематической последовательности.

Эти недостатки издания, не соответствующие традициям немецких книжников, конечно помешали в полной мере отразить настоящие масштабы плодотворной деятельности и высокие художественные достижения замечательного поэта-переводчика Максимилиана Шика.

И все же появление его первой книги очень радует и внушает надежду, что за ней последуют новые — более полные, более щедрые издания.

Лев Копелев

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В Чехословакии издан третий том нового издания собрания сочинений Владимира Маяковского в переводе Иржи Тауфера.

Откликаясь на выход этого тома, в который вошли «Окна РОСТА» и плакаты Главполитпросвета, созданные Маяковским в 1919—1922 гг., журнал «Хост до дому» пишет: «Являются ли эти произведения только документом? Нет, и сегодня это перчатка, брошенная в лицо буржуазному представлению о поэзии, оторванной от политики; перчатка, брошенная в лицо стихотворцам с «чистыми» руками, всем тем, кто извращают слово «долг» и тщательно измеряют границы обязанностей поэта».

□

Михаил Шолохов — один из популярнейших советских писателей в Норвегии. С его произведениями знакомы многие норвежцы. Первая книга «Поднятой целины», например, была издана в Норвегии еще в 1935 году, и сразу же тогда ее раскупили. Такой же интерес был проявлен и к первому изданию «Тихого Дона».

В конце прошлого года одно из крупнейших издательств «Тиден норшк форлаг», как сообщает бюллетень «Орэтс бёкер 1960», выпустило отдельным изданием с красочными иллюстрациями рассказ Шолохова «Судьба человека» и недавно законченную автором «Поднятую целину». Готовится к выходу в свет новое издание на норвежском языке «Тихого Дона».

Норвежская газета «Арбейдербладет» пишет о новом издании «Поднятой целины»:

«Главное действующее лицо в этом произведении — колхоз. Творческая удача Шолохова состоит в том, что колхоз предстает перед нами в виде живых людей с их сменой настроений. Каждый из них описан с несентиментальной теплотой, и мы ощущаем и запоминаем их, пылких и веселых, преисполненных страданиями и тягостью забот... Если мы хотим почувствовать одно из величайших общественных преобразований в наше время, оказаться среди людей, делающих историю, или если мы просто хотим познакомиться с людьми, тогда нам надо обратиться к Шолохову».

□

Пражским издательством «Свет Совету» выпущена книга Галины Николаевой «Битва в пути» в переводе М. Лукаша.

«На примере этой книги,— пишет Ян Петрмихл в газете «Руде право»,— можно убедительно показать, что источник действительно современной эпики скрыт в реальности великих революционных преобразований и перемен. Такая эпика развивается и растет там, где есть возможность объективно наблюдать развитие и рост новых изменений в жизни.

В этом смысле роман Галины Николаевой может служить убедительным аргументом в полемике с некоторыми западными буржуазными литераторами, утверждающими, будто эра большого объективного романа уже миновала. Эти ограниченные люди обманывают сами себя, отождествляя разложение своего мира с разложением искусства. Современная советская проза — и в том числе книга Галины Николаевой — весьма энергично доказывает, что наступление коммунизма знаменует и возникновение новой прозы. источником которой служит многосторонняя деятельность людей, объективным смыслом и содержанием чего является создание нового человеческого века.

Проза этого типа не боится общественных конфликтов и столкновений. Более того, она направлена прямо против них, обуславливая свою композицию их динамизмом. Это мы видим и на примере тематики и в главных героях «Битвы в пути».

Галина Николаева в целом создала произведение живое и жизнеутверждающее, каждый читатель может найти в нем частичку того, о чем мы сами знаем, чем озабочены, что создаем, за что боремся, в чем побеждаем. А для литературного произведения это — лучшая рекомендация».

□

Все пьесы Максима Горького, переведенные на испанский язык Лилей Герреро, Мануэлем Педросо и Н. Капланом, сообщает журнал «Куадернос де культура», выпущены в двух томах аргентинским издательством «Кетсаль». Издание снабжено предисловием, написанным известным аргентинским литератором Альваро Юнке.

□

Роман Николая Островского «Как закалялась сталь», по сообщению журнала «Куадернос де культура», вышел в буэнос-айресском издательстве Грихальбо.

□

Повесть Вадима Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев», по словам румынского литературоведа Тамары Гане, выступившей со статьей «Литература коммунистического героизма» в еженедельнике «Контемпоранул», поднимает важные вопросы материальной и духовной жизни строителей нового общества. Эта повесть, как отмечает Гане, не только рисует грандиозные масштабы новой действительности, но и раскрывает процесс изменения психологии людей.

В книге звучит подлинная симфония труда, облагораживающего человека. Труд — процесс творческого созидания, такова идейная суть произведения Вадима Кожевникова.

Андре Вюрмсер, анализируя повесть Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды», отмечает, что это произведение, как и все значительные советские романы, имеет точную датировку. Объясняется это тем, что мир социализма развивается так быстро, что в советской литературе не может быть «вечных» тем и «вечного» человека, в которые верит буржуазный писатель. Мир советского человека, пишет Вюрмсер, настолько отличается и от старой России и от буржуазного мира и настолько превосходит их в смысле политическом, моральном и в человеческом, что этого не может себе представить ни один энтузиаст.

В образе главного героя романа Андре Вюрмсер видит прообраз будущего советского общества, которое уже можно предвидеть и где общим правилом станет единство в каждом человеке и рабочего и интеллигента.

«Это великолепная книга. Она принадлежит к той линии советских романов, которая намечена уже «Искателями» Гранина, «В родном городе» Некрасова и, особенно, знаменитым «Инженером Бахиревым» (под таким названием известен во Франции роман Г. Николаевой «Битва в пути».—*Ред.*),— пишет в еженедельнике «Франс-обсерватёр» французский критик Юбер Жюэн о повести Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды», выпущенного издательством Жюллиар в переводе Лили Денис и Рене Хунцбюкле под названием «Счастливая Сибирь».

«Достаточно ли Гранина, Некрасова и Николаевой для того, чтобы говорить о «новой волне» советского романа? — спрашивает Юбер Жюэн.— Ясно, что этот новый советский роман вводит и новые оттенки, тогда как некоторые утверждали, что до сих пор в советском романе вообще не было никаких оттенков. Но читали ли эти некоторые все советские романы?»

Произведения советских писателей очень близки к действительности, пишет далее Жюэн. Пример этому, по мнению критика, повесть Анатолия Кузнецова.

Жюэн считает, что главное в повести не то, что герой встретит в Сибири несколько темных личностей, а то, что там он откроет мир работы, колоссального строительства и людей, которые не знают иной морали, кроме морали труда. Герой повести понял, как это прекрасно, что строительство на Ангаре возводится и его руками. «Но это еще не все,— добавляет критик.— Бетонировать — это хорошо. Учиться в свободное от работы время — еще лучше. Настоящий строитель, Анатолий Кузнецов, стал таким образом советским писателем, а это превосходно».

□

Выходящий в Лиссабоне журнал «Ливруш ди Португал» сообщает, что издательство «Португалиа эдитора» выпустило массовым тиражом, в популярной серии «Карманная книжка», повесть советского писателя Чингиза Айтматова «Джамиля».

□

Итальянское издательство «Эдитори риунити» выпустило очередной, 9-й, том полного собрания сочинений Максима Горького, выходящего под редакцией Иньяцио Амброджо и Агостино Вилла.

В серии «Универсале экономика» издательство Фельтринелли (Италия) издало сборник русской поэзии XX века. В книге широко представлены стихи советских поэтов. Это второе издание сборника, выпущенного Фельтринелли в 1954 году. Составитель и автор всех переводов — поэт-переводчик А. М. Рипеллино, которым написана большая вступительная статья к сборнику.

□

Западногерманское издательство «Эрих Рёт-ферлаг» выпустило первый в ФРГ перевод автобиографической повести Федора Гладкова «Снег тает» (в русском оригинале — «Повесть о детстве»). Издающийся в Дюссельдорфе еженедельник «Дейче фольксцейтунг», отзываясь об этом произведении, пишет:

«Мы настоятельно рекомендуем читателю эти впервые переведенные воспоминания детства, в которых писатель сумел мастерским распределением красок нарисовать картину своего деревенского мира с дерзкими мальчишескими шалостями и бесчисленными приключениями — мира, полного сочных образов, описать которые умеет только русская литература. С нежной любовью, которой не мешает и реалистичность, старый писатель обернулся к своему детству с его радостями и горестями, обернулся к широкому русскому ландшафту, к природе с ее очарованиями времен года...»

Еженедельник отмечает, что большие достоинства эпического произведения привлекут к нему восхищенных читателей. «Из автобиографии крупного писателя,— указывает «Дейче фольксцейтунг»,— вырос действенный документ большой ценности, которому мы желаем у нас широкого распространения».

□

Берлинское издательство «Фольк унд вельт» (ГДР) выпускает избранные произведения И. Эренбурга в отдельных томах. Читатель уже познакомился, в частности, с романами «Не переводя дыхания», «День второй».

□

Роман Юрия Олеши «Зависть» вышел в висбаденском издательстве Инзель (ФРГ).

В рецензии «Старая и новая Россия» западногерманский журнал «Нейе дейче хефте» отмечает, что перевод романа Олеши на немецкий язык привлекает к себе внимание читателей Западной Германии.

□

В издательстве «Культур унд фортшритт» (Берлин, ГДР) вышли книги советских авторов — роман Б. Полевого «Глубокий тыл», сборник рассказов Б. Лавренева «Ветер» и стихи С. Щипачева под общим названием «Книга любви».

□

Рекомендуя своим читателям недавно вышедший в австрийском издательстве «Бухгемейнде» роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», газета «Фольксштимме» подчеркивает, что это произведение — одно из лучших произведений нашего времени.

По сообщению «Фольксштимме», впервые этот роман М. Шолохова выпущен в Австрии полностью.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«ЧУЖОЕ УХО В ТРУБКЕ»

...Все началось с того, что премьер-министр государства Телетап насильно провел через парламент реакционные дополнения к без того реакционному закону. С помощью этого закона правительство быстро избавилось от большинства своих политических противников — прогрессивных граждан Телетапа. Далее события развертываются как в фантастическом романе: детище пожирает и своих родителей — закон обращается против правящей партии, правительства и даже премьер-министра, которому приходится на суде доказывать свою лояльность... самому себе. Немалую роль во всем этом сыграло то обстоятельство, что телефонные разговоры в Телетапе подслушивались и записывались, а затем на основании передернутых, искаженных записей выдвигались против «нежелательных элементов» обвинения в «подрывной деятельности»...

Таково содержание новой сатирической музыкальной комедии «Чужое ухо в трубке», поставленной в сиднейском театре Федерации портовых рабочих. Автор пьесы, известная писательница Мона Брэнд, для обозначения места действия своей комедии употребила рожденное маккартизмом в США слово «телетап» — так называется аппарат для тайного подслушивания и записи телефонных разговоров.

По словам рецензента газеты «Трибюн», спектакль «Чужое ухо в трубке» пользуется большим успехом среди австралийских зрителей. Пьесу оценивают как вклад в борьбу прогрессивной общественности Австралии против реакционного законопроекта о дополнениях к уголовному кодексу, согласно которым предполагается установить «контроль над мыслями» (см. «Иностранную литературу» № 3, 1961 г.).

Во время своей поездки по Австралии Поль Робсон посетил строительство оперного театра в Сиднее. Тут же, на строительной площадке, он выступил с импровизированным концертом перед рабочими. (На снимке: Момент выступления). На приеме, устроенном в честь Поля и Эсланды Робсон в Комитете сторонников мира Нового Южного Уэльса, Робсон заявил: «Мы выиграем борьбу за мир! И основным залогом нашей победы является могущество социалистического мира».

(Газета «Трибюн»)

АВСТРИЯ

ИЗДАН НЕ В АВСТРИИ

«Насыщен гневом и ненавистью к фашизму — без всяких «но» и «если» — первый роман австрийского писателя Ганса Леберта «Волчья шкура». Именно поэтому произведение вышло в свет не в Австрии, а за границей; в австрийском издании что-либо подобное, очевидно, никак не может появиться»,— с горечью пишет газета «Фольксштимме».

Действие романа переносит читателя в некую деревню, расположенную где-то в отрогах австрийских Альп. Жизнь деревни в наши дни течет так, будто еще не окончилась война и продолжает существовать «третий рейх». Недаром деревню прозвали «Молчание»: ее жителям приходится молчать о тех зверских убийствах, которые совершены здесь рукой бывшего гитлеровского группенфюрера, скрывающегося теперь под маской местного охотника.

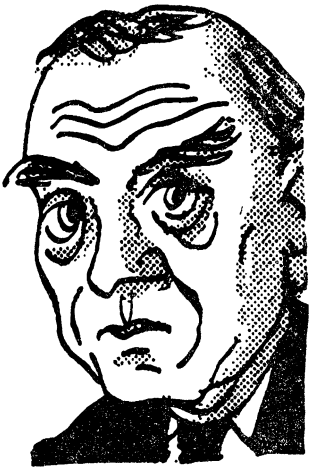
Вернувшись в родную деревню, один бывший матрос раскрывает следы преступлений, совершенных «охотником». Убийство незадолго до конца войны группы пленных иностранных рабочих, а после войны уничтожение всех нежелательных свидетелей его зверств — вот цепь преступлений «охотника», вскрытая матросом. Но когда матрос решил действовать, «охотник» уже стал депутатом ландтага...

По оценке печати, роман Ганса Леберта «Волчья шкура» поднимает важный вопрос — привлечение к ответственности до сих пор укрывающихся кое-где гитлеровских преступников.

АНГЛИЯ

«ДЕЙЛИ УОРКЕР» О НОВОМ РОМАНЕ ГРЭХЕМА ГРИНА

«Я пишу только о том, что меня интересует, ни о чем другом я писать не могу»,— напомнив это высказывание известного английского писателя Грэхема Грина, газета «Дейли уоркер» в подробной рецензии разбирает его новый роман «Цена исцеления».



Грэхем Грин (дружеский шарж)
(Газета «Дейли уоркер»)

Само название романа посвоему знаменательно. Еще в 1926 году Грин перешел в католичество, и в большинстве его романов значительное место занимают проблемы религии. «Что же ныне случилось с Грином? — спрашивает автор рецензии. — Не превратился ли обращенный католик 1926 года в рационалиста 1961 года?» Основания для такой постановки вопроса есть. В новом романе Грин «с горечью и почти с отчаянием отвергает не только католицизм, но и христианство вообще».

Герой романа — архитектор, прославившийся своими церковными сооружениями,— потерял всякую веру: и в бога, и в свои творческие силы, и в любовь. Он решает «исчезнуть из мира», похоронить себя навсегда в лепрозории, созданном монахами где-то в дебрях Конго. Выражение «цена исцеления» врач лепрозория применяет по отношению к тем прокаженным, которые излечились от болезни, но остались увечными, калеками. Это же самое выражение, но уже в духовном, эмоциональном смысле применено врачом — атеистом по своим убеждениям — и к герою книги, который, работая в лепрозории, начинает излечиваться от душевной опустошенности и находить примирение с новой жизнью. Однако он становится жертвой своей славы и гибнет...

Трудно представить себе, пишет рецензент, что Ватикан останется доволен такой книгой. Еще в романе «Тихий американец», написанном в 1955 году, были отражены сомнения Грина в отношении религии, ныне же эти сомнения приняли более четкую форму: «Умный человек может жить без бога...» — заявляет герой новой книги. «Однако,— пишет рецензент,— даже если мы и ошибемся в оценке именно религиозной стороны романа, все равно «Цена исцеления» является глубоким, превосходно написанным и безусловно самым противоречивым произведением Грина».

ПЬЕСА И ЕЕ КРИТИКА

Английские любители театра с нетерпением ждали появления второй пьесы талантливого молодого драматурга Шейлы Делани, чья первая работа, «Вкус меда», произвела года два назад сенсацию в лондонском театральном мире (см. «Иностранную литературу» № 6, 1959 г.). Тогда многие писатели, в том числе Грэхем Грин и Джон Осборн, горячо приветствовали литературный дебют Делани и выступали в ее защиту от нападок вест-эндских критиков, шокированных тем, что она-де не постеснялась показать жизнь трущоб большого города.

По словам известного театрального критика Кеннета Тайнена, выступившего в «Обзёрвер», название новой пьесы — «Влюблен-

ный лев» навеяно одной из басен Эзопа, в которой лев, полюбивший дочь дровосека, жертвует своими зубами и когтями для того, чтобы жениться на ней. В пьесе роль льва принадлежит красивому и веселому Фрэнку, продавцу детских воздушных шаров и всяческой дребедени. Потолок мечтаний этого бродячего торговца — собственное постоянное место на рынке. Его брак с Кит оказался несчастным, она — алкоголичка, и он ищет утешения в бесчисленных увлечениях. Дети их также принадлежат «дну». Такова эта семья, которую буржуазная печать пытается выдать за «рабочую семью» и охарактеризовать поэтому пьесу как произведение «из жизни рабочего класса».

На самом же деле, судя по отзывам печати, Шейла Делани и в этом произведении фактически снова остается лишь наблюдателем жизни трущоб, жизни людей, которые никак не являются представителями рабочего класса. Тот же Кеннет Тайнен признает, что в пьесе не вскрыто отношение автора к мировоззрению созданных ею персонажей, их взглядов на жизнь: «Делани не дает нам даже намека на собственное отношение к обществу, в котором мы живем».

«Совершенно ясно,— пишет критик Майк Майсон в газете «Дейли уоркер»,— что это вовсе не пьеса из жизни рабочего класса... Делани, несомненно, умеет писать, умеет лепить образы, умеет показать человеческое одиночество. Созданные ею персонажи правдивы, и их проблемы касаются многих людей. И даже если это не то, что мы хотели бы видеть от Шейлы Делани — я имею в виду боевую пьесу о рабочем классе и его повседневной борьбе простых людей,— все же она познакомила нас со своими меткими наблюдениями, с проблемами, переживаниями и чувством одиночества группы живых людей».

БЕСЕДА С ЧАРЛИ ЧАПЛИНОМ

Во время недавнего пребывания в Лондоне Чарли Чаплин поделился с корреспондентом газеты «Дейли мейл» своими творческими планами на ближайшее будущее.

Чаплин заявил, что одновременно с работой над мемуарами он намерен создать два новых фильма.

— Оба фильма, — сказал Чаплин,— задуманы как комедии. Для одной из них я сам напишу сценарий и буду режиссером. Что же касается второй, я хочу в ней также и сыграть роль. Это будет фарс, бурлеск насчет... ну, в общем бурлеск. Больше я не буду разъяснять. Пока оба фильма находятся еще в эмбриональном состоянии, я предпочитаю их не обсуждать.

Корреспондент поинтересовался, не собирается ли Чаплин возродить образ знаменитого маленького бродяги в котелке и с тросточкой?

— Кто знает? — ответил Чаплин.— Я никогда не ставлю окончательной точки ни над чем. Если я найду соответствующую идею и соответствующий импульс — а я человек импульса,— может быть вернусь к этому типажу.

На вопрос об его отношении к фильмам других режиссеров Чаплин сказал, что после отъезда из Америки он «видел Лоренса Оливье в «Ричарде Третьем» и один из фильмов Росселини. Оба они показались отличными».

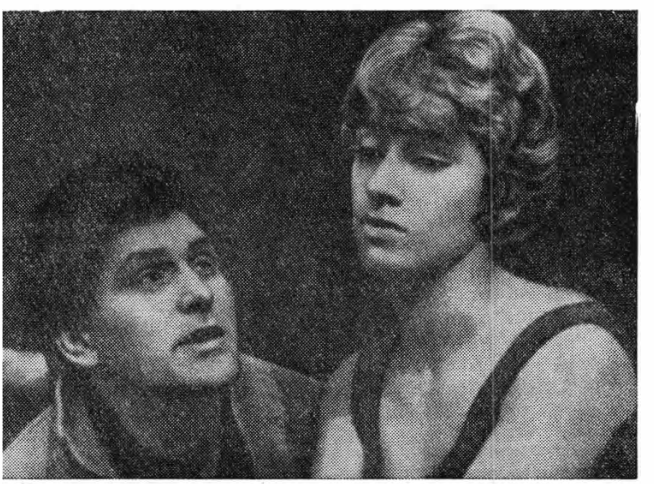
Говоря о своем последнем фильме «Король в Нью-Йорке», Чаплин заметил:

— По-моему, он очень забавен. И я думаю, что это довольно хорошая сатира на Америку.

На вопрос об отношении к Соединенным Штатам Чарли Чаплин заявил:

— У меня нет ни малейшего интереса к Америке. Она просто не в орбите моих интересов. Весь тот континент и вся его культура кажутся мне теперь слишком далекими. Я безусловно предпочитаю жить в Европе.

Сцена из спектакля «Влюбленный лев».
(Газета «Обзёрвер»)



АРГЕНТИНА

УСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО АРГЕНТИНСКОГО НАРОДА

В последнее время из печати вышло несколько сборников записей устных рассказов и произведений поэ-

тического творчества аргентинского народа.

В сборник «Традиционные народные рассказы Аргентины», выпущенный Национальным институтом филологии и фольклора, включены устные рассказы, записанные в разных провинциях Аргентины. Рецензируя этот сборник, газета «Пренса» пишет, что он «должен дать представление об аргентинской традиционной культуре, еще существующей в XX веке».

Буэнос-айресское издательство «Ашетт» опубликовало сборник «Аргентинские традиционные стихи и песни», изданный в серии «Прошлое Аргентины». Составитель его, Орасио Хорхе Бекко, как сообщает газета «Кларин», проделал большую работу, собрав в общей сложности около тысячи народных песен, куплетов, романсов и других поэтических произведений. Сборник, по словам газеты, свидетельствует о том, что духовное богатство народа выражается в бесконечном разнообразии творческих форм.

«Институт друзей аргентинской книги» издал «Собрание народных песенок — ко́плас», составленное поэтом Аристобуло Эчегараем. В незамысловатых песенках-четверостишиях, пишет газета «Пренса», «человек из народа передает свою радость или делится горем».

Гравюра на дереве художника Амадео Делл'Аккуа для «Собрания народных песенок — ко́плас» Аристобуло Эчегарая.
(Газета «Пренса»)

БОЛГАРИЯ

ПЛАНЫ И ЗАМЫСЛЫ

Под таким заголовком еженедельник «Литературен фронт» помещает интервью с болгарскими писателями.

«Надеюсь,— делится своими планами Георгий Караславов,— что в этом году выйдет третья, самая трудная, часть трилогии «Простые люди».

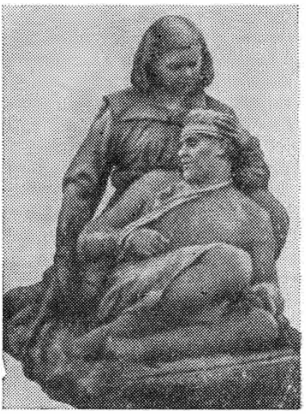
Камен Калчев обещает закончить новую повесть, посвященную современной молодежи, Людмил Стоянов — революционную драму о жизни Христо Ботева «В бой за свободу», а также антивоенную повесть «Бунт». Над тремя повестями на современные темы работает Стоян Даскалов.

ВОСПОМИНАНИЯ МАТЕРИ НИКОЛЫ ВАПЦАРОВА

Елена Вапцарова — мать вдохновенного болгарского поэта и героя — написала книгу о сыне. После воспоминаний сестры поэта это вторая книга о жизни Николы Вапцарова, написанная его родными. Мать героя рассказывает о детских годах своего сына, о его юности, о пути революционера-коммуниста, который превыше всего ставил свой долг перед народом и партией.

Живо встает со страниц книги и образ матери героя. «...После расстрела его,— пишет Елена Вапцарова,— я читала стихи Смирненского. Я знала, что Никола очень, очень их любил. И после этого я уничтожила в своем сердце бога, того бога, которого с самого раннего детства меня учили бояться и почитать... Я уничтожила в сердце бога, так как истину я нашла в словах Николы: «Если нужно, и ты умрешь за нашу идею». Так мне сказал сын. Эти его слова стали для меня смыслом жизни, призывом к тому, чтобы я продолжала, пока смогу и чем смогу, помогать делу, за которое погиб Никола Вапцаров...»

Книга Елены Вапцаровой, вышедшая в издательстве «Народна младеж», несомненно, вызовет интерес широкого читателя.



«Художник не должен сводить свое творчество к одной лишь демонстрации своего умения»,— говорит выдающийся болгарский скульптор Иван Фунев, шестидесятипятилетие которого недавно отметила болгарская общественность. Искусство Ивана Фунева — искусство человеческой правды. Он создает волнующие образы тех, кто боролись за свободу болгарского народа, кто строят новую Болгарию. На снимке: «Раненый» — скульптура И. Фунева.
(Журнал «Пламък»)

ВЕНГРИЯ

ДИСКУССИЯ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МОЛОДЫХ

Свыше полугода на страницах еженедельника «Элет эш иродалом» продолжалась дискуссия о творчестве молодых писателей. Было

затронуто много важных проблем, касающихся их литературной деятельности. В дискуссии приняли участие как крупные писатели и критики, так и молодежь.

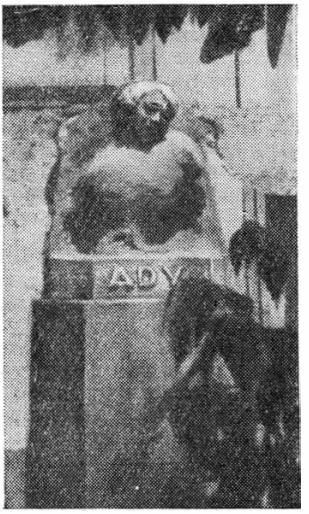
Недавно «Элет эш иродалом» опубликовал заключительный доклад литературоведа Габора Толнай, главного редактора журнала «Кортарш». «Основное, что характеризует нашу писательскую молодежь,— говорится в докладе,— это ее консолидация, ее идейное возмужание, а отсюда стремление к изображению в своих произведениях нашей социалистической действительности. Можно смело сказать, что большинство произведений молодых писателей являются произведениями социалистического реализма.

Стали частыми поездки писательских групп в деревни, посещения промышленных предприятий, проводимые под лозунгом «ближе к жизни, ближе к народу»...

Венгерская общественность с большим интересом следила за ходом дискуссии, которая, как отмечает «Элет эш иродалом», носила характер большого, откровенного, прямого и честного разговора о самых актуальных вопросах работы молодых писателей.

Недавно из небольшого селения Эрминдсенте, родины выдающегося венгерского поэта Эндре Ади (ныне это селение входит в пределы Румынии), пришло письмо, в котором сообщалось, что по решению Народного совета области на домике, где родился Ади, установлена мемориальная доска со строфами из его известного стихотворения «Песня венгерских якобинцев» на венгерском и румынском языках. Перед домиком поэта воздвигнут памятник Ади (воспроизведенный на снимке).

(Журнал «Орсаг вилаг»)



ВЕНЕСУЭЛА

СТИХИ АНДРЕСА ЭЛОЯ БЛАНКО

Издательство «Эдиториаль Кордильера» выпустило полное собрание сочинений в десяти томах одного из крупнейших венесуэльских поэтов Андреса Элоя Бланко. Поэт умер в 1955 году в изгнании в Мексике, где он нашел убежище, спасаясь от преследований реакционной диктатуры, господствовавшей тогда в Венесуэле. В сборник включены все произведения Бланко, написанные им на родине и в эмиграции.

В поэмах «Земли, что услышали меня», «Вращение луны», «Каменный корабль» и в других Бланко воспевал простой народ, рассказывал о его тяжком труде, выступал против эксплуататоров. Один из героев его произведений — старый крестьянин Теобальдо, пишет газета «Пренса», стал символом венесуэльского народа, олицетворением его мудрости и чаяний.

ГАНА

НА ЯЗЫКЕ ТВИ

Почти сорок лет своей жизни отдал изучению языков народов, населяющих Гану, один из крупнейших ученых этой страны К. А. Акрофи.

Его перу принадлежат многочисленные труды по языковедению, им была впервые создана грамматика языка тви. Он — составитель сборника тысячи пословиц на языке тви с переводом на английский язык и комментариями. На язык тви он перевел ряд романов английских писателей.

Издающаяся в Аккре газета «Дейли грэфик» приводит высказывание К. А. Акрофи: «Труды языковедов создают лишь фундамент языка, сделать же его живым могут лишь писатели. Без своих Шекспиров, Чосеров, Уитменов, рассказывающих народу на его родном языке, как прекрасна его страна, без своих Мильтонов, создающих эпические поэмы о прошлом своего народа, все усилия лингвистов, направленные на совершенствование языка, обречены на неудачу».

Большой заслугой Акрофи, по словам газеты, является тот факт, что многие из его учеников стали писателями. Среди них Е. Еффах, чей роман «Восходящий» на языке тви рассказывает о судьбе человека, отдавшего жизнь во имя величия своей родины, автор пьесы «Воин» Е. О. Коранген и другие.

Давая высокую оценку работам Акрофи, газета считает, что «будущие писатели Ганы с благодарностью вспомнят его как человека, посвятившего всю свою жизнь совершенствованию языка тви».

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОБРАЩАЯСЬ К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ

Молодые писатели ГДР и Чехословакии, обменявшиеся взаимными визитами дружбы, собрались в Лейпциге и выработали совместное обращение к литературной молодежи Европы.

«С возрастающим беспокойством,— говорится в обращении,— мы наблюдаем

и чувствуем увеличивающуюся опасность фашизма, милитаризации и атомной смерти со стороны Федеративной Республики Германии. Эта опасность исходит от крайне реакционных кругов западногерманского капитала, получающих финансовую поддержку и консультации со стороны североамериканских империалистов.

Из Западной Германии до нас доходят все более усиливающиеся истеричные вопли реваншистов и грубые угрозы, направленные против миролюбивых людей Европы и остального мира.

Опираясь на прогрессивные традиции мирового искусства, связанные с жизнью народа, мы страстно боремся против этой опасности со стороны Западной Германии. И все же мы будем приумножать наши усилия, новыми произведениями будем способствовать борьбе за мир во всем мире».

В заключение авторы обращения призывают своих коллег усилить помощь и поддержку борьбе за мир — мир без оружия и без войн.

ГЛАЗАМИ ПРОЛЕТАРСКОГО ЛИТЕРАТОРА

Один из старых немецких пролетарских литераторов, бывший первый секретарь Союза революционно-пролетарских писателей Германии, автор известного советскому читателю романа «Пылающий Рур» Карл Грюнберг окончил работу над новой книгой «Эпизоды».

Книга не является автобиографией. Личные переживания писатель тесно связывает с историей рабочего движения в Германии. Это своего рода «фотохроника» полувекового исторического периода, объективно и увлекательно сложенная из статей, репортажей, литературных набросков и наблюдений, пишет газета «Берлинер цейтунг».

Глазами немецкого пролетария и писателя читатель видит прусско-юнкерскую Германию, развязавшую первую мировую бойню, Германию Ноябрьской революции и мрачных лет гитлеризма и наконец Германию, начавшую строить новую жизнь. Лучшие страницы книги посвящены борьбе рабочего класса за светлое будущее.

«СЛОВАРЬ НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

В издательстве «Фольксферлаг» вышел в свет «Словарь немецких писателей», на 600 страницах которого помещены краткие сведения о жизни и творчестве 750 немецких писателей от времен древней верхне-немецкой литературы и до наших дней.

Составители словаря Гюнтер Альбрехт, Курт Бёттхер, Герберт Грейнер-Май, Пауль Гюнтер Крон, по словам газеты «Нейес Дейчланд», впервые дают марксистскую оценку творчества наиболее значительных представителей немецкой литературы.

В словарь включены сведения о незаслуженно забытых либо замалчиваемых буржуазными литературоведами пролетарских писателях, как, например, Веерт, Лепп, Кегель, Аудорф, Гейб, Брауне. Большое внимание уделено представителям современной социалистической литературы.

Немецкий солдат Герберт, герой телевизионного фильма «Всегда на пути — твое лицо», показанного по телевидению ГДР, бежит в 1944 году из гитлеровской части, размещенной во временно оккупированном Минске, и попадает к советским партизанам. Здесь он встречается с минской учительницей Соней. Вместе они, Соня и Герберт, участвуют в освобождении попавшего в плен советского партизана Кулешова, вместе борются против фашизма... Этот телевизионный фильм, по сообщению газеты «Берлинер цейтунг», отмечен премией на конкурсе Общества германо-советской дружбы. На снимке: Артисты Зофия Слабошевска (Соня) и Юрген Фрорип (Герберт) в телевизионном фильме.

(Еженедельник «Зонntаг»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ЭСТАФЕТА КЛЕВЕТЫ

Мюнхенское издательство «Карл Ханзер-ферлаг» выпустило роман Ганса Бендера «Меню по выбору». Клеветнические фильмы о положении немецких военнопленных в Советском Союзе (например, «Врач из Сталинграда») явно вдохновили автора написать этот «опус». Его роман — очередная попытка очернить советских людей — врачей и медсестер, хотя общеизвестно их гуманное отношение к раненым военнопленным.

Содержание книжки сводится к «живописной» гибели в лагере для военнопленных одного гитлеровца, якобы оставшегося без медицинской помощи. Еженедельник «Дейче вохе» с иронией указывает, что такой сюжет мог бы и растрогать, если бы в книге не сквозила политическая предубежденность автора, который ни словом не обмолвился об ужасных преступлениях фашистских захватчиков в СССР. Его интересует лишь якобы несправедливое отношение к военнопленным гитлеровцам. «А тенденциозность дисквали-

фицирует книгу»,— подчеркивает еженедельник, указывая, что подобный литературный опус ничему не учит и отнюдь не помогает немцам осознать трагическое прошлое.

НА СЛУЖБЕ У БУНДЕСВЕРА

Иоахим Размус-Брауне служит бундесверу в двойном смысле. Являясь одним из офицеров вооружающейся западногерманской армии, он стал первым в ФРГ автором, выпустившим «роман бундесвера». По всей видимости, указывает еженедельник «Дейче фольксцейтунг», отныне бундесвер вторгся в сферу беллетристчки...

Роман Размуса-Брауне «Рекруты свободы», опубликованный издательством «Шнееклут-ферлаг», не принесет автору литературной славы. Изготовленная по рецептам саморекламы в духе Штрауса и Хойзингера, пишет «Дейче фольксцейтунг», и разбавленная некоторой дозой безобидной «критики» в адрес милитаризма, эта книжка далеко не соответствует раздутой вокруг нее славе «проблемного произведения».

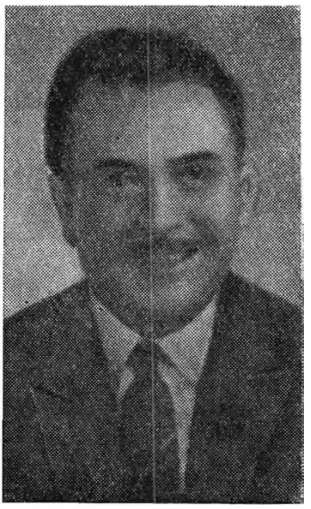
Приписав бундесверу «дух 20 июля» (дата покушения на Гитлера, подготовленного группой высших фашистских офицеров), автор романа создает надуманный тип молодого солдата и попутно пытается доказать, что «интеллектуальный пацифизм» (подразумеваемое им стремление к миру) является заблуждением. Демагогичные лозунги апологета вооружения, отмечает еженедельник, способны сбить с толку лишь поверхностного читателя.

ГРЕЦИЯ

ДВЕ ПОЭМЫ РИЦОСА

В Афинах вышли в свет две новые поэмы известного греческого поэта Янниса Рицоса «Окно» и «Мост».

Корреспондент газеты



Яннис Рицос.
(Газета «Авги»)

«Авги» попросил Рицоса рассказать об этих произведениях.

«В поэме «Окно»,— сказал Рицос,— я пытался за метаморфозами жизни раскрыть ее ценность. Но познание жизни через созерцание — это полуправда, этого недостаточно. Нужно вмешательство в жизнь, действие. Поэтому два персонажа моей поэмы, наблюдавшие за жизнью через окно, закрывают его и выходят на улицу, чтобы преобразовать жизнь, сделать ее лучше и совершеннее.

В поэме «Мост» я поднимаю проблему человеческих отношений Было много долгих исканий, обманчивых стремлений преодолеть противоречие между жизнью и смертью, между людьми, противоречия, содержащиеся в нас самих, противоречия между мечтой и действительностью, между прошлым и настоящим, между одиночеством и союзом с людьми, между инстинктом и долгом. И вот я снова прихожу к заключению, что все это преодолимо только посредством действия, согласующегося с закономерностями исторического процесса, действия, которое способствует обеспечению мира и свободы для всех».

Рицос сообщил, что он окончил работу над поэмой «Хор ловцов губок» и подготовил к изданию поэмы «В тени гор» и «Мертвый дом».

Одновременно с поэмами «Окно» и «Мост» издательство «Кедрос» выпустило в свет третье издание «Лунной сонаты» Рицоса, получившей первую государственную премию. «Лунная соната» уже переведена на десять языков, переводится на испанский, словацкий и венгерский.

По сообщению газеты «Авги», издательство «Кедрос» решило выпустить трехтомное собрание сочинений Янниса Рицоса. В это собрание войдут все произведения поэта, созданные в 1934—1960 гг.

ПРАВДА ПОД ЗАПРЕТОМ

«Греческая кинематография по существу начала чахнуть,— пишет кипрский литератор Б. Ракис в газете «Неолеа».— Из десятков фильмов, просмотренных нами, ни один не был выше среднего уровня. Все это вызывает у нас чувство тревоги: греческая кинематография катится вниз по наклонной плоскости...

Каковы же причины?.. Прежде всего — строгая цензура, установленная государством. Если и найдется честный режиссер, который наберется смелости коснуться наболевших сторон жизни сегодняшней Греции, то на следующий же день его могут сослать куда-нибудь на безлюдные острова. Ведь в Греции правда запрещена...»

ДАНИЯ

И ЗДЕСЬ ТЕНЬ МАККАРТИ

По приглашению Французского института в Копенгагене французский писатель Артюр Адамов должен был посетить датскую столицу и выступить с лекцией о театре Франции. Однако датская Генеральная дирек-

Видные датские кинорежиссеры Йорген Рооз и Эдвин Тимрот поставили фильм «Последняя зима», показывающий эпизод борьбы участников датского движения Сопротивления в одной из деревень. Отмечая, что в этом фильме, кадр из которого здесь воспроизведен, правдиво показано движение антифашистского Сопротивления, газета «Ланд ог фольк» подчеркивает актуальность темы, поднятой в фильме.

ция по делам культуры сочла нежелательным приезд Адамова в Данию и запретила проведение лекции. Мотивом запрещения, как сообщает парижская печать, послужило подписание Адамовом «Манифеста 121» против войны в Алжире.

ИНДИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕНДЖАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Выступая на четвертой Всеиндийской конференции пенджабских писателей, проведенной по инициативе «Кендри Панджаби Лекхак Санг» (Центральный союз писателей Пенджаба), видный критик Караджит Синг отметил, что многие поэты поднимают в своем творчестве большие социальные вопросы.

Искусству, подчеркнул Караджит Синг, принадлежит великая роль в борьбе человека за лучшую жизнь. Осознав это, поэты стремятся отразить в своем творчестве борьбу сил социализма и капитализма на мировой арене, внутренний кризис капитализма, положение в странах Азии, завоевавших независимость, а также прогресс социалистических стран.

Вместе с тем Караджит Синг особо остановился на проблеме растлевающего влияния американской литературы.

Караджит Синг подверг серьезной критике сложившийся за последние годы под влиянием западной декадентской литературы так называемый экспериментализм, проникнутый сугубо индивидуалистическими, антисоциальными настроениями,— течение, бесплодное как в своих поисках новых форм, так и в содержании.

— Никогда не распустятся почки на дереве,— сказал он,— у которого нет в земле корней.

ИСПАНИЯ

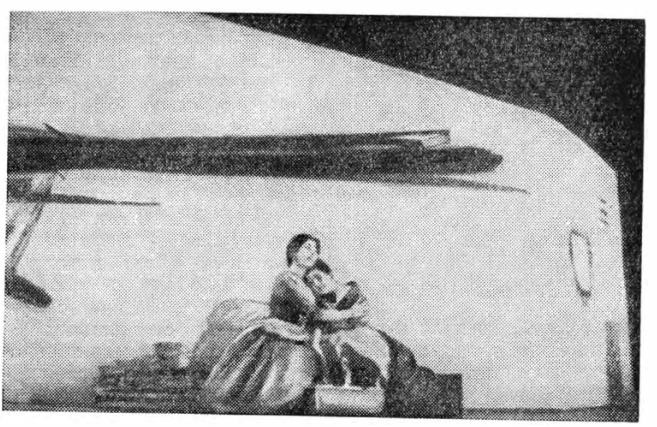
ХУАН ГОЙТИСОЛО ОБ ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Молодой испанский писатель Хуан Гойтисоло в интервью для французской газеты «Либерасьон» рассказал о положении в современной испанской литературе.

В пятидесятых годах в испанскую литературу пришла молодежь — представители нового поколения, не несущего ответственности за то, чем стала их родина после падения республики. Говоря об этом поколении, к которому относится он сам, Гойтисоло поясняет: «Первое, что отличает его от предшествующего поколения, это — реализм... Всем молодым авторам присущи общие черты: озабоченность существующим положением, объективность, а также бо-

«Окончился спектакль, но публика не расходилась. Аплодисменты нарастали. Занавес не опускался, хотя артисты — исполнители ролей — и режиссер покинули сцену. Волнение публики достигло своего наивысшего напряжения, вылившись в продолжительную и единодушную овацию. И тогда казалось, что тень — живая память о Федерико — появилась на пустой сцене и со слезами на глазах принимала выражение признательности от своих друзей, поклонников, от всех, кто преданы подлинному театру и поэзии»,— так сообщал корреспондент аргентинской газеты «Кларин» о недавнем, первом за последние двадцать четыре года, представлении в Мадриде трагедии Федерико Гарсиа Лорки «Йерма» («Бесплодная»). Нетрудно понять, что спектакль в мадридском театре Эслава вылился в демонстрацию: таким образом в условиях фашистского режима воздавались почести великому народному поэту Испании, подло расстрелянному кликой Франко. На снимке: Исполнительницы главных ролей — крупнейшая трагедийная актриса Испании Аурора Баутиста и Кармен Саэс в первом акте спектакля.

(Газета «Кларин»)



гатство изобразительных средств, отход от «ученого» языка и возврат к живому народному языку, кинематографическое видение, без пояснений и анализа. Последнее — из-за цензуры...»

Среди молодых писателей Гойтисоло назвал прозаиков Анну-Марию Матуте, Армандо Лопеса Салинаса, Антонио Ферраса и поэтов Бласа де Отеро, Эухенио де Нору, а также Габриэля Селайю, заявившего в своих «Иберийских песнях»: «Мало радости осталось в нашей Испании, но ты видишь, мы не теряем надежды».

Гойтисоло подчеркивает, что отсутствие возможности называть вещи своими именами вынуждает молодых писателей «фотографировать социальные явления, говорящие сами за себя. Комментировать эти явления предоставляется самому читателю... Действительность такова, что объективные зарисовки равносильны протесту».

Хуан Гойтисоло считает, что «испанская литература переживает сегодня один из наиболее ярких периодов, никогда еще она не представляла столько доказательств своей независимости и воли к борьбе».

ПОХОД ПРОТИВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Франко не доволен испанской интеллигенцией: то видные деятели культуры протестуют против правительственной цензуры, то пишут книги или ставят кинокартины, правдиво рассказывающие о действительности франкистской Испании.

Вина крупного испанского ученого и общественного деятеля, профессора государственного права в Саламанкском университете Энрике Тьерно Гальвана заключалась в том, что он как-то «порекомендовал существующей оппозиции не быть чересчур пассивной». Как раз этого оказалось вполне достаточно, чтобы, как сообщает американская газета «Крисчен сайенс монитор», отобрать у Тьерно Гальвана паспорт и специальное удостоверение, без которого ни один человек в нынешней Испании не может получить работу в правительственных учреждениях.

Франкисты на этом не остановились. Против ученого возбужден судебный процесс. Он уволен из университета, и полиции приказано арестовать его, если он останется в Саламанке.

Теперь профессор Энрике Тьерно Гальван вынужден перебиваться частными уроками. Ему запрещен выезд за границу, где он мог бы читать лекции в иностранных университетах.

Студенты университетов в Саламанке, Мадриде, Барселоне, Севилье и Сарагосе послали правительству заявление с протестом против репрессий по отношению к виднейшему ученому.

«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ СМЕРТИ ФРАНСИСКО ФРАНКО»

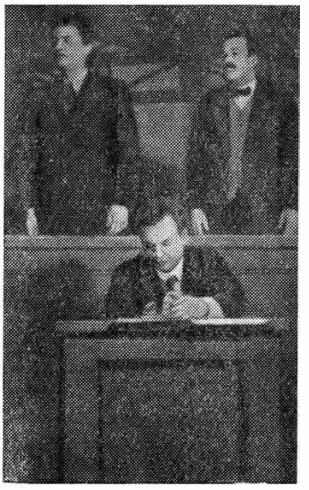
Известный испанский писатель-республиканец Макс Ауб, уже многие годы проживающий в эмиграции, в своем новом романе «Подлинная история смерти Франсиско Франко», по сообщению газеты «Ла насьон», рисует картину тяжелой жизни испанских политэмигрантов и призывает к свержению франкистского режима в Испании.

Главный герой романа — мексиканец Игнасио приходит к убеждению, что исправить существующее положение можно только путем активной борьбы против франкизма — уничтожив Франко и его клику.

ИТАЛИЯ

НОВОЕ НА СЦЕНЕ

В римском театре «Париоли» с большим успехом идет пьеса «Сакко и Ванцетти», воскрешающая историю жизни и гибели двух итальянских эмигрантов — активистов американского профсоюзного движения, безвинно казненных в 1927 году на электрическом стуле. Авторы пьесы — молодые киносценаристы Мино Роли и Лючано Винченцони — построили свое произведение на свидетельствах очевидцев и обширном документальном материале.



Сцена из спектакля «Сакко и Ванцетти».
(Газета «Унита»)

Смелый по теме и новаторский по своей форме спектакль поставила недавно созданная труппа «Объединенные артисты».

В театре «Элизео», как сообщает печать, с неменьшим успехом идет столь же интересный спектакль — «Последние письма из Сталинграда».

...С одним из последних немецких самолетов, улетавших в Германию из Сталинграда, было отправлено 39 писем солдат окруженной гитлеровской армии. Письма не дошли по назначению — они были задержаны немецкой военной цензурой с целью «изучения» морально-политического состояния гитлеровских войск в Сталинграде. После войны эти письма были найдены в военном архиве в Потсдаме и опубликованы. Автор инсценировки — известная актриса Мариза Мантовани. Действие этой антифашистской и антивоенной, глубоко психологической пьесы про-

исходит накануне капитуляции гитлеровских войск, в бункере, в котором находятся несколько немцев — отморозивший руки пианист, астроном, капитан-нацист, сын генерала и другие. Сама Мариза Мантовани исполняет роль русской женщины. В спектакле широко использованы кинокадры из документальных фильмов о Сталинградской битве.

ФИЛЬМ, ЗАПРЕЩЕННЫЙ В ИТАЛИИ

Фильм режиссера Мауро Болоньини «Это произошло в Риме» запрещен не только в Риме, но и по всей Италии. Запрет его показа мотивируется «соображениями морали». Так ли это? Достаточно сказать, пишет газета «Юманите», что в предпоследней части фильма происходит такая сценка: один из героев фильма встречается с подметальщиком улиц и говорит ему: «Брось метлу, бери винтовку — больше заработаешь!» На совет вступить в армию последовал знаменательный ответ: «Если бы у меня была винтовка, я бы сделал революцию!»

Это заявление — логический вывод из всего, что развертывается перед глазами зрителя. Высоко оценивая идейно-художественные достоинства фильма, «Юманите» подчеркивает: «До сих пор даже лучшие произведения итальянского неореализма только показывали нищету, что, правда, было свидетельством определенной смелости. Ныне же некоторые итальянские режиссеры выходят за пределы реалистического описания-показа и просто и ясно разоблачают буржуазное общество. Вот почему цензура пошла в наступление».

Сценарий фильма построен на произведениях итальянского писателя Альберто Моравиа, включенных в книги «Римские рассказы» и «Новые римские рассказы».

КНИГИ ЮНЫМ

Среди немногочисленных произведений для детей и юношества, появившихся за последнее время в Италии, наибольший интерес, по отзывам печати, представляют две книги.

Первая — выпущенный издательством «Эдитори риунити» и редакцией журнала «Пионьере» сборник рассказов для юношества, составленный Диной Ринальди и Луиджи Збрана. В сборник вошли 34 рассказа современных итальянских писателей. Сборник иллюстрировали прогрессивные художники Италии.

Кадр из фильма «Это произошло в Риме».
(Журнал «Синемонд»)

Другая книга — «Тысяча и одна Италия» — принадлежит перу писателя Джованни Арпино. Выпустило ее издательство Эйнауди. В ней повествуется о путешествии тринадцатилетнего мальчика Риччо через всю Италию — от его родной Сицилии до границы со Швейцарией. Во время пути у него было много необычайных, очень интересных встреч с самыми различными персонажами самых различных эпох итальянской истории и литературы.

Газета «Унита», высоко оценивая книгу Арпино, отмечает, что эта столь отличающаяся от высокопарных школьных учебников книга о прошлом Италии, написана живо и современно «автором для взрослых, который умеет писать также и для детей».

КИТАЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЬЕСА ЛАО ШЭ

Один из крупнейших китайских прозаиков и драматургов Лао Шэ закончил работу над новой пьесой «Ихэтуань», которую он передал для постановки в Художественный театр китайской молодежи.

Пьеса, как сообщает газета «Гуанмин жибао», посвящена героическому революционному восстанию китайского народа против феодальных и империалистических поработителей в 1899—1901 гг. По словам Лао Шэ, в пьесе нет подлинных исторических личностей. Ее главный герой — массы простого народа. Лао Шэ использовал в пьесе многочисленные собранные и изданные в последние годы народные предания об ихэтуанях — участниках восстания.

ДРУЖБА КИТАЯ И КУБЫ

Несколько дней на Кубе находилась китайская делегация, прибывшая в Гавану с миссией дружбы. Возглавлял делегацию известный писатель и общественный деятель Го Мо-жо, в ее со-

«...Советские люди горячо любят Ленина. Его любит и наш народ,— пишет театральный критик Чжан Гуан-нянь в журнале «Сицзюй»,— и наш народ хочет видеть на сцене и на экранах глубокий и правдивый образ великого Ленина. ...Не так давно на нашей столичной сцене были поставлены пьесы Николая Погодина «Человек с ружьем» и «Кремлевские куранты». Теперь наши зрители рукоплещут пьесе молодого советского драматурга Михаила Шатрова «Именем революции». На снимках: Сцены из пьесы «Именем революции», поставленной пекинским Театром юного зрителя в творческом содружестве с коллективом Народного художественного театра.

(Журнал «Сицзюй»)

став входил также заместитель министра культуры КНР драматург Ся Янь.

«Борьба кубинского народа против империализма США встречает поддержку всех народов мира,— заявил Го Мо-жо в Гаване.— Революционный энтузиазм народа Кубы, ярко проявившийся во время демонстрации по случаю годовщины победы революции, настолько вдохновил меня, что тут же на трибуне я написал стихотворение «Хосе Марти приветствует».

Президент Кубы Дортикос, по сообщению китайской печати, сказал, что опубликование стихотворения Го Мо-жо в Гаване будет тепло встречено кубинцами.

КОЛУМБИЯ

ПАМЯТНИК РУБЕНУ ДАРИО

В столице Колумбии Боготе открыт памятник выдающемуся поэту Латинской Америки Рубену Дарио, исполненный по проекту скульптора Эдиса Грона. Средства на сооружение памятника, как сообщает газета «Ла пренса», были собраны в пяти странах Центральной Америки, и в частности на родине поэта — в Никарагуа.

КУБА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАБЛО НЕРУДЫ

— Деятели культуры и искусства должны действовать в духе времени — это значит выступать в поддержку идеалов кубинской революции,— заявил Пабло Неруда представителям кубинской печати в Гаване.— В противном случае эти деятели будут предавать культуру, искусство и историю.

Во время пребывания чилийского поэта на Кубе, сообщает газета «Нотисиас де ой», в Гаване отдельным изданием вышла его поэма «Песнь о подвиге» (главы из этой поэмы опубликованы в «Иностранной литературе» № 12, 1960 г.).

НАРОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

По сообщениям печати, начата работа над составлением Кубинской народной энциклопедии.

Энциклопедия рассчитана на лиц, не имеющих систематического образования.

Составители энциклопедии обратились к писателям, журналистам и научным работникам стран Латинской Америки с просьбой направлять материалы по своим странам, отмечая, что статьи должны быть доступны даже малограмотным людям.

ЛИВАН

НЕДЕЛЯ АРАБСКОЙ КНИГИ

Ливан — это маленькая страна, где издается много книг. Продукция ливанских издательств сконцентрирована главным образом в Бейруте.

Не так давно в Ливане была проведена Неделя арабской книги. В организации этой Недели приняли участие многие общественные и государственные учреждения страны.

«Дом национальной книги» организовал выставку старых рукописей. Большая выставка книг была устроена «Клубом арабской культуры». Ливанское радио и телевидение передавали специальные программы, посвященные Неделе арабской книги. Главным инициатором всех этих мероприятий, как указывает ливанский журнал «Аль-Адаб», было «Общество друзей книги». Во время Недели арабской книги были присуждены премии за лучшие литературные и научные произведения.

Самой большой премии — «Премии президента республики», присуждаемой за «прекрасное и богатое творчество на арабском языке», был удостоен крупный ливанский писатель и критик Марун Аббуд.

Премия за лучшее литературно-критическое исследование присуждена Ахмаду Абу Хакка и Альфреду Хури.

МАЛАЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОЛЛИВУДСКИЕ ФИЛЬМЫ РАСТЛЕВАЮТ МОЛОДЕЖЬ

Члены парламента Малайской Федерации потребовали запретить демонстрацию в стране американских фильмов. Как сообщает печать, один из членов парламента от Народного социалистического фронта, выступая на заседании нижней палаты, заявил, что многие голливудские фильмы, демонстрирующиеся в Куала-Лумпуре и других крупных городах, проповедуют грабежи, убийства и эротику. «Голливудские фильмы,— сказал он,— растлевают малайскую молодежь, вызывают общественное беспокойство, не говоря уже о том, что в некоторых кинокартинах воспевается превосходство белой расы, истребление народов колоний».

МЕКСИКА

«ВРЕМЯ ГНЕВА»

Издательство «Летрас мехиканас» выпустило новый роман известного мексиканского писателя Луиса Спота «Время гнева».

Критика положительно отзывается об этом романе Спота, отмечая, что писатель в своем произведении клеймит диктаторские режимы, еще продолжающие существовать в некоторых странах Латинской Америки.

ОРАТОРИЯ — ПРИЗЫВ К МИРУ

Знаменитый испанский композитор и музыкант Пабло Касальс обратился по мексиканскому радио ко всем народам с призывом укреплять мир, бороться против новой войны. Этой же теме посвящена оратория Касальса, впервые исполненная на Международном фестивале имени автора, проведенном в мексиканском городе Акапулько.

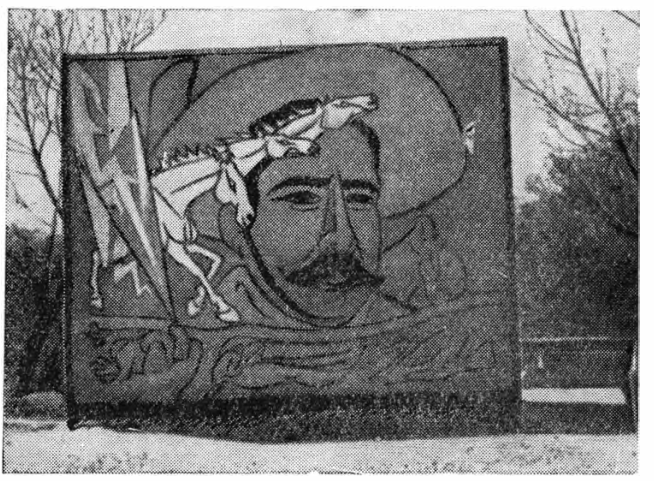
Мир на земле,
Не быть другой войне!..
Мир на земле,
Мир людям доброй воли!

— говорится в оратории.

Касальс, пишет журнал «Тьемпо», активно борется за дело мира. Он неустанно разоблачает фашистский режим в Испании, участвует в кампании по оказанию помощи испанским республиканцам, находящимся в изгнании.

Молодым мексиканским художником Мануэлем Саласой в городе Сан-Хуан дель-Рио — на родине национального героя Мексики Доротео Аранго, широко известного под именем Франсиско Вилья (Панчо Вилья), создан памятник, символизирующий борьбу мексиканского народа и знаменитой Северной дивизии, которой командовал Вилья, против диктатуры Порфирио Диаса и американских интервентов. На огромной каменной плите исполнен мозаичный портрет Панчо Вилья, на обратной стороне плиты выбиты строфы стихотворения мексиканской поэтессы Ольги Ариас де Вебер «Франсиско Вилья»

(Журнал «Тьемпо»)



НОРВЕГИЯ

ГЕОРГ ЮХАННЕСЕН — ПОЭТ

Двадцатидевятилетний Георг Юханнесен написал всего две книги — роман «Осень в марте» и «Стихи 1959 года». Норвежская критика оценивает своеобразие творчества писателя, отмечая «ясность и реалистичность его письма». «Стихи должны быть ясны по своей структуре»,— заявил он в беседе с корреспондентом газеты «Фрихетен».

Юханнесен пояснил корреспонденту «Фрихетен», что он еще не чувствует себя писателем. Он преподает в школе норвежский и английский языки и историю, работает очень много. По его словам, он страстно стремится быть полезным народу как поэт, и как политический деятель, и как преподаватель.

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ ОАР

Высший совет по покровительству искусству и литературе в ОАР, по сообщению печати, принял решение созвать в апреле этого года в Каире съезд писателей Объединенной Арабской Республики.

ПЕРУ

РАССКАЗЫ О КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ

В издательстве «Летрас перуанас» вышел сборник рассказов Рубена Суэльдо-Гевары «Аграрии».

Почти во всех рассказах, включенных в сборник, Суэльдо-Гевара разоблачает зверскую эксплуатацию перуанских крестьян крупными землевладельцами.

Кадр из последнего фильма Анджея Вайды «Невинные чародеи», посвященного польской молодежи.
(Журнал «Фильм»)

В рассказе «Аграрии», давшем название сборнику, писатель показывает, как крестьяне, доведенные помещиком до полной нищеты, поняли, что их может спасти только единство и организованная совместная борьба, и решают избрать этот путь.

Мексиканская газета «Эль насьональ» в рецензии на сборник рассказов Суэльдо-Гевары подчеркивает, что картины, показанные писателем, характерны не только для Перу, но и для других стран Латинской Америки, поэтому книгу можно считать произведением «латиноамериканского звучания».

ПОЛЬША

ПИСАТЕЛИ И КИНО

В последнее время чаще раздаются писательские голоса, ратующие за «равноправие» сценариста и режиссера при постановках фильмов, поскольку последнее слово при решении спорных вопросов зачастую остается за режиссером.

С другой стороны, писатели хотят сами стать за съемочную камеру. Известность получил фильм, снятый писателем Тадеушем Конвицким,— «Последний день лета», который получил премию на одном из международных кинофестивалей. Ежи Стефан Ставинский, принявший самое активное участие в полемике о месте сценариста при работе над фильмом, по сообщениям печати, собирается приступить к съемкам собственных фильмов. Юзеф Хен считает, что по некоторым сценариям ставить фильм может лишь их автор. И поэтому Хен выразил желание заняться постановкой фильма по своей новелле «Автобусы как черепахи».

Примером плодотворного сотрудничества писателя и режиссера, отмечает печать, может служить постановка Анджеем Вайдой фильма «Самсон» по первой части тетралогии Казимежа Брандыса «Между войнами». Брандыс принял активное участие в подборе актерского состава.

— С самого начала моего сотрудничества с Анджеем Вайдой,— рассказывал Казимеж Брандыс корреспонденту польского еженедельника «Экран»,— у нас была одна и та же концепция «Самсона».

НАЧАЛО ПУТИ КАРОЛЯ ЮРГИ

«Начало» — так называется новая повесть Тадеуша Голуя, вышедшая недавно в издательстве «Искры». Повесть рассказывает о «первых днях свободы», первых днях народной власти в Польше.

Герой повести «Начало» — парнишка, прошедший суровый университет жизни в годы войны и оккупации. Преступления и издевательства гитлеровцев над его родной страной порождают в Кароле Юрге — таково имя героя — глубокий протест, стремление к новой жизни после освобождения, к активной деятельности. Увлеченный примером своего старшего брата, гвардейца-партизана, Кароль вступает в Союз сельской молодежи и с большой страстностью, хотя еще не совсем осознанно, с головой окунается в борьбу с «лесными бандами», разъясняет недоверчивым людям политику народной власти.

Нелегко дается житейский опыт молодому герою повести. События первых лет народной власти, участником которых был Кароль, пишет газета «Трибуна люду», это только начало его революционного пути.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «АЛЬ-МАНХАЛЬ»

Слово «аль-манхаль» означает по-арабски «источник». Так называется литературный журнал, издающийся в древнем городе Мекке, который и поныне является крупнейшим городом Саудовской Аравии. «Аль-Манхаль» знакомит своих читателей с литературой Саудовской Аравии и других стран.

Недавно общественность Мекки, по сообщениям печати, отметила двадцатипятилетний юбилей этого единственного в Саудовской Аравии литературного журнала.

США

УОЛДО ФРЭНК — ЗА КУБИНСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

— Ни одна моя статья не появится в журнале «Боэмиа либре»,— заявил представителям печати видный американский писатель Уолдо Фрэнк.

Известный кубинский реакционер, бывший главным редактором гаванского журнала «Боэмиа», боясь привлечения к суду народа за свою контрреволюционную деятельность, бежал в Соединенные Штаты и основал в Нью-Йорке журнальчик под названием «Боэмиа либре», финансируемый империалистическими кругами США. Недавно «Боэмиа либре», один из рупоров антикубинской пропаганды, извлек на свет и опубликовал без разрешения автора старую статью Уолдо Фрэнка, использовав ее, по словам писателя, с провокационной целью «опорочить Фиделя Кастро, то есть кубинскую революцию...»

— В связи с этим,— подчеркнул Уолдо Фрэнк, являющийся почетным президентом созданного в США «Комитета справедливого отношения к Кубе»,— я заявляю о своем глубоком и искреннем восхищении революцией на Кубе, одной из самых прекрасных и значительных революций на земле.

«ОДИНОКИЙ ПУТНИК» ДЖЕКА КЕРУАКА

Новая книга Джека Керуака «Одинокий путник» фактически продолжает излюбленную автором форму повествования о его странствиях по дорогам и городам страны, чем характерны его романы «На дороге» и многие рассказы.

«Одинокий путник»,— отмечает еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»,— является сборником рассказов. Керуак рассказывает о том, как он бродит по Нью-Йорку и что он видит на улицах, делится своими воспоминаниями о работе на железной дороге на Западе, о том, как он исходил пешком Танжер, посещал картинные галереи и музеи Парижа». «Книгу эту, строго говоря, нельзя назвать ни дневником путешествий, ни художественным произведением,— пишет еженедельник,— но это типичный Керуак, противопоставляющий себя всей вселенной». По рассказам Керуака, пишет далее «Нью-Йорк таймс бук ревью», нельзя представить себе местность и окружение, писатель скорее дает картину своей личной реакции на окружающий его мир, «и в описаниях своих впечатлений Керуак часто сбивается на психопатические отступления, смахивающие на бред».

Все же, судя по рецензии, Керуак и в этой книге «остается внимательным наблюдателем жизни, умеющим критически отобразить полученные впечатления. Он смотрит не поверхностно, старается проникнуть за внешний фасад людей, явлений и ситуаций».

«БИТНИКИ» В РОМАНЕ

Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» считает, что роман Дейчин Рейнер, посвященный жизни американской литературной богемы, представит интерес для читателя, желающего узнать что-нибудь о быте, жизни и

Рисунок Сеймура Чуоста к роману Д. Рейнер «Неудобный постоялый двор». *(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)*

чаяниях литературной молодежи, принадлежащей к «битникам».

Роман называется «Неудобный постоялый двор». Именно на территории «Неудобного постоялого двора» — своего рода пансионата богемы — и развертывается действие романа.

Автору удалось показать в своем романе обреченность этих людей — их заводят в тупик попытки создавать произведения литературы и искусства, оторванные от жизни, отрицающие душевную красоту человека. «Неудобный постоялый двор», расположенный на Бэнк-стрит,—печальный символ. По определению «Нью-Йорк таймс бук ревью», познакомившись с обитателями дома на Бэнк-стрит, «читатель узнает бесцельную, разбитую жизнь группки городских нигилистов».

ФИНЛЯНДИЯ

«МРАЧНЫЙ МОНОЛОГ» ПААВОЛАЙНЕНА

Не так давно в Хельсинки вышло второе издание книги «Мрачный монолог. Страницы из дневника 1941—1944 годов» видного финского писателя Олави Пааволайнена, автора известных стихотворений, пронизанных симпатией к Советскому Союзу, где он побывал еще до войны.

Во время второй мировой войны Пааволайнен служил, как сообщает газета «Кансан уутисет», в финской армии, в органах военной информации при Главном штабе, мог близко знакомиться с жизнью высшего офицерства. По этим наблюдениям он написал свои знаменитые «Страницы из дневника».

Будучи, по характеристике газеты «Кансан уутисет», «белой вороной» среди шюцкоровской интеллигенции военных лет, Пааволайнен выступал в «Мрачном монологе» против реакционных сил, толкавших Финляндию на авантюры.

Первое издание «Мрачного монолога» в 1946 году вызвало яростные нападки на писателя со стороны правой прессы. Реакционные критики столь активно участвовали в этой «охоте за ведьмами», что в конце концов заставили убрать книгу с витрин книжных магазинов, а ее автора — умолкнуть на четырнадцать лет.

Газета «Кансан уутисет», приветствуя переиздание книги Пааволайнена, выражает надежду видеть его отныне в рядах писателей сегодняшней Финляндии.

ИНТЕРВЬЮ С МАРТТИ ЛАРНИ

«В нашей стране много и от души смеялись, читая роман Мартти Ларни «Четвертый позвонок»,— пишет финский журнал «Ууси найнен».— Эта сатирическая книга имела громадный успех в Советском Союзе».

Отвечая на вопрос редакции, почему его романы вызывают у некоторых людей, по их словам, раздражение, Мартти Ларни сказал:

— Видите ли, самым достоверным изображением человека, безусловно, является его фотография в паспорте, где сходство с оригиналом засвидетельствовано официально и подтверждено печатью. Но редко кому нравится такой портрет. Кое-кто сердится, узнав себя в числе персонажей моих книг. Но эти люди могли бы с тем же основанием возмущаться, поглядев в зеркало. Если же их гнев вызван тем, что в моих романах я указал на некоторые уродливо разбухшие недостатки нашего общества, то вина ведь не во мне, а как раз в тех, кто оберегают и охраняют упомянутые недостатки, стараясь их скрыть. Если хоть некоторые из моих романов вызвали раздражение в известных кругах и у определенных лиц, то я с удовлетворением сказал бы, что снаряд попал в цель.

Ларни, по словам журнала, не считает себя «ядовитым» писателем и даже вообще отказывается признать себя сатириком, хотя за последние годы его часто стали так называть. Он говорит:

Мартти Ларни.
(Журнал «Ууси найнен»)

— Ведь я совершенно явный реалист. Каждый персонаж как «Четвертого позвонка», так и «Прекрасной свинарки»* имеет свой прототип в действительности. Каждый из них списан прямо с натуры. Минна Карлссон-Кананен — это совершенно живая плоть и кровь, со всеми ее доблестями — вплоть до демонстрации бюста (кстати, этот случай хорошо известен в Тампере). Она и поныне живет и здравствует, хотя и покинула Финляндию. Джоан из «Четвертого позвонка»—это скорее смягченный, чем утрированный портрет особы, типичной в своем роде. Что касается Джерри Финна, то свой прототип есть и у него, хотя в этом персонаже соединились черты нескольких лиц.

— А можно ли узнать, что Мартти Ларни «вынашивает»?

— Замысел нового романа у меня уже готов, и выхода книги в свет можно ожидать, вероятно, будущей осенью,— отвечает он.— Я продолжаю вскапывать начатое мною поле, так что должно появиться в неко-

* Роман опубликован «Иностранной литературой» в №№ 8 и 9 за 1960 год, под названием «Госпожа советница».

гором роде продолжение «Свинарки». Сырья хоть отбавляй — оно прямо так и прет отовсюду, куда ни глянешь... Вы говорите — раздражение? Да, кое-кого я, несомненно, рассердил. Даже «весьма высокопоставленные люди» сочли нужным предостеречь меня от продолжения начатой мною линии. Но с подобными предупреждениями, я думаю, следует поступить так, как они того заслуживают. Кстати, как ни странно, мужчины оказались более обидчивыми, чем женщины. Едва им покажется, что они увидели в персонаже моей книги собственные черты, они начинают скрежетать зубами. Женщины же, напротив, бывают даже польщены, даже шлют благодарственные письма. Я получил кипу писем со всех концов Финляндии от женщин, которые узнали себя — в ком бы вы думали! — в Минне Карлссон-Кананен!..

ФРАНЦИЯ

АНТИВОЕННАЯ ПЬЕСА ЖЮЛЯ РУА

Пьеса Жюля Руа «Красная река», которая идет в парижском «Театр ан рон»,

Сцена из спектакля «Красная река». *(Еженедельник «Леттр франсез»)*

была издана несколько лет назад. И не случайно, что именно теперь началась ее жизнь на сцене: тема трагического конфликта, который переживает герой пьесы — французский офицер, вынужденный вести несправедливую войну против патриотов, борющихся за независимость своей родины,— звучит особенно злободневно для сегодняшней Франции. Имя автора пьесы, полковника Жюля Руа, стало необычайно популярным, после того как вышла его страстная обличающая книга «Алжирская война».

Когда герой пьесы, майор Вальон, говорит о войне, справедливости и уважении к противнику, зрители слышат голос самого Жюля Руа, напоминающего об Алжире, пишет Клод Оливье в еженедельнике «Леттр франсез». В своем сочувствии к вьетнамцам, борющимся за свободу и независимость, Вальон идет до конца.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «КАНДИДА»

Едва «Кандид» Вольтера увидел свет в Женеве в 1759 году, он тотчас же был запрещен советом города. «Кандид», вышедший на экраны французского кино через 201 год после этого, чуть не был запрещен цензурой, которая в конце концов разрешила показывать фильм, сделав в нем значительные сокращения.

Сатирический задор и сарказм вольтеровской повести режиссер фильма Норбер Карбонно направил на современность. И это логично — ведь ирония Вольтера также вдохновлялась современными ему событиями. «Достаточно надеть на Кандида французскую военную форму в 1940 году, чтобы превратить его в подлинного персонажа нашей современной комедии»,— пишет еженедельник «Леттр франсез». Талант Норбера Карбонно превратил «Кандида» в актуальный фильм, разоблачающий современный милитаризм, современ-

Кадр из фильма «Кандид». *(Газета «Юманите»)*

ный клерикализм, колониализм, современные предрассудки и человеческие слабости со всем блеском и силой разящей вольтеровской иронии.

Фильм, как сообщает печать, недавно получил премию «Гран-при кинематографического юмора».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ТВОРЧЕСТВО ЯНА ПРОХАЗКИ

Еженедельник «Литерарни новины» опубликовал повесть «Сугроб» Яна Прохазки — писателя, знакомого читателям «Иностранной литературы» по повести «Зеленые дали» (см. № 10, 1960 г.)

«Как и первое произведение,—пишет еженедельник,— эта повесть свидетельствует о том, что в чешскую литературу пришел новый талант, и особенно ценно это в связи с тем, что пришел он не один, а как представитель целой плеяды прозаиков нового творческого поколения и одновременно нового творческого типа».

Прохазке, как и большинству представителей молодого поколения, отмечают «Литерарни новины», чужды описательность и искусственная красивость слога. Он называет явления жизни, мысли, чувства и ситуа-

ции своими именами, проникает внутрь жизни, не боясь ее.

Повесть можно назвать историей любви. Но вместе с тем это и история деревни, и повествование о нашей жизни. «Самое ценное в ней,— подчеркивает еженедельник,— ритм живой современности».

ЧИЛИ

«ВЕЧНОЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО»

Главным героем новой книги Мануэля Рохаса является литература, которую видный чилийский писатель считает «вечнозеленым деревом».

В сборник «Вечнозеленое дерево», как сообщает газета «Ла пренса», включены публицистические и критические статьи писателя, в том числе «О чилийской литературе», «Размышления о чилийской литературе», «Кое-что о моем литературном опыте».

ШВЕЦИЯ

«ГАМСУН И ГИТЛЕР»

Под таким заголовком газета «Стокгольмс-тиднинген» опубликовала статью известного писателя, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Артура Лундквиста. Эта статья является ответом на вышедшую недавно в Норвегии книгу Стена Спарре Нильсона «Орел и буря», в которой анализируется жизненный и творческий путь Кнута Гамсуна.

В своей статье Лундквист пытается определить, что́ в конечном итоге привело Гамсуна к нацизму и преклонению перед личностью фашистского диктатора.

«Личный анархизм и индивидуализм,— пишет Лундквист,— превратились в кредо Гамсуна. Пребывание в Америке толкнуло его еще дальше в этом направлении. Его критика американского образа жизни была беспощадной. Тем не менее она была далека от революционности: он критиковал вырождение буржуазной демократии с аристократических и феодально-романтических позиций... Одно из его стихотворений, написанное в 1895 году, показывает, что уже тогда Гамсун мечтал о появлении сильного человека, властного... «железного Цезаря, Цезаря сердца», который посеял бы «страх и надежду» на всей земле. Война 1914—1918 гг. привела Гамсуна в лагерь ревностных сторонников Германии, в которой он видел молодую обездоленную нацию, и он не хотел понять, что германский империализм так же отвратителен, как английский или американский.

Тридцатые годы застают Гамсуна в рядах восторженных поклонников гитлеровской Германии, а после нападения ее на Норвегию Гамсун, считая безумием бороться против нового порядка, взял на себя роль спасителя нации. Чувство преклонения перед Гитлером осталось у него и после разгрома Германии...»

В заключение Лундквист пишет: «Отсутствие чувства политической и социальной перспективы характерно не только для Гамсуна... К предательству же Кнута Гамсуна привел доведенный до крайности индивидуализм».

Большой интерес жителей Стокгольма вызвала постановка в Королевском драматическом театре пьесы А. П. Чехова «Чайка». Успех этого спектакля, как отмечает шведская печать, объяснялся не только популярностью великого русского писателя, но и тем, что пьесу поставил один из крупнейших режиссеров Швеции Ингмар Бергман. Театральный обозреватель газеты «Стокгольмс-тиднинген» Нильс Бейер писал, что после прекрасного спектакля Бергмана зритель еще раз убеждается в правдивости одной истины: «Вся современная реалистическая драматургия обязана Чехову». Критика отметила также мастерство актеров — исполнителей ролей в спектакле. На снимке: Артисты Эва Дальбек (Аркадина) и Ульф Палме (Тригорин) в одной из сцен спектакля.

(Газета «Дагенс нюхетер»)

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Яношу Фёльдеак — Földeák János — венгерский поэт. Перу Яноша Фёльдеака принадлежат сборники стихов «Живем в своих творениях» («Müveinkben élünk», 1956), «Дорога возмужания» («Férfiút», 1957), «Крик предместья» («Külvárosi kiáltás», 1958) и др., а также роман «Расточители» («Tékozlók», 1960).

Публикуемые в этом номере стихи взяты из сборника «Я видел Ленина» («Láttam Lenint», 1959).

Андре Стиль — Andre Stil (род. в 1921 г.) — французский писатель — романист, новеллист, публицист. Автор трилогии «Первый удар» («Le premier choc», 1951—1953), книги «Мы будем любить друг друга завтра» («Nous nous aimerons demain», 1958), сборников рассказов «Сена» вышла в море» («La Seine» a prit la mer» и многих других произведений. Большинство из них переведено на русский язык

Роман «Обвал» («Le Foudroyage») был опубликован в 1960 году.

Иржи Марек — Iiří Marek (род. в 1914 г.) — чехословацкий писатель, автор романа «Деревня под землей» («Vesnice pod zemí», 1949), сборников рассказов «Над нами рассвет» («Nad námi svítá», 1950, сборник удостоен Государственной премии), «Из кирпича и улыбок» («Z cihel a úsměvů, 1953), путевых очерков «Страна под экватором» («Země pod rovníkem», 1956). Печатаемые рассказы получены от автора в рукописи.

Вольфганг Борхерт — Wolfgang Borchert (1921—1947) — немецкий писатель. Перу Борхерта принадлежат многочисленные рассказы и драма «За дверью» («Draussen vor der Tür», 1947).

Публикуемый рассказ взят из «Собрания сочинений» («Das Gesamtwerk», 1958).

Яэко Ногами (род. в 1885 г.) — японская писательница, автор многочисленных произведений, в том числе романа «Лабиринт» (1952), повествующего о судьбах японской интеллигенции во второй мировой войне.

В предисловии к повести «Шхуна «Кайдзин-мару» автор пишет, что в основу сюжета положены действительные события.

Дзюн Этó (род. в 1933 г.) — молодой японский критик. Автор статей, систематически публикующихся в периодической печати.

Статья «Молодые писатели Японии» написана автором для журнала «Иностранная литература»

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов,
В. И. Верховский (ответственный секретарь), **Б. Г. Гафуров,**
С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),
Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин,
М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев.*

А 03222. Сдано в производство 8/II 1961 г. Подписано к печати 28/III 1961 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 275.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.